



I



Тэффи

собрание сочинений



Тэффи. Собрание сочинений в пяти томах

Тэффи. Собрание сочинений в пяти томах

Тэффи

I

**Юмористические
рассказы**

И стало так...

Прочее

УДК 882
ББК 84 (2 Рос=Рус)6
Т 97

Оформление художника
Е. Пыхтеевой

Тэффи Н. А.

Т 97 Собрание сочинений: В 5 т. Т. 1: Юмористические рассказы; И стало так...: Сборники рассказов; Прочее / Сост. И. Владимиров. — М.: Книжный Клуб Книговек, 2011. — 480 с.

ISBN 978-5-4224-0256-4 (т. 1)

ISBN 978-5-4224-0255-7

Надежда Александровна Тэффи (Лохвицкая, в замужестве Бучинская; 1872—1952) — блестящая русская писательница, начавшая свой творческий путь со стихов и газетных фельетонов и оставившая наряду с А. Аверченко, И. Буниным и другими яркими представителями русской эмиграции значительное литературное наследие. Произведения Тэффи, веселые и грустные, всегда остроумны и беззлобны, наполнены любовью к персонажам, пониманием человеческих слабостей, состраданием к бедам простых людей. Наградой за это стала народная любовь к Тэффи и титул «королевы смеха».

В первый том собрания сочинений вошла книга «Юмористические рассказы», сборник «И стало так...», а также другие рассказы.

УДК 882
ББК 84 (2 Рос=Рус)6

ISBN 978-5-4224-0256-4 (т. 1)
ISBN 978-5-4224-0255-7

© И. Владимиров, состав, 2011
© Книжный Клуб Книговек, 2011

Надежда Александровна Тэффи

Надежда Александровна Тэффи (урожденная Лохвицкая, в замужестве Бучинская) родилась 24 апреля (по другим сведениям, 9 мая) 1872 года в Петербурге в дворянской семье. Отец Надежды Александровны, Александр Владимирович, был известным адвокатом, профессором криминалистики, издателем и редактором журнала «Судебный вестник». Мать (урожденная де Уайе) была обрусевшей француженкой, хорошо знала русскую и западноевропейскую литературу, поэзию. Тэффи вспоминала, что детей воспитывали в семье по-старинному, давали развиваться индивидуальности, но ничего особенного от них не требовали. Так в семье Лохвицких выросли два литературных дарования — старшая сестра Мария, которая взяла псевдоним Мирра и стала известной поэтессой, «русской Сафо», как ее впоследствии называли, и Тэффи. Старший брат Николай избрал военную карьеру и стал генералом.

Литературой Тэффи начала увлекаться еще в детстве. Ее любимыми авторами были Пушкин, Толстой, к которому она даже ездила в Хамовники с просьбой «не убивать» князя Болконского, зачитывалась она Достоевским, Тургеневым, Бальмонтом.

Первыми увидели свет стихи Марии, в это время Надежда Александровна тоже занялась литературным творчеством, но в печати ее произведения появились только в 1901 году. Ее дебют состоялся в журнале «Север», на страницах которого появилось стихотворение «Мне снился сон, безумный и прекрасный...», подписанное именем «Надежда Лохвицкая». И только через три года писательница начала печататься систематически и публиковать свои фельетоны в «Биржевых ведомостях». В 1905 году в «Ежемесячных литературных и популярно-научных приложениях к журналу „Нива“» был напечатан ее первый рассказ «Рубин принцессы». Псевдонимом «Тэффи» Надежда Александровна впервые подписала одноактную пьесу «Женский вопрос»,

надеясь, что он принесет ей удачу. В рассказе «Псевдоним» Тэффи объясняет происхождение своего нового имени.

Публикации Тэффи отличались злободневностью и остроумием. С детства любившая рисовать карикатуры и писать сатирические стихи, писательница быстро завоевала любовь читателей, среди которых был сам Николай II.

Весной 1905 года Тэффи напечала стихотворение «Пчелка», дошедшее в списке до В. Ленина и затем многократно перепечатывавшееся в сборниках политической лирики. В этот период она стала одним из ведущих сотрудников газеты «Новая жизнь», организованной большевиками. В работе газеты принимали участие В. Ленин, А. Луначарский, М. Ольминский, М. Горький, а также Л. Андреев, К. Бальмонт, И. Бунин, не исключалось привлечение Зинаиды Гиппиус. Вскоре газета начала испытывать трудности, во многом обусловленные столь разноплановым набором сотрудников. Конфликты закончились расколом издания, главный редактор Н. Минский уехал за границу, спасаясь от судебного преследования, остальные беспартийные сотрудники тоже вынуждены были уйти.

Однако Тэффи не ограничивалась работой только в «Новой жизни», она печатается в «Ниве», «Новостях», «Театральной России», сатирических журналах «Зарница», «Сигнал», «Красный смех».

С работой в «Сатириконе», возникшем в 1908 году из юмористического еженедельника «Стрекоза», связан новый творческий взлет Тэффи. В отличие от других сатириков (А. Аверченко, Вл. Азова, А. Бухова, О. Дымова, О. Д'Ора), произведения которых были полны фантазии, гипербола, преувеличений, Тэффи в своем творчестве стремится к максимальной жизненности, находит смешное в обыденном.

Еще одно издание, постоянной сотрудницей которого стала Тэффи в 1909 году, — «Русское слово», основанное И. Сытиным. Газета ориентировала своих авторов на публицистичность, отражение в фельетонах и рассказах злободневных тем. Но Тэффи и здесь смогла найти выход и реализовать свой писательский талант в полной мере, и вскоре ее произведения стали сочетать злободневное и вечное, что помогало сделать газету не только источником информации, но и своеобразным путеводителем по жизни, отвечающим на самые важные вопросы.

В 1910 году в издательстве «Шиповник» выходит сборник стихотворений «Семь огней» и первая книга «Юмористических рассказов» Тэффи, большинство которых уже появлялось на страницах «Русского слова». Сборник имел блестящий успех и

переиздавался в том же году трижды. Вскоре появилась и вторая книга «Юмористических рассказов», сделавшая имя Тэффи знаменитым и признанным не только читателями, но и критиками.

В первые две книги вошли разные по характеру рассказы, в том числе и политические, но все их объединяют герои — не известные личности, а обычные люди. Своеобразным манифестом всего творчества Тэффи стало предисловие «Человекообразные» ко второй книге рассказов, где писательница представляет две версии происхождения людей: одни созданы Богом, другие произошли из «движущихся мерцающих точек — коловраток», которые затем превратились в «аннелид, в кольчатых червей, в девятиглазых с дрожащими чуткими усиками». Человекообразные проникли в мир людей, которые могут их привести в царство духа, куда им дороги не было. Эти существа похожи на людей, но они не понимают смеха, не могут заниматься творчеством, потому что у них нет великого Начала, они не знают любви. Именно эти человекообразные и становятся героями Тэффи, а ее читателем может стать только человек, который умеет смеяться.

Вслед за двухтомником рассказов выходят книги Тэффи «И стало так...» (1912), «Карусель» (1913), «Дым без огня» (1914), «Ничего подобного» (1915), «Неживой зверь» (1916); отдельными изданиями печатаются пьесы «Восемь миниатюр» (1913) и «Миниатюры и монологи. Том II» (1915).

В предреволюционные годы в творчестве Тэффи все чаще начинают звучать грустные ноты, в сборник «Неживой зверь» входят только «серьезные рассказы» о неумении людей понять друг друга, что часто приводит к трагической развязке. Непонимание, неприятие и растерянность вызвала у писательницы и Октябрьская революция, хотя Февральскую она приняла. Эти чувства медленно нашли отражение в ее стихах и рассказах («Поручик Каспар», «Потомок», «Маникюрша», «Гильотина»).

В августе 1918 года закрывается «Новый Сатирикон», в котором Тэффи работала последние годы, за этим событием следует ее отъезд с Аверченко в составе гастрольной труппы сначала в Киев, затем на юг и в Константинополь. В 1920 году Тэффи обосновывается в Париже, где уже долгое время жил ее брат Николай. В воспоминаниях писательницы остались строки, наполненные щемящей болью от расставания с родиной. На корабле, увозящем ее из России, было написано стихотворение «К мысу ль радости, к скалам печали ли...», которое впоследствии исполнил Вертинский.

Надежда Александровна начинает печататься в парижской газете «Возрождение», новый номер которой все всегда с не-

терпением ждали. Известный рассказ «Ке фер?» («Что делать?») был опубликован в газете «Последние новости», а затем перепечатан «Правдой»; вопрос, вынесенный в заглавие, стал в эмигрантской среде нарицательным.

В двадцатых и тридцатых годах имя Тэффи не сходит со страниц парижских газет, журналов «Грядущая Россия», «Звено», «Русские записки», «Современные записки». Одна за другой выходят книги рассказов «Черный ирис» (1921), «Тихая заводь» (1921), «Так жили» (1922), «Рысь» (1923), сборник стихотворений «Passiflora» (1923), затем сборники «Городок» (1927), «Авантюрный роман» (1931), «Воспоминания» (1931) «Книга Июнь» (1931), «Ведьма» (1936), «О нежности» (1938), «Зигзаг» (1939). На родине произведения Тэффи также печатаются, но без разрешения автора, что вынуждает писательницу публично запретить использование ее имени в СССР.

Одним из наиболее известных сборников стал «Городок». В одноименном рассказе отразились все черты эмигрантской среды, в которой находилась Тэффи. Сборники «Книга Июнь» и «О нежности» объединены общей тематикой — в них преобладают рассказы о животных и детях, которые становятся любимыми героями писательницы. Душа у зверя, считает Тэффи, намного больше, чем у человека, и спасение от одиночества она видит именно в общении со зверем.

В тридцатых годах Тэффи посещает религиозно-философское общество «Зеленая лампа», организованное Д. Мережковским и З. Гиппиус. Это усиливает религиозное начало в ее творчестве, что явно прослеживается в книге «Воспоминаний», вышедшей в Париже в 1931 году. Элементы фантастики и даже мистики, психологизм, глубокое проникновение в души героев становятся отличительными чертами ее писательской манеры.

Тэффи активно участвует в культурной жизни эмигрантской колонии: становится председателем и участницей различных обществ, клубов и фондов, организует сбор средств в фонд памяти Ф. Шаляпина, на создание библиотеки имени А. Герцена. Она избирается заместителем президента Союза русских театральных деятелей и киноработников, проводит вместе с А. Куприным литературно-художественные вечера, в 1946 году входит в правление Союза писателей и журналистов в Париже.

Произведения Тэффи печатаются не только в Париже, где она живет, но и в Риге (журнал «Перезвоны»), Нью-Йорке (газета «Новое русское слово»), а также в Берлине, Шанхае, Стокгольме, Праге, Белграде. Надежда Александровна становится одной из крупнейших фигур русского зарубежья, она поддерживает

связь с И. Бунинным, Б. Зайцевым, Д. Аминадо, Г. Адамовичем, М. Алдановым и З. Гиппиус.

Накануне Второй мировой войны Тэффи несколько раз посещает Польшу, где живет ее дочь. Там она печатается в газетах и журналах и ощущает себя немного ближе к покинутой родине. Война застает писательницу в Париже. В это время она практически перестает появляться в печати, распространяются слухи о ее смерти, в 1943 году в Нью-Йорке появляется даже некролог. Средств к существованию практически не остается, развивается тяжелая болезнь, но Тэффи не унывает: «По болезни неизлечимой я непременно должна умереть. Но я никогда не делаю то, что должна. Вот и живу», — пишет она в одном из писем. После окончания войны Надежда Александровна получает приглашение вернуться в СССР, но на этот шаг так и не решается.

Сборник «Все о любви», изданный в 1946 году в Париже, объединил произведения, окрашенные чувством грусти и пронизанные лиризмом. Схожие мотивы характеризуют творчество Бунина, закончившего в это время «Темные аллеи», с которым Тэффи близко общалась и находила общие с ним замыслы и мотивы.

В 1952 году в Нью-Йорке выходит последняя книга Тэффи «Земная радуга», в которой писательница демонстрирует все свои творческие возможности: здесь и юмористические рассказы, и автобиографические заметки, и злая сатира, и лирические произведения.

Последние годы жизни Тэффи проводит в одиночестве, тяжело болея; старшая ее дочь живет в Лондоне, младшая — в Варшаве. Она продолжает печататься в «Новом русском слове» и «Русских новостях», пишет книгу о современниках. Во второй половине 1951 года проводится вечер, посвященный пятидесятилетию творческой жизни писательницы, который в том числе имел своей целью помочь ее тяжелому материальному положению. 6 сентября 1952 года Тэффи скончалась в деревне Морсан, в русском пансионе неподалеку от Сент-Женевьев-де Буа, и была похоронена на русском кладбище рядом с Бунинным.

В настоящее собрание сочинений вошли наиболее значительные сборники рассказов Тэффи, многие из которых целиком не публиковались со времени первого их издания. В качестве предисловия читателю предлагается статья Н. Суражского (псевдоним Н. Брешко-Брешковского) «Красные каблучки Тэффи», опубликованная 6 октября 1934 года в журнале «Для Вас», выходившего в Риге.

В. Алексина

Красные каблучки Тэффи

Недавно мы посвятили очерк весьма колоритной фигуре А. В. Руманова.

Около 30 лет тому назад он «эпатировал» петербургские салоны «филигранным Христом».

Позже Руманов в тех же салонах ронял своим мягким, роко-чушим почти баритоном:

— Тэффи кроткая... Она кроткая, — Тэффи...

И ей он говорил:

— Тэффи, вы кроткая.

На северных небесах Невской столицы уже сияла звезда талантливой поэтессы, фельетонистки и, — теперь это будет откровением для многих, — автора очаровательных нежных и совершенно самобытных песенок.

Тэффи сама исполняла их небольшим, но приятным голосом под аккомпанемент своей же гитары.

Так и видишь ее — Тэффи...

Запахнувшись в теплый, отороченный мехом уютный халатик, уютно поджав ноги, сидит она с гитарой на коленях в глубоком кресле у камина, бросающего теплые, трепетные отсветы...

Умные серые кошачьи глаза смотрят не мигая в пышущее пламя камина, и звенит гитара:

Грызутся злые кошки
У злых людей в сердцах
Мои танцуют ножки
На красных каблучках...

Тэффи любила красные туфельки.

Она уже печаталась. О ней говорили. Ее сотрудничества искали.

Опять Руманов, стриженный бобровым ежиком.

На кавказских минеральных водах он создавал большую курортную газету и привлекал лучшие петербургские «силы».

Один из первых визитов — к ней, «кроткой Тэффи».

— Я приглашаю вас на два-три месяца в Ессентуки. Сколько?

И не дождавшись ответа, Руманов как-то незаметно и ловко веером положил на стол несколько новеньких кредиток с портретами Екатерины Великой.

— Это аванс!..

— Уберите его! Я люблю радугу на небе, а не на своем письменном столе, — последовал ответ.

Руманов не растерялся. Он как фокусник мгновенно извлек откуда-то тяжелый замшевый мешочек и высыпал на стол звенящую, сверкающую струю золотых монет.

Надежда Александровна задумчиво пересыпала монеты эти сквозь пальцы, как ребенок, играющий с песком.

Через несколько дней она уехала в Ессентуки и тем сразу подняла тираж курортной газеты.

Это было давно, очень давно, а все-таки было...

Время кладет печать — говорят.

И время и печать на редкость снисходительны к Тэффи. Здесь в Париже она почти та же, какой была с гитарой у камина в красных туфельках и в отороченном мехом халатике.

А умные глаза с кошачьей серой желтизной и в кошачьей оправе — совсем те же самые.

Беседуем о текущей политике.

— Что вы скажете, Надежда Александровна, о «Лиге Наций», о принятии ею в свое лоно Советской России, вернее, советского правительства?

Сначала улыбка, потом две ямочки возле углов рта. Давным-давно знакомые ямочки, воскресившие Петербург...

— Что я могу сказать? Я не политик, а юморист. Одно раз-ве: уж больно ироническое у всех отношение к «Лиге Наций», а следовательно, какая цена тому, признает ли она кого-нибудь или не признает. И, право, ничего не изменилось и не изменится оттого, что она украсила своими лаврами литвиновскую плешь с его, Литвинова, не совсем «римским профилем». Фарс, пусть трагикомический, но все же фарс...

Покончив с Лигой Наций и Литвиновым, переходим к объявленной большевиками амнистии.

— Точно ли она объявлена ими? — усмехнулась Тэффи. — Большевики, по крайней мере, хранят по сему предмету молчание. Мне кажется, эта амнистия подобна миражу в пустыне. Да,

да, изверившаяся, измученная эмиграция, пожалуй, сама выдумала эту амнистию и хватается за нее... Говорят же мусульмане: «утопающий готов и за змею ухватиться».

— Что вы скажете о современной Германии?

— А вот что скажу: был у меня рассказ «Демоническая женщина». Ему повезло. В Польше вышел сборник моих вещей под этим общим заглавием. На немецком языке тоже напечатана была «Демоническая женщина». И вот узнаю: какой-то развязный молодой немец возьми и помести этот рассказ под своим собственным именем. Я привыкла, что меня перепечатывали без гонорара, но не привыкла, чтобы под моими рассказами ставилось чужое имя. Друзья посоветовали призвать молодого, многообещающего плагиатора к порядку. Они же посоветовали обратиться к проф. Лютеру... Кажется, в Лейпцигском университете, он занимает кафедру... Кафедру — сейчас вам скажу чего. Да, славянской литературы. Написала ему больше для того, чтобы успокоить своих друзей.

К великому удивлению, профессор Лютер откликнулся. Да как! С какой горячностью! Возникло целое дело. Разыскал многообещающего молодого человека, намылил хорошенько ему голову, пригрозил: еще что-нибудь подобное, и в пределах Германии никто никогда не напечатает ни одной его строки. Гонорар за «Демоническую женщину» присужден был в мою пользу. Молодой человек написал мне покаянное письмо на нескольких страницах. Мало этого, за него же еще извинялся передо мной сам почтенный профессор Лютер. Извинялась корпорация немецких писателей и журналистов. В конце концов самой совестно стало, зачем заварила эту кашу?..

А теперь, покончив с Германией, два слова о перепечатках вообще. Большая русская газета в Нью-Йорке повадилась «украшать» свои подвалы моими фельетонами из «Возрождения». Я обратилась о защите моих авторских прав к канадскому обществу русских журналистов. Спасибо им, занялись мною, но толку из этого — никакого! В ответ на угрозы привлечь к суду упомянутая газета продолжает пользоваться моими фельетонами, и количество перепечатанных рассказов достигло внушительной цифры 33. Увы, мои симпатичные канадские коллеги не обладают авторитетом трогательнейшего и всемогущего профессора Лютера.

Я так и знала! Ни одно «настоящее» интервью без этого не обходится. Над чем я работаю? Скажу откровенно, не утай-

вая, — пишу эмигрантский роман, где хотя и под псевдонимами, но весьма прозрачно, вывожу целую фалангу живых людей, столпов эмиграции самых разнообразных профессий и общественных положений. Поощажу ли я моих друзей? Может быть, да, может быть, нет. Не знаю. Нечто подобное было когда-то и с Шатобрианом. Он тоже объявил выход в свет такого же портретного романа. Всполошившиеся друзья тотчас же организовались в общество, целью которого было создать денежный фонд имени Шатобриана. Нечто вроде умиловительной жертвы грозному, карающему божеству... Ничего не имела бы против, — добавляет с улыбкой Тэффи, — и я — ровно ничего — против подобного дружественного фонда в пользу меня, грешной. Однако, не пора ли кончать? Боюсь, что займу своей особой много места в журнале «Для Вас».

Получится, чего доброго, уже не «Для Вас», а «Для меня». Так что же еще? Одолевают меня начинающие авторы. Отовсюду свои произведения шлют с просьбой напечатать. А дабы просьба была действительной, посвящают все свои рассказы мне. Думают, восхищенная таким вниманием Тэффи немедленно помчится в соответствующие редакции и с браунингом в руке заставит печатать молодых авторов, хотя бы в предвкушении опубликования местных посвящений. Пользуясь случаем, оповещаю всех моих пылких корреспондентов, что я, ну вот несколько не тщеславна! Попадаются, правда, и неплохие рассказы, но чаще всего моя молодежь пишет о том, чего не знает. А что знает, про то молчит. Например, автор из Марокко прислал мне рассказ... О ком бы вы думали? Об эскимосах! Я в эскимосском житье-бытье хоть и не особенно маракую, однако сразу учуяла что-то неладное.

От начинающих писателей переходим к нашим парижским профессионалам.

— Скажите, — спрашиваю, — Надежда Александровна, чем объяснить такую грызню среди нашего брата? Казалось бы, одинаково обездоленного? Почему?

Грызутся злые кошки
У злых людей в сердцах...

— Какая у вас память! — изумилась Тэффи, и в кошачьих глазах вспыхнули искорки. — Почему? Измучились все, сил больше нет терпеть...

— Но когда же перестанут, однако?

— Успокойтесь, — ободряюще кивнула Тэффи. — Устанут и тогда перестанут.

— А вы не устали жить?

— Нет, жизнь так прекрасна, что даже страдания и те — в радость. Сейчас я уже вместо вас закончу куплет:

Мои танцуют ножки
На красных каблучках...

И вновь в кошачьих глазах вспыхнули и погасли искорки и обозначились возле углов рта ямочки...

Н. Суражский

Юмористические

рассказы

Ибо смех есть радость,
а посему сам себе — благо

*Спиноза «Этика», часть III
Положение XLV, схолия II*

Выслужился

У Лешки давно затекла правая нога, но он не смел переменить позу и жадно прислушивался. В коридорчике было совсем темно, и через узкую щель приотворенной двери виднелся только ярко освещенный кусок стены над кухонной плитой. На стене колебался большой темный круг, увенчанный двумя рогами. Лешка догадался, что круг этот не что иное, как тень от головы его тетки с торчащими вверх концами платка.

Тетка пришла навестить Лешку, которого только неделю тому назад определила в «мальчики для комнатных услуг», и вела теперь серьезные переговоры с протезировавшей ей кухаркой. Переговоры носили характер неприятно-тревожный, тетка сильно волновалась, и рога на стене круто поднимались и опускались, словно какой-то невиданный зверь бодал своих невидимых противников.

Разговор велся полным голосом, но на патетических местах падал до шепота, громкого и свистящего.

Предполагалось, что Лешка моет в передней калоши. Но, как известно, человек предполагает, а Бог располагает, и Лешка с тряпкой в руках подслушивал за дверью.

— Я с самого начала понял, что он растяпа, — пела сладобным голосом кухарка. — Сколько раз говорю ему: коли ты, парень, не дурак, держись на глазах. Хушь дела не делай, а на глазах держись. Потому — Дуняшка оттирает. А он и ухом не ведет. Давеча опять барыня кричала — в печке не помешал и с головешками закрыл.

Рога на стене волнуются, и тетка стонет, как эолова арфа:

— Куда же я с ним денусь? Мавра Семеновна! Сапоги ему купила, не пито, не едено, пять рублей отдала. За куртку за переделку портной, не пито, не едено, шесть гривен содрал...

— Не иначе как домой отослать.

— Милая! Дорога-то, не пито, не едено, четыре рубля, милая!

Лешка, забыв всякие предосторожности, вздыхает за дверью. Ему домой не хочется. Отец обещал, что спустит с него семь шкур, а Лешка знает по опыту, как это неприятно.

— Так ведь выть-то еще рано, — снова поет кухарка. — Пока что никто его не гонит. Барыня только пригрозила... А жилец, Петр Дмитрич-то, очень заступается. Прямо горой за Лешку. Полно вам, говорит, Марья Васильевна, он, говорит, не дурак, Лешка-то. Он, говорит, форменный адеот, его и рутать нечего. Прямо-таки горой за Лешку.

— Ну, дай ему Бог...

— А уж у нас, что жилец скажет, то и свято. Потому что человек он начитанный, платит аккуратно...

— А и Дуняшка хороша! — закрутила тетка рогами. — Не пойму я такого народа — на мальчишку ябеду пущать...

— Истинно! Истинно. Давеча говорю ей: «Иди двери отвори, Дуняша», — ласково, как по-доброму. Так она мне как фыркнет в морду: «Я, грит, вам не швейцар, отворяйте сами!» А я ей тут все и выпела. Как двери отворять, так ты, говорю, не швейцар, а как с дворником на лестнице целоваться, так это ты все швейцар...

— Господи помилуй! С этих лет до всего дошпионивши. Девка молодая, жить бы да жить. Одного жалования, не пито, не...

— Мне что? Я ей прямо сказала: как двери открывать, так это ты не швейцар. Она, вишь, не швейцар! А как от дворника подарки принимать, так это она швейцар. Да жильцову помаду...

Трррр... — затрещал электрический звонок.

— Лешка-а! Лешка-а! — закричала кухарка. — Ах ты, про-вались ты! Дуняшу услали, а он и ухом не ведет.

Лешка, затаив дыхание, прижался к стене и тихо стоял, пока, сердито гремя крахмальными юбками, не проплыла мимо него разгневанная кухарка.

«Нет, дудки, — думал Лешка, — в деревню не поеду. Я парень не дурак, я захочу, так живо выслужусь. Меня не затрешь, не таковский».

И, выждав возвращения кухарки, он решительными шагами направился в комнаты.

«Будь, грит, на глазах. А на каких я глазах буду, когда никого никогда дома нет».

Он прошел в переднюю. Эге! Пальто висит — жилец дома.

Он кинулся на кухню и, вырвав у оторопевшей кухарки кочергу, помчался снова в комнаты, быстро распахнул дверь в помещение жильца и пошел мешать в печке.

Жилец сидел не один. С ним была молоденькая дама, в жакете и под вуалью. Оба вздрогнули и выпрямились, когда вошел Лешка.

«Я парень не дурак, — думал Лешка, тыча кочергой в горящие дрова. — Я те глаза намозолю. Я те не дармоед — я все при деле, все при деле!..»

Дрова трещали, кочерга гремела, искры летели во все стороны. Жилец и дама напряженно молчали. Наконец Лешка направился к выходу, но у самой двери остановился и стал озабоченно рассматривать влажное пятно на полу, затем перевел глаза на гостыни ноги и, увидев на них калоши, укоризненно покачал головой.

— Вот, — сказал он с упреком, — наследили! А потом хозяйка меня ругать будет.

Гостя вспыхнула и растерянно посмотрела на жильца.

— Ладно, ладно, иди уж, — смущенно успокаивал тот.

И Лешка ушел, но ненадолго. Он отыскал тряпку и вернулся вытирать пол.

Жильца с гостьей он застал молчаливо склоненными над столом и погруженными в созерцание скатерти.

«Ишь, уставились, — подумал Лешка, — должно быть, пятно заметили. Думают, я не понимаю! Нашли дурака! Я все понимаю. Я как лошадь работаю!»

И, подойдя к задумчивой парочке, он старательно вытер скатерть под самым носом у жильца.

— Ты чего? — испугался тот.

— Как чего? Мне без своего глазу никак нельзя. Дуняшка, косой чёрт, только ябеду знает, а за порядком глядеть она не швейцар... Дворника на лестнице...

— Пошел вон! Идиот!

Но молоденькая дама испуганно схватила жильца за руку и заговорила что-то шепотом.

— Поймет... — расслышал Лешка, — прислуга... сплетни...

У дамы выступили слезы смущения на глазах, и она дрожащим голосом сказала Лешке:

— Ничего, ничего, мальчик... Вы можете не затворять двери, когда пойдете...

Жилец презрительно усмехнулся и пожал плечами.

Лешка ушел, но, дойдя до передней, вспомнил, что дама просила не запирасть двери, и, вернувшись, открыл ее.

Жилец, как пуля, отскочил от своей дамы.

«Чудак, — думал Лешка, уходя. — В комнате светло, а он пугается!»

Лешка прошел в переднюю, посмотрел в зеркало, померил жильцову шапку. Потом прошел в темную столовую и поскреб ногтями дверцу буфета.

— Ишь, черт несоленый! Ты тут целый день как лошадь работаешь, а она знай только шкаф запирает.

Решил идти снова помешать в печке. Дверь в комнату жильца оказалась опять закрытой. Лешка удивился, однако вошел.

Жилец сидел спокойно рядом с дамой, но галстук у него был на боку, и посмотрел он на Лешку таким взглядом, что тот только языком прищелкнул:

«Что смотришь-то! Сам знаю, что не дармоед, сложа руки не сажу».

Уголья размешаны, и Лешка уходит, пригрозив, что скоро вернется закрывать печку. Тихий полустон-полувздых был ему ответом.

Лешка вошел и затосковал: никакой работы больше не придумаешь. Заглянул в барынину спальню. Там было тихо-тихо. Лампадка теплилась под образом. Пахло духами. Лешка влез на стул, долго рассматривал граненую розовую лампадку, истово перекрестился, затем окунул в нее палец и помастил надо лбом волосы. Потом подошел к туалетному столику и перенюхал по очереди все флаконы.

— Э, да что тут! Сколько ни работай, коли не на глазах, ни во что не считают. Хоть лоб прошиби.

Он грустно побрел в переднюю. В полутемной гостиной что-то пискнуло под его ногами, затем колыхнулась снизу портьера, за ней другая...

«Кошка! — сообразил он. — Ишь-ишь, опять к жильцу в комнату, опять барыня взбесится, как намедни. Шалишь!..»

Радостный и оживленный, вбежал он в заветную комнату.

— Я те, проклятая! Я те покажу шляться! Я те морду-то на хвост выверну!..

На жильце лица не было.

— Ты с ума сошел, идиот несчастный! — закричал он. — Кого ты ругаешь?

— Ей, подлой, только дай поблажку, так после и не выживешь, — старался Лешка. — Ее в комнаты пускать нельзя! От ей только скандал!..

Дама дрожащими руками поправляла съехавшую на затылок шляпку.

— Он какой-то сумасшедший, этот мальчик, — испуганно и смущенно шептала она.

— Брысь, проклятая! — и Лешка наконец, к всеобщему успокоению, выволок кошку из-под дивана.

— Господи, — взмолился жилец, — да уйдешь ли ты отсюда наконец?

— Ишь, проклятая, царапается! Ее нельзя в комнатах держать. Она вчера в гостиной под портьерой...

И Лешка длинно и подробно, не утаивая ни одной мелочи, не жалея огня и красок, описал пораженным слушателям все непорядочное поведение ужасной кошки.

Рассказ его был выслушан молча. Дама нагнулась и все время искала что-то под столом, а жилец, как-то странно надавливая Лешкино плечо, вытеснил рассказчика из комнаты и притворил дверь.

— Я парень смысленный, — шептал Лешка, выпуская кошку на черную лестницу. — Смысленный и работяга. Пойду теперь печку закрывать.

На этот раз жилец не услышал Лешкиных шагов: он стоял перед дамой на коленях и, низко-низко склонив голову к ее ножкам, замер, не двигаясь. А дама закрыла глаза и все лицо съежила, будто на солнце смотрит...

«Что он там делает? — удивился Лешка. — Словно пуговицу на ейном башмаке жует! Не... видно, обронил что-нибудь. Пойду поищу...»

Он подошел и так быстро нагнулся, что внезапно воспрянувший жилец пребольно стукнул ему лбом прямо в бровь.

Дама вскочила вся растерянная. Лешка полез под стул, обшарил под столом и встал, разводя руками.

— Ничего там нету.

— Что ты ищешь? Чего тебе, наконец, от нас нужно? — крикнул жилец неестественно тоненьким голосом и весь покраснел.

— Я думал, обронули что-нибудь... Опять еще пропадет, как брошка у той барыни, у черненькой, что к вам чай пить ходит... Третьего дня, как уходила, я, грит, Леша, брошку потеряла, — обратился он прямо к даме, которая вдруг стала слушать его очень внимательно, даже рот открыла, а глаза у нее стали совсем круглые. — Ну, я пошел да за ширмой на столике и нашел. А вчера опять брошку забыла, да не я убирал, а Дуняшка, — вот и брошке, стало быть, конец...

— Так это правда! — странным голосом вскрикнула вдруг дама и схватила жильца за рукав. — Так это правда! правда!

— Ей-богу, правда, — успокаивал ее Лешка. — Дуняшка сперла, косой черт. Кабы не я, она бы все покрала. Я как лошадь все убираю... ей-богу, как собака...

Но его не слушали. Дама скоро-скоро побежала в переднюю, жилец за ней, и оба скрылись за входной дверью.

Леша пошел в кухню, где, укладываясь спать в старый сундук без верха, с загадочным видом сказал кухарке:

— Завтра косому черту крышка.

— Ну-у! — радостно удивилась та. — Рази что говорили?

— Уж коли я говорю, стало, знаю.

На другой день Лешку выгнали.

Проворство рук

На дверях маленького деревянного балаганчика, в котором по воскресеньям танцевала и разыгрывала благотворительные спектакли местная молодежь, красовалась длинная красная афиша:

«Специально проездом, по желанию публики, сеанс грандиознейшего факира из черной и белой магии.

Поразительнейшие фокусы, как-то: сожигательство платка на глазах, добывание рубля из носа почтеннейшей публики и прочее вопреки природе».

Из бокового окошечка выглядывала печальная голова и продавала билеты.

Дождь шел с утра. Деревья сада вокруг балаганчика намокли, разбухли, обливались серым мелким дождиком покорно, не отягиваясь.

У самого входа пузырилась и булькала большая лужа. Билетов было продано только на три рубля.

Стало темнеть.

Печальная голова вздохнула, скрылась, и из дверей вылез маленький облезлый господин неопределенного возраста.

Придерживая двумя руками пальто у ворота, он задрал голову и оглядел небо со всех сторон.

— Ни одной дыры! Все серое! В Тимашеве прогар, в Щиграх прогар, в Дмитриеве прогар... В Обояни прогар, в Курске прогар... А где не прогар? Где, я спрашиваю, не прогар? Судье почетный билет послал, голове послал, господину исправнику... всем послал. Пойду лампы заправлять.

Он бросил взгляд на афишу и оторваться не мог.

— Чего им еще надо? Нарыв в голове или что?

К восьми часам стали собираться.

На почетные места или никто не приходил, или посылали прислугу. На стоячие места пришли какие-то пьяные и стали сразу грозить, что потребуют деньги обратно.

К половине десятого выяснилось, что больше никто не придет. А те, которые сидели, все так громко и определенно ругались, что оттягивать дольше становилось опасным.

Фокусник напялил длинный сюртук, с каждой гастролью становившийся все шире, вздохнул, перекрестился, взял коробку с таинственными принадлежностями и вышел на сцену.

Несколько секунд он стоял молча и думал:

«Сбор четыре рубля, керосин шесть гривен, — это еще ничего, а помещение восемь рублей, так это уже чего! Головин сын на почетном месте — пусть себе. Но как я уеду и что буду кушать, это я вас спрашиваю. И почему пусто? Я бы сам валил толпой на такую программу».

— Браво! — закричал один из пьяных.

Фокусник очнулся. Зажег на столе свечку и сказал:

— Уважаемая публика! Позволю предпослать вам предисловием. То, что вы увидите здесь, не есть что-либо чудесное или колдовство, что противно нашей православной религии и даже запрещено полицией. Этого на свете даже совсем не бывает. Нет! Далеко не так! То, что вы увидите здесь, есть не что иное, как ловкость и проворство рук. Даю вам честное слово, что никакого таинственного колдовства здесь не будет. Сейчас вы увидите необычайное появление кругого яйца в совершенно пустом платке.

Он порылся в коробке и вынул свернутый в комочек пестрый платок. Руки у него слегка тряслись.

— Извольте убедиться сами, что платок совершенно пуст. Вот я его вытряхую.

Он вытряхнул платок и растянул руками.

«С утра одна булочка в копейку и чай без сахара, — думал он. — А завтра что?»

— Можете убедиться, — повторял он, — что никакого яйца здесь нет.

Публика зашевелилась, зашепталась. Кто-то фыркнул. И вдруг один из пьяных загудел:

— Вре-шь! Вот яйцо.

— Где? Что? — растерялся фокусник.

— А к платку на веревочке привязал.

— С той стороны, — закричал голоса. — На свечке просвечивает.

Смущенный фокусник перевернул платок. Действительно, на шнурке висело яйцо.

— Эх ты! — заговорил кто-то уже дружелюбно. — Тебе за свечку зайти, вот и незаметно бы было. А ты вперед залез! Так, братец, нельзя.

Фокусник был бледен и криво улыбался.

— Это действительно, — говорил он. — Я, впрочем, предупреждал, что это не колдовство, а исключительно проворство рук. Извините, господа... — голос у него задрожал и пресекался.

— Ладно! Ладно!

— Нечего тут!

— Валяй дальше!

— Теперь приступим к следующему поразительному явлению, которое покажется вам еще удивительнее. Пусть кто-нибудь из почтеннейшей публики одолжит свой носовой платок.

Публика стеснялась.

Многие уже вынули было, но, посмотрев внимательно, поспешили запрятать в карман.

Тогда фокусник подошел к головному сыну и протянул свою дрожащую руку.

— Я мог бы, конечно, свой платок, так как это совершенно безопасно, но вы можете подумать, что я что-нибудь подменил.

Головин сын дал свой платок, и фокусник развернул его, встряхнул и растянул.

— Прошу убедиться! Совершенно целый платок.

Головин сын гордо смотрел на публику.

— Теперь глядите. Этот платок стал волшебным. Вот я его свертываю трубочкой, вот подношу к свечке и зажигаю. Горит. Отгорел весь угол. Видите?

Публика вытягивала шею.

— Верно! — кричал пьяный. — Паленым пахнет.

— А теперь я сосчитаю до трех и — платок будет опять цельным.

— Раз! Два! Три!! Извольте посмотреть!

Он гордо и ловко расправил платок.

— А-ах!

— А-ах! — ахнула и публика.

Посреди платка зияла огромная паленая дыра.

— Однако! — сказал головин сын и засопел носом.

Фокусник прижал платок к груди и вдруг заплакал.

— Господа! Почтеннейшая пу... Сбору никакого!.. Дождь с утра... не ел... не ел — на булку копейка!

— Да ведь мы ничего! Бог с тобой! — кричала публика.

— Рази мы звери! Господь с тобой.

Но фокусник всхлипывал и вытирал нос волшебным платком.

— Четыре рубля сбору... помещенье — восемь рублей... во-о-о-осемь... во-о-о-о...

Какая-то баба всхлипнула.

— Да полно тебе! О, Господи! Душу выворотил! — кричали кругом.

В дверь просунулась голова в клеенчатом капюшоне.

— Эт-то что? Расходитесь по домам!

Все и без того встали. Вышли. Захлопали по лужам, молчали, вздыхали.

— А вот что я вам скажу, братцы, — вдруг ясно и звонко сказал один из пьяных.

Все даже приостановились.

— А что я вам скажу! Ведь подлец народ нонеча пошел. Он с тебя деньги сдерет, он у тебя и душу выворотит. А?

— Вздуть! — ухнул кто-то во мгле.

— Именно что вздуть. Айда! Кто с нами? Раз, два... Ну, марш! Безо всякой совести народ... Я тоже деньги платил некрадены... Ну, мы ж те покажем! Жжива.

Покаянное

Старуха нянька, живущая на покое в генеральской семье, пришла от исповеди.

Посидела минуточку у себя в уголку и обиделась: господа обедали, пахло чем-то вкусным, слышался быстрый топот горничной, подававшей на стол.

— Тыфу! Страстная не Страстная, им все равно. Лишь бы утробу свою напитать. Нехотя согресишь, прости Господи!

Вылезла, пожевала, подумала и пошла в проходную комнату. Села на сундучок.

Прошла мимо горничная, удивилась.

— И штой-то вы, няничка, тут сидите? Ровно кукла! Ей-богу — ровно кукла!

— Думай, что говоришь-то! — огрызнулась нянька. — Эдакие дни, а она божится. Разве показано божиться в эдакие дни? Человек у исповеди был, а на вас гляючи до причастия испоганиться успеешь.

Горничная испугалась.

— Виновата, няничка! Поздравляю вас, исповедавшись.

— «Поздравляю!» Нынче разве поздравляют! Нынче ноявят, как бы человека избидеть да упрекнуть. Давеча наливка ихняя пролилась. Кто ее знает, чего она пролилась.

Тоже умней Бога не будешь. А маленькая барышня и говорит: «Это, верно, няня пролила!» С эдаких лет и такие слова.

— Удивительно даже, няничка! Такие маленькие и так уже все знают!

— Нонешние дети, матушка, хуже акушеров! Вот они какие, нонешние-то дети! Мне что! Я не осуждаю. Я вон у исповеди была, я теперь до завтрашнего дня маковой росинки не глотну, не то что... А ты говоришь — поздравлять. Вон старая барыня на четвертой неделе говели; я Сонечке говорю: «Поздравь бабенку». А она как фыркнет: «Вот еще! очень нужно!» А я говорю: «Бабенку уважать надо! Бабенка помрет, может наследства лишить». Да кабы мне эдакую бабенку, да я бы каждый день нашла бы с чем поздравить. С добрым утром, бабенка! Да с хорошей погодой! Да с наступающим праздником! Да с черствыми именинами! Да счастливо откушамши! Мне что! Я не осуждаю. Я завтра причащаться иду, я только к тому говорю, что нехорошо и довольно стыдно.

— Вам бы, няничка, отдохнуть! — лебезила горничная.

— Вот уж ноги протяну, належусь в гробу. Наотдыхаюсь. Будет вам время нарадоваться. Давно бы со свету сжили, да вот не даюсь я вам. Молодая кость на зубах хрустит, а старая поперек горла становится. Не слопаете.

— И что это вы, няничка! И все вас только и смотрят, как бы уважить.

— Нет, уж ты мне про уважателей не говори. Это у вас уважатели, а меня смолodu никто не уважал, так под старость мне срамиться уж поздно. Ты вон лучше кучера пойдй спроси, куды он барыню на медни возил... Вот что спроси.

— Ой, и что вы, няничка! — зашептала горничная и даже присела перед старухой на корточки. — Куды ж это он возил? Я ведь, ей-богу, никому...

— А ты не божись. Божиться грех! За божбу, знаешь, как Бог накажет! А в такое место возил, где шевелящих мужчин показывают. Шевелятся и поют. Простынищу расстилают, а они по ней и шевелятся. Мне маленькая барышня рассказала. Самой, вишь, мало, так она и девчонку повезла. Сам бы узнал, взял бы хворостину хорошую да погнал бы вдоль по Захарьевской! Сказать только некому. Разве нынешний народ ябеду понимает. Нынче каждому только до себя и дело. Тьфу! Что ни вспомнишь, то и согрешишь! Господи прости!

— Барин человек занятой, конечно, им трудно до всего доглядеть, — скромно опустив глаза, пела горничная. — Они народ миловидный.

— Знаю я барина твоего! С детства знаю! Кабы не идти завтра к причастию, рассказала бы я тебе про барина твоего! С детства такой! Люди к обедне идут — наш еще не продрыхался. Люди из церкви идут — наш чай с кофейми пьет. И как его только, лежебоку, дармоедину, мать свята до генерала дотянула — ума не приложу! Уж думается мне: украл он себе этот чин! Где ни есть, а украл! Вот попытаться только некому! А я уж давно смекаю, что украл. Они думают: нянька старая дура, так при ней все можно! Дура-то, может, и дура. Да не всем же умным быть, надо кому-нибудь и глупым.

Горничная испуганно оглянулась на двери.

— Наше дело, няничка, служебное. Бог с им! Пушай! Не нам разбирать. Утром-то рано в церкву пойдете?

— Я, может, и совсем ложиться не буду. Хочу раньше всех в церкву прийти. Чтoб всякая дрянь вперед людей не лезла. Всяк сверчок знай свой шесток.

— Это кто же лезет-то?

— Да старушонка тут одна. Ледащая, в чем душа держится. Раньше всех, прости Господи, мерзавка в церкву придет, а позже всех уйдет. Кажинный раз всех перестоит. И хоша бы присела на минуточку! Уж мы все старухи удивляемся. Как ни крепись, а пока часы читают, немножечко присядешь. А уж эта ехида не иначе как нарочно. Статочное ли дело эстолько выстоять! Одна старуха чуть ей платок свечкой не припалила. И жаль, что не припалила. Не пялся! Чего пялиться! Разве указано, чтобы пялиться. Вот приду завтра раньше всех да перестою ее, так небось форсу-то посбавит. Видеть ее не могу! Стою сегодня на коленках, а сама все на нее смотрю. Ехида ты, думаю, ехида! Чтoб тебе водяным пузырем лопнуть! Грех ведь это — а ничего не поделаешь.

— Ничего, няничка, вы теперь исповедамышь, все грехи батюшке попу отпустили. Теперь ваша душенька чиста и невинна.

— Да, черта с два! Отпустила! Грех это, а должна сказать: плохо меня этот поп исповедовал. Вот когда в монастырь с тетушкой с княгинюшкой ездили, вот это можно сказать, что исповедовал. Уж он меня пытал-пытал, корил-корил,

три епитимьи наложил! Все выпросил. Спрашивал, не думает ли княгиня луга в аренду сдавать. Ну, я покаялась, сказала, что не знаю. А энтот живо скоро. Чем грешна? Да вот, говорю, батюшка, какие у меня грехи. Самые старушьи. Кофий люблю да с прислугами ссорюсь. «А особых, — говорит, — нет?» А каки таки особые? Человеку каждый свой грех особый. Вот что. А он вместо того, чтобы попытать да посрамить, взял да и отпуск прочел. Вот тебе и все! Небось деньги-то взял. Сдачи-то небось не дал, что у меня особых-то нет! Тьфу, прости Господи! Вспомнишь, так согрешишь! Спаси и помилуй. Ты чего тут расселась? Шла бы лучше да подумала: «Как это я так живу, и все не по-хорошему?» Девушка ты молодая! Вон воронье гнездо на голове завил! А подумала ли ты, какие дни стоят? В эдакие дни эдак себя допустить. И нигде от вас, бесстыдниц, проходу нет! Исповедавшись пришла, дай — думала — посижу тихонько. Завтра ведь причащаться идтить. Нет. И тут доспела. Пришла, натурчала всякой пакости, какая ни на есть хуже. Чертова мочалка, прости Господи! Ишь, пошла с каким форсом! Не долго, матушка! Все знаю! Дай срок, все барыне выпою! Пойтить отдохнуть. Прости Господи, еще кто привяжется!

СВОЙ ЧЕЛОВЕК

Федор Иваныч получил на службе замечание и возвращался домой сильно не в духе. Чтобы отвести душу, стал нанимать извозчика от Гостиного двора на Петроградскую сторону за пятнадцать копеек.

Извозчик ответил коротко, но сильно. Завязалась интересная беседа, вся из различных пожеланий. Вдруг кто-то дернул Федора Иваныча за рукав. Он обернулся.

Перед ним стоял незнакомый худощавый брюнет с мрачно-оживленным лицом, какое бывает у человека, только что потерявшего кошелек, и быстро, но монотонно говорил:

— А мы таки уже здесь! Разве я хотел сюда ехать? Ну, а что я могу, когда она меня затащила? За паршивые пятьсот

рублей, чтобы человека водили, как барана на веревке, так это, я вам скажу, надо иметь отчаяние в голосе!

Федор Иванович сначала рассердился, потом удивился.

Кто такой? Чего лезет?

— Извините, милостивый государь, — сказал он, — я не имею чести...

Но незнакомец не дал договорить.

— Ну, я уже вперед знаю, что вы скажете! Так я вам прямо скажу, что у вас я не мог остановиться, потому что вы мне не оставили своего адреса. Ну, у кого спросить? У Самуильсона? Так Самуильсон скажет, что он вас в глаза не видал.

— Никакого Самуильсона я не знаю, — отвечал Федор Иванович. — И прошу вас...

— Ну, так как вы хотите, чтобы он сказал мне ваш адрес, когда вы даже и незнакомы. А Манкина купила ковер, так они уже себе воображают... Ну что такое ковер? Я вас спрашиваю!

— Будьте добры, милостивый государь, — удосужился вставить Федор Иванович, — оставьте меня в покое!

Незнакомец посмотрел на него, вздохнул и заговорил по-прежнему быстро и монотонно:

— Ну, так я должен вам сказать, что я таки женился. Она такая рожа, на все Шавли! Говорили про нее, что глаз стеклянный, так это, нужно заметить, правда. Говорили, что имеет кривой бок, так это уж тоже правда. Еще говорили, что характер... Так это уж так верно! Вы скажете, когда же он успел жениться? так я вам скажу, что уж давно. Дайте посчитать: сентябрь... октябрь... гм... ноябрь... да, ноябрь. Так я уже пять дней как женат. Два дня там страдал, да два дня в дороге... И кто виноват? Так вы удивитесь! Соловейчик!

Федор Иванович действительно как будто удивился. Рассказчик торжествовал.

— Соловейчик! Абрамсон мне говорил: «Чего вы не покупаете себе аптеку? так вы купите аптеку». Ну, кто не хочет купить аптеку? Я вас спрашиваю. Покажите мне дурака! А Соловейчик говорит: «Идемте к мадам Целковник, у нее дочка, так уж это дочка! Имеет приданого три тысячи. Будете иметь деньги на аптеку». Я так обрадовался... ну, думаю себе, пусть уж там, если уж все было худо, так может и еще немножко

быть! Поехал себе в Могилев, стрелял в большую аптеку... Что вы смотрите? Ну, не совсем стрелял, а только себе целил. Присмотрел. А мадам Целковник денег не дает и дочку прячет. Дала себе паршивые пятьсот рублей задатку. Я взял. Кто не возьмет задатку? Я вас спрашиваю! Покажите мне дурака. А Шелькин повел меня к Хасиным, у них за дочкой пять тысяч настоящими деньгами. Хасины бал делают, гостей много... так интеллигентно танцуют. А Соловейчик выше всех скачет. Я себе думаю: возьму лучше пять тысяч и буду стрелять к Карфункелю в аптеку по самой площади. Ну, так Соловейчик говорит: «Деньги? У Хасиных деньги? Пусть у меня так не будет денег, как у них!» Вы скажете, зачем я поверил Соловейчику? Ой! Вы же должны знать, что у него две лавки и кредит; это не мы с вами. Вельможа!! Ну, прямо сказать, он таки женился на мадемуазель Хасиной, а я — на Целковник. Так она еще велела везти себя в Петроград на мой счет! Видели это? Ей-богу, это такая рожка, что прямо забыть не могу! Ходил сейчас по Большому, хотел стрелять в аптеку. Ну, что там! Вот встретил вас, так уж приятно, что свой человек.

— Да позвольте же, наконец! — взревел Федор Иванович. — Ведь мы же с вами не знакомы!

Жертва Соловейчика удивленно вскинула брови.

— Мы? Мы не знакомы? Ну, вы меня мертвецки удивляете! Позвольте! Позапрошлым летом ездили вы в Шавли? Ага! Ездили! Ходили с господином землемером лес смотреть? Ага! Так я вам скажу, что зашли вы к часовщику Магазинеру, а около двери один господин вас упредил, что Магазинер пошли кушать. Ну, так этот же господин был я, а! Ну?

В стерео-фото-кине-мато-скопо-био фоно и проч.-графе

— Пожалуйста, господин объяснитель, не перепутайте опять катушек, как в тот раз.

— Что такое в тот раз? Я вас не понимаю.

— А то, что на экране изображался Вильгельм и спуск броненосца, а вы валяли из естественной истории о какой-то там бабочкиной пыльце. Могут выйти крупные неприятности, не говоря уже о том, что платить даром деньги я не желаю. Вы — прекрасный оратор, я не спорю, и великолепно знаете свое дело, но нужно иногда поглядывать на экран.

— Я не могу становиться спиной к публике. Это болван машинист путает, — ему и говорите.

— Можете скосить глаза, чтоб было видно. Словом, будьте осмотрительнее. Пора начинать.

Ддзз... — зашипел фонарь. Объяснитель откашлялся и, став спиной к экрану, подставил прямо у свету свое вдохновенное лицо.

— Милостивые государи и милостивые государыни! — начал он. — Перед вами почтеннейшая река Северной Америки, так называемая Амазонка, за пристрастие тамошних прекрасных дам к верховой езде. Амазонка катит свои величественные волны день и ночь, образуя водопады, истоки и притоки, под плеск которых совершаются различные события. Кусты, деревья, песок и прочие разнообразности природы окаймляют ее живописные берега.

Теперь один миг... И вот мы присутствуем при мрачных развалинах Колизея. Ужас охватывает члены и приковывает внимание. Здесь могущественный тиран демонстрировал свое жестокосердие. (Гм... меняй, что ли, не век же!..) Ну-с, теперь, как по мановению волшебного жезла, мы переносимся в дивную Грецию и останавливаемся перед статуей святой Киприды, поражающей уже много веков грацией осанки. (Ну?) А вот и почтеннейший город Венеция, превышающий своими красотами игру самого опытного соображения.

Ддззз...

Вот раскопки Помпеи. Труп собаки и двое влюбленных, поза которых доказывает изумленным зрителям, что наши предки умели так же любить, как и наши потомки.

Ддззз... (А? Отстаньте! Сам знаю.)

Теперь сделаем временное отступление в область естественной истории. Перед вами картина, которую можно наблюдать при помощи чудо-микроскопа, гордости двад-

цатого века. Он показывает мельчайшие, не видимые глазу анатомы, блоху величиною со слона и инфузорию в куске сыра. Много есть необъяснимого в природе, и люди, сами того не подозревая, носят целые миры под ногтем любого из своих пальцев.

Теперь взглянем на Везувий: что может быть величественнее этой извергающейся картины приро... (Что? А мне какое дело! Сам виноват. Не я катушки путал. Ставь следующую! О, черт!) Перед вами, милостивые государи, редкий экземпляр живородящей рыбы. Природа в своем щедром разнообразии... (Зачем же Везувий, когда я начал про рыбу? Уж держи что-нибудь одно. Поправился! Я тебе поправлюсь!) Дым валит из грандиозного жерла в виде воронки и живописно вырисовывается на лазурной синеве южного неба. Еще одно мановение волшебного жезла (долго будешь копаться?)... и вот мы на берегу Неаполя, дивнейшего города в мире. Тысячу раз права пословица (не перебивай!), говорящая: «Кто не пил воды из Неаполя, тот не пил ничего». (Что? ископаемое? Кто тебе велел! Меняй катушку, чтоб тебя!..) Прекрасны также окрестности этого уважаемого города. Вот перед вами Пигмалион, ожививший при помощи своего вдохновения (Как свинья? Зачем свинья? Вечно лезете не в ту коробку! Отложите в сторону!) гм... дивную мраморную скульптуру, которую он собственноручно высек (опять! Да я же вам сказал, отложите в сторону! Вы думаете, что если покажете свинью хвостом вперед, то это уже будет Пигмалион?) из тончайшего мрамора. Есть много чудес природы, но чудеса искусства от этого не делаются хуже.

Дззз...

И вот второй образец дивного творчества неизвестных рук — досточтимая всеми Венера Милосская. Причислившая свою красоту к лику богов, она, тем не менее, обнаруживает стыдливость (так я же говорил... Зачем поправлять! Нужно прямо снять и отложить в сторону. Нельзя же свинью, когда я говорю о другой катушке!), что показывает скромность, присущую древним грекам даже на самых высоких ступенях общественной лестницы... (а вы таки свое! Это прямо какой-то крест на моей жизни!) лестницы. А вот еще одно мгновение... от этой группы неизвестного резца мы перекидываемся в необъятную степь нашего великого

и грозного оте... (если вы хотите показывать свою свинью двенадцать раз подряд, то лучше сделать антракт, потому что публика может потребовать деньги обратно. Каждый заплатил и имеет право потребовать. Я вам говорю, лучше погасите лампу. Что? Господин директор разберет — кто!). А теперь, милостивые государи и милостивые государыни, сделаем перерыв на десять минут, после которого снова пустимся в наши далекие странствования по белу свету, которые так развивают умственные способности и душевные свойства нашей натуры, несмотря на то что мы совершаем их, сидя на комфортабельных стульях. (Болван! Вы, вы болван!) Итак, до свидания на острове Целебесе среди местных нравов и поражающей обстановки.

Курорт

Сезон умирает.

Разъезжаются дачники, закрываются ванны и купальни.

В кургаузе разговоры о железной дороге, пароходах, о скором отъезде.

Дамы ходят по магазинам, покупают сувениры: деревянные раскрашенные вазочки, финские ножи и передники.

— Сколько стоит «митя макс»¹? — спрашивает дама у курносого, с белыми глазами, дворника.

— Кольме марка², — отвечает тот.

— Кольме... гм... кольме это сколько? — спрашивает дама у спутницы.

— Три... кажется, три.

— А на наши деньги сколько?

— Три помножить на тридцать семь... гм... трижды три — девять, да трижды семь... не множится...

— Утомительная жизнь в Финляндии, — жалуется первая. — Целые дни только ходишь да переводишь с марки на рубль, да с метра на аршин, да с километра на версту, да с килограмма

¹ Митя макс (mitä maks) — сколько стоит (*финск.*).

² Кольме марка (kelme markkea) — три марки (*финск.*).

на пуд. Голова кру'гом идет. Все лето мучилась, а спроси, так и теперь не знаю, сколько в килограмме аршин, то бишь марок.

• • •

Тяжелее всех чувствует увядание жизни молодой помощник аптекаря.

Каждый четверг танцевал он в курзале бешеные венгерки с молодыми ревматичками, бравшими грязевые ванны.

Каждое утро бегал он на пристань и покупал себе свежий цветок в петличку.

Цветы привозили окрестные рыбаки прямо на лодках, вместе с рыбой, и эти дары природы во время пути любезно обменивались ароматами. Поэтому в ресторане кургауза часто подавалась щука, отдающая левкоем, а розовая гвоздика на груди аптекаря благоухала салакой.

О, незабвенные танцевальные вечера под звуки городского оркестра: скрипка, труба и барабан!

Вдоль стен на скамейках и стульях сидят маменьки, тетеньки, уже потерявшие смелость показывать публике свою грацию, и младшие сестрицы, еще не отваживающиеся.

На стене висит расписание танцев.

Вот загудела труба, взвизгнула скрипка, стукнул барабан.

— Это, кажется, полька? — догадывается одна из сидящих маменек.

— Ах нет, мамочка, кадрили! Новая кадрили, — говорит сестричка.

— Не болтай ногами и не дергай носом, — вмешивается тетенька. — Это не кадрили, а мазурка.

Распорядитель, длинноногий студент, швед, на минутку задумывается, но, бросив быстрый взгляд на расписание, смело кричит:

— Valsons!

И вот молодой помощник аптекаря, томно склонившись, охватывает плотный стан дамы, лечащейся от ревматизма в руке, и начинает плавно вращать ее вокруг комнаты. Алая гвоздика между их носами пахнет окунем.

— Pas d'espagne! — красный и мокрый, кричит распорядитель, и голова его от натуги трясется.

Выскакивает гимназист, маленький, толстый, в пузырящейся парусиновой блузе. Перед ним, держа его за руку, топает

ногами пожилая гувернантка одного из докторов. Гимназист чувствует себя истинным испанцем, щелкает языком, а гувернантка мрачно наступает на него, как бык на тореадора.

Маленький кадет, обдернув блузу, неожиданно расшаркнулся перед одной из теток. Та приняла это за приглашение и пустилась плясать. К ужасу маленького кадета, тетка проявила чисто испанскую страсть и неутомимость в танцах. Она извивалась, пристукивала каблуками и посылала своему крошечному кавалеру ваххические улыбки.

Помощник аптекаря выделял такие кренделя своими длинными ногами, что наблюдавший за танцами у дверей старый полковник даже обиделся.

— Поставить бы им солдат на постой, перестали бы безобразничать.

Распорядитель снова справляется с расписанием и призывает всех к венгерке.

Страсти разгораются. Пол, возраст, общественное положение — все ступевывается и тонет в гулком топоте ног, визгах и грохоте оркестра.

Вот женщина-врач в гигиеническом капоте мечется с двенадцатилетним тонконогим крокетистом; вот две барышни — одна за кавалера, вот десятилетняя девочка с седообразным шведом; вот странная личность в бархатных туфлях и парусиновой паре лягается, обняв курсистку-медичку.

Ровно в час ночи оркестр замолкает мгновенно. Напрасно танцоры, болтая в воздухе ногами, поднятыми для «па де зефир», умоляют поиграть еще хоть пять минут. Музыканты мрачно свертывают ноты и сползают с хоров. Они молча проходят мимо публики, и многие вслух удивляются, как это три человека в состоянии были производить такой страшный шум.

* * *

На другое утро томный аптекарский ученик, загадочно улыбаясь, толчет в ступке мел с мятой.

Открывается дверь. Она. Дама, страдающая ревматизмом в руке.

— Bitte... Marienbad...¹ — лепечет она, но глаза ее говорят: «Ты помнишь?»

¹ Пожалуйста... Мариенбад... (нем.)

— Искусственный или натуральный? — тихо спрашивает он, а глаза отвечают: «Я помню! Я помню!»

— Гигроскопической ваты на десять пенни, — вздыхает она («Ты видишь, как трудно уйти отсюда»).

Он достает вату, завертывает ее и потихоньку душит оппопанаксом.

В петличке у него увядшая вчерашняя гвоздика. Сегодня уже не привезли новых цветов.

Осень.

Взамен политики

Конст. Эрбергу

Сели обедать.

Глава семьи, отставной капитан, с обвисшими, словно мокрыми усами и круглыми, удивленными глазами, озирался по сторонам с таким видом, точно его только что вытащили из воды и он еще не может прийти в себя. Впрочем, это был его обычный вид, и никто из семьи не смущался этим.

Посмотрев с немим изумлением на жену, на дочь, на жильца, нанимавшего у них комнату с обедом и керосином, заткнул салфетку за воротник и спросил:

— А где же Петька?

— Бог их знает, где они валандаются, — отвечала жена. — В гимназию палкой не выгонишь, а домой калачом не заманишь. Балует где-нибудь с мальчишками.

Жилец усмехнулся и вставил слово:

— Верно, все политика. Разные там митинги. Куда взрослые, туда и они.

— Э нет, миленький мой, — выпучил глаза капитан. — С этим делом, слава Богу, покончено. Никаких разговоров, никакой трескотни. Кончено-с. Теперь нужно делом заниматься, а не языком трепать. Конечно, я теперь в отставке, но и я не сижу без дела. Вот придумаю какое-нибудь изобретение, возьму патент и продам, к стыду России, куда-нибудь за границу.

— А что же вы изволите изобретать?

— Да еще наверное не знаю. Что-нибудь да изобрету. Господи, мало ли еще вещей не изобретено! Ну, например, скажем, изобрету какую-нибудь машинку, чтобы каждое утро, в положенный час, аккуратно меня будила. Покрутил с вечера ручку, а уж она сама и разбудит. А?

— Папочка, — сказала дочь, — да ведь это просто будильник.

Капитан удивился и замолчал.

— Да, вы действительно правы, — тактично заметил жилец. — От политики у нас всех в голове трезвон шел. Теперь чувствуешь, как мысль отдыхает.

В комнату влетел краснощекий третьеклассник гимназист, чмокнул на ходу щеку матери и громко закричал:

— Скажите: отчего гимн-азия, а не гимн-африка.

— Господи помилуй! С ума сошел! Где тебя носит! Чего к обеду опаздываешь? Вон и суп холодный.

— Не хочу супу. Отчего не гимн-африка?

— Ну, давай тарелку: я тебе котлету положу.

— Отчего кот-лета, а не кошка-зима? — деловито спросил гимназист и подал тарелку.

— Его, верно, сегодня выпороли, — догадался отец.

— Отчего вы-пороли, а не мы-пороли? — запихивая в рот кусок хлеба, бормотал гимназист.

— Нет, видели вы дурака? — возмущался удивленный капитан.

— Отчего бело-курый, а не черно-петухатый? — спросил гимназист, протягивая тарелку за второй порцией.

— Что-о? Хоть бы отца с матерью постыдился?!..

— Петя, постой, Петя! — крикнула вдруг сестра. — Скажи, отчего говорят д-верь, а не говорят д-сомневайся? А?

Гимназист на минуту задумался и, вскинув на сестру глаза, ответил:

— А отчего пан-талоны, а не хам-купоны!

Жилец захихикал.

— Хам-купоны... А вы не находите, Иван Степанович, что это занятно? Хам-купоны!..

Но капитан совсем растерялся.

— Сонечка! — жалобно сказал он жене. — Выгони этого... Петьку из-за стола! Прошу тебя, ради меня.

— Да что ты, сам не можешь, что ли? Петя, слышишь? Папочка тебе приказывает выйти из-за стола. Марш к себе, в комнату! Сладкого не получишь!

Гимназист надулся.

— Я ничего худого не делаю... у нас весь класс так говорит... Что ж, я один за всех отдувайся!..

— Нечего, нечего! Сказано — иди вон. Не умеешь себя вести за столом, так и сиди у себя!

Гимназист встал, обдернул курточку и, втянув голову в плечи, пошел к двери.

Встретив горничную с блюдом миндального киселя, всхлипнул и, глотая слезы, проговорил:

— Это подло — так относиться к родственникам... Я не виноват... Отчего вино-ват, а не пиво-ват?!..

Несколько минут все молчали. Затем дочь сказала:

— Я могу сказать, отчего я вино-вата, а не пиво-хлопок.

— Ах, да уж перестань хоть ты-то! — замахала на нее мать. — Слава богу, не маленькая...

Капитан молчал, двигал бровями, удивлялся и что-то шептал.

— Ха-ха! Это замечательно, — ликовал жилец. — А я тоже придумал: отчего живу-зем, а не помер-зем. А? Это, понимаете, по-французски. Живузем. Значит «я вас люблю». Я немножко знаю языки, то есть сколько каждому светскому человеку полагается. Конечно, я не специалист-лингвист...

— Ха-ха-ха! — заливалась дочка. — А почему Дуб-ровин, а не осина-одинакова?..

Мать вдруг задумалась. Лицо у нее стало напряженное и внимательное, словно она к чему-то прислушивалась.

— Постой, Сашенька! Постой минутку. Как это... Вот опять забыла...

Она смотрела на потолок и моргала глазами.

— Ах да! Почему сатана... нет... почему дьявол... нет, не так!..

Капитан уставился на нее в ужасе.

— Чего ты лаешься?

— Постой! Постой! Не перебивай. Да! Почему говорят черт-ить, а не дьявол-ить?

— Ох, мама! Мама! Ха-ха-ха! А отчего «па-почка», а не...

— Пошла вон, Александра! Молчать! — крикнул капитан и выскочил из-за стола.

* * *

Жильцу долго не спалось. Он ворочался и все придумывал, что он завтра спросит. Барышня вечером прислала ему с горничной две записочки. Одну в девять часов: «Отчего обни-мать, а не обни-отец?» Другую — в одиннадцать: «Отчего руб-ашка, а не девяносто девять копеек-ашка?»

На обе он ответил в подходящем тоне и теперь мучился, придумывая, чем бы угостить барышню завтра.

— Отчего... отчего... — шептал он в полудремоте.

Вдруг кто-то тихо постучал в дверь.

— Кто там?

Никто не ответил, но стук повторился.

Жилец встал, закутался в одеяло.

— Ай-ай! Что за шалости! — тихо смеялся он, отпирая двери, и вдруг отскочил назад.

Перед ним, еще вполне одетый, со свечой в руках стоял капитан. Удивленное лицо его было бледно, и непривычная напряженная мысль сдвинула круглые брови.

— Виноват, — сказал он. — Я не буду беспокоить... Я на минутку... Я придумал...

— Что? Что? Изобретение? Неужели?

— Я придумал: отчего чер-нила, а не чер-какой-нибудь другой реки? Нет... у меня как-то иначе... лучше выходило... А впрочем, виноват... Я, может быть, обеспокоил... Так — не спалось, — заглянул на огонек..

Он криво усмехнулся, расшаркался и быстро удалился.

Новый циркуляр

Евель Хасин стоял на берегу и смотрел, как его сын тянет паром через узенькую, поросшую речонку.

На пароме стояла телега, понурая лошаденка и понурый мужичонка.

В душе Евеля шевельнулось сомнение.

— Чи ты взял с него деньги вперед? — крикнул он сыну.

Сын что-то отвечал. Евель не расслышал и хотел переспросить, но вдруг услышал по дороге торопливые шаги. Он обернулся. Прямо к нему бежала дочка, очевидно, с какой-то потрясающей новостью. Она плакала, махала руками, приседала, хваталась за голову.

— Ой, папаша! Едет! Ой, что же нам делать!

— Кто едет?

— Ой, господин урядник!..

Евель всплеснул руками, взглянул вопросительно наверх, но, не найдя на небе никакого знака, укоризненно покачал головой и пустился бежать к дому.

— Гинда! — крикнул он в сенях. — Чи правда?

— Ой, правда, — отвечал из-за занавески рыдающий голос.

— В четверг наезжал, с четверга три дня прошло. Только три дня. Чи ж ты ему чего не доложила?

— Доложила, аж переложил, — рыдал голос Гинды. — Крупы положила, сала шматок урезала, курицу с хохлом...

— Может, бульбу забыла?

— И бульбу сыпала...

В хату вбежала девочка.

— Ой, папаша! Едет! Ой, близко!

— А может, он верхом приехал, — говорит Евель, и в голосе его дрожит надежда.

— Не! На дрендульке приехал. Коня к забору привязал, сам у хату идет.

В окно кто-то стукнул.

— Эй, Евель Хасин, паромщик!

Евель сделал любезное лицо и выбежал на улицу.

— И как мы себе удивились... — начал он.

Но урядник был озабочен и сразу приступил к делу.

— Ты — паромщик Евель Хасин?

— Ну, как же, господин урядник, вам должно быть известно...

— Что там известно? — огрызнулся урядник, точно ему почудились какие-то неприятные намеки. — Ничего нам не может быть известно пред лицом начальства. Так что вышел новый циркуляр. Еврей, значит, который имеет не-

симпатичное распространение в окружающей природе и опасно возбуждает жителей, того, значит, ф-фью! Облечен властью по шапке. Понял? Раз же я тебя считаю приятным и беспорядку в тебе не вижу — живи. Мне наплевать — живи.

— Господин урядник! Разве же я когда-нибудь...

— Молчи! Я теперь должен наблюдать. Два раза в неделю буду наезжать и справляться у окружающих жителей. Ежели кто что и так далее — у меня расправа коротка. Левое плечо вперед! Ма-арш! Понял?

— А как же не понять! Я, может быть, еще уже давно понял.

— Можешь идти, если нужно что похозяйничать. Я тут трубочку покурю. Мне ведь тоже некогда. Вас-то тут тридцать персон, да все в разных концах. А я один. Всех объехать дня не хватит.

Евель втянул голову в плечи, вздохнул и пошел в хату.

— Гинда! Неси что надо, положи в дрендульку. Они то-ропятся.

* * *

— Ой, Евель! Вставай скорей! Не слышишь ты звонков? Или у тебя сердце оглохло. Ну, я разбужу его. Знаешь, кого наш Хаим на пароме тянет? Господина станового! Станового тянет наш Хаим, везет беду на веревке прямо в наш дом.

Евель вскочил бледный, взъерошенный. Взглянул на потолок, подумал, покрутил головой.

— Это, Гинда, уже ты врешь.

— Пусть он так едет, как я вру! — зарыдала Гинда.

Тогда он вдруг понял, заметался, кинулся к окну.

— Двоська! Гони кабана в пуню. Гони скорей! Зачини двери!

— Ой, гони кабана! — спохватилась и Гинда. — Ой, Двоська, гони, двери зачини.

Было как раз время.

Толстый пристав вылезал из брички.

— Таки в бричке! — с тоской шептал Евель. — Таки не верхом!.. Гинда, поди в кладовку, вынеси гуся...

Гинда всхлипнула и полезла в карман за ключами. А Евель уже кланялся и говорил самым любезным голосом:

— Ваше превосходительство! И как мы себе удивились...

— Удивился? Чего же ты, жид, удивился? Тебе урядник новый циркуляр читал?

— Урядники-с, читали-с...

— К-каналы! Пospел... — Он минутку подумал. — Ну-с, так, значит, вполне от тебя зависит вести себя так, чтобы на месте сидеть. Ты вон паром арендуешь, доход имеешь, ты должен этим дорожить. Вон и огород у тебя... Крамолу станешь разводить — к черту полетишь. Ежели не будешь приятен властям и вообще народу... Капусту не садишь? Мне капуста нужна. Двадцать кочанов... Терентий, пойдй выбери — вон у него огород. Он еще паршивых подsunет. Всем должен быть приятен и вполне безопасен. Понял? Если кто-нибудь заметит в тебе опасную наклонность, грозящую развращением нравов мирного населения и совращением в крамольную деятельность с нарушением государственных устоев и распространением... Это что за девчонка? Дочка? Пусть пойдт гороху нащиплет. Мне много нужно... и распространением неприятного впечатления вследствие каких бы то ни было физических, нравственных или иных свойств... Свиной держишь? Как нет? А это что? Это чьи следы? Твои, что ли? Вон и пунька за амбарчиком. Свинья?

— Ваше превосходительство! Пусть я буду так богат, как оно свинья! Ваше...

— Что ты врешь! Обалдел! С кем говоришь?! Кому врешь? Мерзавец! Ворон костей не соберет!.. Отворяй пуню. Я хочу у тебя свинью купить.

— Ваше высокое превосходительство! Я не врал. Видит Бог! Оно не свинья! Оно кабан...

— Б-болван! Скажи Терентию, пусть веревкой окрутит. Можно сзади привязать. И кабан-то какой тощий. Подлецы! Скотину держат, а пойло сами жрут. Ну ладно, не скули! Я ведь не сержусь... Деньги за мной.

• • •

Два дня Евеля трясла лихорадка.

На третий день вылез погреться на солнышке. Подошла Гинда. Стали говорить про кабана, вспоминать, какой он был.

— Он, может, пудов восемь весил... — вздыхал Евель.

— А может, и девять — и девять с половиной. Все может быть. Почему нет?

— Я бы его продал в городе за десять рублей, так у нас на каждый шабаш селедка бы была и деньги бы спрятаны были.

— А я бы его зарезала, тай посолила бы. Господину уряднику по шматочку надолго бы хватило. А теперь что я дам? Огурцов они не любят...

— А я бы продал, аренду заплатил. Жалко кабана. Хороший был. И резать жалко.

— Жалко! — согласилась Гинда. — Хороший.

Но Евель уже не слушал ее. Он весь насторожился, и волосы у него стали дыбом.

— Звонки...

— Звонки... — стонущим шепотом вторила Гинда.

— Это сам...

— Сам...

Евель на этот раз не поднимал глаз к небу. Чего там спрашивать, раз уже знаешь.

Тройка неслась прямо на них.

Не успели лошади остановиться, как в коляске что-то загудело, зарычало... Евель ринулся вперед.

— Кррамольники! Да я тебя в порошок изотру, мерррз... Циркуляр понимаешь?

— Ой, понимаю, — взвыл Евель. — Господин урядник объяснили, господин его превосходительство пристав объясняли... Понимаю! Ваше сиятельство! Хотел бы я так не понимать, как я понимаю!

— Молчать! Циркуляр разъяснили?

— Ой, как разъяснили! Все до последнего кабана разъяснили...

— Что-о? Ты что себе позволяешь? Да ты знаешь ли, что, если я захочу, так от тебя мокрого места не останется. Пойди разменяй мне двадцать рублей. Живо! Бумажка за мной.

— Ваше высокое сият...

Исправник рявкнул. Евель подогнул колени и, шатаясь, поплелся в хату.

Там уже сидела Гинда и распарывала подкладку у подола своего платья.

Евель сел рядом и ждал.

Из подкладки вылез комок грязных тряпок. Дрожащие пальцы развернули его, высыпали содержимое на колени.

— Только семнадцать рублей и восемьдесят семь копеек... Убьет!

— Еще капуста осталась... Может, они капусту кушают...

Евель поднял глаза к потолку и тихо заговорил:

— Боже праведный! Боже добрый и справедливый! Сделай так, чтобы они кушали капусту!..

Модный адвокат

В этот день народу в суде было мало. Интересного заседания не предполагалось.

На скамьях за загородкой томились и вздыхали три молодых парня в косоворотках. В местах для публики — несколько студентов и барышень, в углу — два репортера.

На очереди было дело Семена Рубашкина. Обвинялся он, как было сказано в протоколе, «за распространение волнующих слухов о роспуске первой Думы» в газетной статье.

Обвиняемый был уже в зале и гулял перед публикой с женой и тремя приятелями. Все были оживлены, немножко возбуждены необычностью обстановки, болтали и шутили.

— Хоть бы уж скорее начинали, — говорил Рубашкин, — голоден, как собака.

— А отсюда мы прямо в «Вену» завтракать, — мечтала жена.

— Га! га! га! Вот как запрячут его в тюрьму, вот вам и будет завтрак, — острили приятели.

— Уж лучше в Сибири, — кокетничала жена, — на вечное поселение. Я тогда за другого замуж выйду.

Приятели дружно гоготали и хлопали Рубашкина по плечу.

В залу вошел плотный господин во фраке и, надменно кивнув обвиняемому, уселся за пюпитр и стал выбирать бумаги из своего портфеля.

— Это еще кто? — спросила жена.

— Да это мой адвокат.

— Адвокат? — удивились приятели. — Да ты с ума сошел! Для такого ерундового дела адвоката брать! Да это, брат, курам на смех. Что он делать будет? Ему и говорить-то нечего! Суд прямо направит на прекращение.

— Да я, собственно говоря, и не собирался его приглашать. Он сам предложил свои услуги. И денег не берет. Мы, говорит, за такие дела из принципа беремся. Гонорар нас только оскорбляет. Ну я, конечно, настаивать не стал. За что же его оскорблять?

— Оскорблять нехорошо, — согласилась жена.

— А с другой стороны, чем он мне мешает? Ну, поболтает пять минут. А может быть, еще и пользу принесет. Кто их знает? Надумают еще там какой-нибудь штраф наложить, ан он и уладит дело.

— Н-да, это действительно, — согласились приятели.

Адвокат встал, расправил баки, нахмурил брови и подошел к Рубашкину.

— Я рассмотрел ваше дело, — сказал он мрачно, прибавил: — Мужайтесь.

Затем вернулся на свое место.

— Чудак! — прыснули приятели.

— Ч-черт, — озабоченно покачал головой Рубашкин. — Штрафом пахнет.

* * *

— Прошу встать! Суд идет! — крикнул судебный пристав.

Обвиняемый сел за свою загородку и оттуда кивал жене и друзьям, улыбаясь сконфуженно и гордо, точно получил пошлый комплимент.

— Герой! — шепнул жене один из приятелей.

— Православный! — бодро отвечал между тем обвиняемый на вопрос председателя.

— Признаете ли вы себя автором статьи, подписанной инициалами С. Р.?

— Признаю.

— Что имеете еще сказать по этому делу?

— Ничего, — удивился Рубашкин.

Но тут выскочил адвокат.

Лицо у него стало багровым, глаза выкатились, шея налилась. Казалось, будто он подавился бараньей костью.

— Господа судьи! — воскликнул он. — Да, это он перед вами, это Семен Рубашкин. Он автор статьи и распускатель слухов о роспуске первой Думы, статьи, подписанной только двумя буквами, но эти буквы С. Р. Почему двумя, спросите вы. Почему не тремя, спрошу и я. Почему он, нежный и преданный сын, не поместил имени своего отца? Не потому ли, что ему нужны были только две буквы С. и Р.? Не является ли он представителем грозной и могущественной партии?

Господа судьи! Неужели вы допускаете мысль, что мой доверитель просто скромный газетный писака, обмолвившийся неудачной фразой в неудачной статье? Нет, господа судьи! Вы не вправе оскорбить его, который, может быть, представляет собой скрытую силу, так сказать, ядро, я сказал бы, эмоциональную сущность нашего революционного движения.

Вина его ничтожна, — скажете вы. Нет! — воскликну я. Нет! — запротестую я.

Председатель подозвал судебного пристава и попросил очистить зал от публики.

Адвокат отпил воды и продолжал:

— Вам нужны герои в белых папах! Вы не признаете скромных тружеников, которые не лезут вперед с криком «руки вверх!», но которые тайно и безыменно руководят могучим движением. А была ли белая папаха на предводителе ограбления московского банка? А была ли белая папаха на голове того, кто рыдал от радости в день убийства фон-дер... Впрочем, я уполномочен своим клиентом только в известных пределах. Но и в этих пределах я могу сделать многое.

Председатель попросил закрыть двери и удалить свидетелей.

— Вы думаете, что год тюрьмы сделает для вас кролика из этого льва?

Он повернулся и несколько мгновений указывал рукой на растерянное, вспотевшее лицо Рубашкина. Затем, сделав

вид, что с трудом отрывается от величественного зрелища, продолжал:

— Нет! Никогда! Он сядет львом, а выйдет стоголовой гидрой! Он обовьет, как боа констриктор, ошеломленного врага своего, и кости административного произвола жалобно захрустят на его могучих зубах.

Сибирь ли уготовили вы для него? Но, господа судьи! Я ничего не скажу вам. Я спрошу у вас только, где находится Гершуни? Гершуни, сосланный вами в Сибирь?

И к чему? Разве тюрьма, ссылка, каторга, пытки (которые, кстати сказать, к моему доверителю почему-то не применялись), разве все эти ужасы могли бы вырвать из его горьких уст хоть слово признания или хоть одно из имен тысячи его сообщников?

Нет, не таков Семен Рубашкин! Он гордо взойдет на эшафот, он гордо отстранит своего палача и, сказав священнику: «Мне не нужно утешения!» — сам наденет петлю на свою гордую шею.

Господа судьи! Я уже вижу этот благородный образ на страницах «Былого», рядом с моей статьей о последних минутах этого великого борца, которого стоустая молва сделает легендарным героем русской революции.

Воскликну же и я его последние слова, которые он произнесет уже с мешком на голове: «Да сгинет гнусное...»

Председатель лишил защитника слова.

Защитник повиновался, прося только принять его заявление, что доверитель его, Семен Рубашкин, абсолютно отказывается подписать просьбу о помиловании.

• • •

Суд, не выходя для совещания, тут же переменял статью и приговорил мещанина Семена Рубашкина к лишению всех прав состояния и преданию смертной казни через повешение.

Подсудимого без чувств вынесли из зала заседания.

• • •

В буфете суда молодежь сделала адвокату шумную овацию.

Он приветливо улыбался, кланялся, пожимал руки.

Затем, закусив сосисками и выпив бокал пива, попросил судебного хроникера прислать ему корректуру защитительной речи.

— Не люблю опечаток, — сказал он.

* * *

В коридоре его остановил господин с перекошенным лицом и бледными губами. Это был один из приятелей Рубашкина.

— Неужели все кончено? Никакой надежды?

Адвокат мрачно усмехнулся.

— Ничего не поделаешь! Кошмар русской действительности!..

Веселая вечеринка

I

Старуха Агафья успела уже убрать кухню и вычистить самовары, а Ванюшка-кучер все еще томился, ожидая возвращения барина.

— Скоро одиннадцать, — ворчала Агафья, вытирая толстые, обнаженные по локоть руки и глядя исподлобья на тоскующего парня. — Другой бы матери помог, коли время вышло, а мой только на вечеринки ходить умеет да новые сапоги трепать. И в кого такой вышел! Ведь уродит же Господь!

Ванюшка молчал, хотя речь была направлена прямо против него, так как он приходился Агафье родным сыном. Но ему было не до разговоров. Сегодня Танька, горничная земского начальника, устраивает бал. На балу будет только что выслуживший свой срок солдат Марковкин. Он хочет Таньку сватать, это все знают, но Ванюшка давно решил перешибить ему дорогу. Сегодня все выяснится. Отъедет солдат с поломанными ребрами!

Ванюшка мечтательно улыбается, разглядывая новые сапоги. Его белокурые волосы лоснятся от масла; под ворот-

ником голубой сатиновой рубашки красуется ярко-розовый муаровый бант, и это сочетание цветов во вкусе мадам Помпадур придает удивительно глупый вид его толстому, безусому и безбровому лицу.

— И куда пойдешь на ночь глядя? — ворчит мать, гремя посудой. — Угощение все равно уж все съедено. Теперь парни, верно, уж драться начали, только даром шею намнут. Раньше двенадцати барин от лесничего не вернется. Пока лошадь уберешь — вот и первый час.

Сын молча вздыхает.

— Чего молчишь-то? Ты вот ленту муаровую у матери выпросил, а думал ли, чего эта лента матери стоила? Я ее, может, к причастию надеть и то жалела, на смертное платье берегла. Барышня-покойница дарила, не знала, видно, что ты в ней на вечеринках, как лошадь, ржать будешь...

Снова молчаливый вздох.

— Думаешь, ленту натялил, так за тебя Танька замуж пойдет? Нет, парень! Не нашему носу рябину клевать — это ягода нежная! Марковкин-то почище тебя.

— Еще ничего не известно, — загадочно разинув рот, ухмыльнулся Ванюшка.

— Как неизвестно? — обрадовалась Агафья, что ей, наконец, удалось вызвать сына на приятную беседу. — Все отлично известно. Ничего у тебя нету, и в кучеренках-то тебя держат потому, что мать жалеют. Не век же мне тоже в кухарках быть. Скоро ноги протяну. Без меня дня не останешься.

II

Во дворе залаяла собака.

Ванюшка вскочил и, закутав горло шарфом, чтоб не слишком поразить хозяина своим стилем Помпадур, пошел убирать лошадь.

Через десять минут, бодро подскрипывая по твердому снежному насту, бежал он к дому земского начальника.

Маленький городок давно уже успокоился. Фонари не горели, так как по календарю полагалась луна, почему-то в этот день на небесное дежурство не явившаяся.

В окнах тоже было темно. Светился только верхний этаж городского клуба и трактир с надписью: «Для приезжаю» («щих» не поместилось).

Ванюшка пересек главную улицу и, свернув влево, юркнул в ворота маленького двухэтажного домика, занимаемого земским начальником.

— Ну, куда же теперь? Тут темно, не напороться бы на что... Не то у ней кухня наверху, не то внизу. Никогда не бывавши, тоже не сразу поймешь. Хоть бы вышел кто из парней...

Он повернул вправо и налез на какую-то обледенелую кадку. Прямо — стена. Налево — лестница. Входную дверь он, войдя, машинально захлопнул и теперь никак не мог сообразить, с которой стороны он вошел.

Медленно, ощупывая ступеньки руками и ногами, влез он во второй этаж. Здесь тоже оказалось темно, и он долго шарил руками, не находя дверей.

— Не! — решил он. — Кухня у ней внизу. Надо было там нащупать либо выйти и в окошко постучать.

И он, стуча каблуками, боком стал спускаться с лестницы. Он был уже почти в сенях, как вдруг страшный дикий крик, раздавшийся снизу, остановил его.

— Кто здесь! Стой, черт тебя возьми, не то я буду стрелять!..

Ошеломленный Ванюшка замер на одном месте.

Послышалось шуршанье спичечной коробки. Вспыхнул огонек.

Мелькнуло испуганное свирепое лицо земского начальника.

— А-а, каналья! Попался! Я тебе покажу! Ты у меня узнаешь, где раки зимуют.

Ванюшка сделал отчаянный прыжок, пытаясь увернуться от могучих рук земского начальника, ловивших его впотымах...

Бац! Бац! Одна рука крепко держит за шиворот голубую рубаху с помпадуровым галстуком, другая, сжавшись в кулак, дважды въехала в Ванюшкину физиономию.

— Нет, голубчик, теперь не уйдешь!

И, продолжая наколачивать своего пленника, спотыкаясь и крихтя, он поволок его вверх по лестнице.

Ванюшка молча упирался, медленно продвигался вперед и отчаянно брыкался ногами.

III

Ступеньки трещали, каблуки звонко щелкали, и спавшей наверху супруге земского начальника почудилось, будто какая-то взбесившаяся лошадь лезет к ней по лестнице. Барыня зажгла свечку и, испуганно крестясь, сидела на кровати. Дверь в спальню с треском распахнулась.

— Машенька! Вот рекомендую! — тяжело отдуваясь, торжествовал земский начальник. Он поставил Ванюшку перед изумленной барыней, продолжая держать его за шиворот и изредка потряхивая.

— А хорош молодец? Возвращаюсь от лесничего, смотрю, ворота настежь. Подлые девки со своими балами совсем одурели, ни за чем не смотрят. Завтра всех к черту. Поднимаюсь по лестнице... здравствуйте! Лезет, голубчик! Я его подстерег, дал немножко спуститься да цап за шиворот. У меня не отвертишься.

— Да ты осторожней, Коленька, может быть, у него нож, — плаксиво затынула супруга.

Ванюшка, с перетянутым горлом, молчал, тяжело дыша, и только широко раскрывал рот, как рыба, которую лишили родной стихии.

— Да ведь я... — попробовал было он, но тяжелый кулак, въехав ему под самый глаз, снова отнял у него дар слова.

— Молчать! — заревел земский начальник. — Еще разговаривать! Благодарю Бога, что я полицию не зову. Другой бы сгноил тебя в остроге. Марш отсюда! Чтоб духу твоего не было. И товарищам своим скажи, чтоб дорогу ко мне забыли.

И он снова собственноручно сволок Ванюшку с лестницы, вытурил на улицу и запер ворота на засов.

Оставшись один, Ванюшка пустился бежать без оглядки и только в конце улицы немножко опомнился и огляделся. Пиджак был разорван, из носу лила кровь, лицо горело и ныло. Ванюшка потер нос снегом и захныкал:

— И чего он взбесился, черт окаянный! Что, человек не в ту дверь попал, так его по морде лупить? Нет, это, брат, тоже не показано! За это, брат, тоже ответить можно. Закона такого нету, чтоб народ зря калечить.

Но, вспомнив, что все равно теперь на вечеринку не попадешь — ворота заперты, да и в таком виде куда уж тут, Ванюшка захныкал и, грустно опустив голову, побрел домой.

IV

Двери отворила заспанная и сердитая Агафья.

— Что! Готово! Воротился! У него мать помирает, а он по балам, как лошадь, ржет. У матери поясницу ломит, а ему хоть бы что! Другой бы хоть колбасы кусок с гостей-то принес бы. Нате, мол, вам, мамаша, покушайте. Отец-то, покойник, бывало... — Она зажгла лампочку и, взглянув сыну в лицо, даже присела от изумления.

— Батюшки светы! Родители вы мои долгоногие! Да кто же это тебя так? Тут уж, видно, не один, тут трое либо четверо работало! Эко тебя качает. Ну, и нахлестался! Да скажи хоть слово.

Но Ванюшка молча стянул с себя сапоги и, не раздеваясь, лег в постель.

На другой день он проснулся поздно. В печке трещали дрова, Агафья стучала ножом, а косоротая баба, разносившая по городу булки и сплетни, оживленно что-то рассказывала. Ванюшка, не вставая, стал прислушиваться.

— Они, видишь, девки-то, как пошли на вечеринку, ворота-то, стало быть, и не заперли. Под вечерину-то у Картонихи комнату нанимали, земский-то в доме и не позволил.

— Ч-черт! — чуть не вскрикнул Ванюшка.

— Ну, стало быть, разбойнику-то это и на руку. Он наверх-то пролез, все до чистика обобрал, только, значит, барыню собрался резать, а сам-то тут как тут!

«Ишь ты, — думает Ванюшка. — Это, видно, уж после меня кто-нибудь залез!»

— Господи помилуй! — шепчет Агафья. — И какой ноне отчаянный народ пошел!

— Ну, земский его колошматил, колошматил, однако тот вырвался и убежал.

— Уж, верно, их где-нибудь целая шайка, запрятавшись, была. Один не пойдет, — додумалась Агафья.

— Земский Егорку кучера и Таньку обоих вон выгнал. Ну, да ей что! Ее вчера за солдата Марковкина просватали...

Со стороны кровати послышался тихий вой.

- Это что же? — удивилась торговка.
- Ванюшка с перепою, — хладнокровно ответила Агафья.
- Разве так уж напился?
- И-и! И не видывала никогда таких пьяных. Что ни спросишь, молчит. Покойник муж, бывало, на четвереньках домой придет, а за словом в карман не полезет.
- А ты его керосинцем бы помазала.
- Нешто полегчает от керосина-то?
- Еще как! Старуха, Аннушкина мать, что у головихи в няньках, все керосином лечится. Не нахвалится. Как, говорит, натрусь да отхлебну маненько, так меня всю как огнем запалит. Прямо терпенья нет. Всякую боль отшибает. Ничего уж тут не почувствуешь. На Рождестве ее головиха чуть вон не выгнала за керосин-то. Потерлась это она (простудившись была) и сидит в кухне на печке. А головиха все ходит да принюхивается. Вошла в кухню, ну и поняла, в чем дело. Ругалась, ругалась! Вы меня, говорит, подлые, под кнуты подведете, я еще через вас Сибири нанюхаюсь. Упадет, говорит, на старуху спичка, ее как синь-порох взорвет. А я отвечай. Зверь — головиха-то.
- И как ему всю рожу разделили, — с плохо скрытой материнской гордостью говорит Агафья. — Это уж никто, как солдат. Я сразу солдатову руку узнала. Губища — во! Прямо до полу свисла. Под глазом сивоподтек!
- Поди, по Таньке-то реветь будет, — не без злорадства вставляет торговка. Агафья иронически фыркает:
- Очень нужно! Важное кушанье Танька-то ваша! Персона! Только и умеет, что госпоже тарелки лизать. Мой парень захочет жениться, так лучше найдет. Эдакий парень — ягода наливная!

V

За дверью, со стороны хозяйских комнат, послышался треск и какое-то глухое рычанье.

— Это у вас что же? — любопытствует торговка.

— Это барин чудит, — спокойно объясняет Агафья. — Верно, вчера у лесничего в карты проигрался. Он всегда так, как проиграется. Потому перед барыней ему стыдно, вот он и оказывает себя.

Рычание приблизилось, сделалось похожим на хриплый лай. Наконец дверь распахнулась, и на пороге показалась озверелая, всклокоченная фигура хозяина дома.

— Послать ко мне Ваньку-дармоеда, — залаял он, — я ему покажу, как лошадь без овса оставлять!

Трах — дверь захлопнулась, и вскочившая Агафья лопочет в пустое пространство:

— Ванюшка хворый лежит!.. Точно так-с! Он за водой ушедши!.. Точно так-с! Сейчас его кликну.

Ванюшка испуганно натягивает сапоги, не попадая в них ногами.

— Господи! — ахает торговка. — Личико-то! Личико-то. Харю-то евонную посмотри!

Ванюшка ринулся во двор.

— Ишь, каким козырем, — ворчала ему вслед Агафья. — На мать и не взглянул. Другой бы земляной поклон сделал. Простите, мол, маменька, что вы меня свиньей на свет родили.

Дверь с треском отворилась, и Ванюшка неестественно скоро вбежал в кухню. Он растерянно оглядывался запущенными глазами и растирал рукой затылок.

— Хым! Хым, — хмыкал он, — на старые-то дрожжи! Очень мне нужно твое место. Я местов сколько угодно найду. Не дорожусь.

— Мати Пресвятая Богородица! — заголосила Агафья. — Прогнал его барин, пьяницу, лежебоку-дармоедину! Куда ж я с ним теперь... За что же он тебя выгнал-то?

— Да, грит, зачем по балам шляюсь и зачем морду изувечил. На козлы, грит, срам посадить, — гнусит Ванюшка, тупо смотря в землю.

Торговка радостно волнуется и суетится, как репортер на пожаре.

— Так зачем же ты дал эдак себя наколотить? — допытывается она. — Нешто можно столько человек на одного? Али уж очень выпивши был на вечеринке-то?

VI

Ванюшка вдруг быстро-быстро хлопал глазами и, низко оттянув углы распыленного рта, жалобно всхлипнул:

— И нигде я не был... И на вечеринке не был...

— Господи! Наваждение египетское! Так с кем же ты дрался-то?

— И ни с кем не дрался... На земского напоролся!..

— Молчи! — строго цыкнула Агафья. — За эдакие слова знаешь куда?! Что тебе земский, тын аль частокол? Как ты на него напороться мог, дурак ты урожденный?

И она уже занесла было свою карающую длань, но торговка властно остановила ее и, указав на Ванюшку, многозначительно постукала себя пальцем по лбу.

— Ишь ты, — опешила Агафья. — Отец-то, покойничек, тоже пивал. Только к нему все больше эти, с хвостиками, приходили. А земский нет. Земским его не морочило.

— Вот что, парень, — с деловым тоном начала торговка. — Ты ляг себе да отлежись. Вон матка тебя керосином потрет. А уж я твое дело улажу. В ножки поклонись. Да мне не нужно, я ведь не гонюсь. Без места, стало, не останешься. Земчиха меня сегодня просила, муж-то ейный Егорку-то из-за вора с кучеров прогнал, так вот, значит, не найду ли я ей парня, чтоб за лошадью умел ходить. Я-то ведь еще не знала, что тебя выгонят. А вот теперь пойду да и представлю, что ты, мол, желаешь.

Успокоившийся было Ванюшка вдруг дико взвыл и, выпучив в ужасе подбитые синяками глаза, вскочил на ноги.

Бабы шарахнулись в сторону и, подталкивая друг друга, вылетели во двор.

— Не! тут керосин не поможет, — озабоченно разводя руками, решила торговка. — Беги, матушка, к головихе, у ейной старухи четверговая соль, дай ему с хлебцем понюхать.

Агафья охала и чесала локти.

— Пойтить рассказать, — задумчиво прошептала торговка и, повертев головой, как ворона на подоконнике, пустилась вдоль улицы.

Игра

Старому Берке Идельсону денег за работу не выдали, а велели прийти через час.

Тащиться с Песков на Васильевский, опять через час возвращаться — не было расчета, и Берка решил обождать в скверике.

Сел на скамеечку, осмотрелся кругом.

День был весенний, звонкий, радостный. Молодая трава зеленела, как сукно ломберного стола. Справа у самой дорожки распушился маленький желтый цветочек.

Берка был усталый от бессонной ночи и сердитый, но, взглянув раза два на желтенький цветочек, немножко отмяк.

— Сижу, как дурак, и жду, а денег все равно не заплатят. Будут они платить, когда можно не платить!

Около скамейки играли дети. Два мальчика и девочка. Рыли ямку и обкладывали ее камушками. Работал младший, худенький, черненький мальчик; старший командовал и только изредка, вытянув коротенькую, толстую ногу, утапывал дно ямки. Девочка была совсем маленькая, сидела на корточках и подавала камушки, изредка лизнув наиболее аппетитные.

Подлетел воробей, попрыгал боком и улетел.

Берка усмехнулся, оттянул вниз углы рта.

«Дети так уж дети, — подумал он, — и природа вообще — чего же вы хотите!»

Ему захотелось принять участие в этом молодом веселом празднике.

Он сдвинул брови и притворно сердитым голосом обратился к детям:

— А кто вам разрешил производить анженерские работы? Я прекрасно вижу, что вы делаете. А разве показано производить анженерские работы? И здесь городское место.

Дети покосились на него и продолжали играть.

— И я знаю, что это не показано. Анженерские работы производить не показано.

Толстый мальчик надул, покраснел.

— Нам сторож позволил.

Берка обрадовался, что мальчик откликнулся. Эге. Игра таки завязалась.

— Сторо-ож? Ну, так не много ваш сторож понимает. И какой у него образовательный ценз? Уж там, где на еврея три процента, там и сторожа ни одного нет.

Маленькая девочка, втянув голову в плечи, заковыляла через дорожку, уткнула голову в нянькин передник и громко заревела.

Берка подмигнул мальчикам.

— Разве показано? Начальство узнает — беда будет. Каторжные работы. Сибирь.

Толстый мальчик засопел носом, взял брата за руку и пошел к няньке.

Берка встал за ними.

Нянька сморкала девочку и ворчала:

— Чего надо? Чего к детям приметываешься?

Но Берка уже разыгрался вовсю.

— Разве показано производить анженерские работы? — подмигивал он няньке. — Это не показано.

— Нам сторож позволил, — заревел вдруг толстый мальчик.

— Сторо-ож? И где же его ценз?

Берка подмигнул желтенькому цветочку.

— Господи помилуй! — удивлялась нянька. — Никогда того не было! Уж ребенок не смей песком играть! Указчик какой выискался! Скажите пожалуйста! Никогда никто не запрещал...

Подошел сторож.

— Что случилось? Вам, господин, чего надоть?

— Помилуй Бог! Дети, так они дети. Разве показано анженерские работы на городском месте! Не показано.

Он подмигнул сторожу.

— Ты чего мигаешь? — озлился сторож. — Ты мне не смей мигать. Я тебе так помигаю...

Берка слегка опешил, но, взглянув на желтенький цветок, сейчас же понял, что сторож шутит.

— Я мигаю? и зачем бы я имел мигать, когда мне известны законы военной империи.

— К детям приметывается! Никому от него покою нету... Рад со свету сжить... — пела нянька. — Говорят ему: сторож позволил. Нет, ему все мало. Сторож, вишь, не начальство.

— Вот как! — сказал сторож. — Ну, ладно же. Я ему покажу, кто здесь начальство.

Он подошел к решетке и свистнул.

Берка смотрел на приближающихся к нему городского и дворника и говорил:

— Куды это они идут — несчастный служащий народ? Может, облава на какого мошенника? Только извините, господин сторож, я уже пойду, мне уже некогда. Поигрался себе с детьми, а теперь должен идти на печальное дело. Ну... и почему вы меня держите за локоть? Господин сторож! Почему?

Семейный аккорд

В столовой, около весело потрескивающего камина, сидит вся семья.

Отец, медленно ворочая языком, рассказывает свои неприятные дела.

— А он мне говорит: «Если вы, Иван Матвеевич, берете отпуск теперь, то что же вы будете делать в марте месяце? Что, говорит, вы будете делать тогда, если вы берете отпуск теперь?» Это он мне говорит, что, значит, почему я...

— Я дала задаток за пальто, — отвечает ему жена, шлепая пасьянс, — и они должны сегодня пальто прислать. Не поспеть же мне завтра по магазинам болтаться, когда я утром на вокзал еду. Это надо понимать. Это каждый дурак поймет. Вот выйдет пасьянс, значит, сегодня привезут.

— И если я теперь не поеду, — продолжает отец, — то, имея в виду март месяц...

Дочка моет чайные ложки и говорит, поворачивая голову к буфету:

— С одной черной шляпой всю зиму! Покорно благодарю. Я знаю, вы скажете, что еще прошлогодняя есть. В вас никогда не было справедливости...

— Десятка, пятерка, валет... Вот, зачем пятерка! Не будь пятерки, — валет на десятку, и вышло бы. Не может быть, чтоб они, зная, что я уезжаю, и опять-таки, получивши задаток...

— А Зиночка вчера, как нарочно, говорит мне: «А где же твоя шляпка, Сашенька, что с зеленым пером? Ведь ты, гово-

рит, хотела еще с зеленым купить?» А я молчу в ответ, хлопаю глазами. У Зиначки-то у самой десять шляп.

— Так и сказал: «Если вы, Иван Матвееч, надумали взять отпуск именно теперь, то что именно будете вы...»

— Одна шляпка для свиданий, одна для мечтаний, одна для признаний, одна для купаний — красная. Потом с зеленым пером, чтоб на выставки ходить.

— Врут карты. Быть не может. Разложу еще. Вон сразу две семерки вышли. Десятка на девятку... Туз сюда... Вот этот пасьянс всегда верно покажет... Восьмерка на семерку... Да и не может быть, чтоб они, получивши задаток, да вдруг бы... Двойку сюда...

— А когда Зиначкина мать молода была, так она знала одну тетку одной актрисы. Так у той тетки по двадцати шляп на каждый сезон было. Я, конечно, ничего не требую и никого не попрекаю, но все-таки можно было бы позаботиться.

Она с упреком посмотрела на буфет и задумалась.

— Но, с другой стороны, — затаил глава, — если бы я не взял отпуска теперь, а отложил бы на март месяц...

— Я знаю, — сказала дочь, и голос ее дрогнул. — Я знаю, вы опять скажете про прошлогоднюю шляпу. Но поймите же наконец, что она была с кукушечным пером! Я знаю, вам все равно, но я-то, я-то больше не могу.

— Опять валетом затерло!

— Довольно я в прошлом году намучилась! Чуть руки на себя не наложила. Пошла раз гулять в Летний сад. Хожу тихо, никого не трогаю. Так нет ведь! Идут две какие-то, смотрят на меня, прошли мимо и нарочно громко: «Сидит, как дура, с кукушечным пером!» Вечером маменька говорит: «Ешь простоквашу». Разве я могу? Когда у меня, может быть, все нервы сдвинулись!..

— А в марте, почему я знаю, что может быть? И кто знает, что может в марте быть? Никто не может знать, что вообще в мартах бывает. И раз я отпуск...

— Вам-то все равно!.. Пожалее, да поздно будет! Кукушечье перо... Еду летом из города, остановился наш поезд у станции, и станция-то какая-то самая дрянная. Прямо полустанок какой-то. Ей-богу. Даже один пассажир у кондуктора спросил, не полустанок ли? И весь вокзал-то с собачью буд-

ку. А у самого моего окна станционный телеграфист стоит. Смотрит на меня и говорит другому мужчине: «Гляди. Едет, как дура, с кукушечьим пером». Да нарочно громко, чтобы я слышала. А тот, другой, как зафыркает. Умирать буду, вспомню. А вы говорите — шляпка. И вокзал-то весь с собачью буд-дку!

Дочка горько заплакала.

— Постой, постой! Вот сейчас, если король выйдет... Вечно лезут с ерундой, не дадут человеку толком пасьянса разложить. Мне внимание нужно. Вот куда теперь тройка делась? Хорошо, как в колоде, а как я пропустила, тогда что? Ведь если я сегодня пальто не получу, мне завтра ни за что не выехать. Вот тройка-то где... Опять-таки пренебречь я не могу. Этские холода, что́ я там без пальто заведу. Разве вы о матери подумаете! Вам все равно, хоть... пятерка на четверку.

— А он мне сам сказал: поезжайте, Иван Матвееч. Так и сказал. Я не глухой. А если он насчет моего отпуска...

— Я всегда говорила, что у всех людей есть родители, кроме меня. Ни одного человека не было на свете без родителя. Попробовали бы сами два года кукушкой ходить, коли вы такой добрый, папенька! Так небось! Не любо!

— Пойди посмотри... валета сюда... Кто-то в кухню стучится... Две двойки сразу...

Дочка уходит.

— Маменька! — кричит она из кухни. — Пальто вам принесли.

— Валет сюда... Подожди, не ори... Дама так... Должна же я закончить. Туз... Нужно же узнать наверное про пальто... Пусть подождет на кухне. Тройка... Опять не вышло. Разложу еще раз!

Даровой конь

Николай Иванович Уткин, маленький акцизный чиновник маленького уездного городка, купил рублевый билет в губернаторшину лотерею и выиграл лошадь.

Ни он сам, ни окружающие не верили такому счастью. Долго проверяли билет, удивлялись, ахали. В конце концов отдали лошадь Уткину.

Когда первые восторги поулеглись, Уткин призадумался.

«Куда я ее дену? — думал он. — Квартира у меня казенная, при складе, в одну комнату да кухня. Сарайчик для дров махонький, на три вязанки. Конь же животное нежное, не на улице же его держать».

Приятель посоветовали попросить у начальства квартирных денег.

— Откажись от казенной. Найми хоть похуже, да с сарайчиком. А отказываться станут — скажи, что, мол, семейные обстоятельства, гм... приращение семейства.

Начальство согласилось. Денег выдали. Нанял Уткин квартиру и поставил лошадь в сарай. Квартира стоила дорого, лошадь ела много, и Уткин стал наводить экономию: бросил курить.

— Чудесный у вас конь, Николай Иванович, — сказал соседний лавочник. — Беспременно у вас этого коня сведут.

Уткин забеспокоился. Купил особый замок к сараю.

Заинтересовалось и высшее начальство Николая Ивановича.

— Эге, Уткин! Да вы вот какой! У вас теперь и лошадь своя! А кто же у вас кучером? Сами, что ли, хе-хе-хе!

Уткин смутился.

— Что вы, помилуйте-с! Ко мне сегодня вечером обещал прийти один парень. Все вот его и дожидался. Знаете, всякому доверять опасно.

Уткин нанял парня и перестал завтракать.

Голодный, бежал он на службу, а лавочник здоровался и ласково спрашивал:

— Не свели еще лошадку-то? Ну, сведут еще, сведут! На все свой час, свое время.

А начальство продолжало интересоваться:

— Вы что же, никогда не ездите на вашей лошадке?

— Она еще не объезжена. Очень дикая.

— Неужели? А губернаторша на ней, кажется, воду возила. Странно! Только, знаете, голубчик, вы не вздумайте продать ее. Потом, со временем, это, конечно, можно будет. Но теперь ни в коем случае! Губернаторша знает, что она у вас,

и очень этим интересуется. Я сам слышал. «Я, — говорит, — от души рада, что осчастливила этого бедного человека, и мне отрадно, что он так полюбил моего Колдуна». Теперь понимаете?

Уткин понимал и, бросив обедать, ограничивался чаем с ситником.

Лошадь ела очень много. Уткин боялся ее и в сарай не заглядывал. «Еще лягнет, жирная скотина. С нее не спросишь».

Но гордился перед всеми по-прежнему.

— Не понимаю, как может человек, при известном достатке, конечно, обходиться без собственных лошадей. Конечно, дорого. Но зато удобство!

Перестал покупать сахар.

Как-то зашли во двор два парня в картузах, попросили позволения конька посмотреть, а если продадут, так и купить. Уткин выгнал их и долго кричал вслед, что ему за эту лошадь давно тысячу рублей давали, да он и слышать не хочет.

Слышал все это соседский лавочник и неодобрительно качал головой.

— И напрасно, вы их только пуще разжигаете. Сами понимаете, какие это покупатели!

— А какие?

— А такие, что воры. Конокрады. Пришли высмотреть, а ночью и слямзют.

Затревожился Уткин. Пошел на службу, даже ситника не поел. Встретился знакомый телеграфист. Узнал, потужил и обещал помочь.

— Я, — говорит, — такой аппарат поставлю, что, как, значит, кто в конюшню влезет, так звон-трезвон по всему дому пойдет.

Пришел телеграфист после обеда, работал весь вечер, приладил все и ушел. Ровно через полчаса затрещали звонки.

Уткин кинулся во двор. Один идти оробел. Убьют еще. Кинулся в клетушку, растолкал парня Ильюшку. А звонок все трещал да трещал. Подошел к сараю. Смотрят — замок на месте. Осмелели, открыли дверь. Темно. Лошадь жует. Осмотрели пол.

— Ска-тина! — крикнул Уткин. — Это она ногой наступила на проволоки. Ишь, жут. Хотя бы ночью-то не ела. У нас, у людей, хоть какой будь богатый человек, а уж круглые сутки не позволяет себе есть. Свинство. Прямо не лошадь, а свинья какая-то.

Лег спать. Едва успел задремать — опять треск и звон. Оказалось — кошка. На рассвете опять.

Совершенно измученный, пошел Уткин на службу. Спал над бумагами.

Ночью опять треск и звон. Проволоки, как идиотки, соединялись сами собой. Уткин всю ночь пробежал босиком от сарая к дому и под утро захворал. На службу не пошел.

«Что я теперь? — думал он, уткнувшись в подушку. — Разве я человек? Разве я живу? Так — пресмыкаюсь на чреве своем, а скотина надо мной царит. Не ем и не сплю. Здоровье потерял, со службы выгонят. Пройдет моя молодость за ничто. Лошадь все сожрет!»

Весь день лежал. А ночью, когда все стихло и лишь слышалась порою трескотня звонка, он тихо встал, осторожно и неслышно открыл ворота, прокрался к конюшне и, отомкнув дверь, быстро юркнул в дом.

Укрывшись с головой одеялом, он весело усмехался, подмигивал сам себе.

— Что, объела? А? Недолго ты, матушка, поцарствовала, дромадер окаянный! Сволокут тебя анафемские воры на живодерню, станут из твоей шкуры, чтоб она лопнула, козлиные сапоги шить. Губернаторшин блюдолиз! Вот погоди, покажут тебе губернаторшу.

Заснул сладко. Во сне ел оладьи с медом.

Утром крикнул Ильюшку, спросил строгим голосом: все ли благополучно?

— А все!

— А лошадь... цела? — почти в ужасе крикнул Уткин.

— А что ей делается.

— Врешь ты, мерзавец! Конский холоп!

— А ей-богу, барин! Вы не пугайтесь, конек ваш целехонек. Усе сено пожрал, теперь овса домогается.

У Уткина отнялась левая нога и правая рука. Левой рукой он написал записку:

«Никого не виню, если умру. Лошадь меня съела».

Переоценка ценностей

Петя Тузин, гимназист первого класса, вскочил на стул и крикнул:

— Господа! Объявляю заседание открытым!

Но гул не прекращался. Кого-то выводили, кого-то стукали линейкой по голове, кто-то собирался кому-то жаловаться.

— Господа! — закричал Тузин еще громче. — Объявляю заседание открытым. Семенов второй! Навались на дверь, чтобы пригостишки не пролезли. Эй, помогите ему! Мы будем говорить о таких делах, которые им слышать еще рано. Ораторы, выходи! Кто записывается в ораторы, подними руку. Раз, два, три, пять. Всем нельзя, господа: у нас времени не хватит. У нас всего двадцать пять минут осталось. Иванов четвертый! Зачем жуешь? Сказано — сегодня не завтракать! Не слышал приказа?

— Он не завтракает, он клячку жует.

— То-то, клячку! Открой-ка рот! Федька, сунь ему палец в рот, посмотри, что у него. А? Ну, то-то! Теперь прежде всего решим, о чем будем рассуждать. Прежде всего я думаю... ты что, Иванов третий?

— Плежде всего надо лассуждать пло молань, — выступил вперед очень толстый мальчик, с круглыми щеками и надутыми губами. — Молань важнее всего.

— Какая молань? Что ты мелешь? — удивился Петя Тузин.

— Не молань, а молаль! — поправил председателя то-ненький голосок из толпы.

— Я и сказал, молань! — надулся еще больше Иванов третий.

— Мораль? Ну, хорошо, пусть будет мораль. Так, значит, — мораль... А как это, мораль... это про что?

— Чтобы они не лезли со всякой ерундой, — волнуясь, заговорил черненький мальчик с хохлом на голове. — То не хорошо, другое не хорошо. И этого нельзя делать, и того не смей. А почему нельзя — никто не говорит. И почему мы должны учиться? Почему гимназист непременно обязан учиться? Ни в каких правилах об этом не говорится. Пусть мне покажут такой закон, я, может быть, тогда и послушался бы.

— А почему тоже говорят, что нельзя класть локти на стол? Все это вздор и ерунда, — подхватил кто-то из напивших на дверь. — Почему нельзя? Всегда буду класть...

— И стоб позволили зениться, — пискнул тоненький голосок.

— Кричат: «Не смей воровать!» — продолжал мальчик с хохлом. — Пусть докажут. Раз мне полезно воровать...

— А почему вдруг говорят, чтоб я муху не мучил? — забасил Петров второй. — Если мне доставляет удовольствие...

— А мама говорит, что я должен свою собаку кормить. А с какой стати мне о ней заботиться? Она для меня никогда ничего не сделала...

— Стоб не месали вступать в блак, — пискнул тоненький голосок.

— А кроме того, мы требуем полного и тайного женского равноправия. Мы возмущаемся и протестуем. Иван Семеныч нам все колы лепит, а в женской гимназии девочкам ни за что пятерки ставит. Мне Манька рассказывала...

— Подожди, не перебивай! Дай сказать! Почему же мне нельзя воровать? Раз это мне доставляет удовольствие.

— Держи дверь! Напирай сильнее! Приготовишки ломаются.

— Тише! Тише! Петька Тузин! Председатель! Звони ключом об чернильницу — чего они галдят!

— Тише, господа! — надрывался председатель. — Объявляю, что заседание продолжается.

Иванов третий продвинулся вперед.

— Я настаиваю, чтоб лассуждали пло молань! Я хочу пло молань говолить, а Сенька мне в ухо дует! Я хочу, чтоб не было никакой молани. Нам должны все позволить. Я не хочу уважать лодителей, это унижительно! Сенька! Не смей мне в ухо дуть! И не буду слушаться сталших, и у меня самого могут лодиться дети... Сенька! Блось! Я тебе в молду!

— Мы все требуем свободной любви. И для женских гимназий тоже.

— Пусть не заплешают нам зениться! — пискнул голосок.

— Они говорят, что обижать и мучить другого не хорошо. А почему нехорошо? Нет, вот пусть объяснят, почему не хорошо, тогда я согласен. А то эдак все можно выдумать: есть не-

хорошо, спать нехорошо, нос нехорошо, рот нехорошо. Нет, мы требуем, чтобы они сначала доказали. Скажите пожалуйста — «нехорошо». Если не учишься — нехорошо. А почему же, позвольте спросить, — нехорошо? Они говорят: «дураком вырастешь». Почему дурак — нехорошо? Может быть, очень даже хорошо.

— Дулак — это холосо!

— И по-моему, хорошо. Пусть они делают по-своему, я им не мешаю, пусть и они мне не мешают. Я ведь отца по утрам на службу не гоняю. Хочет идет, не хочет — мне наплевать. Он третьего дня в клубе шестьдесят рублей проиграл. Ведь я же ему ни слова не сказал. Хотя, может быть, мне эти деньги и самомугодились бы. Однако смолчал. А почему? Потому что я умею уважать свободу каждого инди... юн-ди... ви-ди-ума. А он меня по носу тетрадью хлопает за каждую единицу. Это гнусно. Мы протестуем.

— Позвольте, господа, я должен все это занести в протокол. Нужно записать. Вот так: «Пратакол засе...» «Засе» или «заси»? Засидания. Что там у нас первое?

— Я говорил, чтоб не приставали локти на стол...

— Ага! Как же записать?.. Нехорошо — локти. Я напишу «оконечности». «Протест против запрещения класть на стол свои оконечности». Ну, дальше.

— Стоб зениться...

— Нет, врешь, тайное равноправие!

— Ну, ладно, я соединю. «Требуем свободной любви, чтоб каждый мог жениться, и тайное равноправие полового вопроса для дам, женщин и детей». Ладно?

— Тепель пло молань.

— Ну, ладно. «Требуем переменить мораль, чтоб ее совсем не было. Дурак — это хорошо».

— И воровать можно.

— «И требуем полной свободы и равноправия для воровства и кражи, и пусть все, что не хорошо, считается хорошо». Ладно?

— А кто украл, напиши, тот совсем не вор, а просто так себе, человек.

— Да ты чего хлопочешь? Ты не слимонил ли чего-нибудь?

— Караул! Это он мою булку слопал. Вот у меня здесь сдобная булка лежала, а он все около нее боком... Отдавай

мне мою булку!.. Сенька! Держи его, подлеца! Вали его на скамейку! Где линейка?.. Вот тебе!.. Вот тебе!..

— А-а! Не буду! Ей-богу, не буду!..

— А, он еще щипаться!..

— Дай ему в молду! Мелзавец! Он делется!..

— Загни ему салазки! Петька, заходи сбоку!.. Помогай!..

Председатель вздохнул, слез со стула и пошел на подмогу.

Политика воспитывает

Собрался он к нам погостить на несколько дней и о приезде своем известил телеграммой.

Пошли на вокзал встречать. Смотрим во все стороны, как бы не проглядеть — давно не виделись и не узнать легко.

Вот, видим, вылезает кто-то из вагона бочком. Лицо перепуганное, в руке паспорт. Кивнул головой.

— Дядюшка! Вы?

— Я! я! — говорит. — Только вы, миленькие, обождите, потому — я еще не обыскался.

Пошел прямо к кондуктору, мы за ним.

— Будьте любезны, — говорит, — укажите, где мне здесь обыскаться?

Тот глаза выпучил, молчит.

— Ваше дело, ваше дело. Я предлагал, тому есть свидетели.

Дяденька, видимо, обиделся. Мы взяли его под руки и потащили к выходу.

— Разленился народ, — ворчал он.

Привезли мы дядюшку домой, занимаем, угощаем. Объяснил он нам с первого слова, что приехал развлекаться. «Закис в провинции, нужно душу отвести».

Стали мы его расспрашивать, как, мол, у вас там, говорят, будто бы...

— Всё вздор. Все давно вернулись к мирным занятиям.

— Однако ведь во всех газетах было...

Но он и отвечать не пожелал. Попросил меня сыграть на рояле что-нибудь церковное.

— Да я не умею.

— Ну, и очень глупо. Церковное всегда надо играть, чтоб соседи слышали. Купи хоть граммофон.

К вечеру дяденька совсем развинтился. Чуть звонок, бежит за паспортом и велит всем руки вверх поднимать.

— Дяденька, да вы не больны ли?

— Нет, миленькие, это у меня от политического воспитания. Оборотистый я стал человек. Знаю, что, где и когда требуется.

Лег дяденька спать, а под подушку «Новое Время» положил, чтобы худые сны не снились.

Наутро попросил меня свести его в сберегательную кассу.

— Деньги дома держать нельзя. Если меня дома грабить станут — непременно убьют. А в кассе грабить станут, так убьют не меня, а чиновника. Поняли? Эх вы, дурашки!

Поехали мы в кассу. У дверей городской стоит. Дяденька засуетился.

— Милый друг! Ради Бога, делай невинное лицо. Ну, что тебе стоит! Ну, ради меня, ведь я же тебе родственник!

— Да как же я могу? — удивляюсь я. — Ведь я же ни в чем не виновата.

Дядюшка так и заметался.

— Погубит! Погубит! Смейся, хоть, по крайней мере, верещи что-нибудь...

Вошли в кассу.

— Фу! — отдувался дядюшка. — Вывезла кривая. Бог не без милости. Умный человек везде побывать может: и на почте, и в банке, и всегда сух из воды выйдет. Не надо только распускаться.

В ожидании своей очереди дяденька неестественно громким голосом стал рассказывать про себя очень странные вещи.

— Эти деньги, друг мой, — говорил он, — я в клубе наиграл. День и ночь дулся, у меня еще больше было, да я остальное пропил. А это вот пока что спрячу здесь, а потом тоже пропью, непременно пропью.

— Дяденька! — ахала я. — Да ведь вы же никогда карт в руки не брали! Да вы и не пьете ничего!..

Он в ужасе дергал меня за рукав и шипел мне на ухо: «Молчи! Погубишь! Это я для них. Все для них. Пусть считают порядочным человеком».

Из сберегательной кассы отправились домой пешком. Прогулка была невеселая. Дяденька во все горло кричал про себя самые скверные вещи. Прохожие шарахались в сторону.

— Ладно, ладно, — шептал он мне. — Уж буду не я, если мы благополучно до дому не дойдем. Умный человек все может. Он и в банке побывает, и по улице погуляет, и все ему как с гуся вода.

Проходя мимо подворотного шпика, дяденька тихо, но с неподдельным чувством пропел: «Мне верить хочется, что этих глаз сиянье!..»

Мы были уже почти дома, когда произошло нечто совершенно неожиданное. Мимо нас проезжал генерал, самый обыкновенный толстый генерал, на красной подкладке. И вдруг мой дяденька как-то странно пискнул и, мгновенно повернувшись спиной к генералу, простер к небу руки. Картина была жуткая и величественная. Казалось, что этот благородный седовласый старец в порыве неизъяснимого экстаза благословляет землю.

Вечером дяденька запросился в концерт. Внимательно изучив программу удовольствий, он остановил свой выбор на благотворительном музыкально-вокальном вечере.

Поехали.

Запел господин на эстраде какое-то «Пробуждение весны». Дяденька весь насторожился: «А вдруг это какая-нибудь аллегория. Я лучше пойду, покурю».

Кончилось пение. Началась декламация. Вышла ба-рышня, стала декламировать «Письмо» Апухтина. Дяденька сначала все радовался: «Вот это мило! Вот молодец-девица. И комар носа не подточит». Хвалил, хвалил, да вдруг как ахнет. Схватил меня за руку, да к выходу.

— Дяденька! Голубчик! Что с вами?

— Молчи, — говорит, — молчи! Скорей домой. Дома все скажу.

Дома потребовал от меня входные билеты с концерта, сжег их на свечке и пепел в окно бросил. Затем стал вещи укладывать. Мы просили, уговаривали. Ничто не помогло.

— Да вы хоть скажите, дяденька, что вас побудило?
— Да не притворяйся, — говорит, — сама слышала, что она сказала. Отлично слышала.

Насилу уговорили рассказать. Закрыв все двери.

— Она, — говорит, — сказала: «Воспоминанье гложет, как злой палач, как милый властелин».

— Так что же из этого? — удивляюсь я. — Ведь это стихи Апухтина.

— Что из этого? — говорит он жутким шепотом. — Что из этого? «Гложет, как милый властелин». Статья 121, вот что из этого. Идите вы, если вам нравится, а я, миленькие, стар стал для таких шуток. Мне и здоровье не позволит.

И уехал.

Семья разговляется

— Поедьте к нам, — упрасивали знакомые, когда стали расходиться из церкви. — Поедьте, вместе разговеемся.

Но Хохловы поблагодарили и с достоинством отказывались.

— Нет уж, мы всегда дома! Уж это такой праздник — сами понимаете... Вся семья должна быть в сборе. Мы всегда дома разговляемся, все вместе, сами понимаете... И детки ждать будут, как же можно?..

Распрощались, поздравились, поехали домой.

Колокола гудят, на улицах толпа народа.

Радостно, торжественно.

Хохлов говорит жене:

— Швейцару пять, старшему дворнику пять...

— Посмотри, какой красивый вензель на подъезде, — перебивает жена. — Надо шесть. Прибавь рубль, а то сразу начнет с квартирными приставать.

— Все равно, рублем не замажешь... Для фрейлейн что купила?

— Браслетку, — вздохнула жена. — За шесть рублей, дутая, но очень миленькая. И потом, я на коробочку попросила другую цену наклеить. Приказчик очень симпатичный,

написал — двенадцать с полтиной. По-моему, это даже еще естественнее, чем, например, просто тринадцать или двенадцать. Не правда ли? Но до чего я устала со всеми этими дрязгами! Обо всех нужно подумать, а ведь я одна. Поручить некому, а у всех претензии. Глаша (вообрази себе нахальство!) подходит ко мне на днях и заявляет: «Будете для меня подарок покупать — купите коричневого бордо на платье». Каково! И ведь прекрасно знает, что я сама коричневое ношу!

— Распущенность! Сама виновата. Не надо распускать. Приехали.

Швейцар торжественно распахнул двери.

— Христос Воскресе! С праздником, ваша милость!

Эту радостную весть первых христиан он произнес так спокойно и почтительно, словно докладывал: «Тут без вас господин приходили».

А Хохлов молча вытянул из-под отворота шубы бумажник, нахмурившись, вынул пять рублей и отдал их швейцару.

— Началось! — вздохнула жена.

Поднялись по лестнице.

На звонок отворила горничная и неестественно оживленно поздравила.

— Подарок после отдам, — сказала барыня и подумала: «И чего эта дура радуется? Воображает, кажется, что я ей коричневого купила».

В столовой ждали две девочки.

— Мама! — сказала одна. — Катя от большого кулича изюмину выколупала. Теперь там дырка.

— А Женя пасху руками трогала.

— Очень мило! Очень мило! — запела мать. — Вот как вы встречаете родителей. Вместо того, чтобы похристосоваться и поздравить с праздником, вы вот как... А где ваша фрейлейн? Куда она девалась?

— Фрейлейн в гостиной, в зеркало смотрится, — отвечали девочки дуэтом.

— Час от часу не легче! Жалованье платишь, подарки покупаешь, а уйдешь из дому лоб перекрестить — и детей оставить не на кого. Фрейлейн Эмма! Где же вы?

Вошла фрейлейн с напряженно-праздничным лицом. В волосах кокетливо извивалась старая, застиранная лента.

Фрейлейн сделала полупоклон-полуреверанс, то есть, склонив голову, слегка лягнула ногой под юбкой и сказала:

— Ich gratuliere...¹

— Это очень хорошо, моя милая, — перебила ее хозяйка, — но вы также не должны забывать свои обязанности. Дети шалят, портят куличи...

У немки сразу покраснел носик.

— Я гавариль Катенько, а Катенько отвешаль, что кулиш не святой. Я не знаю русски обышай, што я могу?

— Ну, перестаньте! Об этом потом поговорим. А где Петя?

— Петя пошел к заутрени во все церкви сразу, — отвечал дуэт. — Я говорила, что мама рассердится, а он говорит, что он не просил вас, чтобы вы его рождали, и что вы не имеете права вмешиваться.

— Ах, дрянь эдакая! Ох, бессовестный! — закудаhtала мать.

— В чем дело? — спросил, входя, Хохлов. — Вот вам подарок. Фрейлейн, вам браслетка. А вам, дети, — крокет.

Дети надулись.

— Какой же подарок! Крокет вовсе не подарок. Крокет еще в прошлом году обещали без всякого праздника.

— Цыц! Вон пошли! Сидите смирно или убирайтесь вон из комнаты! Не дадут отцу-матери разговеться спокойно. Где Петька?

— Во все церкви пошел... не имеете права вмешиваться... он не просил, — отвечал дуэт.

— Что такое? Ничего не понимаю. Вот я ему уши надеру, как вернется. Будет помнить! Не давать ему ни кулича, ни пасхи! Эдакая дрянь!

Хохлов сел за стол.

— Это что? Поросенок? Чего ты там в него натыкала? И к чему было фаршировать, когда я ничего фаршированного в рот не беру! Только добро портят. Муж горбом выколачивает гроши, а вы хоть бы подумали, легко ли это ему дается. Вы только сидите да фаршируете! Эдак, матушка, ты хоть миллион профаршируешь, раз нет в тебе никакой самокритики.

¹ Я поздравляю... (Нем)

Так тоже нельзя! Ну, к чему здесь, спрашивается, огурец лежит? Ну, кого ты думала огурцом удивить?

— Да я думала, что, может быть, Август Иванович разговестся заедет.

— Август Иванович! Очень ты его огурцом удивишь! Одна фанаберия. Передай сюда яйца.

Хохлов треснул яйцом об край тарелки. Жидкий желток брызнул ему на жилетку и пошел по пальцам.

— Это что? А? Всмятку! Позвать сюда Мавру! Позвать сюда мерзавку, которая на Пасху яйца всмятку варит. А? Как-ково? Двенадцать рублей жалования, яиц сварить не умест!

Вошла кухарка, встала у дверей.

— Это что? А? Это крутое яйцо? А?

— Виновата-с! К нему в нутро тоже не влезешь. Кто его знает, отчего оно не сварилось... Я ведь тоже не Свят Дух!..

— Скажи лучше, что ты мне с жилеткой сделала! У меня жилет тридцать рублей стоит; я его десять лет ношу, а ты мне его в один миг уничтожила! С меня подарков требуешь, а сама меня по миру норовишь пустить! Вон! Чтоб духу твоего... Кто там звонит? Ага. Петя! Тебя-то мне и нужно! Ты как смел без спросу в церковь уйти? А? Отвечай!

— Да что ж, когда вы не пускаете! Я ведь тоже человек. У меня религиозная потребность...

— Ах ты, поросенок! Скажите пожалуйста, какие он отцу слова говорит! Отец на них работает, отец их воспитывает, одевает, обувает, ночей не спит да думает, как бы им хорошо было...

— А где подарки?

— Слушаться не хотят, а о подарках не забудут. Тебе мать коньки купила, только я их тебе не дам! Нет, братец! Ты воображаешь...

— Не надо мне ваших коньков! Кто ж к лету коньки дарит? Все только нарочно!

— Сам же всю осень ныл, что коньков нет!..

— Так это осенью было! А теперь я же вам намекал, что мне удочка нужна. Если вы отец, так вы и должны относиться по-родительски.

— Ах ты, поросенок! Вон отсюда! Ничего не получишь! Не давать ему ничего! Ни кулича, ни пасхи! Ничего!

— А, так вот же вам!

Петя шлепнул ладонью по пасхе и удрал в свою комнату.

— Пойду отдам прислуге подарки, — сказала Хохлова и встала из-за стола.

Муж остался один и долго молча жевал.

— Ну что, рады небось? — спросил он, когда жена вернулась.

— Разве их чем-нибудь обрадуешь? Даже не поблагодарили... Глаша говорит, что фрейлейн плачет.

— Чего она?

— Браслетка не нравится. Не к лицу.

— Вот дура!

— Такая миленькая браслетка. И два сердечка подвешены. Им все мало!

— Ну, вот и разговелись. Теперь можно и на боковую. Слышишь? Что это там за треск? А?

— Ничего. Это девчонки крокет ломают.

— Эдакие дряни! Вот я им ужо!!

Нянькина сказка про кобылью голову

— Ну, а вы какого мнения относительно совместного воспитания мальчиков и девочек? — спросила я у своей соседки по five o'clock'y.

— Как вам сказать!.. Если бы дело шло о воспитании меня самой, то, конечно, я была бы всецело на стороне новых веяний. Ах, это было бы так забавно. Маленькие романы... Сцены ревности за уроками чистописания, самоотверженная подсказка... Да, это очень увлекательно! Но для своих дочерей я предпочла бы воспитание по старой методе. Как-то спокойнее! И, знаете ли, мне кажется, все-таки неприятно было бы встретиться где-нибудь в обществе с господином, который когда-то при вас спрягал: «Nous avons, vous avons, ils ont»¹... или еще того хуже! Такие воспоминания очень расхолаживают.

¹ Мы имеем, вы имеете, они имеют (*фр*).

— Все это вздор! — перебила ее хозяйка дома. — Не в этом суть! Главное, на что должно быть обращено внимание родителей и воспитателей, — это развитие в детях фантазии.

— Однако? — удивился хозяин и пожевал губами, очевидно собираясь состричь.

— Finissez!¹ Никаких бонн и гувернанток! Никаких. Нашим детям нужна русская нянька! Простая русская нянька — вдохновительница поэтов. Вот о чем прежде всего должны озаботиться русские матери.

— Pardon! — вставила моя соседка. — Вы что-то сказали о поэтах... Я не совсем поняла.

— Я сказала, что русская литература многим обязана няньке. Да! Простой русской няньке! Лучший наш поэт, Пушкин, по его же собственному признанию, был вдохновлен нянькой на свои лучшие произведения. Вспомните, как отзывался о ней Пушкин: «Голубка дряхлая моя... голубка дряхлая моя... сокровища мои на дне твоём таятся...»

— Pardon, — вмешался молодой человек, приподняв голову над сахарницей, — это как будто к чернильнице...

— Что за вздор! Разве чернильница может нянчить? А все эти дивные произведения! «Руслан и Людмила», «Евгений Онегин», — ведь всему этому научила его нянька!

— Неужели и «Евгений Онегин»? — усомнилась моя соседка.

— Удивительно! — мечтательно сказал хозяин дома, — такая дивная музыка... И все это нянька!

— Finissez! Только теперь я и чувствую себя спокойно, когда взяла к детям милую старушку. Она каждый вечер рассказывает детям свои очаровательные сказочки.

— Да, но, с другой стороны, излишняя фантазия тоже вредна! — заметила моя соседка. — Я знала одного дантиста... Так он ужасно много о себе воображал... То есть я не то хотела сказать...

Она слегка покраснела и замолчала.

— А сколько возни было с этими боннами! Была сначала швейцарка. Боже мой, как она нас замучила! Иван

¹ Перестаньте! (Фр.)

Андреич до сих пор без содрогания о ней вспомнить не может. Представьте себе, чем она нас донимала? Аккуратностью. Каждое утро все оконные стекла зубной щеткой чистила. Порядки завела прямо необыкновенные. Заставила в три часа обедать, а ужинать совсем запретила. Иван Андреич стал в клуб ездить, а я, потихоньку, к Филиппову бегала пирожки есть. Теперь положительно сама не понимаю, как она такую власть над нами забрала. Прямо пикнуть не смели!

— Говорят, есть такие флюиды... — вставил хозяин, сделав умное лицо.

— Finissez! Наконец избавились от нее. Взяла немку. Все шло недурно, хотя она сильно была похожа на лошадь. Отпустишь ее с детьми гулять, а издали кажется, будто дети на извозчике едут. Не знаю, может быть, другим и не казалось, но мне, по крайней мере, казалось. Каждый может иметь свое мнение. Тем более я — мать.

Мы не спорили, и она продолжала:

— Прихожу я раз в детскую, вижу — Надя и Леся укачивают кукол и какую-то немецкую песенку напевают. Я сначала даже обрадовалась успеху в немецком языке. Потом, как прислушалась, — Господи, что такое! Ушам своим не верю. «Wilhelm schlief bei seiner neuen Liebe!»¹ — выводят своими тоненькими голосками. Я прямо чуть с ума не сошла.

В комнату вошла горничная и что-то доложила хозяйке дома.

— А-а! Вот и отлично! Теперь шесть часов, и няня сейчас начнет рассказывать детям сказку. Если хотите, господа, полюбоваться на эту картинку в жанре... в жанре... как его? Их еще два брата...

— Карл и Франц Мор, — подсказал молодой человек.

— Да, — согласилась было хозяйка, но тотчас спохватилась: — Ах нет, на «Д»...

— Решке, что ли? — помог муж.

— Finissez! В жанре... в жанре Маковского.

— Так вот — картинка в жанре Маковского. Я всегда обставляю это так фантастично. Зажигаем лампадку, няня

¹ Вильгельм спит у своей новой возлюбленной! (Нем.)

садится на ковер, дети вокруг. C'est poétique¹. Так что же, — пойдете?

Мы согласились, и хозяйка повела нас в кабинет мужа и, тихонько приоткрыв дверь в соседнюю комнату, знаком пригласила нас к молчанию и вниманию.

В детской действительно было полутемно. Горела только зеленая лампадка. И тихо. Скрипучий старушечий голос прорывался сквозь шамкающие губы и тягуче рассказывал:

— «В некотором царстве, да не в нашем государстве, жил-был старик со старухой, старые-престарые, и детей у них не было.

Вот погоревал старик, погоревал, да и пошел в лес дрова рубить.

Рубит, рубит, вдруг, откуда ни возьмись, выкатилась из лесу кобылья голова.

— Здравствуй, — говорит, — папаша!

Испугался мужик, однако делать нечего.

— Какой, — говорит, — я тебе, кобылья голова, папаша!

— А такой, что веди меня к себе в избу жить.

Потужил мужик, потужил, однако видит, что делать нечего. Повел он кобылью голову к себе домой.

Подкатилась кобылья голова под лавку, три года жила, пила, ела, мужика папашей звала.

Как на третий год выкатилась кобылья голова из-под лавки и говорит мужику:

— Папаша, а папаша, я жениться хочу!

Испугался мужик, однако делать нечего.

— На ком же ты, — спрашивает, — кобылья голова, жениться хочешь?

— А так что, — говорит, — иди ты во дворец и сватай за меня царскую дочку.

Потужил мужик, потужил, однако делать нечего. Пошел во дворец.

Аводворцесарская дочка жила. Красавица-раскрасавица. Носик у ей востренький, а глаза маленькие, что серпом прорезаны.

И живет она богато-богатеюще.

¹ Это так поэтично (*фр.*).

Все-то у нее есть, что только ее душеньке угодно. Пьет она вино шампанское, есть она масло параванское, пряником непечатным закусывает. А платье на ней с тремя оборками и манчестером отделано.

А во дворце-то палаты огромные, ни пером описать. Сам царь от стула до стула на тройке ездит.

А и слуг во дворце видимо-невидимо. В каждом углу по пятьсот человек ночует.

Стал старик царскую дочку за кобылью голову сватать.

Потужил царь, потужил, однако видит, делать нечего. Отдал дочку за кобылью голову.

Стали свадьбу играть, пошел пир горой. Поставил царь и соленого, и моченого, и жареного, и вареного, а старику подарил с своего царского плеча лапотки новехонькие да кафтан золоченый, на бумаге стеганный, и палаты каменные, и пирога кромку.

Пошел старик к своей старухе. Стали они жить-поживать да детей наживать. По усам текло, а в рот не попало!»

— C'est fantastique!¹ — хрюкнул молодой человек, зажав рот рукой.

— Тсс! Revenons² в гостиную!

Страшный ужас

(Рождественский рассказ)

Кто не знает страшные рождественских метелей, когда завывание ветра смешивается со свистом бури, когда облака как будто хотят сесть на землю, когда все богатое торжествует на елках, а бедняки замерзают у дверей своих обеспеченных соседей, причиняя этим им неприятность!..

Самый яркий вымысел рождественского фельетониста, одобренного хорошим авансом, бледнеет перед действительностью.

¹ Это фантастично! (Фр.)

² Вернемся (фр.).

Николай Коньков! Маленький ребенок — Коля Коньков, замерзший и занесенный снегом в лютую рождественскую ночь!

О нем хочу я вам рассказать.

Николай Коньков был ребенком (кто из нас не был ребенком?).

Он был, собственно говоря, даже более чем ребенок, так как ему было уже тридцать пять лет, когда он приехал в Петербург в одну из вышеописанных ужасных рождественских ночей.

Правда — ни мороза, ни метели в эту ночь не было, так как дело происходило в середине июля месяца.

Да и ночи, собственно говоря, тоже никакой не было: поезд пришел ровно в 10 утра.

Но что же из этого?

Приехал он из своего имения освежиться. В городе есть особая свежесть, которой в деревне ни за какие деньги не достанешь.

Коньков ездил обыкновенно за свежестью в Москву, в Петербурге же был новичком и потому с девственной беспечностью доверился извозчику.

Тот привез его в меблированные комнаты на Пушкинской. Коньков сунул швейцару свой чемодан и побежал искать парикмахерскую.

Он был франт.

Вышел из парикмахерской и шел домой, насвистывая, ровно ничего не подозревая.

А домой-то он и не попал!

В Петербурге каждому ребенку известно, что вся Пушкинская сплошь состоит из меблированных комнат, до такой степени друг на друга похожих, что самый опытный глаз легко может их перепутать. А неопытный и того хуже.

У Конькова глаз был неопытный и завел его не в те номера. Коридорный выяснил ошибку и вывел его на улицу.

Коньков осмотрелся и пошел в дом, что напротив.

— Вам кого? — спросил швейцар.

— Господин Коньков не здесь ли остановился?

- Нет-с. У нас таких нет.
- Коньков завернул в соседний подъезд.
- Не здесь ли господин Коньков?
- А какие они из себя будут?
- Да такой... симпатичный, — с чувством ответил Коньков. — Симпатичный, среднего роста. Вроде меня.
- Нет, такого не видали!
- Гм... а ведь он у вас паспорт оставил...
- Коньков упал духом.
- И так еще хорошо, дом запомнил!.. Подъезд, а слева ворота, а у ворот мальчик стоит.
- Он сунулся еще в один подъезд, но швейцар сказал ему сухо:
- Как вы туточа уже два раза были, так я один дух дворников крикну. А в участке живо разберут, кто кому Коньков.
- Есть натуры, которые не теряются в минуты самой грозной опасности.
- Не растерялся и Коньков. Он нанял извозчика и поехал к Палкину завтракать.
- Народу в ресторанах было мало. Рядом за столиком сидел толстый господин и, поглядывая на Конькова, с чувством повторял:
- Ч-черт!
- Заметив это, Коньков, как человек воспитанный, встал и представился.
- Чучело! — завопил господин. — Да ведь я Данилов! Мишка Данилов! Вместе в полку служили.
- А! И давно ты здесь?
- Да уж третий год.
- Третий год у Палкина? Ну, и штучка же ты!
- В Петербурге третий год, а не у Палкина. Вместе обедать будем?
- Не могу. Занят по горло. Еду в адресный стол узнавать, где я живу.
- Рассказал про свое горе. Данилов помог советом. Утешал и успокаивал:
- Ты, братец, не торопись. Все равно за это время они все твои вещи раскрали. А ночуй у меня. Третья рота, дом 5, квартира 73. Сам я вернусь поздно, а ты располагайся. Скажи прислуге, чтоб тебе в кабинете постелили.

В три часа ночи изрядно освежившийся Коньков разыскал пятый дом в третьей роте.

— Б-барин велел постелить в каб-бинете... — пролепел он перед изумленной горничной.

Спал хорошо. Проснулся около двенадцати.

В доме было тихо. В приотворенную дверь высматривало круглое бритое стариковское лицо с седоватыми усами. Под лицом виднелась военная тужурка.

— А! Вы проснулись! — сказала лицо и вошло в комнату.

— Как видите, — зевнул Коньков и закурил папиросу.

Гость подошел и как-то сконфуженно присел на кончик кровати. Конькову захотелось подбодрить его.

— А вы что же... Тоже здесь ночевали?

— Да-с... и я тоже. Я здесь уже четвертый месяц... ночью...

— Ишь! И не гонит он вас, ха-ха?

— Кто?

— Да хозяин.

— Зачем же ему гнать? Ведь я плачу. Шестьдесят пять рублей...

— Шестьдесят пять? Вот выжига! Столько драть! Он эдак скоро разбогатеет.

— У него и так два дома, — сказал старичок.

— Два дома! А он молчит! Я, признаюсь, сам заметил, когда он еще селедку ел. Что-то такое, эдакое... А ведь все-таки он болван! Ведь болван — Мишка Данилов? А?

Старичок словно обиделся:

— Ну, знаете, уж об этом судить не берусь.

Коньков знал людей и подумал: «Лебеза, подлиза приживальная! Знаем мы вас!»

И спросил:

— А что, он уже встал?

— Кто?

— Да хозяин.

— А я-то почему знаю!

— И чужак же вы! В одном доме живете и ничего не знаете!

— И вовсе не в одном доме. Он на Сергиевской живет.

— Мишка Данилов?

Старичок чуть не заплакал.

— Да не Мишка, Господи! Домовладелец мой на Сергиевской живет. Купец Каталов. Господи! Страдаю исключительно от своей деликатности!

Коньков усмехнулся и стал одеваться.

— Это вы-то?

— Ну, я! Другой выгнал бы вас давно! Залез в чужой дом и спит! И спи-ит!

— Па-азвольте! Меня сам Данилов пригласил...

Старичок похлопал его по плечу и той же рукой показал наверх:

— Там Данилов! Там! Поняли?

— Умер? — догадался Коньков и сразу взял себя в руки, чтоб не малодушничать...

— Наверху он! — надрывался старичок. — Наверху живет. В третьем этаже. А я Карасев в отставке. Карасе-ев! Господи!

* * *

Страшно в рождественскую ночь, когда смерть, обнявшись с бурей, танцует и гикает, взвиваясь снежным вихревым костром... В рождественскую ночь вспомним о бесприютных.

За стеной

Кулич положительно не удался. Кривой, с наплывшей сверху коркой, облепленный миндалинами, он был похож на старый, гнилой мухомор, разбухший от осеннего дождя. Даже воткнутая в него пышная бумажная роза не придала ему желанной стройности. Она низко свесила свою алую головку, словно рассматривая большую заплатку, украшавшую серую чайную скатерть, и еще более подчеркивала кособокость своего пьедестала.

Да, кулич не удался. Но все точно молча сговорились не придавать значения этому обстоятельству. Да оно и вполне понятно: мадам Шранк, как хозяйке дома, невыгодно было бы указывать на недостатки своего угощения, мадам Лазенская была гостьей, приглашенной разговляться, и, как

водится, должна была все находить превосходным. Что же касается кухарки Аннушки, то уж ей положительно не было никакого расчета обращать внимание на свою собственную оплошность.

Прочее же угощение не оставляло желать лучшего: нарезанная маленькими кусочками ветчина, чередуясь с ломтиками копченой колбасы, изображала на тарелке двухцветную звезду. Жареная курица, раскинувшись в самой беззащитной позе, показывала, что она начинена рисом. Маленькая сырная пасха была на вид довольно неказиста, но зато так благоухала ванилью, что нос мадам Лазенской сам собой поворачивался в ее сторону. Выкрашенные в яркие цвета яйца оживляли всю картину.

Мадам Лазенская уже давно была не прочь приступить к закуске. Она старалась из приличия не смотреть на стол, но все ее маленькое острое личико со взбитыми жиденькими волосами и грязной лиловой ленточкой на сморщенной шее выражало напряженное ожидание. Приподняв безволосые, подчерненные спичкой брови, она то с интересом разглядывала покрытую вязаной салфеткой этажерку, которую видела ежедневно в продолжение девяти лет, то, опустив глаза и собрав в комочек беззубый рот, скромно теребила обшитый рваным кружевом носовой платочек.

Хозяйка, толстая брюнетка, с отвисшими, как у сердитого бульдога, щеками, важно ходит вокруг стола, разглаживая серый вышитый передник на своем круглом животе. Она прекрасно понимает состояние мадам Лазенской, питавшейся весь пост печеным картофелем без масла, но напускное равнодушие сердит ее, и она нарочно томит свою гостью.

— Еще рано, — гудит ее могучий бас. — Еще в колокол не ударили.

Она говорит с сильным немецким акцентом, выставляя вперед толстую верхнюю губу, украшенную черными усиками.

Гостья молча теребит платочек, затем заводит разговор на посторонние темы.

— Завтра, наверное, получу письмо от Митеньки. Он мне всегда на Пасху присылает денег.

— И глупо делает. Все равно на духи растранижите. Кокетка!

Мадам Лазенская заискивающе смеется, сложив рот трубочкой, чтобы скрыть отсутствие передних зубов.

— Хю-хю-хю! Ах, какая вы насмешница!

— Я правду говорю, — гудит поощренная хозяйка. — К вам в комнату войдешь — как палкой по носу. И банки, и склянки, и флаконы, и одеколоны — настоящая обсерватория.

— Хю-хю-хю! — свистит гостя, бросая кокетливый взгляд на этажерку. — Женщина должна благоухать. Тонкие духи действуют на сердце... Я люблю тонкие духи! Нужно понимать. Вербена — запах легкий и сладкий; амбр-рояль — густой. Возьмите две капельки амбре, одну капельку вербены и получите дух настоящий... настоящий, — она пожевала губами, ища слова, — земной и небесный. А то возьмите основной дух Трэфль инкарнат, пряный, точно с корицей, да в него на три капли одну белого ириса... С ума сойдете! Прямо с ума сойдете!

— Зачем мне с ума сходить, — иронизирует мадам Шранк. — Я лучше схожу к Ралле, куплю цветочный одеколон.

— Или возьмите нежную Икзору, — не слушая, продолжает фантазировать мадам Лазенская, — а к ней подлейте одну каплю тяжелого Фужеру...

— Я всяко ж больше всего люблю ландыш, — перебивает ее густой бас хозяйки, решившей, что пора наконец показать, что и она кое-что в духах смыслит.

— Ландыш? — удивляется гостя. — Вы любите ландыш? Хю-хю-хю! Ради Бога, никому не говорите, что вы любите ландыш! Ах, Боже мой! Да вас засмеют! Хю-хю-хю! Ландыш! Пошлость какая!

— Ах, ах! Какие нежности! — обижается мадам Шранк. — Как все это важно! Ума большого не вижу, чтобы морить себя голодом — на духи деньги копить! Ужасная прелесть — аромат на три комнаты, а лицо с кулачок.

Мадам Лазенская, низко нагнув голову, отчищает ногтем какое-то пятнышко на своей кофточке. Видны только большие ярко-малиновые уши.

— Пора, — заявляет наконец хозяйка, усаживаясь за стол, — Аннушка! Тащи кофей!

Мадам Шранк звонков в комнатах не признавала. Голос ее гудел, как китайский гонг, и был слышен одинаково хорошо во всех углах и закоулках маленькой квартирки. Часто случалось, что она, прибирая в передней, ворчит, а кухарка из кухни подает ей во весь голос реплики. Для того чтобы разговаривать с мадам Шранк, вовсе не нужно было находиться с ней в одной комнате.

— Тащи скорей!

Вдали раздался грохот упавшей кочерги, визг собачонки, и в дверях показалась мощная фигура Аннушки, в ярко-красной кофте, стянутой старым офицерским поясом. Натертые ради праздника свеклой круглые щеки соперничали колоритом с лежавшими на блюде пасхальными яйцами. Волосы грязно-серого цвета были жирно намажены и взбиты в высокую прическу, увенчанную розеткой из гофрированной зеленой бумажки с аптечного пузырька. Скромно опустив глаза, словно стыдясь своей собственной красоты, поставила Аннушка поднос с кофейником и чашками.

— Надень передник, чучело! — мрачно загудела мадам Шранк. — Кто тебе позволил воронье гнездо на голове завивать? Взгляните, мадам Лазенская, как она себе щеки нащипала! Га-га-га!

— Хю-хю-хю! — свистит птицей мадам Лазенская.

— И неправда, и не думала щипать, — оправдывается Аннушка, осторожно водя по лицу рукавом платья. — Ей-богу! вон образ-то на стене... Ей-богу, от жары. Кулич пекла, куру жарила... В кухне такое воспаление.

Она уходит, сердито хлопнув дверью.

— Каково! — возмущается хозяйка. — Нельзя слова сказать! Это называется прислуга! Накрасится, волосы размочалит, и не подступись к ней. И каждое воскресенье так. Как все уйдут — сейчас щеки намажет, офицерский кушак напялит и давай обедню петь. А я нарочно вернусь, открою дверь своим ключом и все в передней слушаю. Часа два поет во все горло: «Господи помилуй! Господи помилуй!» Ревет, как бык. Прямо у меня все нервы трещат. Еще какой-нибудь дурак-квартирант подумает, что это я так пою...

— Жалко Дашу, — вставляет мадам Лазенская, — та была гораздо скромнее.

— Н-ну! Каждый день новый уважитель. Все у них уважители на уме!

Мадам Лазенская мнется и молчит.

— Удивительное дело, — продолжает хозяйка, разрезывая курицу. — Все у них уважители. Ну, Аннушка, та, по крайней мере, со двора не ходит...

— Завтра пойду, — раздается вопль из кухни. — Хоть нарежьте, пойду... Перед людьми стыдно! И так старший дворник проходу не дает. Когда же ты, говорит, ведьма, со двора пойдешь? Первый раз, говорит, такого черта вижу, что никогда со двора не ходит.

— Каково! — удивляется хозяйка. — Куда же ты пойдешь, у тебя здесь никого нет?

— Мало ли куда... На кладбище пойду на какое-нибудь. У нас в деревне, как праздник, все на кладбище идут. Нашли тоже дуру, — не знаю я, куда идти! Почище других знаю!

— Перестань орать, у меня от тебя нервы трещат!

Мадам Шранк подходит к буфету и, повернувшись спиной к мадам Лазенской, что-то переставляет, звеня рюмками. Затем слегка откидывает голову назад и, заперев буфет, возвращается на место, смущенно покашливая. Гостя все время внимательно рассматривает этажерку.

Она давно знакома с этим маленьким маневром и знает, что, проделав его, мадам Шранк становится необыкновенно патриотичной и любит говорить о Германии, которую никогда и в глаза не видала, так как родилась и выросла в Петербурге. Мадам Лазенская в таких случаях немножко обижается за Россию и старается замять разговор. Противоречить она не смеет, чувствуя себя всегда немножко виноватой перед своей усатой собеседницей. Дело в том, что, занимая у мадам Шранк крошечную комнатку, она часто не может заплатить за нее в срок, и мадам Шранк снисходительно допускает рассрочку.

— Подобной прислуги в Берлине не бывает, — укоризненно говорит хозяйка, отправляя в рот большой кусок ветчины.

Гостя молчит, подбирая вилкой рис.

Мадам Шранк долго придумывает, что бы ей сказать неприятного:

— Вы что молчите? Верно, мечтаете, какие духи на Митенькины деньги покупать будете? Охота ему посылать! Есть еще на свете глупые сыновья! После вас ведь ему ничего не останется. А что от отца осталось, то вы в три года успели фю-ю по ветру...

Лицо мадам Лазенской покрывается пятнами.

— Знаете, мадам Шранк, — быстро перебивает она. — Я сегодня видела красное сукно, точно такого цвета, как у меня амазонка была. Помните, я вам рассказывала? Ну, точь-в-точь, точь-в-точь...

— Еще бы вам не знать амазонку, когда вы в три года двадцать тысяч с офицерами верхом проскакали.

— Хю-хю-хю! — лебезит гостя, желая умиловить обличительницу.

— Вы чего смеетесь?

— Так, я вспомнила смешное, — пугается мадам Лазенская, — вы вчера рассказали про того старика...

Лицо мадам Шранк медленно растягивается в улыбку; глаза щурятся, углы рта глубоко въезжают в мягкие щеки.

— Го-го-го! «Позвольте, сударыня, вас проводить...» Оборачиваюсь: Господи! Ножки тоненькие, еле стоит, обеими руками за палку держится... Нос синий — весь бровь седой... «Вы? Меня провожать? Вам нужно скорей домой бежать». Он на меня глаза выпучил, ничего не понимает... «Бегите, говорю, домой — вам умирать пора, скорей бегите!» Га-га-га! А он как заплелся, га-га-га! — ужасно рассердился.

— Ох, перестаньте! Хю-хю-хю! Ох, вы меня уморите! Хю-хю-хю! Ах, уж эта мне мадам Шранк, всегда что-нибудь!..

— Скорей, говорю, торопитесь. Всяко ж неприятно, если на улице...

— Ох! Хю-хю-хю!..

— Ну, перестаньте, мадам Лазенская! С вас вся пудра обсыпалась.

Обе дамы, несмотря на десятилетнее совместное сожительство, никогда не звали друг друга по имени. Как-то одна из родственниц мадам Шранк спросила у нее, как имя ее жи-

лички, и та, к своему собственному удивлению, призналась, что никогда не полюбопытствовала узнать об этом.

— Ах, эти мужчины! — томно вздыхает мадам Лазенская. — Мне Лизавета Ивановна рассказывала...

— Все врёт ваша Лизавета Ивановна, — вдруг вспыхивает порохом хозяйка. — И ничего она рассказывать не может на своем чухонском языке. Сегодня увязалась со мной в мясную, руками машет, кричит, мне перед прохожими стыдно. Переходим через улицу, я говорю: «Идите скорее», а она как завизжит: «Не могу скорей, на меня лошади наступили». Прямо срам! Ну, сказала бы: «Извините, мадам Шранк, я нахожусь в большом толпа лошадей». Столько лет живет в Петербурге, говорить не умеет. Чухонка!

Мадам Лазенской очень хочется попробовать колбасы, но она боится заявить о своем желании, когда хозяйка так расстроена, и снова меняет тему разговора.

— Да, эти мужчины, прямо такие... такие...

Мадам Шранк настораживается, как дрозд, которому подсвистнули знакомый мотив.

— Скушайте колбасы! Что вы так мало? Всяко ж мужчины презабавный народ. Был у меня один нахлебник — молодой, красивый, адмирала сын. Он сам из Харькова, в Петербург приехал экзамен на генерала держать на штатского... У вас, говорит, мадам Шранк, на щеках розы лепестки...

— Он при мне, кажется, не приходил?

— Нет, он года за два до вас был. Га-га!.. Розы лепестки!

— Чудное средство от морщин — помада крем-симон, — некстати вставляет мадам Лазенская. — Вы попробуйте, мадам Шранк. Это прямо удивительно, как она действует на кожу! Я всю жизнь ничего, кроме крем-симон, не употребляла. Каждое утро и каждый вечер немножко на ватку и потом вот так втирать... Вы непременно должны...

— Га-га-га! — добродушно колышется хозяйка. — Если бы вы мне не сказали, что вы ее употребляете, может быть, я бы и попробовала. А уж как предупредили, — покорно благодарю. Уж больше морщин, как на вашем лице, никогда в жизни не видывала! Ей-богу, мадам Лазенская, уж вы не обижайтесь, — никогда в жизни!

Гостыя краснеет и криво улыбается.

— И всяко ж вы транжирка, — продолжает хозяйка. — Деньги нельзя на всякие там симоны да ликарноны тратить. Деньги нужно копить. Вот когда муж был жив да у меня в ушах бриллианты с кулак болтались, поверьте, совсем иначе ко мне люди относились. Что ни скажу — все умно было. Теперь небось никто не кричит про мой ум, а как вспомню, так и тогда все одни глупости говорила. Деньги — великое дело. Будь у вас деньги, вы бы тоже умнее всех были, и полковники бы у вас в гостях сидели, и приз бы за красоту получили.

Мадам Лазенская, расцветая кокетливо-смущенной улыбкой, оправляет на шею лиловую ленточку, а мадам Шранк снова подходит к буфету и звенит рюмками...

— У нас, в Берлине, умеют деньги ценить. У нас в Берлине все умеют. Откуда на Невском электрические фонари? От немцев! Откуда дома большие? Немцы выстроили. И материи, и шелк, и всякие науки — история, география — все от немцев, все они выдумали!

Мадам Лазенская краснеет и бледнеет. Ей хочется возразить, но она не знает, что сказать, и, кроме того, она еще не попробовала пасхи, а после политических споров приличие требовало удалиться в свою комнату.

— Как у вас искусно сделана эта розочка в куличе, прямо хочется понюхать, — говорит она дрожащими губами.

Мадам Шранк, зловеще помолчав, вдруг сообщает:

— Лизаветы Ивановны жилец читал в газетах, что в Берлине было большое землетрясение. Очень большое. У русских никогда не бывает землетрясения.

Это было слишком много даже для мадам Лазенской. Она вдруг вся задрожала и покрылась красными пятнами.

— Неправда! Неправда! — закричала она тоненьким, прерывающимся визгом. — В России несколько раз было землетрясение. В Верном было...

— Это не считается, — деланно-спокойным басом говорит хозяйка, — это за Балканским морем, это уже не натуральная Россия...

— Неправда! — судорожно трясет кулачком мадам Лазенская. — Это вы нарочно... Вы думаете, что я бедная, так у меня нет отечества!.. Стыдно вам! Все знают, что у русских

было землетрясение! Это нечестно! Вы все врете! Вы про старика уж пятый год рассказываете и всегда говорите, что это на днях было. Стыдно вам!

Она вскочила и, быстро затопав каблучками, натываясь на стулья, побежала в свою каморку и заперлась на крючок.

В каморке было тихо, и через открытую форточку вместе с крепким и влажным запахом весны протяжно вливался тихий гул пасхального благовеста. Он томил и тревожил душу, как отзвук далекой чужой радости, и тихо колебал воздух глубокими тяжелыми волнами.

За окном — стена, начинающаяся где-то далеко внизу, уходила высоко в тусклое небо, бесконечная, гладкая, серая...

В каморке было тихо, и никто не мешал мадам Лазенской выплакаться. Она плакала долго, низко опустив голову и упершись локтями в подоконник. Потом, когда слезы иссякли и чувство острой обиды притупилось и успокоилось, она встала, подошла к комоду и, выдвинув верхний ящик, вытащила завернутый в шелковую тряпочку флакон. Она осторожно вынула пробку и медленно потянулась носом вперед, вдыхая содержимое вздрагивающими ноздрями. Затем снова заботливо завернула флакон и тихо и ласково, словно спеленутого ребенка, уложила его на прежнее место.

Медленно, еще дрожащей после волнения рукой, придвинула она коробочку с пудрой и, обтерев пуховкой лицо, развесила на спинке стула мокрый носовой платочек, тщательно расправив рванные кружевца.

— Аннушка, — загудел вдали голос мадам Шранк, — скажи мадам Лазенской, пусть идет пить кофе, когда у нее дурь пройдет. Я не могу всю ночь ждать. Здесь вот пасхи кусок. Остальное снесу на холод. Я спать иду. У меня самой нервы трещат.

Сердце мадам Лазенской громко застучало. Она знает, что Аннушка давно спит и что хозяйка говорит нарочно для того, чтобы она, Лазенская, услышала.

Она тихонько подкрадывается к двери и прислушивается, выжидая ухода мадам Шранк, чтобы выйти в столовую.

Стена за окном чуть-чуть розовеет под первыми алыми лучами восходящего солнца. Рассветный живой ветерок дерзко стукнул форточкой и, пробежав легкой струйкой, колыхнул сохнувший на стуле платочек.

Политика и наука

Настроение в классной комнате какое-то натянутое. Второй день не дерутся.

Павлику не по себе. Он сидит над книгой и тихо похныкивает, глядя под лампу, подвешенную высоко, «от греха подальше».

Борька, толстый, безбровый, хмурит лоб и зубрит по бумажке.

— Р. С.-Д. Р. П..., Д. К. и Р. Д. ... Нет, не Д. К., а К.-Д., К.-Д., К.-Д.

— Хм! — хнычет Павлик. — И чего ты бесишься. Все равно все знают, что у нас в приготовительном самые трудные предметы. У нас все предметы начинаются, а у вас все только повторяют. Это всем известно.

— К.-Д., К.-Д., К.-Д., — кудахтает Борька.

— Хм! Хм! Меня завтра из батюшки спросят, а я ничего не могу выучить. Вчера спросили, я все великолепно знал, а он кол влепил.

— Р. С.-Д. Р. П., Р. С.-Д. Р. П. А что же тебя спрашивали? — с легким налетом презрения кидает Борька.

— Спросили про двенадесятые праздники. Я ему почти все назвал: Пасху назвал, Вознесенье назвал, Елку назвал, Введение назвал, Масленицу назвал...

— Дурак! Масленица не двенадесятая. Р. С.-Д. Р. П.

— Я ему все назвал, и Илью назвал, а он...

— Перестань скулить! Р. П. С.-Р. ... У меня революция на носу. Большевик, меньшевик, фракция, фракция, фракция... Большевик, меньшевик...

Павлик уныло посмотрел на маленький круглый Борькин нос, на котором была революция, и захныкал дальше.

— Хм! Заповеди все знаю, а он нарочно сбивает, чтобы...
— Врешь, — неожиданно обрывает Борька. — Не можешь ты всех заповедей знать.

— Нет, знаю.

— Ну, скажи, какую знаешь.

— Все знаю. И третью знаю.

— Ну, скажи, про что в третьей говорится?

— Про родителей.

— А что про родителей?

— «Да не прелюбо да сотворите» говорится. Я все знаю. А ты ничего не знаешь, ты ерунду зубришь. Латинскую азбуку.

— Эх ты, курица! Это не латинская азбука. Это мне Паша Коромысленников записал. Это, братец ты мой, фракция, а не ерунда. Паша Коромысленников не такой человек, чтобы ерундой заниматься. Он, братец ты мой...

— А что такое фракция?

— Это, братец ты мой, тебе еще рановато знать. Вот перейдешь в следующий класс, тогда... Паша Коромысленников светлая личность!

Борька глубокомысленно хмурит то место, где должны быть брови, и, понизив голос, продолжает:

— У Паши Коромысленникова чудный револьвер! Браунинг. Великолепный! Маузерской работы. Он несколько тысяч стоит, и то без пуль. Пули покупаются отдельно. Тоже несколько тысяч. Но мы будем сами пули лить. Своего отлива прочнее. Будем копить свинец из-под Гала-Петер. Этого, конечно, мало... Ну, да там видно будет. Мне тоже придется обзавестись оружием.

— А тебе зачем? — криво усмехается Павлик. Он уже давно почувствовал уважение к брату, но еще совестно показать это.

— Я, видишь ли, братец ты мой, сделал маленькую оплошность. Может быть, ты и не заметил, но кое-что, наверное, намотал себе на ус. Дело в том, что я вчера за обедом брякнул во всеуслышание, что я социал-демократ. Теперь Паша Коромысленников советует мне спать с оружием. Пример Герценштейна служит ярким доказательством того, что черная сотня не пощадит никого из нас...

Павлик уже не усмехается. Глаза у него стали круглые.

— Да-с, братец ты мой, — продолжает Борька. — Дело — табак! Конечно, я мог бы, например, завтра же за обедом заявить, что я не социал-демократ, а что я принадлежу к фракции союза активных крамол, то есть борьбы (ты ведь все равно не понимаешь). Этим я бы себя спас. Но Борис Сухарев не таков, братец ты мой! Ты еще узнаешь, что такое Борис Сухарев. А теперь — засохни! Не мешай. Р. С.-Д. Р. П., Р. С.-Д. Р. П., Р. С.-Д. Р. П.

Некоторое время Павлик молча и сосредоточенно рисует чернилами рожи у себя на ногтях.

Разрисовал всю левую руку — на каждом ногте по роже. Мрачно полюбовался. Принялся за правую руку. Здесь дело не налаживалось. Павлик не умел рисовать левой рукой. Опять стало скучно. Пришлось захныкать.

— Хм... хм... Все равно хоть все на память вызубри, а он кол влепит. Я ему все Вознесенье хорошо ответил; все правильно рассказал, только заглавие спугал, сказал, что это Сретенье, а он... А Петя говорит, что если я из батюшки срежусь, так меня на второй год засадят.

— Засохни! П. П. С., П. Н.-С. ... У меня теперь трудное пошло. П. П. С., П. Н.-С.

— Из русского разбор задал, а я не могу...

— Что ты не можешь, курица?

— Не могу пустынного.

— Какого пустынного?

— Задано «Пустынный гулял в пустыне». Пустыня — имя существительное, нарицательное... А пустынный... а пустынный — глагол?

— Глагол? — задумывается Борька. — Ну, это ты, братец, того... Как же тогда второе лицо?

— Ты пустынный... — безнадежно тянет Павлик.

— Нет, это ты, братец, путаешь. Это так кажется, что глагол, потому что пустынный предмет воодушевленный. А ты возьми предмет невоодушевленный. Например, стол. Что такое — стол?

— Глагол...

— Вот курица! Как же будущее время, если глагол?

— Столу-у, хм...

В соседней комнате часы бьют восемь. Борька в отчаянии хватается за голову.

— Сейчас чай пить позовут, а я ни в зуб ногой. Будь товарищем, спроси меня вот по этой бумажке, только не подсказывай, я сам...

Павлик берет бумажку и, мрачно насупившись, начинает:

— Что такое К.-Д.?

— Да ты не по порядку! Ты вразбивку спрашивай. По порядку и дурак скажет.

— Что такое максималисты?

— Ну, это легко. Это те, которые в Фонарном переулке. Валяй дальше!

— Что такое П. Д. Р.?

— П. Д. Р... П. Д. Р... Пстой, ты, верно, не так спрашиваешь. Да, П. Д. Р. Партия демократических реформ. Правей К.-Д., левей С.-Д.

— Что такое Р. С.-Д. Р. П.?

— Гм... Как?

— Р. С.-Д. Р. П.

— Ты, верно, опять спутал.

— Р. С.-Д. Р. П., — настойчиво тянет Павлик.

— Пошел к черту! Мекеке! Мекеке! Туда же, берется спрашивать. Сказано, курица — ну и молчи! Давай сюда записку!

В столовой зазвенели ложки. Сейчас позовут чай пить. Скучно Павлику и тревожно. Что-то завтра будет из батюшки... И разве пустынный наверное глагол?..

Борька отдувается и фыркает: «Фракция, фракция, фракция...»

Молодчина Борька. Хорошо быть большим и умным!..

Утешитель

Мишеньку арестовали.

Маменька и тетенька сидят за чаем и обсуждают обстоятельства дела.

— Пустяки, — говорит тетенька. — Мне сам господин околоточный надзиратель сказал, что все это ерунда. Добро бы, говорит, студент, а то гимназист-третъеклассник. Пожалуй, да и выпустят.

— Пожучить надо, — покорно соглашается маменька.

— А потом тоже, и пистолет-то ведь старый, его и зарядить нельзя. Это всякий может понять, что, не зарядивши, не выпалишь.

— Ох, Мишенька, Мишенька! Чуяло твое сердце. Он, Верушка, как эту пистоль-то завел, так сам три ночи заснуть не мог. Каждую минутку встанет да посмотрит, как эта пистоль-то лежит. Не повернулась ли, значит, к нему дыркой. Я ему говорю: «Брось ты ее, отдай, у кого взял». И бросить нельзя — товарищи велели.

— Так ведь оно не заряжено?

— Не заряжено-то оно не заряжено, да Мишенька говорит, что в газетах читал, будто как нагреется пистоль от солнца, так и выстрелит; и заряживать, значит, не надо. В Америке быдто нагрелось, да ночью целую семью и ухлопала.

— Да солнца-то ведь ночью не бывает, — сомневается тетенька.

— Мало ли что не бывает. За день разогреется, а ночью и палит.

— Не спорю, а только много и врут газеты-то. Вот на-медни Степанида Петровна тоже в газете вычитала, быдто на Петербургской стороне продается лисья шуба за шестнадцать рублей. Ну, статочное ли дело? Чтобы лисья шуба...

— Врут, конечно, врут. Им что!.. Им все равно. Что угодно напишут.

Дверь неожиданно с треском распахивается. Входит гимназист — Мишин товарищ. Щеки у него пухлые, губы надуты, и выражение лица злое.

— Здравствуйте! Я зашел... Вообще считаю своим долгом успокоить. Волноваться вам, сударыня, в сущности, нечего. Тем более что вы, наверное, были подготовлены...

У маменьки лицо вытягивается. Тетенька продолжает безмятежно сплевывать вишневые косточки.

— Можете, значит, отнестись к факту спокойно. Климат в Сибири очень хорош, особенно полезен для слабогрудных. Это вам каждая медицина скажет.

Тетенька роняет ложку. У маменьки глаза делаются совсем круглыми, с белыми ободочками.

— Вот видите, как вы волнуетесь, — с упреком говорит гимназист. — Можно ли так... из-за пустяков. Скажите лучше, были ли найдены при обыске компром... проментирующие личность вещи?

— Ох, Господи, — застонала маменька, — пистоль эту окаянную да еще газетку какую-то!

— Газету? Вы говорите: газету? Гм... Осложняется... Но волноваться вам совершенно незачем.

— Может, газета-то и не к тому... — робко вмешивается тетенька. — Потому он на газету только глазом метнул, да и завернул в нее пистолет. Может быть...

Гимназист криво усмехнулся, и тетенька осеклась.

— Гм... Ну, словом, вы не должны тревожиться. Газета. Гм... Тем более что тюремный режим очень хорошо действует на здоровье. Это даже в медицине написано. Замкнутый образ жизни, отсутствие раздражающих впечатлений — все это хорошо сохраняет... сохраняет нервные волокна... Каледонские каторжники отличаются долговечностью. Михаил может дотянуть до глубокой старости. Вам, как матерям, это должно быть приятно.

— Голубчик, — вся затряслась маменька, — голубчик! Не томи! говори, говори все, что знаешь. Уж лучше сразу!..

— Сразу! Сразу, — всхлипнула тетенька. — Не надо нас готавливать... Мы тверды...

— Говори, святая владычица.

Гимназист пожал плечами.

— Я вас положительно не понимаю. Ведь ничего же нет серьезного. Нужно же быть рассудительными. Ну, газета, ну, револьвер. Что за беда! Револьвер, гм... Вооруженное сопротивление властям при нарушении судебной обязанности... В прошлом году, говорят, расстреляли одного учителя за то, что тот очки носил. Ей-богу! Ему говорят: «снимите очки». А он говорит: я, мол, ничего не вижу невооруженным глазом. Вот его за вооружение глаз и расстреляли. Что же касается Михаила, то, само собой разумеется, что револьвер будет посерьезнее очков. Да и то, собственно говоря, пустяки, если принять во внимание процент рождаемости...

Маменька, дико вскрикнув, откидывается на спинку дивана. Тетенька хватается за голову и начинает громко выть.

В дверь просовывается голова кухарки.

— Ну, разве можно так волноваться! Ай, как стыдно! — ласково журит гимназист.

Кухарка голосит: на ко-го ты нас...

— Ну-с, я вечером опять зайду, — говорит гимназист и, взяв фуражку, уходит с видом человека, удачно исполнившего тяжелый долг.

Корсиканец

Допрос затянулся, и жандарм почувствовал себя утомленным; он сделал перерыв и прошел в свой кабинет отдохнуть.

Он уже, сладко улыбаясь, подходил к дивану, как вдруг остановился, и лицо его исказилось, точно он увидел большую гадость.

За стеной громкий бас отчетливо пропел: «Марш, марш вперед, рабочий народ!..»

Басу вторил, едва поспевая за ним, сбиваясь и фальшивя, робкий, осипший голосок: «ря-бочий нарёд...»

— Эт-то что? — воскликнул жандарм, указывая на стену.

Письмоводитель слегка приподнялся на стуле.

— Я уже имел обстоятельство доложить вам на предмет агента.

— Нич-чего не понимаю! Говорите проще.

— Агент Фиалкин изъявляет неперменное желание поступить в провокаторы. Он вторую зиму дежурит у Михайловской конки. Тихий человек. Только амбициозен сверх штата. Я, говорит, гублю молодость и лучшие силы свои истрачиваю на конку. Отметил медленность своего движения по конке и невозможность применения выдающихся сил, предполагая их существование...

«Кривавый и прявый...» — дребезжало за стеной.

— Врешь! — поправил бас.

— И что же — талантливый человек? — спросил жандарм.

— Амбициозен, даже излишне. Ни одной революционной песни не знает, а туда же, лезет в провокаторы. Ныл,

ныл... Вот, спасибо, городской, бляха № 4711... Он у нас это все, как по нотам... Слова-то, положим, все городовые хорошо знают, на улице стоят, — уши не заткнешь. Ну, а эта бляха и в слухе очень талантлива. Вот взялся выучить.

— Ишь! «Варшавянку» жарят, — мечтательно прошептал жандарм. — Самолюбие — вещь недурная. Она может человека в люди вывести. Вот Наполеон — простой корсиканец был... однако достиг, гм... кое-чего.

Оно горит и ярко рдеет,
То наша кровь горит на нем, —

рычит бляха № 4711.

— Как будто уж другой мотив, — насторожился жандарм. — Что же он, всем песням будет учить сразу?

— Всем, всем. Фиалкин сам его торопит. Говорит, будто какое-то дельце обрисовывается.

— И самолюбьище же у людей!

— «Семя грядущего...» — заблеял шпик за стеной.

— Энергия дьявольская, — вздохнул жандарм. — Говорят, что Наполеон, когда еще был простым корсиканцем...

Внизу с лестницы раздался какой-то рев и глухие удары.

— А эт-то что? — поднимает брови жандарм.

— А это наши, союзники, которые на полном пансионе в нижнем этаже. Волнуются.

— Чего им?

— Пение, значит, до них дошло. Трудно им...

— А, ч-черт! Действительно, как-то неудобно. Пожалуй, и на улице слышно, подумают, митинг у нас.

— Пес окаянный! — вздыхает за стеной бляха. — Чего ты воешь, как собака? Разве революционер так поет! Революционер открыто поет. Звук у него ясный. Каждое слово слышно. А он себе в щеки скулит, да глазами во все стороны сигает. Не сигай глазами! Остатний раз говорю. Вот плюну и уйду. Нанимай себе максималиста, коли охота есть.

— Сердится! — усмехнулся письмоводитель. — Фигнер какой!

— Самолюбие! Самолюбие, — повторяет жандарм. — В провокаторы захотел. Нет, брат, и эта роза с шипами. Военно-полевой суд не рассуждает. Захватят тебя, братец ты

мой, а революционер ты или чистый провокатор, разбирать не станут. Подрыгаешь ножками.

«Нашим потом жиреют обжо-ры», — надывается городской.

— Тыфу! У меня даже зуб заболел! Отговорили бы его как-нибудь, что ли.

— Да как его отговоришь-то, если он в себе чувствует эдакое, значит, влечение. Карьерист народ пошел, — вздыхает письмоводитель.

— Ну, убедить всегда можно. Скажите ему, что порядочный шпик так же нужен отечеству, как и провокатор. У меня вот зуб болит.

«Вы жертвою пали...» — взревел городской.

«Вы жертвою пали...» — жалобно заблеял шпик.

— К черту! — взвизгнул жандарм и выбежал из комнаты. — Вон отсюда! — раздался в коридоре его прерывающийся, осипший от злости, голос. — Мерзавцы. В провокаторы лезут, «Марсельезы» спеть не умеют. Осрамят заведение! Корсиканцы! Я вам покажу корсиканцев!..

Хлопнула дверь. Все стихло. За стеной кто-то всхлипнул.

Морские сигналы

Мы катались по Неве.

Нева — это огромная река, которая впадает сразу в две стороны: в Ладожское озеро и в Балтийское море. Поэтому плавать по ней очень трудно. Но с нами был Нырялов, бывший моряк, который справлялся и не с такими задачами. Он греб все время один и болтал веслами в разные стороны. Таким образом, лодка стояла на месте, и было скучно, но у моряков, кажется, это очень ценится. Называется это у них «зашкваривать» или что-то в этом роде.

Пели, по обычаю, «Вниз по матушке Волге». На воде всегда поют «Вниз по матушке Волге». Но едва затянули: «На носу сидит хозяин», как увидели большое судно, стоящее у берега.

— Это оно отшвартовалось, — сказал бывший моряк.

Мне не хотелось показать, что я не поняла слова, и я только заметила:

— Само собой разумеется! Но как вы это узнаете?

— Что «это»?

— Да что это с ними произошло. Именно это, а не другое?

Но моряк уже не слушал меня, а всматривался в какие-то белые доскутки, развевавшиеся на мачтах.

— Эге! — сказал он. — Любопытно! Ведь они сигнализируют. В море сигналы всегда делаются посредством небольших флагов.

— А что же значит этот сигнал? — спросили мы.

— Это? Гм... Два слева... один выше... Это значит: «Мы на мели».

— Ай-ай-ай! Несчастные!

— Что же делать? Мы, во всяком случае, помочь им не можем. Придется подождать. Скоро другие суда заметят и придут на помощь.

Мы остановились, причалили к берегу и стали наблюдать. Через несколько минут на корабле появились еще два флага. На этот раз оба были цветные.

— Это что же?

Моряк заволновался.

— Два пестрых... два белых... «Голодаем».

— Несчастные!

— Вот еще один флаг!

— Три пестрых, два белых... «Нет воды».

— Какой ужас!

— Еще флаги! Сразу четыре.

— Позвольте! Не кричите! Дайте разобраться. Вы думаете, это так просто? Теперь уже девять флагов. Может быть, я и ошибаюсь, но мне кажется, что это значит «сдаемся без боя».

— Значит, это иностранное судно?

— А кто его разберет! Очень близко подойти опасно. Они могут дать залп.

— Чего ради?

— Как — чего ради? Люди в таком опасном положении. Нервы напряжены до крайности! Каждая минута дорога, и все кажется зловещим. Вы не понимаете психологии гибнущего в море. Да они вас в клочки разорвут!

Мы притихли.

А количество страшных флагов все увеличивалось.

Моряк уже не объяснял нам значение каждого сигнала. Он только безнадежно махал руками и лишь изредка бросал отдельные слова:

- «Свирепствует зараза!»
- «Пухнем с голоду!»
- «Сдаемся без выстрела!»

Мы молча предавались ужасу.

— Какая величественная картина, — шепнул кто-то из нас. — Точно громадный зверь погибает.

— Ужасно! Ужасно!

— «Идем ко дну!» — завопил вдруг моряк. — Все конечно — они идут ко дну! Мы должны немедленно отплыть подалее! Иначе нас затянет в воронку, и мы утонем вместе с ними. Гребите скорее!

Мы схватились за весла. Моряк уже не греб, а только дирижировал. Он даже забыл про то, что Нева сразу впадает в два конца, и не препятствовал нам болтать веслами в одну сторону.

Отплыли, завернули за берег.

— Посмотрите, виден ли он еще. Я сам не могу, мне слишком тяжело...

— Виден!

— Несчастные! Как они медленно погружаются!

Отъехали еще немножко.

— Виден?

— Виде-ен!

— О Господи! Минуты-то какие!

Вдруг, смотрим, идут по берегу два матроса. Так что-то в сердце и екнуло...

— Братцы, вы откуда? Вы куда?

— А из городу. Идем на этот самый.

Тычут большими пальцами прямо в сторону гибнущего корабля.

— Да что вы! Да вы посмотрите, что там делается-то! Али вам с берега не видать?

— Как не видать! Видать!

— А что на мачтах-то висит? А? Несчастные вы!

— А ничего! Пушай себе висит! Это наша команда рубашки стирала, так вот повесила. Не извольте пужаться. Оно к вечеру подсохнет.

Страшный прыжок

*Посвящаю Герману Бангу и прочим
авторам рассказов об акробат-
ках, бросившихся с трапеции от
несчастной любви.*

1

Многие думали, что Ленора не любит его.

Может быть, считали его, толстого, краснощекого и спокойного, неспособным вызвать нежное чувство в избалованной успехом девушке? Может быть, не знали, что любовь такая птица, которая может свить себе гнездо под любым пнем? Может быть. Но какое нам дело до того, что думали многие?

2

Каждый вечер сидел он на своем обычном месте в первом ряду кресел.

Его цилиндр блестел.

Тихо, под звуки печального вальса, качалась разубранная цветами трапеция.

Гибкая, стройная, то прямая, как стрела, то круглая, как кольцо, то изогнутая, как не знаю что, кружилась Ленора.

«Я люблю тебя!» — шептали ее длинные, шуршащие волосы.

«Я люблю тебя!» — говорили ее напряженно дрожащие руки.

«Я люблю тебя!» — кричали ее вытянутые ноги.

Вот она скользнула с трапеции и, держась за канат одной рукой, повисла, дрожа и сверкая, как слеза на реснице.

Amour! Amour!
Jamais! Toujours!¹ —

пели скрипки.

¹ Любовь! Любовь!
Никогда! Всегда! (Фр.)

3

Он вспоминал их первую встречу и ту веточку ландышей, которую он подарил ей в первый вечер.

Где хранила Ленора засохший цветок?

Где?

Кажется, в комоде.

4

Четыре года блестел его цилиндр в первом ряду кресел.

Но вот однажды в дождливый осенний вечер (о, зачем дождь идет осенью, когда и без того скверная погода!) он не пришел.

Тихо шуршали волосы Леноры, шуршали, шептали и звали.

И плакали скрипки:

Amour! Amour!
Jamais! Toujours!

5

Он пришел через два дня.

Кажется, цилиндр его потускнел немножко. Не знаю.

Он приходил только пять дней. Затем пропал на две недели.

Ленора молчала. Никто не слышал ее жалоб, но все знали, что он изменил и что она все знает.

6

Она прокралась ночью к его окну и стояла до утра под дождем, градом и снегом (в эту ночь было все зараз) и прислушивалась, как блаженствует он в объятиях ее соперницы.

7

Она страдала молча, но скрыть страданий не могла, и зрители даже самых отдаленных рядов, куда дети и нижние чины допускаются за двадцать копеек, замечали, как она ху-деет у них на глазах.

Директор цирка, разузнав все подробно, решил, что пора дать ей бенефис.

А скрипки продолжали, как заладили:

Amour! Amour!
Jamais! Toujours!

8

День бенефиса приближался. Ленора готовилась. Никто не знал, какое упражнение разучивает она, потому что она работала одна и никого в это время к себе не допускала.

Старый клоун пробовал подслушать, но за дверью было так тихо. Слышались только заглушенные вздохи.

Так не готовятся к бенефису, но, может быть, так готовятся к смерти?

9

Старый клоун встретил Ленору у дверей конюшни и вкрадчиво спросил ее, дрессируя слона:

— Ленора! Отчего не слышно, как вы упражняетесь, готовясь к своему бенефису?

— Чудак! — ответила она, усмехнувшись. — Вы хотите слышать, как летают по воздуху?

— Ленора! — умоляюще воскликнул он, — Ленора! Откройте мне, какую штуку вы готовите?

Она подняла свои побледневшие брови и, жутко отекающая, сказала:

— Головоломную.

Он долго вспоминал это слово. Какое-то странное дуновение пробежало по воздуху, колыхнуло волосы.

Может быть, слон вздохнул?

10

День бенефиса приближался.

Уже готова была гигантская афиша, на которой было написано огромными буквами, красными, как кровь, и черны-

ми, как смерть: «Мадемуазель Ленора, вопреки всяким законам тяготения, перелетит по воздуху через весь цирк.

Цены бенефисные. Без сетки».

Последние два слова относились к полету, а не к ценам, и были написаны в конце по ошибке и недосмотру. Но тем мучительнее было производимое ими впечатление, и странно переплетались буквы, красные, как кровь, и черные, как смерть. Без сетки.

11

Утром, в день бенефиса, директор позвал к себе бледную Ленору и сказал ей:

— Ленора! Цены я назначил тройные. Сбор в твою пользу. Но если что-нибудь... словом, в случае твоей смерти сбор целиком поступает ко мне.

И он улыбнулся. Улыбка смерти... Ленора молча кивнула головой и вышла.

Она надела плащ и, закутав голову в черный платок, пошла на окраину города, к вдове портного, живущей в хорошеньком домике с огородом, приносящим пользу и удовольствие.

Она недолго пробыла там, и о чем говорила с вдовой портного, неизвестно. Но вышла она с просветленным лицом.

12

Наступил вечер. Зажгли лампы и фонари. Темная масса народа прихлынула к дверям цирка и стала медленно вливаться в его открытые двери, напоминавшие пасть странного чудовища, у которого внутри светло.

Поднимали головы, смотрели на красные и черные буквы и улыбались, как нероновские тигры, которым дали понюхать христианина. Волнуясь и торопясь, рассаживались по местам.

У самой арены толпились репортеры, поздравляли друг друга. Один из них, молоденький новичок, задорно усмехнувшись, сказал странные слова:

— А я, признаться сказать, уже сдал заметку вперед. Написал, что подробности после.

Товарищи взглянули на него завистливо.

13

Началось представление.

Публика была рассеянна и равнодушна. Ждали последнего номера, обещанного красными и черными буквами. Смертью и кровью.

Вот вышел любимец публики, старый клоун.

Но ни одна шутка не удалась ему. Что-то волновало и мучило его, и он не заслужил аплодисментов, несмотря на то что дважды задел честь мундира околоточного надзирателя.

Вернувшись в конюшню, он вытащил какой-то черный ящик и стал прилаживать к нему крышку.

14

Она вышла бледная и спокойная. Прост был ее наряд. На груди, у сердца, была приколотая засохшая ветка ландыша. Это было единственным ее украшением. В остальном, повторяю, наряд ее был чрезвычайно прост.

Скрипки (что им делается!) зарядили свое:

Amour! Amour!
Jamais! Toujours!

Она тихо повела глазами, осматривая толпу. Вздогнула и замерла.

В первом ряду, на обычном месте, тускло блестел и переливался цилиндр.

Она склонила голову.

— Ave Caesar!¹

И медленно поднялась наверх, под самый купол цирка.

Сейчас! Сейчас!

Зрители вскочили с мест, беспорядочно толпясь у самой арены, боясь пропустить малейшее движение там, наверху.

Музыка смолкла. Толпа замерла. Чуть слышно скрипели сухие перья репортеров.

Вот мелкой дробью забил барабан.

¹ Да здравствует Цезарь! (Лат.)

Барабан? К чему барабан? Разве хоронят генерала? И уместен ли барабан на похоронах человека, не имеющего военного чина?..

Ленора вытянулась, высвободила обе руки, она не держится больше за канат, она взяла ветку ландышей, приложила ее к губам и бросила вниз. Долетит ли эта легкая сухая ветка до земли, прежде чем...

Ленора подалась вперед, вытянула руки. Взметнулись на воздух ее длинные волосы... Раздался нечеловеческий крик...

15

Это кричал господин в цилиндре.

16

Это кричал господин в цилиндре, которому в толпе отдавили ногу.

17

На другой день Ленора, получив тройной сбор за бенефис, купила у вдовы портного хорошенький домик с огородом, приносящим пользу и удовольствие.

Патриот

Дело было часов в шесть утра на станции Чудово. Я дожидалась лошадей, чтобы ехать в деревню, пила чай и скучала.

Большая, скверно освещенная зала. Где-то за стеной визжат и гулко хлопают двери. За стойкой звенит ложками и бренчит чашками невыспавшийся буфетчик. Он поминутно смотрит на часы и зевает, как лев в клетке.

Тоска свыше меры!

Вдруг, смотрю, за противоположным столом что-то зашевелилось. Послышалось кряканье, и с дивана медленно

поднялся толстый бритый старик, в крутлой вязаной шапочке, как носят грудные младенцы. Кроме шапочки, на нем была полосатая фуфайка, серенький пиджачок, а на ногах гетры.

Старик протер глаза, поманил лакея, показал ему рубль и, отрицательно покачав головой, постучал по пустой пивной бутылке, стоявшей на столе.

Лакей тоже отрицательно покачал головой и отошел прочь. А старик вынул засаленную книжечку с отваливающимися листами и поцарапал в ней что-то.

— Что это за человек? — спросила я лакея.

— Это, сударыня, немец какой-то. Пришел вечером пешком и все пиво пьет, а денег не платит, только вот один рубль покажет и опять в карманчик. Буфетчик не велели больше отпускать.

— Да вы, верно, не понимаете, что он говорит.

— Никак нет, не понимаем.

В эту минуту немец встал и, подойдя ко мне, в чем-то извинился.

Оказался он французом, путешествующим пешком во круг света. Он обошел уже всю Африку, Америку, Австралию и Европу. Теперь идет через Россию в Азию. Вышел из дому четыре года тому назад.

— Зачем же вы это делаете? Что вам за охота? — удивилась я.

— Для славы своего отечества. Из чувства патриотизма.

— Несколько лет тому назад один член нашего кружка обошел весь свет в три года. Я сказал, что обойду скорее. Вот иду уже пятый год, а обошел только половину. Значит, тот солгал.

— Но ведь он тоже был французом, так при чем же тут ваш подвиг?

— О! Madame рассуждает легкомысленно. Madame не понимает, что каждый француз желает лично прославить свое отечество. К тому же я путешествую без денег.

— А как же я видала у вас рубль в руках?

— Ах, это только для того, чтобы объяснить, что у меня нет денег. Покажу рубль, покачаю головой, они и понимают.

— Удивительно. Ну, а чем же вы докажете, что вы действительно шли, а не сидели где-нибудь в Вержболове?

— О, madame! Я во всех больших городах беру свидетельства от мэров, что я проходил. Кроме того, я веду дневник, записки, которые будут изданы для славы моей родины.

Он вытащил свою засаленную книжечку и, любезно осклабившись, указал мне последний листок.

— Здесь кое-что о вашем родном уголке. О! Я ничего не пропускаю.

Я прочла каракули:

«Женщины губернии Чудово (du gouvernement de Tchudovo) имеют белокурые волосы и носят кожаные сумки через плечо».

Я бросила беглый взгляд на соседний листочек. Там было французскими буквами написано «pivo» и «Zacussie».

— О, madame! — продолжал француз, деликатно вынимая из моих рук свою книжечку. — О! Я могу вам показать массу интересного. Я покажу вам письма моей жены и ее портрет.

Он сунул мне в руку пачку истрепанных писем и, не удовольствовавшись этим, начал читать одно из них вслух.

«Мой обожаемый друг, — писала эта замечательная женщина. — Иди вперед! Иди, несмотря на все лишения и трудности твоего пути. Работай для славы нашей дорогой родины, а я буду ждать тебя долгие, долгие годы и участвовать в твоём подвиге своей молитвой».

Потом он вынул маленькую фотографическую карточку и несколько минут глядел на нее, и, умиленно покачивая головой, тихо пропел:

Et tra-là-là-là-là.

Et tra-là-là-là-là

Roulait dans du galà¹.

Песенка несколько удивила меня, но, взглянув на карточку, я перестала удивляться. На ней изображалась молодая особа в кепи и в короткой юбке и отдавала честь ногой.

— Ваша жена, вероятно... певица, — пробормотала я, не зная, что сказать.

¹ И тра-ля-ля-ля-ля

И тра-ля-ля-ля-ля

Покатился наш праздник (*фр.*).

— Почему вы так думаете?

— Так... видно по лицу, что у нее хороший голос, — додумалась я.

— О, вы правы! Это великая артистка! Имя ее будет греметь по всему свету. Сам великий Коклэн предсказал ей громкую славу. И она работает... О! Как она работает для своего отечества! Она и меня ободряет. Вот, в другом письме, она говорит, чтобы я не смел возвращаться, пока не закончу своей задачи. Бедная! Она так страдает без меня, но она жертвует всем *pour notre chère patrie*¹. Это святая женщина, — прибавил он и взглянул на меня строго.

Не зная, что сказать, я спросила, как ему понравилась Африка.

— О! *C'est de la chaleur!*² — ответил он и безнадежно махнул рукой.

* * *

Я уже садилась в почтовую коляску, как вдруг ящик, укладывавший мои вещи, показал рукой в сторону и, отвернувшись, фыркнул, как лошадь. Я оглянулась.

Около полотна железной дороги по скользкой и липкой тропинке шел мой патриот.

«Бедный! — подумала я. — Чем заплатит тебе неблагодарное отечество за то, что ты во славу его месишь своими гетрами нашу новгородскую грязь?»

Он узнал меня издали и поспешил подойти, делая самый удивительные приветственные жесты.

Он долго желал мне всяких благополучий, а под конец поверг меня в радостное изумление, пообещав, что непременно напишет от меня поклон своей жене.

— Это святая женщина, — прибавил он и отошел, тихо напевая, очевидно, тесно связанное с воспоминанием о ней:

Et tra-là-là-là-là.
Et tra-là-là-là-là
Roulait dans du galà.

¹ Ради нашей дорогой родины (*фр.*).

² Жара! (*Фр.*)

Из весеннего дневника

...А природа, как уже дознано археологами, все делает назло человеку. Недаром говорится: «Гони природу в дверь, она вернется в окно».

Вот и теперь: дача не нанята — солнце во все лопатки. В прошлом году переехали рано, начались майские морозы и продолжались вплоть до сентября. Двести рублей за дачу заплатили, на шестьдесят дров извели. А еще уверяют, что человек — царь природы. Очень и очень ограниченный монарх, во всяком случае.

Я лично не люблю природы. По-моему, это — одна фантазия и расход. И всегда простудишься в конце концов. Но вчера утром Жан настроился совсем по-весеннему. Посмотрел на барометр, на Фаренгейта, помножил Реомюра на Цельсия, разделил барометр на Фаренгейта и решил, что погода весь день будет великолепная, и нужно ехать подышать свежим воздухом. На мои протесты он ответил, что если человек работает всю неделю, как бешеная собака, то он имеет право в воскресенье насладиться природой.

Я поняла, что действительно было бы глупо иметь право и не пользоваться им. Непрактично.

И мы поехали.

Увязался с нами и beau-frère¹ Васенька. Я не люблю с ним ездить. Он ужасно моветонный и легко может скомпрометировать.

Он и на этот раз стал что-то очень глупо острить насчет моего зонтика, но Жан сразу поставил его на место (конечно, Васеньку, а не зонтик), и мы поехали наслаждаться воздухом.

Ехали на конке.

Веау-фрèге Васенька уронил в щель две копейки и всю дорогу выковыривал их тросточкой. Это было очень неприятно. Соседи могли подумать, что для нашей семьи такую важную роль играют две копейки.

Вдобавок он всю зиму сохранял летнее пальто в нафталине, а для поездки обновил его, и я очень страдала при

¹ Свояк (фр.)

каждом Васенькином движении. Жан сидел с другой стороны, и от него пахло пачулями, нюхательным табаком и перцем. От этой смеси издохнет не только моль, но и любое млекопитающее. Мне было очень скверно. С одной дамой-визави сделался легкий обморок. Но Жан поставил ее на место, и она вылезла на полном ходу.

Около Черной речки у меня зазеленело в глазах, и мы вышли на площадку. Там было легче дышать, но очень тесно стоять. Beau-frère Васенька болтал ногой в воздухе, и Жан никак не мог поставить его на место. А нафталин все пах, и ветер дул как раз на меня.

На площадке стояли какие-то личности, которые, по-видимому, не прочь были завязать разговор. Чтобы поставить их на место, Жан начал говорить о загранице. Они сразу поняли, кто перед ними, и замолчали.

— Посмотри, Нинет, как этот мост похож на площадь Согласия в Лондоне, — говорил он.

Я за границей не бывала, но соглашалась, что похож. Может быть, и правда похож — чего же без толку спорить.

— Когда я поднимался из Риги... Ригикульм...

Все слушали с завистью, а beau-frère Васенька вдруг загоготал, как дикий вепрь, и говорит: «Врешь, Ванька, никогда ты в Риге не бывал».

Вышло ужасно глупо. Все стали ухмыляться, а Васенька стал подпевать: «Вре-ешь, вре-ешь»...

Жан, чтобы поставить его на место, сказал, что в обществе не принято петь, когда стоишь на коночной площадке. Но тут вмешался кондуктор.

— Како-такo общество? Мы уже второй год, как в город перешедчи. Не общество, стало, а городские.

— Я говорю о высшем обществе, — поставил его на место Жан. — О высшем, а не о конно-железнодорожном.

У Черной речки мы вылезли и решили взять извозчика до ресторана.

Но извозчик нашелся только один и до того пьяный, что его нельзя было даже поставить на место.

Пришлось идти пешком.

Ветер дул с Васенькиной стороны, и я все время думала, как дохнет моль.

Должно быть, ужасные страдания!..

На набережной сидела целая дивизия свежемобилизованных хулиганов и делилась впечатлениями на наш счет. Это было неприятно.

У входа в ресторан Жан долго умилялся картиной природы и говорил, что весной пробуждается жизнь.

— Какая красота! — твердил он. — Река точно серебро! Берега точно изумруд! Небо точно бирюза!.. Горизонт — точно золото!

Он говорил очень поэтично, хотя несколько ювелирно.

— А этот чудный аромат распускающихся почек!..

Beau-frère Васенька потянул носом и с уважением произнес:

— Ну и нюх же у тебя! Действительно, на веранде кто-то почки в мадере уплетает.

Мы прошли на веранду, и лакей спросил, что мы желаем на ужин. Но Жан сразу поставил его на место, заказав три стакана морсу.

Откушав, мы наняли лодку и поехали к взморью.

Я сидела на руле и на какой-то корявой палке. Было очень неловко, но палку вытащить было нельзя. Жан говорил, что лодка при этом перевернется.

Beau-frère Васенька болтал веслами, языком и ногами и кричал, что задел веслом рыбу. Жан вспоминал, что был знаком с одним графом, членом яхт-клуба, и показывал, как этот граф рассказывал, как греб один князь. Лодка при этом ползла боком и тыкалась кормой в берега.

Рядом с нами плыли на ялике какие-то нахалы и веселились на наш счет. Они не слышали, что Жан рассказывает, и не понимали, что так гребет князь по рассказу графа, а думали, должно быть, что это Жан сам не умеет.

Чтобы поставить их на место, Жан велел мне спеть что-нибудь по-французски. Мне было неловко, и я отказывалась.

Но в это время нас обогнала лодка.

В ней сидела дама с офицером и имела такой гордый вид, точно она только что Порт-Артур сдала.

Я не выдержала и запела: «Si tu m'aimais!»¹

¹ Если бы ты меня любила! (Фр.)

Офицер покосился на мой голос, и дама со злости повернула нос не в ту сторону, а ткнула нас рулем.

Мы выехали на Стрелку. Закат, как поется в романсе, «пылал бобровой полосой».

На самом горизонте, там, где небо целует землю, стояли три мужика и пили поочередно из бутылки.

Налево от ресторана несло свежераспустившимися почками. Нафталин относил в сторону. Преобладали табак и перец.

На обратном пути Васенька напоролся на крупную рыбу и потерял весло. Пришлось ставить лодочника на место, потому что он запросил за весло очень дорого.

Корявая палка, на которой я сидела, оказалась моим же собственным зонтиком, только сломанным пополам.

У Жана раздавился котелок, а у Васеньки пропал без вести галстук.

Ехали назад опять на конке. Пассажиры смотрели на нас двусмысленно. Жан, чтобы поставить их на место и оправдать несвежесть наших костюмов, рассказывал о значении спорта в жизни великих людей и известных политических деятелей.

Нафталин и табак отсырели, стали острее, резче и навязчивее.

Дача

Серое небо... серое море...

Серый воздух дрожит тонкими дождевыми нитями...

По липко-скользким дорожкам, гуськом, бродят первые дачники. Бродят они медленно, по три-четыре человека. Дети впереди, старики за ними. Если один станет, все останавливаются и ждут его, долго и покорно, не поворачивая головы.

Они не разговаривают, даже не вздыхают, и о приближении их можно узнать только по тихому всхлипыванию калош...

Вот они прошли лесной дорожкой, по которой ходить строго воспрещается; подошли к парку, в который вход «воспрещен» строго-настрого, через «ять». Посмотрели на деревья, которые нельзя ломать, на траву, которой нельзя рвать. Подошли к берегу, с которого серая доска позволяет купаться только «женщинам», и то в кавычках. Взглянули на скамейку, недоступную «посторонним лицам»... и тихо повернули опять на лесную дорожку, по которой ходить строго воспрещается. Дети впереди, старики за ними.

• • •

Дачник — происхождения доисторического, или, уж во всяком случае, — внеисторического. Ни одного Иловайского о нем не упоминается.

Несколько народных легенд касаются слегка этого предмета.

Не буду приводить их дословно, воздержусь также от сохранения стиля и колорита, так как имею для этого особые причины. Передам только сущность.

Первый дачник пришел с запада. Остановился около деревни Укко-Кукка, осмотрелся, промолвил «бир тринкен» и сел. И вокруг того места, куда он сел, сейчас же образовались крокетная площадка, ломберный стол и парусиновая занавеска с красной каемочкой. Так просидел первый дачник первое лето.

На второе лето вернулся опять. Принес с собой две удочки и привел четырех детенышей на тоненьких ножках, в беленьких кепи. И образовался вокруг него зеленый заборчик, переносный ледник и кудрявые березки, которые дачник подрезывал и при помощи срезанных ветвей воспитывал своих детенышей. Так просидел первый дачник второе лето.

На третье лето вернулся снова и принес с собой гамак, флаг и привел восемь детенышей на тоненьких ножках, в беленьких кепи и одного, почти безлобого, велосипедиста с большим кадыком. И образовался вокруг него дачный дворник и потребовал вид на жительство. Но первый дачник не понял его. Тогда пришел полицейский и, узнав, что первый дачник по-русски не говорит, припомнил иностранные

языки и сказал: «Позвольте ваш пейзаж». Потом они поняли друг друга, и первый дачник пустил первые корни.

Вокруг него образовался палисадник, граммофон и разносчики.

И стал первый дачник плодиться, размножаться, наполнять собой Озерки, Лахту, Лесное, Удельную и всё Парголово.

И стало так.

* * *

Дачный дворник — существо особое, от обыкновенного дворника отличное.

Лицо у него круглое, с неискоренимым, вероятно, наследственно-глупым выражением.

Существует он только летом. Где он находится и что делает зимой — никто до сих пор не знает. Вероятно, зимует там же, где раки. Знаю, что это определение не совсем ясное, но, к стыду моему, должна признаться, что до сих пор не осведомлена с точностью о рачьей резиденции. Многие обещают друг другу сделать это разъяснение, но, кажется, еще никто этого обещания не исполнил.

Как бы то ни было, но как только «за весной, красой природы» наступит лето и пригреет солнцем дачный палисадник, — тотчас около забора, в позе херувима Сикстинской Мадонны, подпершись обоими локтями, залоснится лик дачного дворника.

Деятельность дачного дворника велика и многообразна.

Встает он не позже пяти-шести часов и тотчас принимается за дело: притащит к самым окошкам какую-нибудь старую доску и начинает вколачивать в нее гвозди. Иногда доска бывает с железкой, и тогда она очень хорошо дребезжит. Колотит дачный дворник по доске до тех пор, пока с дикими воплями не высунутся из окон озвереловсколокоченные головы дачников. Тогда дворник идет отдыхать. Но утренний сон, как известно, бывает крепок, и если дворник честный работяга, то ему приходится иногда трудиться не менее получаса, чтобы достигнуть вожделенного конца.

Выждав время, когда озверелые дачники придут в себя и, одевшись и успокоившись, выползут на веранды и палисадники насаждаться утренним зефиром, дачный двор-

ник берется за метлу и начинает пылить. Пылит он долго и систематически. Там, где земля затвердела, — подсыпает сухонького песку — сил своих не жалеет. И когда истомленные дачники, задыхающиеся и покорные, разбегаются по полям, лесам и оврагам, — он снова уходит на отдых.

Затем, вплоть до вечера, ему «недосуг». Он сидит в своей сторожке и смотрит одним глазом в осколок зеркала, прикрепленный к стенке.

Вечером он стоит у калитки и чешет левую лопатку оттопыренным пальцем правой руки. В то же самое время он не отказывает себе в удовольствии нанести посильный ущерб дачниковским делам. Он уверяет приехавших к ним друзей, что дачи стоят пустые, или что все съехали, или что не переехали, или что их выселили. Почтальонов направляет в другой конец, куда-нибудь за полотно железной дороги или в лес, откуда им потом трудно будет выбраться. Телеграмм не принимает никогда, а если не сможет отвертеться, то не передает или уж, в лучшем случае, вручит через три дня. Короче срока не бывает.

Ночью дачный дворник не спит и все время подсвистывает собакам, чтобы те лаяли и не давали спать дачникам.

Раз в два в неделю делает визиты квартирантам, позволяя им выражать свою благодарность денежными знаками.

* * *

Дачным часам никто не верит. Живут по поездкам, по парходам, по мороженщику и по чиновнику. Иногда, конечно, это приводит к некоторым неудобствам. Вы, например, привыкли обедать по рыжему чиновнику с кривой кокардой. Видите, что он бежит с поезда, значит — пора садиться за стол. А вдруг у чиновника винт или еще того хуже — вечернее заседание, которое, по свидетельству его собственной жены, продолжается иногда часов до шести утра!

Вот и сидите без обеда.

А если вы, например, привыкли пить чай по пятичасовому поезду. И вдруг, к ужасу своему, видите, что ровно в половине пятого летит поезд. Вам тревожно. Вы собираете домашний совет, причем одни говорят, что это опоздавший трехчасовой, другие — что поторопившийся пятичасовой.

Одни советуют пить чай, другие настаивают, что следовало бы потерпеть. В семье разлад. Жизнь испорчена.

Я не говорю уже о пароходах. За ними уследить трудно, а проклятые деревенские мальчишки выучились так искусно трубить по-пароходному, что один коллежский асессор, не-испорченный и доверчивый человек, позавтракал четыре раза подряд. И дорого за это поплатился — мяснику и зеленщику.

Чиновники, отправляющиеся ежедневно в город на службу, тоже живут друг с другом.

Вот длинная улица, упирающаяся в вокзал. На ней — два ряда дач. Перед утренним девятичасовым поездом в одном из окошек каждой дачи появляется встревоженная физиономия и следит. Появилось вдали облачко пыли...

— Кто? Кто? — проносится по всей улице.

— Нет, это еще только полковник, — спокойно говорят одни. Но рыжий чиновник с кривой кокардой, живущий по полковнику, срывается с места и, прихватив портфель, бежит на вокзал.

Завидев его, начинает колыхаться толстый акцизный и, засунув два бутерброда в карман пальто, выползает на дорогу.

По акцизному живут два учителя, по учителям — дантист, по дантисту — банковский чиновник, по банковскому чиновнику — студент-репетитор, по студенту — музыкальная барышня, по барышне — докторшин жилец, по жильцу — господин с двумя мопсами.

Каждый твердо знает свой указатель и следит только за ним. В первую голову всегда идет полковник.

Раз случилась катастрофа: полковник проспал. И вся вереница дачников, живущих друг по другу, опоздала на поезд. Проскочила только одна музыкальная барышня, и та забыла папку с надписью «musique» и сошла с ума.

* * *

Бродят первые дачники. Дети впереди, старики за ними. Бродят от одного столбика с дощечкой к другому столбику с дощечкой, и останавливаются, и читают о том, что им делать воспрещается.

Серое небо... серое море...

Забывтый путь

Софья Ивановна подобрала платье и с новой энергией стала взбираться на насыпь. Каблуки скользили по траве, шляпа лезла на глаза, зонтик валился из рук. Наверху стоял железнодорожный сторож и развлекался, глядя на страдания молодой туристки. Каждый раз, поднимая глаза, встречалась Софья Ивановна с его равнодушно-любопытным взглядом и чувствовала, как взгляд этот парализует ее силы. Но все равно — отступать было поздно; бо́льшая часть пути пройдена, да и стоит ли обращать внимание на мужика, «qui ne comprend rien»¹, как говорилось в пансионе, где три года тому назад окончила она свое образование.

Жаркое июльское солнце палило немилосердно. Софья Ивановна остановилась на минуту перевести дух и вытянула из-под пояса часики: уже четверть первого. К пяти вернется муж, а у нее еще и обед не заказан! Опять будет история! Она с грустью посмотрела на оборванное кружево юбки, тянувшееся за ней по траве, как большая раздавленная змея, и, вздохнув, собралась идти дальше, но при первом же ее движении свернутый зонтик, выскочив из рук, плавно пополз вниз по насыпи, пока не остановился, упершись в какую-то кочку. Софья Ивановна в отчаянии всплеснула руками. Ничего не поделаешь, нужно теперь вернуться за зонтиком!.. Однако спускаться оказалось еще труднее, чем подниматься; не успела она сделать и двух шагов, как потеряла равновесие и опустилась на траву. Зонтик был уже близко. Она попробовала достать его ногой, потянулась еще немножко вниз... «Ах!» — едва дотронулась кончиком башмака, как зонтик вздрогнул и, весело подпрыгивая, поскакал дальше. Софья Ивановна с ожесточением перевернулась лицом к траве и попыталась ползти на четвереньках.

Увидя этот новый способ передвижения, сторож вдруг исчез и вернулся через минуту с какой-то толстой бабой; оба нагнулись и молча, с тупым любопытством смотрели на Софью Ивановну; затем баба обернулась назад и стала махать к себе кого-то рукой...

¹ Который ничего не понимает (*фр.*).

Это уж чересчур! Быть посмешищем целой банды бездельников. Слезы выступили на глазах Софьи Ивановны.

Красная, растрепанная, злая, уселась она насколько могла удобнее и решила ждать.

— Ведь есть же у него какое-нибудь дело, — думала она, — не может же он весь день тут стоять. Увидит, что я сижу спокойно, и уйдет.

И она, приняв самую непринужденную позу, делала вид, что превосходно проводит время; любовалась природой, рвала одуванчики и даже стала напевать «Уста мои молчат». Через несколько минут, осторожно, скосив глаза, она взглянула наверх: «Нахал!»

Сторож не верил ее беззаботности и продолжал стоять все на том же месте, словно ожидая от нее чего-то особенного.

Напускная бодрость покинула Софью Ивановну. Она присмирела, закрыла лицо руками и стала нетерпеливо ждать.

— Божественная!.. — долетел до нее тягучий голос.

— Ах, нахал! — вздрогнула от негодования Софья Ивановна. — Он смеет еще заговаривать!

— Божественная! Я чувствовал ваше присутствие здесь... Меня влекло сюда!..

Нет, это не он — голос снизу. Софья Ивановна опустила руки: «Господи! Только этого не хватало! Опять проклятый декадент! Опять сцена от Петьки!»

Грациозно откинув длинноволосую голову, держа шляпу в горизонтально вытянутой руке, стоял у подножия насыпи маленький худощавый господин, в клетчатом костюме, с развевающимися концами странного зеленого галстука, и не смотрел, а созерцал растерявшуюся Софью Ивановну.

— Я помешал вам мечтать, — загнусавил он снова. — Я поднимусь к вам! Мне так хочется подслушать ваши грезы!..

И, не дождавшись ответа, он взмахнул руками, с видом птицы, собравшейся взлететь, и стал быстро подниматься.

«Вот ведь влезают же люди, — с горечью думала Софья Ивановна, глядя на него, — почему же я такая несчастная!»

У ваших ног лежат, синьора,
И я, и жизнь, и честь, и меч! —

продекламировал «декадент», садясь у ее ног и восторженно глядя на нее белесоватыми глазками.

— Это ваше?

— Мм... Почти.

— Что это значит: «почти»?

— Значит, что это стихотворение Толстого, но я его переврал, — мечтательно отвечал тот. — О, как я рад, что мы снова вместе!.. Я хотел так много, так бесконечно много сказать вам...

— Очень приятно, только я тороплюсь домой.

— Странная манера торопиться, сидя на одном месте.

И зачем вам домой?

— К пяти часам вернется Петр Игнатьевич...

— Кто вернется?

— Петр Игнатьевич.

— Петр Игнатьевич? — «Декадент» презрительно прищурил глаза. — Кто это такой, этот Петр Игнатьевич?

— Как кто? — обиженно удивилась Софья Ивановна. — Мой муж! Странно, что вы две недели тому назад были у нас в доме и не знаете, как зовут хозяина.

— Простите! Я рассеян... Я страдал... Но мы не будем говорить об этом, не расспрашивайте меня, я не хочу — слышите? — Он повелительно сдвинул брови и замолк на несколько минут, потом, видя, что Софья Ивановна все-таки не начинает расспрашивать «об этом», сказал тоном человека, искусственно меняющего тему разговора: — Итак... где же ваш муж?

— Он уехал с восьмичасовым в «Контики»; там сортируют вагоны или что-то в этом роде, не умею вам объяснить. А теперь помогите мне, ради Бога, слезть отсюда, — прибавила она смущенно. — Я оттого и сижу здесь так долго, что никак не могу одна...

«Декадент» пришел в восторженное умиление.

— О! Как это женственно! Беспомощно-женственно. Дайте мне ваши руки, я донесу вас.

— Я не могу вам дать руки, потому что наступлю тогда на платье и упаду, — понимаете?

— Платье можно подколоть булавками. — И, к великому удивлению Софьи Ивановны, он, отвернув бортик своего

клетчатого пиджака, вытащил несколько булавок, воткну-
тых в него.

— Какой вы странный! Зачем вы носите с собой бу-
лавки?

— Не спрашивайте... Это символ!..

Наконец платье подколото, декадент с безумным видом,
схватив ее за обе руки и выставив вперед каблук своего
желтенького башмачка, поскакал вниз. Софья Ивановна
спотыкалась, падала, подымалась, отбивалась, вырыва-
лась, — но он крепко впился в ее руки и выпустил их только
тогда, когда она, испуганная и запыхавшаяся, стояла внизу
и, не смея поднять голову, думала о стороже: «Видел или не
видел?..»

— Какое блаженство, — шептал декадент, с трудом пере-
водя дыхание и утирая лоб платком, — какое блаженство
этот бешеный полет! Но скажите, как вы сюда попали? —
прибавил он, подавая ей зонтик.

— Я думала, что скорее попаду домой, если пойду вер-
хом. Я ходила в деревню узнать насчет телятины.

— Как вы сказали?

— Что как сказала?..

— Вы произнесли какое-то слово... — он, мечтательно
сощутив глаза, глядел на облако.

— Я сказала, что ходила за телятиной... Какой вы стран-
ный!

— Простите! Мне послышалось, что вы сказали что-то
по-итальянски. Те-ля-ти-на... Те-ля-ти-на... — прошептал он.

— Хорошо же вы, должно быть, знаете итальянский
язык...

— Я не могу знать его плохо. Понимаете? Не могу знать
его плохо, потому что не знаю совсем.

Софья Ивановна замолчала и стала придумывать, как бы
ей поделикатнее отвязаться от своего спутника. Ей очень не
хотелось, чтобы их увидели вместе, так как бедный «дека-
дент» был почему-то особенно несимпатичен ее ревниво-
му мужу. Петр Игнатьевич не ответил ему на визит и, когда
встретил его с Софьей Ивановной на музыке в городском
саду, немедленно увел жену домой и закатил ей сцену, ка-
кой, как говорится, и «старожилы не запомнят». После этой

истории Софья Ивановна старательно избегала опасного поэта, терпеливо ожидая осени, когда он уберется к себе в Петербург. Мужа, положим, теперь на станции нет — он в «Контиках», но все равно, ему насплетничают... А с другой стороны, нельзя же его прогнать сразу — все-таки человек услугу оказал. А и некрасив же он, голубчик, взглянула она искоса. Петух не петух... черт знает что!..

— Я знаю, о чем вы сейчас подумали, — прервал он ее мысли.

— О чем? — испугалась Софья Ивановна.

— Вы подумали о том, что жизнь наша бесцветна и то-склива... Зачем вы здесь живете? Разве вы не чувствуете, что созданы блистать в свете?

Софья Ивановна успокоилась.

— Действительно, скучно, но мужу обещали скоро большую станцию. Тогда будет веселее.

— Вы постоянно сводите разговор на мужа: это прямо какой-то «незримый червь»!

Софья Ивановна хотела обидеться, но мелькнувший вдали красный зонтик отвлек ее внимание.

— Ой, ой, ой! Ведь это Курина!.. Жена помощника! — Она стала торопливо приглаживать волосы, оправлять платье... — Ведь нужно же, как на грех... мерзкая сплетница! Перейдемте скорее на ту сторону полотна, пока она нас не заметила.

Они быстро свернули налево и, перепрыгнув через проволоку семафора, приблизились к длинным рядам товарных вагонов, бесконечной цепью тянувшихся к станции, темная крыша которой выделялась тусклым пятном на сверкающей синеве южного неба.

— Скорей! Скорей! — торопила Софья Ивановна. — На крайний путь; там никого не встретим.

Тяжело гремя спущенными цепями, прошел мимо паровоз, обдав их целым клубом затхлого дыма, и, тревожно свистнув несколько раз, остановился. Стрелочник, помахивая красным флагом, вылез из-под вагона и, скосив глаза на Софью Ивановну, затрубил в рожок.

— Должно быть, он знает, кто я, — подумала Софья Ивановна и, как страус, втянула голову в плечи, закрываясь зонтиком.

Они обогнули первый ряд вагонов, пролезли между колесами второго, кое-как протискались между расцепленными буферами третьего и тут только вздохнули свободно, чувствуя себя в безопасности. Здесь не было ни души. Издали доносилась переключка локомотивов да отвечающий им меланхоличный рожок стрелочника. Порой, далеко за крышами вагонов, быстро проносилось гигантское облако белого пара, протяжный свист разрезал воздух, затем опять все стихало. Да, здесь никто не видит. Кругом одни вагоны.

Софья Ивановна обмахивалась платком, сдувая падавшие на глаза растрепанные волосы.

— Так вот этот забытый путь! — говорит «декадент», глядя на поросшие травой рельсы, уставленные товарными вагонами, с открытыми, зияющими, как черные пасти, входами, с беспомощно повисшими цепями. — Забытый путь! Как это красиво звучит! В этом слове целая поэма. Забытый путь!.. Я чувствую какое-то странное волнение, повторяя это слово... Я вдохновляюсь!.. — он зажмурился, втянул щеки и открыл рот, как дети, когда они представляют покойника.

Скажи когда-нибудь «забудь».
Но никогда тебя я не забуду,
Забытый путь!..

Он медленно открыл глаза.

— Я разработаю это в поэму и посвящу вам.

— Мерси. Только рифмы у вас не хватает.

— Так вам нужна рифма? О! Как это банально! Вам нравятся рифмы! Эти пошлые мешанки, ищущие себе подобных, гуляющие попарно. Я ненавижу их! Я заключаю свободную мысль в свободные формы, без граней, без мерок, без...

— Ах, Боже мой!.. Смотрите, там идут! — прервала его Софья Ивановна, указывая на группу рабочих, шедших в их сторону. — И, кажется, Петин помощник с ними!.. Куда нам деться?!

— Спрячемся в пустой вагон и обождем, пока они уберутся, — предложил находчивый поэт.

— Я его не боюсь, — продолжала Софья Ивановна, топчась в волнении на одном месте, — только я такая растре-

панная... и не могу же я ему объяснить при рабочих, что лезла на насыпь... Господи! Как это все глупо!

— Seriously, самое лучшее — переждать в вагоне.

— Да как же я туда попаду? Тут и подножки нет.

— Позвольте, я подсажу вас. Только поторопитесь, а то они нас заметят.

Софья Ивановна кое-как влезла, оборвав окончательно кружевную оборку и запачкав платье обо что-то очень скверное. За нею следом вскочил и декадент, обнаружив необычайную ловкость и розовые чулочки с голубыми крапинками.

— Теперь встанем в тот угол. У, как здесь темно и прохладно. Все это напоминает мне милую, старую сказку... И жутко... и сладко.

— Ах, да замолчите же, они сейчас подойдут, — просила Софья Ивановна.

— Забытый путь! — не унимался декадент.

Но никогда тебя он не забудет,
Забытый путь!

Он вдруг замолк, прижав палец к губам и таинственно приподняв брови. К вагону подходили: слышались шаги, голоса... Остановились около...

— Этот последний вагон, что ли?

«Помощник! Петин помощник! — думала Софья Ивановна, замирая от страха. — Господи! Как все это глупо! Зачем я сюда залезла!.. Ведь это совсем скандал, если нас увидят!..»

— Отцепили? — спросил тот же голос.

— Го-то-во! — прокричал кто-то. Дверь вагона,двигаемая чьей-то рукой, с грохотом захлопнулась... Тихо простонал рожок стрелочника, где-то недалеко отозвался свистком паровоз, и вдруг вагон, дрогнув, как от сильного толчка, весь заколыхался и, тихо покачиваясь, мерно застучал колесами.

— Господи, Боже мой!.. Да что же это?.. — шептала Софья Ивановна. — Они, кажется, повезли нас куда-то?

— Да, мы как будто едем, — растерянно согласился поэт.

— Вероятно, наш вагон переводят на другой путь...

— Уж это вам лучше знать. Вы жена начальника станции, а я не обязан понимать этих маневров.

— Не злитесь, сейчас остановимся и вылезем, когда рабочие уйдут.

— И какая атмосфера ужасная! Грязь! Какие-то корки валяются, даже присесть некуда.

— Здесь, должно быть, перевозили собак!..

Колеса застучали ровнее и шибче, очевидно, поезд прибавлял ходу.

— Не могу понять, в какую сторону мы едем: к «Лычевке» или «Контикам»? — Голос Софьи Ивановны дрожал.

— Я и сам не понимаю. Попробую немножко открыть дверь.

— Напрасно! Я слышала, как задвинули засов.

«Декадент» схватился за голову.

— Это, наконец, черт знает что такое! Нет! Я узнаю, куда они меня везут! — Он вынул из кармана перочинный ножик и стал сверлить в стене дырочку, но дерево было твердое и толстое, и попытка не дала никаких результатов. Тогда он присел и стал буравить пол. Тоже пользы мало. Он кинулся к стене и принялся за нее с другого конца.

— Ах! Да полно вам! — злилась Софья Ивановна. — Ну, что вы глупости делаете!.. Только раздражаете!

— Так это вас раздражает?! Благодарю покорно! — вскинулся на нее поэт. — Человек впутался из-за вас в глупейшую историю, а вы же еще и раздражаетесь.

— Как из-за меня? — возмутилась Софья Ивановна. — Кто посоветовал залезть в вагон? Я бы сама никогда такой глупости не придумала... идиотства такого...

— Вы, кажется, желаете ругаться? Предупреждаю вас, что совершенно не способен поддерживать разговор в таком тоне.

— А, тем лучше! Не желаю вовсе разговаривать с вами...

— Прекрасно, — декадент помолчал минуту и затем стал обращаться непосредственно к Богу.

— Господи! — воскликнул он, хватаясь за голову. — За что? За что мне такая пытка?! Разве я сделал что-нибудь дурное?

Софья Ивановна тихо стонала в своем углу.

— За что наказуешь? — взвыл декадент, решив, что к Богу удобнее адресоваться по-славянски. — Наказуешь за что?!

Душно было в полутемном вагоне. Через пробитое под самой крышей маленькое окошечко, вернее, отдушину, слабо мерцал дневной свет, озаряя невеселую картину: Софья Ивановна, в позе самого безнадежного отчаянья, поникнув головой, беспомощно опустив руки, прижалась в уголок, с ненавистью следя за своим спутником.

Декадент метался, упрекал Бога и сверлил вагон перочинным ножиком.

А поезд все мчался, все прибавлял ходу, весело гремя цепями, соединяющими звенья его гигантского тела, и не чувствовал, какая страшная драма разыгрывается в самых недрах его. Но вот колеса застучали глуше, толчки сделались сильнее и реже. Софья Ивановна заметила, как мимо окошечка проплыла большая розовая стена: подходили к станции. Загудел свисток паровоза; еще несколько толчков, и поезд остановился.

Софья Ивановна подошла к двери и стала прислушиваться. Декадент, вынув из кармана зеркальце и гребешок, приводил в порядок прическу.

«Вот идиот! Точно не все равно, в каком виде он будет вылезать из собачьего вагона!»

— Что же теперь прикажете делать? — спросил поэт таким тоном, словно все, что происходило, было придумано самой Софьей Ивановной и вполне от нее зависело.

— Нужно постучать... Господи, как все это глупо!.. Рабочие... смеяться будут... Все равно, я не могу дольше ехать... Я измучилась!.. — и она горько заплакала.

К вагону подходили.

— Мало что не поспеть! Ты торопись. Сейчас тронется! — проворчал кто-то за дверью.

Софья Ивановна робко стукнула и вдруг, набравшись смелости, отчаянно забарабанила руками и ногами.

— Ах, подлецы! — закричал странно знакомый голос. — Не выгрузивши свиней, отправлять вагон! Я вам покажу, мерррзавцы! Отворить!

Засов с грохотом отодвинулся.

— Петин голос!.. Петя!.. Господи, помоги! Скажу, что нарочно к нему... Жаждалась с обедом... беспокоилась... Боже мой! Боже мой!

Трах!.. Дверь открыта. Удивленные лица железнодорожных служащих... вытаращенные глаза Петра Игнатьевича...

Она забыла все, что приготовилась сказать, и, напряженно улыбаясь, со слезами на глазах, неожиданно для себя самой пролепетала: «Пора обедать!»

— Спасибо за сюрприз, — мрачно ответил муж, помогая ей слезть и пристально всматриваясь в темный угол вагон, где затаив дыхание, неподвижно замер бедный «декадент». Вдруг ноздри Петра Игнатьевича дрогнули, шея налилась кровью...

— Пломбу! — скомандовал он, обращаясь к кондуктору, и, собственноручно задвинув одним ударом сильной руки тяжелую дверь вагона, надписал на ней мелом: «В Харьков, через Москву и Житомир».

— Готово!

Приложили пломбу. Кондуктор свистнул, вскакивая на тормоз. Стукнули буфера, звякнули цепи, глухо зарокотали колеса. Поезд тронулся...

О, никогда тебя он не забудет,
Забытый путь!..

Жизнь и воротник

Человек только воображает, что беспредельно властвует над вещами. Иногда самая невзрачная вещь втрется в жизнь, закрутит ее и перевернет всю судьбу не в ту сторону, куда бы ей надлежало идти.

Олечка Розова три года была честной женой честного человека. Характер имела тихий, застенчивый, на глаза не лезла, мужа любила преданно, довольствовалась скромной жизнью.

Но вот как-то пошла она в Гостиный двор и, разглядывая витрину мануфактурного магазина, увидела крахмаль- ный дамский воротник, с продернутой в него желтой ленточкой.

Как женщина честная, она сначала подумала: «Еще что выдумали!» Затем зашла и купила.

Примерила дома перед зеркалом. Оказалось, что если желтую ленточку завязать не спереди, а сбоку, то получится нечто такое, необъяснимое, что, однако, скорее хорошо, чем дурно.

Но воротничок потребовал новую кофточку. Из старых ни одна к нему не подходила.

Олечка мучилась всю ночь, а утром пошла в Гостиный двор и купила кофточку из хозяйственных денег.

Примерила все вместе. Было хорошо, но юбка портила весь стиль. Воротник ясно и определенно требовал круглую юбку с глубокими складками.

Свободных денег больше не было. Но не останавливаться же на полпути?

Олечка заложила серебро и браслетку.

На душе у нее было беспокойно и жутко, и, когда воротничок потребовал новых башмаков, она легла в постель и проплакала весь вечер.

На другой день она ходила без часов, но в тех башмаках, которые заказал воротничок.

Вечером, бледная и смущенная, она, заикаясь, говорила своей бабушке:

— Я забежала только на минутку. Муж очень болен. Ему доктор велел каждый день натираться коньяком, а это так дорого.

Бабушка была добрая, и на следующее же утро Олечка смогла купить себе шляпу, пояс и перчатки, подходящие к характеру воротничка.

Следующие дни были еще тяжелее.

Она бегала по всем родным и знакомым, лгала и выклянчивала деньги, а потом купила безобразный полосатый диван, от которого тошнило и ее, и честного мужа, и старую вороватую кухарку, но которого уже несколько дней настойчиво требовал воротничок.

Она стала вести странную жизнь. Не свою. Воротничковую жизнь. А воротничок был какого-то неясного, путаного стиля, и Олечка, угождая ему, совсем сбилась с толку.

— Если ты английский и требуешь, чтоб я ела сою, то зачем же на тебе желтый бант? Зачем это распутство,

которого я не могу понять и которое толкает меня по наклонной плоскости?

Как существо слабое и бесхарактерное, она скоро опустила руки и поплыла по течению, которым ловко управлял подлый воротник.

Она обстригла волосы, стала курить и громко хохотала, если слышала какую-нибудь двусмысленность.

Где-то в глубине души еще теплилось в ней сознание всего ужаса ее положения, и иногда, по ночам или даже днем, когда воротничок стирался, она рыдала и молилась, но не находила выхода.

Раз даже она решилась открыть все мужу, но честный малый подумал, что она просто глупо пошутила, и, желая подольстить, долго хохотал.

Так дело шло все хуже и хуже.

Вы спросите, почему не догадалась она просто-напросто вышвырнуть за окно крахмальную дрянь?

Она не могла. Это не странно. Все психиатры знают, что для нервных и слабосильных людей некоторые страдания, несмотря на всю мучительность их, становятся необходимыми. И не променяют они эту сладкую муку на здоровое спокойствие — ни за что на свете.

Итак, Олечка слабела все больше и больше в этой борьбе, а воротник укреплялся и властвовал.

Однажды ее пригласили на вечер.

Прежде она нигде не бывала, но теперь воротник напился на ее шею и поехал в гости. Там он вел себя развязно до неприличия и вертел ее головой направо и налево.

За ужином студент, Олечкин сосед, пожал ей под столом ногу.

Олечка вся вспыхнула от негодования, но воротник за нее ответил:

— Только-то?

Олечка со стыдом и ужасом слушала и думала:

— Господи! Куда я попала?!

После ужина студент вызвался проводить ее домой. Воротник поблагодарил и радостно согласился, прежде чем Олечка успела сообразить, в чем дело.

Едва сели на извозчика, как студент зашептал страстно:

— Моя дорогая!

А воротник пошло захихикал в ответ.

Тогда студент обнял Олечку и поцеловал прямо в губы. Усы у него были мокрые, и весь поцелуй дышал маринованной корюшкой, которую подавали за ужином.

Олечка чуть не заплакала от стыда и обиды, а воротник ухарски повернул ее голову и снова хихикнул:

— Только-то?

Потом студент с воротником поехали в ресторан, слушать румын. Пошли в кабинет.

— Да ведь здесь нет никакой музыки! — возмущалась Олечка.

Но студент с воротником не обращали на нее никакого внимания. Они пили ликер, говорили пошлости и целовались.

Вернулась Олечка домой уже утром. Двери ей открыл сам честный муж.

Он был бледен и держал в руках ломбардные квитанции, вытасканные из Олечкиного стола.

— Где ты была? Я не спал всю ночь! Где ты была?

Вся душа у нее дрожала, но воротник ловко вел свою линию.

— Где была? Со студентом болталась!

Честный муж пошатнулся.

— Оля! Олечка! Что с тобой! Скажи, зачем ты закладывала вещи? Зачем занимала у Сатовых и у Яниных? Куда ты девала деньги?

— Деньги? Профукала!

И, заложив руки в карманы, она громко свистнула, чего прежде никогда не умела. Да и знала ли она это дурацкое слово — «профукала»? Она ли это сказала?

Честный муж бросил ее и перевелся в другой город.

Но что горше всего, так это то, что на другой же день после его отъезда воротник потерялся в стирке.

Кроткая Олечка служит в банке.

Она так скромна, что краснеет даже при слове «омнибус», потому что оно похоже на «обнимусь».

— А где воротник? — спросите вы.

— А я-то почему знаю, — отвечу я. — Он отдан был прачке, с нее и спрашивайте.

Эх, жизнь!

Сезон бледнолицых

Когда наступает так называемый «летний сезон», жены, матери, сестры, дети, няньки, кухарки и гувернантки, — словом, вся проза жизни, выезжают из города.

Как ни странно, но, кроме признанных законов природы и гражданина, существуют еще такие, о которых никто не знает, но которым все слепо подчиняются.

Скажите, есть ли такой закон, что человек летом непременно должен съезжать с того места, где он живет зимой?

Я знаю, что вы скажете.

Вы скажете, что закона такого нет, но что человеку вполне естественно менять душный город на деревенскую прохладу.

Вот тут-то вы и попадете впросак: о прохладе никто и не заботится.

Докажу примером.

Сотни петербуржцев едут на лето в Лугу. А жители Луги выезжают в окрестности города. Провинциалы сплошь и рядом приезжают на лето в Петербург (вы скажете — за прохладой?). Многие ездят летом в Севастополь, откуда местные жители разбегаются. Или в Одессу, которая летом тоже невыносима.

Не ясно ли, что дело здесь не в прохладе?

Признаемся откровенно:

— Каждое лето находит на нас странная блажь. И гоняет нас с места на место.

Если же сами мы не можем почему-либо сдвинуться, то выгоняем, по крайней мере, жену с гувернантками.

Остается в городе только «труженик-муж бледнолицый», которому, как известно, «не до сна».

И весь город принимает особый, «бледнолицый» вид.

Женщин и детей становится меньше.

Шляпы на женщинах становятся больше.

Открываются загородные сады и театры.

В театрах особый, «бледнолицый» репертуар; танцуют «матчиш», лягают «поло-поло» и лают басом «парагвай-гвай-гвай». Последнее считается пикантным.

Все пьесы почему-то стараются ставить с музыкой. О постановке не особенно заботятся, потому что все равно ничего не видно.

Если сидишь во втором ряду, то иногда можно ухитриться увидеть кусочек сцены в щелочку между ухом и шляпой той дамы, которая сидит в первом ряду.

Остальные ничего не видят.

Один провинциал приехал специально в Петербург посмотреть «Веселую вдову».

Очень разочаровался.

— Вот так веселая вдова! Нечего сказать! Просто черная будка с зеленым бантом. Музыка еще туда-сюда, а уж посмотреть совсем не на что.

Ну, на то он и провинциал. Опытных людей не проведешь!

Они живо разберут, что шляпа, а что сцена.

Опытному человеку если станет любопытно, что на сцене происходит, он поманит к себе капельдинера, сунет ему двугривенный и шепнет на ушко:

— Пойди-ка ты, братец, да разнюхай хорошенько, что у них там делается. Потом приди, Расскажи. Толково Расскажешь — еще гривенник получишь.

Капельдинеру, конечно, приятно тоже заработать. Ну, он и старается. Если усердный человек попадется, так он так распишет, что и смотреть не надо. Лучше автора.

В Зоологическом саду тоже начинается «бледнолицый» сезон.

Администрация деятельно к нему готовится.

Всюду прибиты дощечки с самыми странными надписями, предугадывающими и запрещающими самые неожиданные ваши желания.

«Медведя покорнейше просят зонтиком не дразнить».

Какие тонкие психологи додумались до этих слов! Как могли они знать, что при виде медведя у человека должно явиться непреодолимое желание дразнить его зонтиком? И почему именно зонтиком? Как жутко, что самые сокровенные и темные движения нашей души предугаданы администрацией Зоологического сада!

«Не совать окурков верблюду в нос» тоже «покорнейше просят господ посетителей».

Заметьте, какая спецификация. Администрация прекрасно знает, что никому не придет в голову дразнить верблюда зонтиком или совать окурки медведю в нос. Поэтому это и не запрещается. Вероятно, даже и случая такого не было.

Действительно, где же найдется такой идиот, который стал бы дразнить верблюда зонтиком? Вот медведя — это вполне естественно. Хотя и нехорошо.

Какое, должно быть, странное представление о людях сложилось у зверей Зоологического сада!

Двуногие, красноносые, с трудом удерживающие равновесие.

У их самок болтаются меховые хвосты не на том месте, где указано природой для всех животных... А на голове у них птичьи трупы...

Ходят красноносые, смотрят тусклыми глазами в благородные горящие звериные очи.

Высовывает тюлень голову из своей грязной лужи. С недоумением оглядывается кругом.

— Эт-та что за рыба? — тычет зонтиком двуногий. — Че-а-ек! Свари мне из нее уху! На пять персон!

Карьера Сципиона Африканского

Театральный рецензент заболел. Написал в редакцию, что вечером в театр идти не может, попросил аванс на поправление здоровья и обстоятельств, но билета не вернул.

А между тем рецензия о спектакле была необходима.

Послали к рецензенту, но посланный вернулся ни с чем. Больного вторые сутки не было дома.

Редактор заволновался. Как быть? Билеты все распроданы.

— Я напишу о спектакле, — сказал печальный и тихий голос.

Редактор обернулся и увидел, что голос принадлежит печальному хроникеру, с уныло-вопросительными бровями.

— Вы взяли билет?

— Нет, у меня нет билета. Но я напишу о спектакле.
— Да как же вы пойдете в театр без билета?
— Я в театр не пойду, — все так же печально отвечал хроникер, — но я напишу о спектакле.

Подумали, посоветовались и положились на хроникера и на кривую.

Через час рецензия была готова:

«Александрийский театр поставил неудачную новинку “Торе от ума”, написанную неким господином Грибоедовым. (Зачем брать псевдонимом такое известное имя?) Sic!..¹»

— А ведь он ядовито пишет, — сказал редактор и продолжал чтение:

«Написана пьеса в стихах, что наша публика очень любит, и хотя полна прописной морали, но поставлена очень прилично (Sic!). Хотя многим здравомыслящим людям давно надоела фраза вроде «О, закрой свои бледные ноги», как сочиняют наши декаденты. Не мешало бы некоторым актерам и актрисам подтверже знать свои роли (Sic! Sic!)».

«А ведь и правда, — подумал редактор. — Очень не мешает актеру знать подтверже свою роль. Какое меткое перо!»

«Из исполнителей отметим г-жу Савину, которая обнаружила очень симпатичное дарование и справилась со своей ролью с присущей ей миловидностью. Остальные были на своих местах.

Автора вызывали после третьего действия. Sic! Sic! Transit!²

Сцитион Африканский».

— Это что же? — удивился редактор на подпись.

— Мой псевдоним, — скромно опустил глаза печальный хроникер.

— У вас бойкое перо, — сказал редактор и задумался.

* * *

Наступили скверные времена. Наполнять газету было нечем. Наняли специального человека, который сидел, читал набранные статьи и подводил их под законы.

¹ Так! (*Лам.*)

² Так! Так! Проходит! (*Лам.*)

«Пять лет каторжных работ! Лишение всех прав! Высылка на родину! Штраф по усмотрению! Конфискация! Запрещение розничной продажи! Крепость!»

Слова эти гулко вылетали из редакторского кабинета, где сидел специальный человек, и наполняли ужасом редакцию.

Недописанные статьи летели в корзину, дописанные сжигались дрожащими руками.

Тогда Сципион Африканский пришел к растерянному редактору и грустно сказал:

— У вас нет материала, так я вам приведу жирафов.

— Что? — даже побледнел редактор.

— Я приведу вам в Петербург жирафов из Африки. Будет много статей.

Недоумевающий редактор согласился.

На другой же день в газете появилась интересная заметка о том, что одно высокопоставленное африканское лицо подарило одному высокопоставленному петербургскому лицу четырех жирафов, которых и приведут из Африки прямо в Петербург сухим путем. Где нельзя — там вплавать.

Жирафы тронулись в путь на другой же день. Путешествие было трудное. По дороге они хворали, и Сципион писал горячие статьи о способе лечения зверей и апеллировал к обществу покровительства животным. Потом написал сам себе письмо о том, что стыдно думать о скотах, когда народ голодает. Потом ответил сам себе очень резко и в конце концов так сам с собой сцепился, что пришлось вмешаться редактору, который боялся, что дело кончится дуэлью и скандалом. Еле уломали: Сципион согласился на третейский суд.

А жирафы между тем шли да шли. Где-то в Калькутте, куда они, очевидно, забрели по дороге, у них родились маленькие жирафята, и понадобилось сделать привал. Но природа, окружающая отдохавших путников, была так дивно хороша, что пришлось поместить несколько снимков из Ботанического сада. Кто-то из подписчиков выразил письменное удивление по поводу того, что в Калькутте леса растут в кадках, но редакция казнила его своим молчанием.

Жирафы были уже под Кавказом, где туземцы устраивали для них живописные празднества, когда редактор неожиданно призвал к себе Сципиона.

— Довольно жирафов, — сказал он. — Теперь начинается свобода печати. Займемся политикой. Жирафы не нужны.

— Господи! Куда же я теперь с ними денусь? — затосковал Сципион с таким видом, точно у него осталось на руках пятеро детей, мал мала меньше.

Но редактор был неумолим.

— Пусть сдохнут, — сказал он. — Мне какое дело.

И жирафы сдохли в Оренбурге, куда их зачем-то понесло.

* * *

Журналистов не пустили в Думу, и газета, в которой работал Сципион, осталась без «кулуаров».

Настроение было унылое.

Сципион писал сам себе телеграммы из Лондона, Парижа и Берлина, где сообщал самые потрясающие известия, и в следующем номере, проверив, красноречиво опровергал их.

А кулуары все-таки были нужны.

— Сципион Африканский, — взмолился редактор. — Может быть, вы как-нибудь сможете...

— Ну, разумеется, могу. Что кулуары — волк, что ли? Очень могу.

На следующий день появились в газете «кулуары».

«Прекрасная зала екатерининских времен, где некогда гулял сам светлейший повелитель Тавриды, оглашается теперь зрелищем народных представителей.

Вот идет П. Н. Милюков.

— Здравствуйте, Павел Николаевич! — говорит ему молодой симпатичный кадет.

— Здравствуйте! Здравствуйте! — приветливо отвечает ему лидер партии народной свободы и пожимает его правую руку своей правой рукой.

А вот и Ф. И. Родичев.

Его высокая фигура видна еще издали.

Он весело разговаривает со своим собеседником. До нас долетают слова:

— Так вы еще не завтракали?..

— Нет, Федор Измайлович, еще не успел.

Едва успели мы занести это в свою книжку, как уже наталкиваемся на еврейскую группу.

— Ну что, вы всё еще против погромов?

— Безусловно, против, — отвечает, улыбаясь, группа и проходит дальше.

Ожидается бурное заседание, и Маклаков (Василий Алексеевич), видный брюнет, потирает руки.

После краткой беседы с социал-демократами мы вынесли убеждение, что они бесповоротно примкнули к партии с.-д.

Вот раздалась звонкая польская речь, это беседуют между собой два представителя польской группы.

В глубине залы, у колонн, стоит Гучков.

— Какого вы мнения, Александр Иванович, о блоке с кадетами?

Гучков улыбается и делает неопределенный жест.

У входа в кулуары два крестьянина горячо толкуют об аграрной реформе.

В буфете, у стойки, закусывает селедкой Пуришкевич, который принадлежит к крайним правым.

«Нони́ча, тепери́ча, тае-тае», — говорят мужички в кулуарах».

* * *

— «Последний Луч» меня переманивает, то есть «кулуары», — с безысходной грустью заявил Сципион.

Редактор вздохнул, оторвал четвертушку бумаги и молча написал:

«В контору.

Выдать Сципиону Африканскому (Савелию Апельсину) авансом четыреста (400) рублей, с погашением 30%».

Вздохнул еще раз и протянул бумажку Сципиону.

Изящная светопись

Кто хочет быть глубоко, безысходно несчастным?

Кто хочет дойти до отчаянья самого мрачного, самого черного, с зелеными жилками (гладкие цвета теперь не в моде)?

Желающих, знаю, найдется немало, но никто не знает, как этого достигнуть. А между тем дело такое простое...

Нужно только пойти и сняться в одной фотографии. Конечно, я не так глупа, чтобы сейчас же выкладывать ее имя и адрес. Я сама узнала их путем тяжелого испытания, пусть теперь попадутся другие; может быть, это даст мне некоторое удовлетворение... Ах! Ничто нас так не утешает в несчастье, как вид страдания другого, — так сказал один из заратурствующих.

К тому же я слышала, что эта фотография не единственная в таком роде. Их несколько, даже, может быть, много. Так что если повезет, то легко можно напасть на желаемую. (Впрочем, нападет-то она сама на вас!..)

Узнала я обо всем не особенно давно.

И так это все вышло странно... Шла я как-то вечером по Невскому. Было уже темно. Зажгли фонари. На небе тоже стемнело, и зажгли звезды.

Мой спутник впал в лирическое настроение, говорил о том, что все в природе очень мудро, а на углу Троицкой приостановился и, указывая тросточкой на Большую Медведицу, дважды назвал ее «Прекрасной Кассиопеей».

Я подняла голову и уже приготовилась возражать, как вдруг наверху, над крышами, что-то мигнуло. Мелькнул лукавый белый огонек. Вспыхнул, мигнул. Ему ответил другой, немного подальше. Затем третий.

«Кто это там перемигивается ночью, под черным небом? — подумала я. — Дело как будто не совсем чисто».

Навели справки. Мне сказали, что это фотографии, работающие при свете магния.

Ну, что ж, — магний так магний.

Я поверила, но в душе осталась какая-то смутная тревога. И недаром.

* * *

От моей подруги отказался жених. Отказался от доброй, красивой (да — красивой; продолжаю на этом настаивать!) и умной барышни, которую он страстно любил, которой еще месяц назад писал — я сама видела — писал: «Единственная! Целую твои мелкие калоши!»

Отказался! Положим, он прибавил, что, может быть, скоро застрелится, но ей от этого какой профит?

Несчастье произошло оттого, что она подарила ему медальон со своим портретом.

Он страшно обрадовался медальону, открыл его, побледнел и тихо-тихо сказал:

— Однако!

Больше ничего. Только это «однако» и было.

За обедом он ничего не ел и был очень задумчив. Потом, во время кофе, попросил невесту повернуться на минутку в профиль. Затем выскочил и уехал.

На другое же утро невеста получила от него уведомление, что он не создан для семейной жизни. И все было кончено.

* * *

Недавно одни мои добрые знакомые чуть было не отвезли свою единственную дочь в лечебницу для душевнобольных. Я навестила печальных родителей, и они рассказали мне следующее: недели две тому назад отправилась их дочь в фотографию за пробной карточкой. Вернулась она совсем расстроенная, сказала, что карточка будто бы не готова, отказалась от театра и весь вечер плакала. Ночью жгла в своей комнате какие-то картоны (показание прислуги), а в шесть часов утра влетела в спальню матери с громким требованием сейчас же массировать ей правую сторону носа.

— Несчастная! — урезонивала ее мать. — Опомнись.

— Не могу я опомниться, — отвечала безумная, — когда у меня правая сторона носа втрое толще левой, когда она доминирует над лицом.

Так и сказала: доминирует. Каково это матери выслушивать!

К обеду она, однако, как будто и поуспокоилась, зато ночью прокралась в комнату отца, стащила бритву и сбрила себе правую бровь, а утром побежала к дантисту и умоляла, чтоб он распилил ей рот с левой стороны. Тут ее, голубушку, и сцапали.

Наняли в лечебнице комнату, стали собирать вещи. Вдруг слышат — кричит прислуга истошным голосом. Ки-

нулись к ней, глядят, а у нее в руках барышнина карточка. Описывать карточку я не стану, хоть мне ее показывали; еще, пожалуй, подумают, что я подражаю Эдгару По. Скажу одно: мать пролежала два дня в истерике, отец подал в отставку, кухарка сделалась за повара и потребовала прибавки жалованья...

Теперь они уезжают из Петербурга, где оставляют столько тяжелых воспоминаний...

• • •

Была я на днях в фотографии и дожидалась, чтобы мне выдали пробные карточки одной знакомой дамы. Сажу, жду. Высокая, тощая особа роется в книгах и квитанциях с видом оскорбленного достоинства.

Вдруг звонок. Входит энергичный, оживленный господин и спрашивает свой портрет. Тощая особа оскорбляется еще глубже и с холодным презрением подает ему карточку. Господин несколько изумленно смотрит, затем начинает добродушно улыбаться.

— Ха! Это который же я?

Особа «холодна и бледна как лилия» и молча указывает длинным перстом.

— Ха! Ну и р-рожа! Отчего это щеку-то так вздуло?

— Такое освещение.

— А нос отчего эдакой, pardon, клюквой?

— Такой ракурс.

— Гм... Уди-витель-но! А где шея? Где моя шея?

— Шея у вас вообще очень коротка, а тут такой поворот.

— Зачем же вы, черт возьми, pardon, так меня посадили? Несколько минут тягостного молчания.

— А это кто же рядом со мной сидит?

— Это? — Беглый взгляд на карточку. — Разумеется, ваша супруга.

— Супруга? — в ужасе переспрашивает господин. — Ишь ты! Как она могла здесь выйти, когда я с ней еще в девяносто шестом году разошелся. Когда она, pardon, живет в Самаре у тетки.

— Фотография не может быть ответственна за поведение вашей жены.

— Позвольте! Да ведь это, верно, Сашка, pardon, Александр Петрович, с которым я приходил сниматься! Ну конечно! Смотрите, вон и сюртук его...

— Фотография не может быть ответственна за костюмы ваших друзей.

Господин сконфузился и попросил завернуть карточки, но вдруг остановил тощую особу и робко спросил:

— Не можете ли вы мне сказать, чей это ребенок вышел там у меня на коленях?

Особа долго и внимательно рассматривает карточку, подходит к окну, зажигает лампочку и, наконец, холодно заявляет:

— Это вовсе не ребенок. Это у вас так сложены руки.

— Не ребенок? А как же вон носик и глазки? Впрочем, тем лучше, тем лучше! Мне, pardon, было бы ужасно неудобно и даже неприятно, если бы это оказался ребенок... Ну, куда бы я делся с маленьким ребенком на руках?

— Фотография не может быть ответственна.

— Ну да! Ну да! Очень рад. Но все-таки — удивительная игра лучей.

Он ушел. Мне выдали карточку моей знакомой, где она, почтенная старуха, начальница пансиона, была изображена с двумя парами бровей и одним лихо закрученным усом, который, впрочем, при внимательном рассмотрении через лупу оказался бахромкой от драпировки. Но я уже знала, что фотография не может быть ответственна.

Я не захотела огорчать бедную женщину и бросила карточку в Екатерининский канал.

Все равно там рыбадохнет.

• • •

Часто приходится встречать людей бедных, расстроенных, страдающих странным недугом. Они робко спрашивают у знакомых, не кривое ли у них лицо? Не косит ли глаз? Не перегнулся ли нос через верхнюю губу? И на отрицательный ответ недоверчиво и безнадежно отмахиваются рукой.

Их жалеют и им удивляются.

Но я не удивляюсь. Я знаю, в чем дело. Знают также и те, кто перемигивается по ночам высоко над крышами, под самым черным небом.

Они поют...

Они начинают петь с шести утра. Из окна моей комнаты я могу видеть прачечную, где они работают, и вылетающие из дверей клубы белого пара, словно пронизанного стальными вибрирующими нитями, их звонкими и глухими, резкими и тягучими разнообразно-ужасными голосами.

От голосов этих нельзя ни укрыться, ни спастись. Они найдут и разыщут вас всюду, они прервут ваш сон, оторвут ваше внимание от работы, от интересной книги и, незримым тонким крючком подцепив вашу протестующую и негодующую душу, потянут ее в царство пошлости, из которой рождены.

Нужно бежать, прямо бежать на улицу, — мелькает в голове. Но вы бросаете взгляд на письменный стол, где лежит неоконченная работа, вспоминаете раскаленные камни мостовой и остаетесь дома.

А они поют, поют, поют... Репертуар их песен самый несложный, но к нему никогда нельзя привыкнуть, как не могли привыкнуть дети Якова Д'Арманьяка к тому, что, по приказанию Генриха VIII, им выдергивали каждый день по одному зубу; не могли, несмотря на однообразие этой пытки.

Куда уплыла широкая стонущая волна старой русской песни, с ее грустными, захватывающими переливами, с наивными бессознательно-красивыми словами? Неужели она бесповоротно вытеснена безобразными и бессмысленными фабричными напевами? В глуши Могилевской губернии, на расстоянии более ста верст от железной дороги, деревенские бабы распевают «Канхветка моя лядинистая». Этот гостинец, вместе с безобразными «модными» кофтами, принесли им мужья из далеких городов, куда они ходят на заработки.

Знаменитые песни «Не одна во поле дороженька», «Не белы снеги» заброшены совсем. Деревенская молодежь их не любит, говорит, что это песни мужицкие (оказывается, что мужикам не нравится «мужицкое», их же собственное свойство!).

Я вспоминаю эти красивые, полузабытые песни, а те, там внизу, всё поют и поют! Каждая тянет свое. Вот широким серым винтом крутится однообразная, тоскливая мелодия, прерываемая длинными паузами, во время которых я замираю от ожидания, от смутной надежды, что этот куплет был последним. Но винт продолжает кружиться, ввинчивается в мои мысли, разбивает их...

Мамашенька руга-ала!

Широко, повествовательно и убедительно сообщает новый тягучий голос, и мне кажется, что я вижу источник его — растянутый поблекший рот, увенчанный круглым красным носом, и я всецело становлюсь на сторону «мамашеньки», которая ругала.

А вот другой восторженный голос предлагает полюбоваться совершенно невообразимым пейзажем, но, должно быть, успокоительным:

Посмотри, над рекой
Вьется мрамор морской.

А вот еще новый куплет, который даже приводит меня в умиление:

Напишу я твой портрет,
Господа будут съезжаться,
На портретах любоваться,
В один голос говорить:
Да и что это за прелесть!
Неужели — человек?

О светлая, девственная, нетронутая глупость! Глупость, перед которой, по словам Гете, преклонялись даже боги!

А они все поют, поют... Я ненавижу их! Я возмущаюсь против себя самой, но я ненавижу их! Я стараюсь внушить себе мысль, что это бедные женщины-труженицы, что песнью своей они скрашивают жизнь, облегчают труд, что это их неотъемлемое право, но мысль эта скользит по поверхности моей души, не затрагивая ее.

Потом я начинаю утешать себя, что не могут они петь без отдыха весь день. Должны же они, наконец, хоть обе-

дать, что ли! И я представляю себе большие, огромные куски хлеба, которыми мысленно затыкаю все эти отверстые, звенящие и гудящие рты.

Но они, вероятно, обедают по очереди, потому что голо-са их не смолкают весь день.

Не смейся надо мной,
Господь тебя накажет
Возвратною женой.

«Возвратною женой!» Как это звучит! «Возвратная жена!» Словно возвратный тиф. Нет, еще хуже. Мой утомленный мозг рисует мне странные, нелепые картины... А они все поют, поют...

Я смотрю на часы: четыре! Итак, полдня я слушаю их. Да, да! Они поют, а я слушаю! Мне начинает казаться, что я сошла с ума, что реально существовать не может такого ужаса.

В продолжение получаса думаю об инквизиционных пытках Торквемада! Детские забавы! Грубые, примитивные приемы для вызова физических страданий.

Прачку! Одну петербургскую прачку нужно было им.

Я мысленно предаю всех своих врагов, затем друзей и родственников, затем клевету на близких и дальних своих. Какой жертвы хочешь ты от меня еще, прачка?

Последнее средство: возьму старую, давно знакомую, давно любимую книгу. Она захватит мою душу, уведет ее за собой. Я беру том Шекспира, открываю его и, оборачиваясь к окну, говорю заклинание: «Прачка! Трехвековая нетленная красота в руках моих. Сгинь! Пропади!»

Я читаю, глаза скользят по строчкам, которых я не вижу, не понимаю, не могу понять. Я слышу, как «ругает маменька» и «вьется над рекой морской мрамор!» Спасенья нет. Я бросаю книгу и начинаю метаться по комнате, ломая руки и повторяя, как леди Макбет: «It will make me mad! It will make me mad!»¹

А они все поют! поют! поют!..

¹ Это сведет меня с ума! Это сведет меня с ума! (Англ.)

Анафемы

Многие голоса высказались на киевском миссионерском съезде за постановление личного церковного анафематствования как исправительной меры.

Из газет

Молодой дьякон Владыкесвоемушуйцулобызященский озабоченно разбирал на столе груды записочек, сортировал их, откладывал стопками.

— Пятнадцать анафем, да четыре онамедняшних, которые, значит, онамедни поступили... да еще десять старых анафем...

— Ты чего, отец, ругаешься? — с упреком сказала дьяконица.

Дьякон бросил на нее вскользь удивленный взгляд и продолжал свою работу.

— Да казенных анафем... Гришка Отрепьев... боярин граф Лев Толстой, иже написа «Анну Каренину», да частного поступления раз... два... о Господи!.. восемь... одиннадцать анафем! Одних частных анафем одиннадцать!

— А ты бы отобрал, отец. Может, которые не к спеху, так и отложить можно.

— Не отложишь! Это, брат матушка, не пустяк. Служба!

— Ну, отваляй как-нибудь. Чего там!

— Отваляй? Нет, брат, не отваляешь! Это вы там промеж себя, по женскому делу, так у вас все в скороговорку идет. «Ах ты, такая, мол, ская, анафема! От анафемы и слышу!» А у нас эдак нельзя. Дело ответственное. Нужно голосом вывести.

Вон еще две какие-то записочки. Эти-то что? «О здравии болящей Макриды». Нашли время! Лезут с Макридой! Тут от одной анафемы не продохнуть. Вон господин певец Собинов прислал анафему на всех собинисток, «иже фа-диез не приемлют...». Кажись так, ежели я не спутал чего.

— Трудно нынче жить стало! — вздохнула дьяконица. — Все как-то по-особенному...

— От Луриха... «Сатирикону» анафема, иже не пятаются задом, подобно Симу и Иафету, прикры наготу чемпионову, но яко Хам надругался. И будьте добры, отец диакон, ежели возможно, до седьмого колена...» Опытная рука писала. Посоветуюсь.

— Ох! Дела, дела!

— От тайного советника Акимова... Государственному Совету анафема. Господи! И с чего бы это? Вот уж, именно, как сказано: сами себя и друг друга. Буквально — весь живот свой! Неисповедимо! Вот сама посуди, дьяконица, неисповедимо ли это?

— Как быдто нет. Казенная анафема-то?

— Нет, частного свойства.

— Мудреное дело! Как кончишь — пойди на кухню; там тебя баба спрашивает.

— Баба? Скажи, что теперь не до молебнов. Ежели покойничек доспеет, так пусть на погребке полежит. Небось не убежит. Не разорваться же. Крестины? Я на крестины поеду, а анафемы ждать будут? Нет, это не дело. Позови-ка бабу сюда. Тебе чего? А? Крестить? Собоковать?

— Батюшка, — кланялась баба, — яви таку божеску милость! Хушь немножечко! Хушь один разок. Светильник ты наш! Хушь шепотком в полчаса!

— Да ты насчет чего?

— Да насчет этой самой... насчет анафемы! Уж такая ли она анафема, что и произнести нельзя! Уж эдакой анафемы и свет не производил! У кого хочешь спроси. Наш волостной писарь тоже человек, а уж и тот говорит, что ежели она...

— Да кто анафема-то?

— Да свекровушка моя! Вся деревня знает. Кого хошь спроси! Уж эдакой анафемы... Прослышали мы, что теперь можно в церкви, ну и порешили промеж себя. Ан, думаю, пойду к отцу дьякону, поклонюсь ему курицей. Потому, так ее сколько ни гвозди, она и ухом не поведет. А ежели церковным порядком — это дело крепкое!

Дьякон задумался.

— Нет, тетка, это дело неподходящее.

— Уж верь, батюшка, совести! Уж ежели это не анафема, так уж и не знаю.

— Не лезь, тетка, — вмешалась дьяконица. — Говорят тебе, нельзя. Ужасно балованный народ пошел. Распущен-

ность! Сегодня прихожу в кухню, а Ксюшка, анафема, сидит и толстовскую книжку про мужика читает. Ты это, говорю, что читаешь? Ты, говорю, анафема, зачем анафему читаешь?..

— Явите божеску милость, — захныкала баба. — Ну хошь разок! Курицей поклонюсь.

— Хошь петухом, а ежели нет указа.

— Как нет?

— А так. Разрешение от полиции имеешь? Докторское свидетельство есть? Да еще правильно ли твоя анафема прописана? Может, у нее документ не в порядке. Тут вон, матушка, какие лица анафематствуют. Можно сказать, личности! А ты с пустяком лезешь. Разве можно!

— Можно! Сама слышала. Вся деревня знает. Графа-то намедни как проклинали? А? Анафема! Распроанафема. И чтобы трижды проклят и дважды заклят, тьфу, тьфу и тьфу! Все знают! Думаешь, темный народ, так и прав своих не понимает? Графу так и то, и сё, и на всех амвонах, а как простому человеку, так и сунуться некуда! Видно, господам-то везде не то, что нашему брату.

Ну, Бог с тобой, коли тебе, дьякон, сиротская слеза не соллона. Пойду домой. Уж я же ее, анафему, облаю. Хошь мы и темный народ, на попа, на дьякона не учены... Сиди без курицы!

К теории флирта

Так называемый «флирт мертвого сезона» начинается обыкновенно — как должно быть каждому известно — в середине июня и длится до середины августа. Иногда (очень редко) захватывает первые числа сентября.

Арена «флирта мертвого сезона» — преимущественно Летний сад.

Ходят по боковым дорожкам. Только для первого и второго rendez-vous допустима большая аллея. Далее пользоваться ей считается уже бестактным.

«Она» никогда не должна приходить на rendez-vous первая. Если же это и случится по оплошности, то нужно поскорее уйти или куда-нибудь спрятаться.

Нельзя также подходить к условленному месту прямой дорогой, так чтобы ожидающий мог видеть вашу фигуру издали. В большинстве случаев это бывает крайне невыгодно. Кто может быть вполне ответствен за свою походку? А разные маленькие случайности вроде расшалившегося младенца, который на полном ходу ткнулся вам головой в колена или угодил мячиком в шляпу? Кто гарантирован от этого?

Да и если все сойдет благополучно, то попробуйте-ка пройти сотни полторы шагов, соблюдая все законы грации, сохраняя легкость, изящество, скромность, легкую кокетливость и вместе с тем сдержанность, элегантность и простоту.

Сидящему гораздо легче.

Если он мужчина, — он читает газету или «нервно курит папиросу за папиросой».

Если женщина, — задумчиво чертит по песку зонтиком или, грустно поникнув, смотрит, как догорает закат. Очень недурно также ошипывать лепестки цветка.

Цветы можно всегда купить по сходной цене тут же около сада, но признаваться в этом нельзя. Нужно делать вид, что они самого загадочного происхождения.

Итак, дама не должна приходить первая. Кроме того случая, когда она желает устроить сцену ревности. Тогда это не только разрешается, но даже вменяется в обязанность.

— А я уже хотела уходить...

— Боже мой! Отчего же?

— Я ждала вас почти полчаса.

— Но ведь вы назначили в три, а теперь еще без пяти минут...

— Конечно, вы всегда окажетесь правы...

— Но ведь часы...

— Часы здесь ни при чем...

Вот прекрасная интродукция, которая рекомендуется всем в подобных случаях.

Дальше уже легко.

Можно прямо сказать:

— Ах да... Между прочим, я хотела у вас спросить, кто та дама... и т. д.

Это выходит очень хорошо.

Еще одно важное замечание: сцены ревности всегда устраиваются в Таврическом саду. Отнюдь не в Летнем. По-

чему? А почему знаю — потому! Так уж принято. Не нами заведено, не нами и кончится.

Да кроме того, — попробуйте-ка в Летнем! Ничего не выйдет.

Таврический специально приноровлен. Там и печальные дорожки, и тихие пруды («я желаю только покоя!..»), и вид на Государственную Думу («...и я еще мог надеяться!..»).

Да, вообще, лучше Таврического сада на этот предмет не выдумаете.

Одно плохо: в Таврическом саду всегда страшно хочется спать. Для бурной сцены это условие малоподходящее. Для меланхолической — великолепно.

Если вам удастся зевнуть совершенно незаметно, то вы можете поднять на «него» или на «нее» свои «изумленные глаза, полные слез», и посмотреть с упреком.

Если же вы ненароком зевете слишком уж откровенно, то вы можете, скорбно и кротко улыбнувшись, сказать: «Это нервное».

Вообще флиртующим рекомендуется к самым неэстетическим явлениям своего обихода приурочивать слово «нервное». Это всегда очень облагораживает.

У вас, например, сильный насморк, и вы чихаете, как кошка на лежанке. Чиханье, не правда ли, — всегда почему-то принимается как явление очень комического разряда. Даже сам чихнувший всегда смущенно улыбается, точно хочет сказать: «Вот видите, я смеюсь, я понимаю, что это очень смешно, и вовсе не требую от вас уважения к моему поступку!»

Чиханье для флирта было бы гибельным. Но вот тут-то и может спасти вовремя сказанное: «Ах! это нервное!»

В некоторых случаях особо интенсивного флирта даже флюс можно отнести к разряду нервных заболеваний. И вам поверят. Добросовестный флиртер непременно поверит.

Ликвидировать флирты мертвого сезона можно двояко. И в Летнем саду, и в Таврическом. В Летнем проще и изящнее. В Таврическом нуднее, затяжнее, но эффектнее. Можно и поплакать, «поднять глаза, полные слез»...

При прощании в Летнем саду очень рекомендуется остановиться около урны и, обернувшись, окинуть последний раз грустным взглядом заветную аллею. Это выходит очень хорошо. Урна, смерть, вечность, умирающая любовь, и вы

в полуобороте, шляпа в ракурсе... Этот момент не скоро забудется. Затем быстро повернитесь к выходу и смешайтесь с толпой.

Не вздумайте только, Бога ради, торговаться с извозчиком. Помните, что вам глядят вслед. Уж лучше, понуриив голову, идите через цепной мост (ах, он также сбросил свои сладкие цепи!..). Идите, не оборачиваясь, вплоть до Пантелеймоновской. Там уже можете купить Гала Петера и откусить кусочек.

Считаю нужным прибавить к сведению господ флиртеров, что теперь совсем вышло из моды при каждой встрече говорить:

— Ах! это вы?

Теперь уже все понимают, что раз условлено встретиться, то нет ничего удивительного, что человек пришел в назначенное время на назначенное место.

Кроме того, если в разгар флирта вы неожиданно натолкнетесь на какого-нибудь старого приятеля, то вовсе не обязательно при этом восклицание:

— Ах! Сегодня день неожиданных встреч. Только что встретились с... (имярек софлиртующего), а теперь вот с вами!

Когда-то это было очень ловко и тонко. Теперь никуда не годится.

Старо и глупо.

Человекообразные

Предисловие¹

Вот как началось.

«Сказал Бог: сотворю человека по образу Нашему и по подобию Нашему» (Бытие 1, 26).

И стало так. Стал жить и множиться человек, передавая от отца к сыну, от предков к потомкам живую горящую душу — дыхание Божие.

¹ Этот рассказ служил предисловием к изданию: Тэффи Юмористические рассказы. Т. 2. Изд-во «Шиповник». СПб., 1911 (*примеч ред.*).

Вечно было в нем искание Бога и в признании, и в отрицании, и не меркнул в нем дух Божий вовеки.

Путь человека был путь творчества. Для него он рождался, и цель его жизни была в нем. По преемству духа Божия он продолжал созидание мира.

«И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов и зверей земных по роду их» (Бытие 1, 24).

И стало так.

Затрепетало влажное, еще не отвердевшее тело земное, и закопошилось в нем желание жизни движущимися мерцающими точками — коловратками. Коловратки наполняли моря и реки, всю воду земную, и стали искать, как им овладеть жизнью и укрепиться в ней.

Они обратились в аннелид, в кольчатых червей, в девятиглазых с дрожащими чуткими усиками, осязающими малейшее дыхание смерти. Они обратились в гадов, амфибий, и выползали на берег, и жадно ощупывали землю перепончатыми лапами, и припадали к ней чешуйчатой грудью. И снова искали жизнь, и овладевали ею.

Одни отрастили себе крылья и поднялись в воздух, другие поползли по земле, третьи заострили свои позвонки и укрепились на лапах. И все стали приспосабливаться, и бороться, и жить.

И вот, после многовековой работы, первый усовершенствовавшийся гад принял вид существа человекообразного. Он пошел к людям и стал жить с ними. Он учуял, что без человека ему больше жить нельзя, что человек поведет его за собой в царство духа, куда человекообразному доступа не было. Это было выгодно и давало жизнь. У человекообразных не было прежних чутких усиков, но чутье осталось.

* * *

Люди смешались с человекообразными. Заключали с ними браки, имели общих детей. Среди детей одной и той же семьи приходится часто встречать маленьких людей и маленьких человекообразных. И они считаются братьями.

Но есть семьи чистых людей и чистых человекообразных. Последние многочисленнее, потому что человекообразное сохранило свою быстроразмножаемость еще со

времен кольчатого девятиглазого периода. Оно и теперь овладевает жизнью посредством количества и интенсивности своего жизнежелания.

* * *

Человекообразные разделяются на две категории: человекообразные высшего порядка и человекообразные низшего порядка.

Первые до того приспособились к духовной жизни, так хорошо имитируют различные проявления человеческого разума, что для многих поверхностных наблюдателей могут сойти за умных и талантливых людей.

Но творчества у человекообразных быть не может, потому что у них нет великого Начала. В этом их главная мука. Они охватывают жизнь своими лапами, крыльями, руками, жадно ощупывают и вбирают ее, но творить не могут.

Они любят все творческое, и имя каждого гения окружено венком из имен человекообразных.

Из них выходят чудные библиографы, добросовестные критики, усердные компиляторы и биографы, искусные версификаторы.

Они любят чужое творчество и сладострастно трутся около него.

Переписать стихи поэта, написать некролог о знакомом философе или, что еще отраднее, — личные воспоминания о талантливом человеке, в которых можно писать «мы», сочетать в одном свое имя с именем гения. Сладкая радость жужелицы, которая думает об ангеле: «Мы летаем!..»

В последнее время стали появляться странные, жуткие книги. Их читают, хвалят, но удивляются. В них всё. И внешняя оригинальность мысли, и мастерская форма изложения. Стихи со всеми признаками принадлежности к модной школе. Но чего-то в них не хватает. В чем дело?

Это — приспособившиеся к новому движению человекообразные стали упражняться.

* * *

Человекообразные низшего порядка менее восприимчивы. Они все еще ощупывают землю и множатся, своим количеством овладевая жизнью.

Они любят приобретать вещи, всякие осязаемые твердые куски, деньги.

Деньги они копят не сознательно, как человек, желающий власти, а упрямо и тупо, по инстинкту завладения предметами. Они очень много едят и очень серьезно относятся ко всяким жизненным процессам. Если вы вечером где-нибудь в обществе скажете: «Я сегодня еще не обедал», — вы увидите, как все человекообразные повернут к вам головы.

* * *

Человекообразное любит труд. Труд — это его инстинкт. Только трудом может оно добиться существования человеческого, и оно трудится само и заставляет других трудиться в помощь себе.

Одна мгновенная творческая мысль гения перекидывает человечество на несколько веков вперед по той гигантской дороге, по которой должно пробраться человекообразное при помощи перепончатых лап, тяжелых крыл, кольчатых извивов и труда бесконечного. Но оно идет всегда по той же дороге, вслед за человеком, и все, что брошено гением во внешнюю земную жизнь, — делается достоянием человекообразного.

* * *

Человекообразное движется медленно, усваивает с трудом и раз приобретенное отдает и меняет неохотно.

Человек ищет, заблуждается, решает, создает закон — синтез своего искания и опыта.

Человекообразное, приспособляясь, принимает закон, и когда человек, найдя новое, лучшее, разрушает старое, — человекообразное только после долгой борьбы отцепляется от принятого. Оно всегда последнее во всех поворотах пути истории.

Там, где человек принимает и выбирает, — человекообразное трудится и приспособляется.

* * *

Человекообразное не понимает смеха. Оно ненавидит смех, как печать Бога на лице души человеческой.

В оправдание себе оно оклеветало смех, назвало его пошлостью и указывает на то, что смеются даже двухмесячные

младенцы. Человекообразное не понимает, что есть гримаса смеха, мускульное бессознательное сокращение, встречающееся даже у собак, и есть истинный, сознательный и не всем доступный духовный смех, порождаемый неувлимо- сложными и глубокими процессами.

Когда люди видят что-нибудь уклоняющееся от истинного, предначертанного, уклоняющееся неожиданно- некрасиво, жалко, ничтожно, и они постигают это уклонение, — душой их овладевает бурная экстазная радость, торжество духа, знающего истинное и прекрасное. Вот психическое зарождение смеха.

У человекообразного, земнорожденного, нет духа и нет торжества его — и человекообразное ненавидит смех.

Вспомните: в смеющейся толпе всегда мелькают недоуменно-тревожные лица. Кто-то спешит заглушить смех, переменить разговор. Вспомните: сверкают злые глаза и сжимаются побледневшие губы...

Некоторые породы человекообразных, отличающиеся особой приспособленностью, уловили и усвоили внешний симптом и проявление смеха. И они смеются.

Скажите такому человекообразному: «Слушайте! Вот смешной анекдот», — и оно сейчас же сократит мускулы и издаст смеховые звуки.

Такие человекообразные смеются очень часто, чаще самых веселых людей, но всегда странно — или не узнав еще причины, или без причины, или позже общего смеха.

В театре на представлении веселого водевиля или фарса — прислушайтесь: после каждой шутки вы услышите два взрыва смеха. Сначала засмеются люди, за ними человекообразные.

* * *

Человекообразное не знает любви.

Ему знакомо только простое, не индивидуализирующее половое чувство. Чувство это, грубое и острое, обычно у человекообразных, как инстинкт завладения землею и жизнью. Во имя его человекообразное жертвует многим, страдает и называет это любовью. Любовь эта исчезает у него, как только исполнит свое назначение, то есть даст ему возможность размножиться. Человекообразное любит вступать в брак и блюсти семейные законы.

Детей они ласкают мало. Больше «воспитывают». О жене говорят: «Она *должна* любить мужа». Нарушение супружеской верности осуждают строже, чем люди, как и вообще нарушение всякого закона. Боятся, что, испортив старое, придется снова приспособляться.

Человекообразные страстно любят учить. Из них многие выходят в учителя, в профессора. Уча — они торжествуют. Говоря чужие слова ученикам, они представляют себе, что это их слова, ими созданные.

* * *

За последнее время они размножились. Есть неоспоримые приметы. Появились их книги в большом количестве. Появились кружки. Почти вокруг каждого сколько-нибудь выдающегося человека сейчас же образуется кружок, школа. Это все стараются человекообразные.

Они притворяются теперь великолепно, усвоили себе ухватки настоящего человека. Они лезут в политику, стараются пострадать за идею, выдумывают новые слова или дико сочетают старые, плачут перед Сикстинской Мадонной и даже притворяются развратниками.

Они стали выдумывать оригинальности. Они крепнут все более и более и скоро задавят людей, завладеют землею. Уже много раз приходилось человеку преклоняться перед их волей, и теперь уже можно думать, что они сговорились и не повернут больше за человеком, а будут стоять на месте и его останоят. А может быть, кончат с ним и пойдут назад отдыхать.

Многие из них уже мечтают и поговаривают о хвостах и лапах...

Экзамен

На подготовку к экзамену по географии дали три дня. Два из них Маничка потратила на примерку нового корсета с настоящей планшеткой. На третий день вечером села заниматься.

Открыла книгу, развернула карту и — сразу поняла, что не знает ровно ничего. Ни рек, ни гор, ни городов, ни морей, ни заливов, ни бухт, ни губ, ни перешейков — ровно ничего.

А их было много, и каждая штука чем-нибудь славилась.

Индийское море славилось тайфуном, Вязьма — пряниками, пампасы — лесами, льяносы — степями, Венеция — каналами, Китай — уважением к предкам.

Все славилось!

Хорошая славушка дома сидит, а худая по свету бежит — и даже Пинские болота славились лихорадками.

Подзубрить названия Маничка еще, может быть, и успела бы, но уж со славой ни за что не справиться.

— Господи, дай выдержать экзамен по географии рабе твоей Марии!

И написала на полях карты: «Господи, дай! Господи, дай! Господи, дай!»

Три раза.

Потом загадала: напишу двенадцать раз «Господи, дай», тогда выдержу экзамен.

Написала двенадцать раз, но, уже дописывая последнее слово, сама себя уличила:

— Ага! рада, что до конца написала. Нет, матушка! Хочешь выдержать экзамен, так напиши еще двенадцать раз, а лучше и все двадцать.

Достала тетрадку, так как на полях карты было места мало, и села писать. Писала и приговаривала:

— Воображаешь, что двадцать раз напишешь, так и экзамен выдержишь? Нет, милая моя, напиши-ка пятьдесят раз! Может быть, тогда что-нибудь и выйдет. Пятьдесят? Обрадовалась, что скоро отделаешься! А? Сто раз, и ни слова меньше...

Перо трещит и кляксит.

Маничка отказывается от ужина и чая. Ей некогда. Щеки у нее горят, ее всю трясет от спешной, лихорадочной работы.

В три часа ночи, исписав две тетради и кляпспAPIP, она уснула над столом.

* * *

Тупая и сонная, она вошла в класс.

Все уже были в сборе и делились друг с другом своим волнением.

— У меня каждую минуту сердце останавливается на полчаса! — говорила первая ученица, закатывая глаза.

На столе уже лежали билеты. Самый неопытный глаз мог мгновенно разделить их на четыре сорта: билеты, согнутые трубочкой, лодочкой, уголками кверху и уголками вниз.

Но темные личности с последних скамеек, состряпавшие эту хитрую штуку, находили, что все еще мало, и вертелись около стола, поправляя билеты, чтобы было повиднее.

— Маня Куксина! — закричали они. — Ты какие билеты вызубрила? А? Вот замечай как следует! Лодочкой — это пять первых номеров, а трубочкой пять следующих, а с уголками...

Но Маничка не дослушала. С тоской подумала она, что вся эта ученая техника создана не для нее, не вызубрившей ни одного билета, — и сказала гордо:

— Стыдно так мошенничать! Нужно учиться для себя, а не для отметок.

Вошел учитель, сел, равнодушно собрал все билеты и, аккуратно расправив, перетасовал их. Тихий стон прошел по классу. Заволновались и заколыхались, как рожь под ветром.

— Госпожа Куксина! Пожалуйста сюда.

Маничка взяла билет и прочла: «Климат Германии. Природа Америки. Города Северной Америки»...

— Пожалуйста, госпожа Куксина. Что вы знаете о климате Германии?

Маничка посмотрела на него таким взглядом, точно хотела сказать: «За что мучаешь животных?» — и, задыхаясь, пролепетала:

— Климат Германии славится тем, что в нем нет большой разницы между климатом севера и климатом юга, потому что Германия чем южнее, тем севернее...

Учитель приподнял бровь и внимательно посмотрел на Маничкин рот.

— Так-с!

Подумал и прибавил:

— Вы ничего не знаете о климате Германии, госпожа Куксина. Расскажите, что вы знаете о природе Америки?

Маничка, точно подавленная несправедливым отношением учителя к ее познаниям, опустила голову и кротко ответила:

— Америка славится пампасами.

Учитель молчал, и Маничка, выждав минуту, прибавила чуть слышно:

— А пампасы — льяносами.

Учитель вздохнул шумно, точно проснулся, и сказал с чувством:

— Садитесь, госпожа Куксина.

* * *

Следующий экзамен был по истории.

Классная дама предупредила строго:

— Смотрите, Куксина! Двух переэкзаменовок вам не дадут. Готовьтесь как следует по истории, а то останетесь на второй год! Срам какой!

Весь следующий день Маничка была подавлена. Хотела развлечься и купила у мороженщика десять порций фисташкового, а вечером уже не по своей воле приняла касторку.

Зато на другой день — последний перед экзаменами — пролежала на диване, читая «Вторую жену» Марлитта, чтобы дать отдохнуть голове, переутомленной географией.

Вечером села за Иловойского и робко написала десять раз подряд: «Господи, дай...»

Усмехнулась горько и сказала:

— Десять раз! Очень Богу нужно десять раз! Вот написать бы раз полтора, другое дело было бы!

В шесть часов утра тетка из соседней комнаты услышала, как Маничка говорила сама с собой на два тона.

Один тон стонал:

— Не могу больше! Ух, не могу!

Другой ехидничал:

— Ага! Не можешь! Тысячу шестьсот раз не можешь написать «Господи, дай», а экзамен выдерживать, так это ты хочешь! Так это тебе подавай! За это пиши двести тысяч раз! Нечего! Нечего!

Испуганная тетка прогнала Маничку спать.

— Нельзя так. Зубрить тоже в меру нужно. Переутомишься — ничего завтра ответить не сообразишь.

В классе старая картина.

Испуганный шепот и волнение, и сердце первой ученицы, останавливающееся каждую минуту на три часа, и билеты, гуляющие по столу на четырех ножках, и равнодушно перетасовывающий их учитель.

Маничка сидит и, ожидая своей участи, пишет на обложке старой тетради: «Господи, дай».

Успеть бы только исписать ровно шестьсот раз, и она блестяще выдержит!

— Госпожа Куксина Мария!

Нет, не успела!

Учитель злится, ехидничает, спрашивает всех не по билетам, а вразбивку.

— Что вы знаете о войнах Анны Иоанновны, госпожа Куксина, и об их последствиях?

Что-то забрезжило в усталой Маничкиной голове:

— Жизнь Анны Иоанновны была чревата... Анна Иоанновна чревата... Войны Анны Иоанновны были чреваты...

Она приостановилась, задохнувшись, и сказала еще, точно вспомнив наконец то, что нужно:

— Последствия у Анны Иоанновны были чреватые...

И замолчала.

Учитель забрал бороду в ладонь и прижал к носу.

Маничка всей душой следила за этой операцией, и глаза ее говорили: «За что мучаешь животных?»

— Не расскажете ли теперь, госпожа Куксина, — вкрадчиво спросил учитель, — почему Орлеанская дева была прозвана Орлеанской?

Маничка чувствовала, что это последний вопрос, влекущий огромные, самые «чреватые последствия». Правильный ответ нес с собой: велосипед, обещанный теткой за переход в следующий класс, и вечную дружбу с Лизой Бекиной, с которой, провалившись, придется разлучиться. Лиза уже выдержала и пройдет благополучно.

— Ну-с? — торопил учитель, сгоравший, по-видимому, от любопытства услышать Маничкин ответ. — Почему же ее прозвали Орлеанской?

Маничка мысленно дала обет никогда не есть сладкого и не грубиянить. Посмотрела на икону, откашлялась и ответила твердо, глядя учителю прямо в глаза:

— Потому что была девица.

СВЯТОЙ СТЫД

С утра сильно качало. Потом обогнули какой-то мыс, и сразу стало легче, а к обеду уже все пассажиры выползли из своих кают и только делились впечатлениями.

Толстый бессарабский помещик пил сельтерскую с коньяком и, бросая кругом презрительные взгляды, рассказывал:

— Я всегда геройски переношу качку. Нужно только правильно сесть — вот так. Затем положить оба локтя на стол и стараться ни о чем не думать. Я всегда геройски переношу. Но главное — это правильно сесть.

Совет его не пользовался успехом. Все помнили, как несколько часов тому назад два дюжих лакея волокли его под руки то вверх на палубу, то вниз с палубы, и он вопил не своим голосом.

— Ой, братцы, ой, где же здесь равновесие!

Очевидно, правильно сесть было очень трудно.

После обеда, когда жара спала, пассажиры первого класса собрались на палубе и мирно беседовали.

Герой-помещик ушел отдыхать, и общество оказалось почти исключительно дамским: девять дам и один студент.

Были здесь дамы и молодые, и старые, и нарядные, и уютные, но между ними резко выделялись три, молчаливо признанные всеми «аристократками». Они были не стары и не дурны собой, одеты изящно, вели себя сдержанно и старались держаться особняком. Они и здесь сидели несколько поодаль и в общий разговор не вступали.

К группе беседующих вскоре присоединился и сам капитан.

Это был толстый весельчак, остряк и хохотало. От смеха весь трясся, пучил глаза, и в горле у него что-то щелкало.

— Эге! Да мы здесь в дамской компании! Господин студент, вы себе прогуляйтесь по верхней палубе, а мы, женщины, поболтаем.

Студент сконфузился — он был вообще совсем какой-то белоглазый и тихенький, — сделал несколько шагов и сел на соседнюю скамейку.

— Ну-с, — сказал капитан деловито, — теперь я хочу рассказать вам историйку, которая случилась с одним моим приятелем, тоже капитаном парохода.

История оказалась просто анекдотом, и довольно неприличным. Дамы сконфузились, но когда одна из них, молодая купчиха, искренне засмеялась, стали смеяться и другие. Студент на соседней скамейке закрывал рот обеими ладонями.

Капитан был очень доволен. Покраснел и даже весь вспотел, точно анекдот ударил ему в голову.

— Ну-с, а теперь я вам расскажу, что произошло с одним дядюшкой, который покупал имение на имя племянницы. Это — факт! Можете смело верить.

Новый анекдот оказался таков, что дамы долгое время только руками отмахивались, а студент ушел на корму и там тихонько захрюкал.

На сам капитан хохотал так искренне, и в горле у него так вкусно что-то щелкало, что долго крепиться было нельзя, и дамы прыснули тоже.

За рассказом о дядюшке последовала повесть о дьячке и купчихе, затем о двух старухах, о прянике, о железнодорожном зайце, об еврейке и мышеловке, все смешнее и смешнее, все забористее и забористее.

Дамы совсем расслабили от смеха, как-то распарились и осели. Смеясь, уже выговаривали не «ха-ха» и не «хи-хи», а охали и стонали, утирая слезы.

Студент сидел тут же и так размяк, что хохотал даже при самом начале каждого анекдота, когда еще ничего смешного и сказано не было, брал на веру.

Капитан же был один сплошной кусок мягкого, сочного, трясущегося смеха. Он весь так пропитался своими анекдотами, что они точно брызгали из него, теплые, щекотные. Да и слушать его не надо было, а только смотреть на эти прыгающие щеки, вспотевшие круглые брови, всю эту колышающуюся искренним смехом тыкву, чтобы самому почувствовать, как вдруг щеки начинают расплзаться и в груди что-то пищать — хи-ы!

После одного особенно удавшегося анекдота капитан повернулся немножко вправо и увидел компанию «аристократок». Они не смеялись. Они вполголоса сказали что-то друг другу, с недоумением пожали плечами и презрительно поджали губы.

«Жантильничают! — весело подумал капитан. — Ну погодите же! Вот я вам сейчас заверну такую штуку!»

Штука удалась на славу. Купчиху пришлось отпаивать водой. Одна из дам, обняв спинку скамейки, уперлась в нее лбом и выла, словно на могиле любимого человека.

Но те три «аристократки» только переглянулись и снова презрительно опустили глаза.

«И этого мало? Эге! — все еще весело думал капитан. — Скажите, какие святоши! Ну так я же вам расскажу про дьячка. Перестанете скромность напускать».

История с дьячком оказалась такова, что даже студент не выдержал. Он вскочил с места, уцепился за борт обеими руками и, как лошадь, рыл палубу копытом.

Одна из дам истерически визгнула по-пороссячьему. Остальные плакали и смеялись, и головы у них свисли на сторону.

— Ё-гэ! — не унимался капитан. — Вы, медам, непременно этот анекдот расскажите своим мужьям. Только не говорите, что капитан вам рассказал. Это неудобно! Это не понравится! Вы прямо скажите, что все это произошло именно с вами. Вот уж тогда наверное понравится! Факт.

Но «аристократки» даже не шевельнулись.

— Так я же вас! — взвинчивался капитан. — Какие равноапостольные хари, скажите пожалуйста! Лицемерки! Только веселье портят.

Он все-таки как-то смутился и уже без прежнего аппетита рассказал еще один анекдот.

Слушательницы все равно уже плохо понимали, в чем дело, и только тихо стонали в ответ.

Когда рассказчик смолк, «аристократки» демонстративно поднялись и скрылись в свою каюту.

Все общество несколько сконфузилось.

— Уж больно важничают! — сказала купчиха. — Добродетель свою оказывают.

— Ужасно нам нужно! — подхватила другая дама.

— И не поклонились даже! Это чтоб подчеркнуть, что им за нас совестно, что мы такие гадости слушали.

Все разошлись быстро и, скрывая друг от друга свою смущенность, перебрасывались деловыми замечаниями насчет духоты, качки и маршрутов.

Капитан пошел на мостик и, отослав помощника спать, стал у руля.

На душе у него было худо и становилось еще хуже. Никогда ничего подобного он еще не испытывал.

«Старые дуры, чертовки! — думал он. — Ну, положим, я был не прав. Зачем рассказывать такие гадости женщинам. Женщин нужно уважать, потому что из них впоследствии выходят наши матери. А я еще про дьячка!»

Стало так тошно, что пришлось выпить коньяку.

— И те тоже хороши! Квохчут, как индюшки. Интеллигентные женщины! Дома мужа, дети, а они тут всякие мерзости смакуют! И я тоже хорош! Про мышеловку при дамах! При да-а-мах! Ведь это пьяному городовому и то совестно такую гниль слушать! У-у-ф!

Он вздыхал, томился и в первый раз в жизни испытывал угрызения совести.

— Да, мне стыдно, — говорил он себе после бессонной ночи и бутылки коньяку. — Но что же из этого? Это только доказывает, что я не свинья... Что я могу испытывать святой стыд и могу уважать женщину, из которой впоследствии получается моя мать. Нельзя быть идиотической свиньей. Если ты грязен и из тебя прут анекдоты, то смотри, перед кем ты сидишь! И раз ты оскорбил цинизмом настоящую высокую женщину, то искупи вину!

Он принял ванну, причем, вопреки обыкновению, очень деликатно выругал матроса только скотиной и подлой душой, надел все чистое, хотел даже надушиться, но совсем забыл, как это делается, да и совестно стало.

— Эх ты! Туда же! Еще франтовство на уме в такую-то минуту.

Побледневший и точно осунувшийся, вышел он в столовую, где все ожидали его с завтраком.

Сделав общий поклон, он решительными шагами подошел прямо к «аристократкам» и сказал:

— Сударыни! Верьте искренности! Я так подавлен тем, что позволил себе вчера! Ради Бога! Исключительно по необдуманности. Простите меня, я старый морской волк! Я грубый человек в силу привычки! Да-с! Но я понимаю, что подобный цинизм... женщина... при уважении...

— Да вы о чем? — с недоумением спросила одна из «аристократок».

— Простите! Простите, что я осмелился вчера при вас рассказывать!

Он чуть не плакал. Вчерашние хохотуны отворачивались друг от друга, сгорая от стыда. Бессарабский герой растерянно хлопал глазами. Минута была торжественная.

— Ах, вот что! — сообразила вдруг «аристократка». — Да мы ничуть не в претензии! Просто мы были недовольны, что вы ни одного анекдота не рассказали правильно.

— Да, да! — подхватила другая. — Насчет еврейки вы весь конец перепутали. И про дьячка...

— Про дьячка, — перебила третья, — вы все испортили. Это вовсе не он был под кроватью, а сам муж. В этом-то и есть все смешное...

— Как же вы беретесь рассказывать и ничего толком не знаете! — пожурила его старшая.

Капитан повернулся, втянул голову в плечи и, весь поджавшись, как напроказивший сеттер, тихо вышел из комнаты.

Факир

Великие события начинаются обыкновенно очень просто, так же просто, как и самые заурядные. Так, например, выстрел из пистолета Камилла Демулена начал Великую французскую революцию, а сколько раз пистолетный выстрел рождал только протокол полицейского надзирателя!

То событие, о котором я хочу рассказать, началось тоже очень просто, а великое оно или пустячное, предоставляю догадаться вам самим.

* * *

Ровно в пять часов утра на пустынную улицу маленького, но тем не менее губернского города вышел грязный парень, держа под мышкой кипу больших желтых листов.

Парень подошел к подъезду местного театра, поплевал, помазал и приклепнул к дверям один из желтых листов. Сделал то же и на соседнем заборе.

Трудно только начало, а там пойдет. На каждом углу парень поплеывал и наклеивал свои листы.

Часов с восьми утра к нему присоединились местные мальчишки, и парень продолжал свою работу, сопровождаемый советующей, ободряющей, ругающей и дерущейся толпой.

К вечеру дело было окончено, и, несмотря на то что городские пьяницы ободрали все углы на сигарки, а мальчишки исправили текст собственными, необходимыми, по их мнению, примечаниями, население города узнало все, что объявлялось на больших желтых листах.

«В четверг сего 20-го июня в городском театре состоится необычайное представление проездного Факира. Прокалывание языка, поражающее техникой, жены мисс Джильды, колотье булавками рук и ног в кровь, разрезывание поперек собственного живота и выворачивание глаза из орбит в присутствии науки в лице докторов и пожелающих из публики.

Разрешено полицией без испытания боли. Цена местам обыкновенная».

Публика заволновалась. В особенности интриговали ее слова: «разрезывание поперек собственного живота». Кого он будет резать? Или сам себе резать живот поперек. И что значит «разрешено полицией без испытания боли»? То ли, что полиция разрешила, если не будет факиру больно, или просто выдала ему разрешение, не отколотив предварительно в участке?

Билеты раскупались.

Молодой купец Мясорыбов, человек непьющий, образованный и даже любивший прихвастнуть, будто «читал Баранцевича в оригинале», отнесся к ожидаемому спектаклю совсем по-столичному. Взял для себя ложу и решил сидеть один. Купил коробку конфет и надел на указательный палец новое кольцо с бирюзой.

Кольцо это Мясорыбов носил редко, потому что сомневался в его истинности. Да и как ни поверни — все лучше ему в комode лежать: коли камень настоящий — носить жалко, а коли поддельный — совестно. Один армянин советовал, как узнать наверное: «Окуни, — говорит, — ты его в прованское масло. Если бирюза настоящая — сейчас же испортится, и

ни к черту! А поддельный хоть бы что». Но совет этот Мясо-рыбов берег на крайний случай.

В четверг к восьми часам вечера театр был почти полон.

Многие забрались рано, часов с шести, и ворчали, что долго не начинают.

— Видят ведь, что публика уж пришла, ну и начинай!

Мясо-рыбов пришел по-аристократически, только за полчаса до начала, сел в своей ложе вполуборот и тотчас же начал есть конфеты. Каждый раз, когда подносил ко рту, публика могла любоваться загадочной бирюзой.

Занавес все время был поднят. Посреди сцены стоял небольшой стол, на нем — длинная шкатулка. Вокруг стола, в некотором отдалении, — дюжина венских стульев, и, что заинтересовало публику сильнее всего, в углу за пианино сидел местный тапер, пан Врушкевич, и потирал руки, явно показывая, что скоро заиграет.

Наконец вышел факир.

Он был худой и желтый, в длинном зеленом халате, и вел за руку некрасивую, безбровую женщину в зеленом платье, от одного куска с его халатом.

Подошел к рампе, раскланялся и сказал:

— Прошу господ врачей и несколько человек из публики пожаловать сюда.

Галерка вслух удивилась, что он говорит по-русски, а не по-факирски.

На сцену по перекинутой дощечке сконфуженно поднялись два врача: хохлатый земский и лысый вольнопрактикующий. Публика сначала стеснялась, потом полезла всем партером. Факир отобрал восемь человек посolidнее и рассадил всех на места. Затем сбросил халат и оказался в коротких велосипедных штанах и туфлях на босу ногу. В этом новом виде он подошел к рампе и снова раскланялся, точно боялся, что без халата не приняли бы его за кого другого.

Галерка зааплодировала.

Тогда он повернулся к таперу.

— Прошу музыку начинать!

Пан Врушкевич колыхнулся всем станом и ударил по клавишам. Уши слушателей сладостно защекотал давно знакомый вальс «Я обожаю».

Факир открыл свою шкатулку, вытащил длинную шпильку, вроде тех, которыми дамы прикалывают шляпки, и подошел к жене.

— Мисс Джильда! Попрошу сюда вашего языка.

Мисс Джильда сейчас же обернулась к нему и любезно вытянула язык.

— Раз, два и три! — воскликнул факир и проткнул ей язык шпилькой.

— Попрошу свидетельства науки! — сказал факир, обращаясь к врачам.

Те подошли, посмотрели, причем земский, как более добросовестный, даже присел, подглядывая под язык Джильды с изнанки. Затем оба смущенно сели на свои места.

Факир взял жену за руку и повел по дощечке к публике. Там она стала проходить по всем рядам.

Зрители, мимо которых она проходила, отворачивались, и видно было, что многих тошнит.

Мясорыбов прикрыл глаза рукой.

— Довольно уж! Довольно! — стонал он.

— Довольно! — подхватили и другие.

Но факир был человек добросовестный и поволок свою жену с языком на галерку.

Там какая-то баба вдруг запричитала, и ее стали выводить.

Обойдя всех, факир вернулся на сцену и вытащил шпильку.

Все вздохнули с облегчением.

Факир достал из шкатулки другую шпильку, подлиннее и потолще.

Увидя это, пан Врушкевич переменял тон и заиграл «Смотря на луч пурпурного заката».

Факир подошел к рампе и проткнул себе обе щеки, так что головка шпильки торчала под правой скулой, а острие из-под левой. В таком виде, показавшись сконфуженным докторам, он снова двинулся в публику.

— Ой, довольно! Ой, да полно же! — вопил Мясорыбов и от тошноты даже выплюнул конфетку изо рта.

— О, Господи! — роптала публика. — Да нельзя же так!

Но честный факир честно ходил между рядами и поворачивался то правой, то левой щекой.

— Ой, не надо! — корчилась публика. — Верим-верим. Не надо к нам подходить! И так верим!

Какой-то чиновник, подхватив под руку свою даму, быстро побежал к выходу. За ним следом сорвались с места две барышни. За ними заковыляла старуха, уводя двух ревущих во все горло девчонок; по дороге старуха наткнулась на факира, свершавшего свои рейсы как раз в этом ряду, шарахнулась в сторону, толкнула какую-то и без того насмерть перепуганную даму. Обе завизжали и, подталкивая друг друга, бросились к выходу.

Но больше всех веселился Мясорыбов.

Он сидел в своей ложе, повернувшись спиной к залу, и даже заткнул уши. Изредка осторожно оборачивался, смотрел, где факир, и, увидя его, весь содрогался и прятался снова.

— Довольно! Ох, довольно! — стонал он. — Нельзя же так.

А пан Врушкевич заливался: «Стояли мы на бере-гу Невы!»

Но вот факир снова на сцене. Все обернулись, ждут, надеются.

Из дверей выглянули бледные лица малодушных, сбежавших раньше времени.

Факир вынул три новые шпильки. Одной он проткнул себе язык, не вынимая той, которая торчала из щеки, две другие всадил себе в руки повыше локтя, причем из правой вдруг брызнула кровь.

— Настоящая кровь, — твердо и радостно определил земский хохлач.

«Гайда, тройка! — раскатился пан Врушкевич. — Снег пушистый!»

Кого-то под руки поволокли к выходу.

Полицейский, зажав рот обеими руками, деловым шагом вышел из зала.

Зал пустел.

Мясорыбов уже не оборачивался. Он весь скорчился, закрыл глаза, заткнул уши и не шевелился.

— Уйти бы! — томился он, но какая-то цепкая ночная жуть сковала ему ноги, и он не мог пошевелиться. Зато волосы на его голове шевелились сами собой.

Когда факир обошел стонущие ряды своих зрителей, умолявших его вернуться на место и перестать, Мясорыбов

инстинктивно обернулся и увидел, как факир, вытащив из себя все шпильки, радостно воскликнул:

— Ну-с, а теперь приступим к выворачиванию глаза из его орбиты и затем между глазом и его вместилищем просунем вот эту палочку.

Он подошел к шкатулке, но уже никто не стал дожидаться, пока он достанет палочку. Все с криком, давя и толкая друг друга, кинулись к выходу. Иные, быстро одевшись, бросились сломя голову на улицу, другие опомнились и стали любопытствовать:

— Что-то он там теперь? А? Может быть, уже вывернул, тогда можно, пожалуй, и вернуться. А?

Какой-то долговязый гимназист приоткрыл дверь и взглянул в щелочку.

«Поцелуем дай забвенье!» — нежно пламенел пан Врушкевич.

— Ну, что? Вывернул?

— Пойдите, не давите мне на спину, — важничал гимназист. — Нет, еще выворачивает.

— О, Господи! Ой, да закройте вы двери-то! — закорчились любопытствующие, но через минуту раззадоривались снова.

— Ну, а как теперь? Да вы взгляните, чего же вы боитесь, экой какой! Выворачивает? Ой, да крикните ему, что довольно, Господи!

• • •

— Иди, брат Мясорыбов, домой, — сказал сам себе Мясорыбов. — Не тебе, брат Мясорыбов, по театрам ходить. С суконным рылом в калашный ряд. По театрам ходят люди понимающие и с культурной природой. А ежели тебе, брат Мясорыбов, скучно, так на то водка есть!

Мясорыбов спился.

Концерт

Начинающий поэт Николай Котомко сильно волновался: первый раз в жизни он был приглашен участвовать в благотворительном концерте. Дело, положим, не обошлось

без протекции: концерт устраивало общество охранения аптекарских учеников от никотина, а Котомко жил в комнате у вдовы Марухиной, хорошо знавшей двух помощников провизора.

Словом, были нажаты какие-то пружины, дернуты соответствующие нити, и вот юный, только что приехавший из провинции Котомко получил возможность показать столичной публике свое задумчивое лицо.

Пришедший пригласить его мрачный бородач нагнал страху немало.

— Концерт у нас будет, понимаете ли, блестящий. Выдающиеся таланты частных театров и пять-три звездочек. Понимаете, что это значит? Надеюсь, и вы нам окажете честь, тем более что и цель такая симпатичная!

Котомко обещал оказать честь и вплоть до концерта — ровно три недели — не знал себе покоя. Целые дни стоял он перед зеркалом, декламируя свои стихотворения. Охрип, похудел и почернел. По ночам спал плохо. Снилось, что стоит на эстраде, а стихи забыл, и будто публика кричит: «Бейте его, длинноносого!»

Просыпался в холодном поту, зажигал лампочку и снова зубрил.

Бородач заехал еще раз и сказал, что полиция разрешила Котомке прочесть два стихотворения:

Когда, весь погружась в мечтанья,
Юный корпус склоню я к тебе...

И второе:

Скажи, зачем с подобною тоскою,
С болезнью я гляжу порою на тебя...

Бородач обещал прислать карету, благодарил и просил не обмануть.

— А пуб-блики м-ного будет? — заикаясь, прошептал Котомко.

— Почти все билеты распроданы.

В день концерта бледный и ослабевший поэт, чтобы как-нибудь не опоздать, с утра завился у парикмахера и съел два десятка сырых яиц, чтобы лучше звучал голос.

Вдова Марухина, особа бывалая, понимавшая кое-что в концертах, часто заглядывала к нему в комнату и давала советы.

— Часы не надели?

— У меня н-нет часов! — стучал зубами Котомко.

— И не надо! Часы никогда артисты к концерту не надевают. Публика начнет вас качать, часы выскочат и разобьются. Руки напудрили? Непременно надо. У меня жила одна артистка, так она даже плечи пудрила. Вам, пожалуй, плечи-то и не надо. Не видно под сюртуком. А впрочем, если хотите, я вам дам пудры. С удовольствием. И вот еще совет: непременно улыбайтесь! Иначе публика очень скверно вас примет! Уж вот увидите!

Котомко слушал и холодел.

В пять часов, уже совершенно одетый, он сидел, растопыря напудренные руки, и шептал дрожащими губами:

Скажи, зачем с подобною тоскою...

В голове у него было пусто, в ушах звенело, в сердце тошнило.

«Зачем я все это затеял! — тосковал он. — Жил покойно... “с болезнью я гляжу”... жил покойно... нет, непременно подавай сюда славу... “с болезнью я порой”... Вот тебе и слава! “Юный корпус склоню я”... Опять не оттуда...»

Ждать пришлось очень долго. Хозяйка высказала даже мнение, что о нем позабыли и совсем не придут. Котомко обрадовался и даже стал немножко поправляться, даже почувствовал аппетит, как вдруг, уже в четверть одиннадцатого, раздался громкий звонок и в комнату влетел маленький чернявый господинчик в пальто и шапке.

— Где мадамзель Котомко? Где? Боже ж мой! — в каком-то отчаянии завопил он.

— Я... я... — лепетал поэт.

— Вы? Виноват... Я думал, что вы дама... ваше имя может сбить с толку... Ну, пусть. Я рад!

Он схватил поэта за руку и все с тем же отчаянием кричал:

— Ох, поймите, мы все за вас хватаемся! Как хватается человек за последнюю соломинку, когда у него нет больше соломы.

Он развел руками и огляделся кругом.

— Ну, понимаете, совершенно нет! Послали три кареты за артистами, — ни одна не вернулась. Я говорю, нужно было с них задаток взять, тогда бы вернулись, а Маркин еще спорит. Вы понимаете? Публика — сплошная невежда; воображает, что если концерт, так уж сейчас ей запоют и заиграют, и не понимает, что если пришел на концерт, так нужно подождать. Ради Бога, едемте скорее! Там какой-то паршивый скрипач — и зачем такого приглашать, я говорю, — пять минут помахал смычком и домой уехал. Мы просим «бис», а он заявляет, что забыл побриться. Слышали вы подобное? Ну, где же ваши ноты, пора ехать.

— У меня нет нот! — растерялся Котомко. — Я не играю.

— Ну, там найдется кому сыграть, давайте только ноты!

Тут выскочила хозяйка и помогла делу. Ноты у нее нашлись: «Маленькая Рубинштейн» — для игры в четыре руки.

Вышли в подъезд. Чернявый впереди, спотыкаясь и суетясь, за ним Котомко, как барин, покорный и завитой.

— Извините! Кареты у меня нет! Кареты так и не вернулись! Но если хотите, вы можете ехать на отдельном извозчике. Мы, конечно, возместим расходы.

Но Котомко боялся остаться один и сел с чернявым. Тот занимал его разговором.

— Боже, сколько хлопот! Еще за Буниным ехать. Вы не знаете, он в частных домах не поет?

— Н-не знаю... не замечал.

— Я недавно из провинции и, простите, в опере еще ни разу не был. Леонида Андреева на балалайке слышал. Очень недурно. Русская ширь степей... Степенная ширь. Потом обещал приехать Владимир Тихонов... этот, кажется, на рояле. Еще хотели мы Немировича-Данченка. Я к нему ездил, да он отказался петь. А вы часто в концертах поете?

— Я? — удивился Котомко... — Я никогда не пел.

— Ну, на этот-то раз уж не отвертитесь! Сегодня вам придется петь. Иначе вы нас так обидите, что Боже упаси!

Котомко чуть не плакал.

— Да я ведь стихи... В программе поставлено «Скажи, зачем» и «Когда весь погружаясь»... Я декламирую!

— Декла... а вы лучше спойте. Те же самые слова, только спойте. Публика это гораздо больше ценит. Ей-богу. Зачем говорить, когда можно мелодично спеть?

Наконец приехали. Чернявый кубарем вывалился из саней. Котомко качался на ногах и стукнулся лбом о столбик подъезда.

— Шишка будет... Пусть! — подумал он уныло и даже не потер ушибленного места.

В артистической стоял дым коромыслом. Человек десять испуганных молодых людей и столько же обезумевших дам кричали друг на друга и носились как угорелые. Увидя Котомку, все кинулись к нему.

— Ах... Ну, вот уж один приехал. Раздевайтесь скорее! Публика с ума сходит. Был только один скрипач, а потом пришлось антракт сделать.

— Читайте подольше! Ради Бога, читайте подольше, а то вы нас погубите!...

— Сколько вы стихов прочтете?

— Два.

— На три четверти часа хватит?

— Н-нет... Минут шесть...

— Он нас погубит! Тогда читайте еще что-нибудь, другие стихи.

— Нельзя другие, — перекричал всех главный распорядитель. — Разрешено только два. Мы не желаем платить штраф!

Выскочил чернявый.

— Ну, так пусть читает только два, но очень медленно. Мадмазель Котомка... Простите, я все так... Читайте очень медленно, тяните слова, чтобы на полчаса хватило. Поймите, что мы как за соломинку!

За дверью раздался глухой рев и топот.

— Ой, пора! Тащите же его на эстраду!

И вот Котомко перед публикой.

— Господи, помоги! Обещаю, что никогда...

— Начинайте же! — засвистел за его спиной голос чернявого.

Котомко открыл рот и жалобно заблеял:

— Когда весь погружась...

— Медленней! Медленней! Не губите! — свистел шепот.

— Громче! — кричали в публике.

— Ю-ный ко-о-орп-пу-ус...

— Громче! Громче! Браво!

Публика, видимо, веселилась. Задние ряды вскочили с мест, чтобы лучше видеть. Кто-то хохотал, истерически взвизгивая. Все как-то колыхались, шептались, отворачивались от сцены. Какая-то барышня в первом ряду запищала и выбежала вон.

— Скло-о-ню-у я к те-е... — блял Котомко.

Он сам был в ужасе. Глаза у него закатились, как у покойника, голова свесилась набок, и одна нога, неловко поставленная, дрожала отчетливо крупной дрожью. Он проныл оба стихотворения сразу и удалился под дикий рев и аплодисменты публики.

— Что вы наделали? — накинулся на него чернявый. — И четверти часа не прошло! Нужно было медленнее, а вы упрямы, как коровий бык! Идите теперь на «бис».

И Котомку вытолкнули второй раз на сцену.

Теперь уж он знал, что делать. Встал сразу в ту же позу и начал:

— Ко-о-огда-а-а ве-е-есть...

Он почти не слышал своего голоса — такой вой стоял в зале. Люди качались от смеха, как больные, и стонали. Многие, убежав с мест, толпились в дверях и старались не смотреть на Котомку, чтобы хоть немножко успокоиться.

Чернявый встретил поэта с несколько сконфуженным лицом.

— Ну, теперь ничего себе. Главное, что публике понравилось.

Но в артистической все десять девиц и юношей предавались шумному отчаянию. Никто больше не приехал. Главные распорядители пошептались о чем-то и направились к Котомке, который стоял у стены, утирал мокрый лоб и дышал, как опоенная лошадь.

— Поверьте, господин поэт, нам очень стыдно, но мы принуждены просить вас прочесть еще что-нибудь. Иначе мы погибли. Только, пожалуйста, то же самое, а то нам придется платить из-за вас штраф.

Совершенно ничего не понимая, вылез Котомко третий раз на эстраду.

Кто-то в публике громко обрадовался:

— Га! Да он опять здесь! Ну, это я вам скажу...

«Странный народ! — подумал Котомко. — Совсем дикий. Если им что нравится — они хохочут. Покажи им «Сикстинскую Мадонну», так они, наверное, лопнут от смеха!»

Он кашлянул и начал:

— Ко-гда-а-а...

Вдруг из последних рядов поднялся высокий детина в телеграфной куртке и, воздев руки кверху, завопил зычным голосом:

— Если вы опять про свой корпус, то лучше честью предупредите, потому что это может кончиться для вас же плохо!

Но Котомко сам так выл, что даже не заметил телеграфного пафоса.

Котомке дали полтинник на извозчика. Он ехал и горько усмехался своим мыслям.

«Вот я теперь известность, любимец публики. А разве я счастлив? Разве окрылен? “Что слава? — яркая заплатка на бедном рубище певца”. Я думал, что слава чувствуется как-то иначе. Или у меня просто нет никакого честолюбия?»

Тонкая психология

Вере Томилиной

До отхода поезда оставалось еще восемь минут.

Пан Гуслинский уютно устроился в маленьком купе второго класса, осмотрел свой профиль в карманное зеркальце и выглянул в окно.

Пан Гуслинский был коммивояжер по профессии, но по призванию донжуан чистейшей воды. Развозя по всем городам Российской империи образцы оптических стекол, он, в сущности, заботился только об одном — как бы сокрушить на своем пути побольше сердец. Для этого святого дела он не щадил ни времени, ни труда, зачастую без всякой для себя выгоды или удовольствия.

В тех городах, где ему приходилось бывать только от поезда до поезда, часа два-три, он губил женщин, не слезая с извозчика. Чуть-чуть прищурит глаза, подкрутит правый ус, подожмет губы и взглянет.

И как взглянет! Это трудно объяснить, но... словом, когда он предлагал купцам образцы своих оптических стекол — он глядел совершенно иначе.

С женщинами, на которых был направлен этот взгляд, делалось что-то странное. Они сначала смотрели изумленно, почти испуганно, затем закрывали рот рукой и начинали хохотать, подталкивая локтем своих спутников.

А пан Гуслинский даже не оборачивался на свою жертву. Он уже намечал вскользь другую и губил тоже.

«Ну, эта уже не забудет! — думал он. — И эта имеет себе тоже! Вот я преспокойно проехал мимо, а они там преспокойно сходят с ума».

При более близком и более долгом знакомстве пан Гуслинский вместе с чарами своих внешних качеств, конечно, пускал в оборот и обаяние своей духовной личности. Результаты получались потрясающие: три раза женился он гражданским браком и был раз двенадцать бит в разных городах и различными предметами.

В Лодзи машинкой для снятия сапог, в Киеве палкой, в Житомире копченой колбасой, в Конотопе (от поезда до поезда) самоварной трубой, в Чернигове сапогом, в Минске палкой из-под копченого сига, в Вильне футляром для скрипки, в Варшаве бутылкой, в Калише суповой ложкой и, наконец, в Могилеве запросто кулаком.

• • •

Зверь, как известно, бежит на ловца, хотя, следуя природным инстинктам, должен был бы делать как раз противоположное.

Едва взглянул пан Гуслинский в окошко, как мимо по платформе быстрым шагом прошла молодая дама очень привлекательной наружности, но прошла она так скоро, что даже не заметила томного взора и не успела погибнуть.

Пан Гуслинский высунул голову.

— Эге! Да она преспокойно торопится на поезд! Поедем, следовательно, вместе. Ну что ж — пусть себе!

Судьба дамы была решена. Когда поезд двинулся, пан Гуслинский осмотрел свой профиль, подкрутил ус и прошелся по вагонам.

Хорошенькая дама ехала тоже во втором классе с толстощеким двенадцатилетним кадетиком. На Гуслинского она не обратила ни малейшего внимания, несмотря на то что он расшаркался и сказал «пардонк» с чисто парижским шиком.

На станциях пан Гуслинский выходил на платформу и становился в профиль против окна, у которого сидела дама. Но дама не показывалась. Смотрел на Гуслинского один толстый кадет и жевал яблоки. Томные взгляды донжуана гасли на круглых кадетских щеках.

Пан призадумался.

«Здесь придется немножко заняться тонкой психологией. Иначе ничего не добьешься! Я лично не люблю материнства в женщине. Это очень животная черта. Но раз женщина так обожает своего ребенка, что все время кормит яблоками, чтоб ему лопнуть, то это дает мне ключ к его сердцу. Нужно завладевать любовью ребенка, и мать будет поймана».

И он стал завладевать.

Купил на полустанке пару яблок и подал в окно кадету.

— Вы любите плоды, молодой человек? Я уж это себе заметил, хе-хе! Пожалуйста, покушайте, хе-хе! Очень приятно быть полезным молодому путешественнику!

— Мерси! — мрачно сказал кадет и, вытерев яблоко обшлагом, выкусил добрую половину.

Поезд двинулся, и Гуслинский еле успел вскочить.

«Я действую, между прочим, как осел. Что толку, что мальчишка слопал яблоко? С ними должен быть я сам, а не яблоко. Преспокойно пересяду».

Он взял свой чемодан и на первой же остановке расшаркался перед дамой.

— Пардонк! У меня там такая теснота! Можете себе представить — я пошел на станцию покушать, возвращаюсь, а мое место преспокойно занято. Может быть, разрешите? Я здесь устроюсь рядом с молодым человеком, хе-хе!

Дама пожала плечом.

— Пожалуйста! Мне-то что!

И, вынув книжку, стала читать.

— Ну, молодой человек, мы теперь с вами непременно подружмся. Вы далеко едете?

— В Петраков, — буркнул кадет.

Гуслинский так и подпрыгнул.

— Боже ж мой! Да это прямо знаменитое совпадение. Я тоже преспокойно еду в Петраков! Значит, всю ночь мы проведем вместе и еще почти весь день! Нет, видали вы что подобное!

Кадет отнесся к «знаменитому совпадению» очень сухо и утрюмо молчал.

— Вы любите приключения, молодой человек? Я обожаю! Со мной всегда необычайные вещи. Вы разрешите поделиться с вами?

Кадет молчал. Дама читала. Гуслинский задумался.

«Зачем она его родила? Только мешает! При нем ей преспокойно неловко смотреть на меня. Но погоди! Сердце матери отпирается при помощи сына!»

Он откашлялся и вдохновенно зафантазировал:

— Так вот, был со мной такой случай. В Лодзи влюбляется в меня одна дама и преспокойно сходит с ума. Муж ее врывается ко мне с револьвером и преспокойно кричит, что убьет меня из ревности. Ну-с, молодой человек, как вам нравится такое положение? А? Тем более что я был уже почти обручен с девицею из высшей аристократии. Она даже имеет свой магазин. Ну, я как рыцарь не мог никого компроментовать, в ужасе подбежал к окну и преспокойно бросаюсь с первого этажа. А тот убийца смотрит на меня сверху! Понимаете ужас? Лежу на тротуаре, а сверху преспокойно убийца. Выбора никакого! Я убежал и позвал городского.

Дама подняла голову.

— Что вы за вздор рассказываете мальчику!

И опять углубилась в чтение.

Пан Гуслинский ликовал:

«Эге! Начинается! Уже заговорила!»

— Я есть хочу! — сказал кадет. — Скоро ли станция?

— Есть хотите? Великолепно, молодой человек! Сейчас небольшая остановка, и я сбегаю вам за бутербродами. Вот и отлично! Вы любите вашу мамашу? Мамашу надо любить!

Кадет мрачно съел восемь бутербродов. Потом Гуслинский бегал для него за водой, а на большой станции повел ужинать и все уговаривал любить мамашу.

— Ваша мамаша — это нечто замечательное! Если она захочет, то может каждого скокетничать! Уверю вас!

Кадет глядел удивленно, бараньими глазами, и ел за четверых.

— Будем торопиться, молодой человек, а то мамаша, наверное, уже беспокоится, — томился донжуан.

Когда вернулись в вагон, то оказалось, что мамаша уже улеглась спать, закрывшись с головой пледом.

«Эге! Ну да все равно, завтра еще целый день. Отдала сына в надежные руки, чтоб он себе лопнул, а сама преспокойно спит. Зато завтра будет благодарность. Хотя вот уже этот жирный парень объел меня на три рубля шестьдесят копеек».

— Ложитесь, молодой человек! Кладите ноги прямо на меня! Ничего, ничего, мне не тяжело. Штаны я потом отчищу бензином. Вот так! Молодцом!

Кадет спал крепко и только изредка сквозь сон лягал пана Гуслинского под ложечку. Но тот шел на все и задремал только к утру.

Проснувшись на рассвете, вдруг заметил, что поезд стоит, а мамаша куда-то пропала. Встревоженный Гуслинский высвободился из-под кадетовых ног и высунулся в окно. Что такое? Она стоит на платформе и около нее чемодан... Что такое? Бьет третий звонок.

— Сударыня! Что вы делаете? Сейчас же поезд тронется! Третий звонок! Вы преспокойно останетесь!

Кондуктор свистнул, стукнули буфера.

— Да мы уже трогаемся! — надрывался Гуслинский, забыв всякую томность глаз.

Поезд двинулся. Гуслинский вдруг вспомнил о кадете.

— Сына забыли! Сына! Сына!

Дама досадливо махнула рукой и отвернулась.

Гуслинский схватил кадета за плечо.

— Мамаша ушла! Мамаша вылезла! Что же это такое? — вопил он.

Кадет захныкал.

— Чего вы меня трясете! Какая мамаша? Моя мамаша в Петракове.

Гуслинский даже сел.

— А как же... а эта дама? Мы же ее называли мамашей, или я преспокойно сошел с ума! А?

— Гм... — хныкал кадет. — Я не называл! Я ее не знаю! Это вы называли. Я думал, что она ваша мамаша, что вы ее так называете... Я не виноват... И не надо мне ваших яблок, не на-а-да...

Пан Гуслинский вытер лоб платком, встал, взял свой чемодан:

— Паскудный обжора! Вы! Выйдет из вас шулер, когда подрастете. Преспокойно. Св-винья!

И, хлопнув дверью, вышел на площадку.

Кулич

В конторе купца Рыликова работа кипела ключом.

Бухгалтер читал газету и изредка посматривал в дверь на мелких служащих.

Те тоже старались: Михельсон чистил резинкой свои манжеты, Рябунов вздыхал и грыз ногти; конторская Мессалина — переписчица Ольга Игнатьевна — деловито стучала машинкой, но оживленный румянец на пухло трясущихся щеках выдавал, что настучивает она приватное письмо, и к тому же любовного содержания.

Молодой Викентий Кулич, три недели тому назад поступивший к Рыликову, задумчиво чертил в счетной книге все одну и ту же фразу:

«Сонечка, что же это?»

Потом украшал буквы завитушками и чертил снова.

Собственно говоря, если бы не порча деловой книги, то это занятие молодого Кулича нельзя бы было осудить, потому что Сонечка, о которой он думал, уже два месяца была его женой.

Но именно это-то обстоятельство и смущало его больше всего: он должен был, поступая на службу, выдать себя за холостого, потому что женатых Рыликов к себе не брал.

— Женатый норовит, как бы раньше срока домой под-
рать, с женой апельсинничать, — пояснял он. — Сверх срока

он тебе и пером не скребнет. И чего толку жениться-то? Женятся, а через месяц полихамию разведут либо к брюкоразводному адвокату побегут. Нет! Женатых я не беру.

И Кулич, спрятав обручальное кольцо в жилетный карман, служил на холостом основании.

Жена его была молода, ревнива и подозрительна, и потому телефонировала ему на службу по пять раз в день, справляясь о его верности.

— Если уличу, — грозила она, — повешусь и перееду к тетке в Устюжну!

И весь день на службе томился Кулич, терзаемый телефоном, и писал с завитушками на всех деловых бумагах: «Сонечка, опять!», «Сонечка, что же это?»

— Опять вас вызывают! — говорил Рябунов таким тоном, точно его оторвали от спешной и интересной работы.

Он сидел к телефону ближе всех и благословлял судьбу, отвлекавшую его хоть этим развлечением от монотонной грызни ногтей.

— Опять вас, Кулич!

Кулич краснеет, спотыкаясь, идет к телефону и говорит полголоса мимо трубки первое попавшееся имя: «А! Это вы, Дарья Сидоровна!» — Затем продолжает разговор во весь голос.

Мессалина свистит громким шепотом:

— Дарья Сидоровна? Это, верно, какая-нибудь прачка.

— Зачем ты звонишь? — блеет в трубку смущенный Кулич. — Что? Верен?.. Боже мой, котик, да с кем же?.. Ведь я здесь на службе... Что? Посмотри на комод. И я тоже... безумно. Ровно в половине восьмого!

Он вешает трубку и идет на место, стараясь ни на кого не смотреть, и в ужасе ждет нового звонка.

— Опять вас! О Господи! — вздыхает Рябунов.

— А, Антонина Сидоровна! — грустно радуется Кулич мимо трубки.

— Сидоровна? — свистит Мессалина. — Видно, сестра той, хи-хи!

— Нет, пока еще не догадались, — говорит Кулич. — Но будь осторожна, котик, милый! Не звони так часто!.. Одну тебя! Одну!

Через час звонит Амалия Богдановна.

— Наверное, акушерка, — догадывается Мессалина.

— Не звони ко мне больше! — умоляет через час Кулич какую-то Ольгу Карповну. — Бога ради! Ты знаешь, что одну тебя... но я занят... не звони, котик, умоляю! Ты выдаешь себя!

Анне Карловне, позвонившей часа через полтора, он коротко сказал:

— Люблю!

И повесил трубку.

И каждый день повторялась та же история, развлекавшая, занимавшая и возмущавшая всю контору.

— Какая-нибудь несчастная попадется ему в жены! — возмущалась Мессалина.

— Это уже не донжуан, а сатир, — кричал Рябунов, остро завидовавший куличовским успехам.

— Это язва на общественной совести, — вставлял любящий чистоту манжет Михельсон. — Это ждет себе возмездия. Ей-богу! Я вам говорю.

— И кто откроет глаза несчастным жертвам! — ахала Мессалина.

— Этих глаз слишком много, чтобы можно было их открывать, не затрачивая времени! Я вам говорю! — усердствовал Михельсон.

Рыликов тоже сердился.

— Отчего к вам никогда не дозвонишься? — кричал он. — Какой у вас там черт на проволоке повис?

После одного исключительного по телефонным излияниям дня, когда Кулич обещал восьми женщинам, что поцелует их ровно в половине десятого, вся контора решила пожаловаться начальству.

— До Бога высоко, что там, — говорил Михельсон. — Рыликов все равно с нами рассуждать не станет. Пойдемте к Арнольду Ивановичу.

Пошли к бухгалтеру, рассказали всю правду.

— Он нам мешает работать. Все звонки да звонки, никак не сосредоточишься, — говорил Рябунов, избранный депутатом. — Мы хотим работать, каждый человек любит работать, а они отрывают. Но мы бы не обижались, если бы тут серьезные дела. Нет! Но нас, главным образом, возмущает безнравственное поведение вышеизложенного субъекта.

Красноречие докладчика широкою волной захлестнуло слушателей.

Бухгалтер засопел носом, Михельсон молодцевато подбоченился («Я вам говорю!»), Мессалина разгорелась и подумала: «Рябунов, ты будешь моим!»

— Этот нижеподписавшийся человек, ниже которого, по-моему, подписаться нельзя, — продолжал Рябунов, — меняет акушерку на прачку и двух прачек между собой. Мы не можем больше молчать и выслушивать его гнусные нежности, которые он сыплет в трубку, как горох. Мы не желаем играть роль какого-то общества покровительства животным страстям...

— Ей-богу! — воскликнул Михельсон. — Я вам говорю!

— И он их всех зовет «котиками», — вспыхнула Мессалина.

— О? — удивился бухгалтер.

Он сопел, чесал в бороде карандашом и, наконец, сказал:

— О-о-о! Если, действительно, мешал акушерка с два прачка, то я завтра с ним поговорю. Пфуй! Я поговорю... котика!

Кулич весь задрожал, когда на другой день утром бухгалтер поманил его к себе и запер двери.

— Чего волноваться? — успокаивал он себя. — Верно, просто жалованья прибавит...

— Милостивый господин! — торжественно начал бухгалтер. — Я любопытен знать, с кем вы ежечасно говорите по телефон?

Кулич застыл.

— Ради Бога! Арнольд Иванович! Не подумайте что-нибудь... как говорится... жена. Клянусь вам! Это все самые разные персонажи своей надобности!..

Бухгалтер посмотрел строго.

— Милостивый господин! Вы знаете, как называется ваше поведение? Оно называется: притон безнравственности. Вот как!

Он полюбовался смущением Кулича и продолжал:

— Вы мешаете акушерку с две прачки. Я, знаете, ничего подобного никогда не видел! Ни в людей, ни в животном царстве. Этого потерпеть нельзя! С сегодняшнего дня вы уже не служащий в конторе, а сатир без должности!

— Меня оклеветали! — стонал Кулич. — Я мог бы доказать... если бы судьба не заткнула мне рот!..

— Электричество лгать не может! — загремел бухгалтер. — Вся контора слышала! Пфуй! Вот ваше жалованье... Руки вам не подаю... Прощайте! идите к тем, кого вы определили котиками, господин развратный сатир!

Кулич бомбой вылетел на улицу, и едва захлопнулась за ним дверь, как в конторе зазвонил телефон.

— Вам Кулича? — ликовал Рябунов в трубку. — Кулича нет. Фью! Уволен за разврат. Виноват, сударыня, должен вам открыть глаза. Не сетуйте на меня. Каждый джентльмен, если только он порядочный человек, сделал бы на моем месте то же самое. Я чувствую, что говорю с одной из жертв развратного Кулича... Да, да! Целые дни он проводил в беседе с дамами прекрасного пола. Что? По телефону. Нежничал до бесстыдства... Называл котиками всех... и акушерку тоже... Вас, верно, тоже?... Да.. Вы только не волнуйтесь... На глазах у всех... вернее, на ушах, потому что слышали... назначал свидания... Что?.. Что-о?..

— Господа, — сказал он, обернувшись к товарищам. — Эта мегера, кажется, плюнула прямо в трубку... Ужасно неприятно в ухе...

— Наша миссия выполнена! — торжествовал Михельсон. — Ей-богу! Теперь они уже разорвут его на части. Я вам говорю.

Брошечка

Супруги Шариковы поссорились из-за актрисы Крутомирской, которая была так глупа, что даже не умела отличать женского голоса от мужского, и однажды, позвонив к Шарикову по телефону, закричала прямо в ухо подошедшей на звонок супруге его:

— Дорогой Гамлет! Ваши ласки горят в моем организме бесконечным числом огней!

Шарикову в тот же вечер приготовили постель в кабинете, а утром жена прислала ему, вместе с кофе, записку:

«Ни в какие объяснения вступать не желаю. Все слишком ясно и слишком глупо».

Анастасия Шарикова».

Так как самому Шарикову, собственно говоря, тоже ни в какие объяснения вступать не хотелось, то он и не настаивал, а только старался несколько дней не показываться жене на глаза. Уходил рано на службу, обедал в ресторане, а вечера проводил с актрисой Крутомирской, часто интригуя ее загадочной фразой:

— Мы с вами все равно прокляты и можем искать спасения только друг в друге.

Крутомирская восклицала:

— Гамлет! В вас много искренности! Отчего вы не пошли на сцену?

Так протекло несколько дней, и вот однажды, утром, именно в пятницу десятого числа, одеваясь, Шариков увидел на полу, около дивана, на котором он спал, маленькую брошечку с красноватым камешком.

Шариков поднял брошечку, рассматривал и думал:

«У жены такой вещицы нет. Это я знаю наверное. Следовательно, я сам вытряхнул ее из своего платья. Нет ли там еще чего?»

Он старательно вытряс сюртук, вывернул все карманы.

Откуда она взялась?

И вдруг он лукаво усмехнулся и подмигнул себе левым глазом.

Дело было ясное: брошечку сунула ему в карман сама Крутомирская, желая подшутить. Остроумные люди часто так шутят — подсунут кому-нибудь свою вещь, а потом говорят: «А ну-ка, где мой портсигар или часы? А ну-ка, обыщем-ка Ивана Семеныча».

Найдут и хохочут. Это очень смешно.

Вечером Шариков вошел в уборную Крутомирской и, лукаво улыбаясь, подал ей брошечку, завернутую в бумагу.

— Позвольте вам преподнести, хе-хе!

— Ну к чему это! Зачем вы беспокоитесь! — деликатничала актриса, развертывая подарок. Но когда развернула и рассмотрела, вдруг бросила его на стол и надула губы:

— Я вас не понимаю! Это, очевидно, шутка! Подарите эту дрянь вашей горничной. Я не ношу серебряной дряни с фальшивым стеклом.

— С фальшивым стекло-ом? — удивился Шариков. — Да ведь это же ваша брошка! И разве бывает фальшивое стекло?

Крутомирская заплакала и одновременно затопала ногами — из двух ролей зараз.

— Я всегда знала, что я для вас ничтожество! Но я не позволю играть честью женщины!.. Берите эту гадость! Берите! Я не хочу до нее дотрагиваться: она, может быть, ядовитая!

Сколько ни убеждал ее Шариков в благородстве своих намерений, Крутомирская выгнала его вон.

Уходя, Шариков еще надеялся, что все это уладится, но услышал пушенное вдогонку: «Туда же! Нашелся Гамлет! Чинуж несчастный!»

Тут он потерял надежду.

На другой день надежда воскресла без всякой причины, сама собой, и он снова поехал к Крутомирской. Но та не приняла его. Он сам слышал, как сказали:

— Шариков? Не принимать!

И сказал это — что хуже всего — мужской голос.

На третий день Шариков пришел к обеду домой и сказал жене:

— Милая! Я знаю, что ты святая, а я подлец. Но нужно же понимать человеческую душу!

— Ладно! — сказала жена. — Я уж четыре раза понимала человеческую душу! Да-с! В сентябре понимала, когда с бонной снюхались, и у Поповых на даче понимала, и в прошлом году, когда Маруськино письмо нашли. Нечего, нечего! И из-за Анны Петровны тоже понимала. Ну, а теперь баста!

Шариков сложил руки, точно шел к причастию, и сказал кротко:

— Только на этот раз прости! Наточка! За прошлые раза не прошу! За прошлые не прощай. Бог с тобой! Я действительно был подлецом, но теперь клянусь тебе, что все кончено.

— Все кончено? А это что?

И, вынув из кармана загадочную брошечку, она поднесла ее к самому носу Шарикова. И, с достоинством повернувшись, прибавила:

— Я попросила бы вас не приносить, по крайней мере, домой вещественных доказательств вашей невинности. Ха-ха!.. Я нашла это в вашем сюртуке. Возьмите эту дрянь, она жжет мне руки!

Шариков покорно спрятал брошечку в жилетный карман и целую ночь думал о ней. А утром решительными шагами пошел к жене.

— Я все понимаю, — сказал он. — Вы хотите развода. Я согласен.

— Я тоже согласна! — неожиданно обрадовалась жена.

Шариков удивился:

— Вы любите другого?

— Может быть.

Шариков засопел носом.

— Он на вас никогда не женится.

— Нет, женится!

— Хотел бы я видеть... Ха-ха!

— Во всяком случае, вас это не касается.

Шариков вспыхнул:

— По-озвольте! Муж моей жены меня не касается. Нет, каково? А?

Помолчали.

— Во всяком случае, я согласен. Но перед тем как мы расстанемся окончательно, мне хотелось бы выяснить один вопрос. Скажите, кто у вас был в пятницу вечером?

Шарикова чуть-чуть покраснела и ответила неестественно честным тоном:

— Очень просто: заходил Чибисов на одну минутку. Только спросил, где ты, и сейчас же ушел. Даже не раздевался ничуть.

— А не в кабинете ли на диване сидел Чибисов? — медленно проскандировал Шариков, проницательно щуря глаза.

— А что?

— Тогда все ясно. Брошка, которую вы мне тыкали в нос, принадлежит Чибисову. Он ее здесь потерял.

— Что за вздор! Он брошек не носит! Он мужчина!

— На себе не носит, а кому-нибудь носит и дарит. Какой-нибудь актрисе, которая никогда и Гамлета-то в глаза не видала. Ха-ха! Он ей брошки носит, а она его чинушом ругает.

Дело очень известное! Ха-ха! Можете передать ему это сокровище.

Он швырнув брошку на стол и вышел.

Шарикова долго плакала. От одиннадцати до без четверти два. Затем запаковала брошечку в коробку из-под духов и написала письмо.

«Объяснений никаких не желаю. Все слишком ясно и слишком гнусно. Взглянув на посылаемый вам предмет, вы поймете, что мне все известно.

Я с горечью вспоминаю слова поэта:

Так вот где таилась погибель моя:
Мне смертью кость угрожала.

В данном случае кость — это вы. Хотя, конечно, ни о какой смерти не может быть и речи. Я испытываю стыд за свою ошибку, но смерти я не испытываю. Прощайте. Кланяйтесь от меня той, которая едет на «Гамлета», зашпиливаясь брошкой в полтинник.

Вы поняли намек?

Забудь, если можешь!

А.»

Ответ на письмо пришел в тот же вечер. Шарикова читала его круглыми от бешенства глазами:

«Милостивая государыня! Ваше истерическое послание я прочел и пользуюсь случаем, чтобы откланяться. Вы облегчили мне тяжелую развязку. Присланную вами, очевидно, чтобы оскорбить меня, штуку я отдал швейцарихе. Sic transit Catilina¹.

Евгений Чибисов».

Шарикова горько усмехнулась и спросила сама себя, указывая на письмо:

— И это они называют любовью?

Хотя никто этого письма любовью не называл.

Потом позвала горничную:

— Где барин?

Горничная была чем-то расстроена и даже заплакана.

¹ Так уходит Катилина (лат.).

— Уехадчи! — отвечала она. — Уложили чемодан и дворнику велели отметить.

— А-а! Хорошо! Пусть! А ты чего плачешь?

Горничная сморщилась, закрыла рот рукой и запричитала. Сначала слышно было только «вяу-вяу», потом и слова:

— ...Из-за дряни, прости Господи, из-за полтинниной человека истребил... ил...

— Кто?

— Да жених мой — Митька, приказчик. Он, барыня-голубушка, подарил мне брошечку, а она и пропади. Уж я искала, искала, с ног сбилась, да, видно, лихой человек скрал. А Митрий кричит: «Растеряха ты! Я думал, у тебя капитал скоплен, а разве у растерях капитал бывает». На деньги мои зарился... вяу-вяу!

— Какую брошечку? — похолодев, спросила Шарикова.

— Обнаковенную, с красненьким, быдто с леденцом, чтоб ей лопнуть!

— Что же это?

Шарикова так долго стояла, выпучив глаза на горничную, что та даже испугалась и притихла.

Шарикова думала:

«Так хорошо жили, все было шито-крыто, и жизнь была полна. И вот свалилась нам на голову эта окаянная брошка и точно ключом все открыла. Теперь ни мужа, ни Чибисова. И Феньку жених бросил. И зачем это все? Как все это опять закрыть? Как быть?»

И так как совершенно не знала, как быть, то топнула ногой и крикнула на горничную:

— Пошла вон, дура!

А впрочем, больше ведь ничего не оставалось!

Седая быль

Часто приходится слышать осуждения по адресу того или другого начальственного лица. Зачем, мол, выносят неправильные резолюции, из-за которых невинно страдают мелкие служащие и подчиненные.

Ах, как все эти осуждения легкомысленны и скороспелы!

Вы думаете, господа, что так легко быть лицом начальствующим? Подумайте сами: вот мы с вами можем обо всем рассуждать и так и этак, через пятое на десятое, через пень-колоду, ни то ни се, жевать сколько вздумается в завуалированных полутонах.

Суждение же лица начальственного должно быть прежде всего категорическим.

— Бр-р-раво, ребята!

На что ответ:

— Рады стараться!..

— Ты это как мне смел!

— Виноват, ваше-ство...

И больше ничего. Никаких полутонов и томных медитаций. Все ясно, все определенно. Козлища налево — овцы направо.

А легко ли это?

Ведь тут, если сделаешь ошибку, так прямо через весь меридиан от полюса до полюса. Дух захватывает!

Слышала я на днях историю, приключившуюся давно, лет двадцать пять тому назад, с одним начальником губернии, человеком, стоящим на своем посту во всеоружии категорического суждения.

Это факт, это седа́я быль. Если не седа́я от времени (ей ведь всего двадцать пять лет), то от скорби и тихого ужаса.

Дело происходило зимой в большом губернском городе, в зале благороднейшего городского собрания.

Сидели за столом почтенные люди и играли в карты. Были среди них, между прочим, железнодорожный начальник и начальник тюрьмы.

Разговор коснулся снежных заносов.

— А у нас-то какая беда! — сказал вдруг железнодорожник. — Занесло поезд. Стоит в степи второй день, и ничего поделывать не можем. Рабочих рук нет.

Услышав это, начальник тюрьмы подумал минутку и затем произнес роковую в своей жизни фразу:

— Пожертвуйте рублей сто, я pošлю сегодня же ночью своих арестантов, они вам живо путь расчистят.

Железнодорожник обрадовался, согласился и поблагодарил за предложение.

— Вот выручите-то вы нас! Подумать только: ведь поезд-то пассажирский! Люди голодают там, в снегу!

— Будьте спокойны. Все устрою.

Начальник тюрьмы в ту же ночь отправил на путь своих арестантов с лопатами, и те благополучно откопали поезд, который с триумфом и с голодными, иззябшими пассажирами прикатил в город.

Доложили о происшедшем губернатору.

Тот остался очень доволен поведением начальника тюрьмы.

— Молодец! А? Какова находчивость! А? Какова сообразительность? А? Нужно непременно исхлопотать для него что-нибудь такое-эдакое! Молодчина Журавлихин. Мол-лодчина!

Так ликовал начальник губернии, а в это же самое время вице-губернатор слушал с ужасом доклад одного из своих подчиненных. Докладывалось о том, как начальник тюрьмы вывез ночью из города всех арестантов, на что по закону ни малейшего права не имел, что явно нарушает закон и должно немедленно повлечь надлежащее наказание.

Вице-губернатор поскакал к губернатору.

Тот встретил его со словами:

— Мол-лодчина у меня Журавлихин! Надо ему что-нибудь такое-эдакое! Непременно надо! Мол-лодчина!

Вице-губернатор опешил.

— Да знаете ли вы, ваше превосходительство, что он вчера ночью сделал? Он противозаконно вывез всех арестантов из города! Ведь это же нарушение закона!

— О? — удивился губернатор. — Нарушение закона? Да как же он мне смел! Да я его за это и так и эдак! Позвать сюда Журавлихина!

И Журавлихин получил такой разнос, что потом два дня ставил припарки к печени.

Через несколько дней встречается губернатор с железнодорожником. В разговоре жалуется на нервное расстройство.

— Покою нет! Тут еще Журавлихин, кажется, по вашей же милости, набезобразничал. Вывез ночью арестантов из города! Изволите ли видеть, фокусник какой нашелся!

Железнодорожник удивился.

— Да что вы! Какое же здесь противозаконие! Ведь он же их вез в арестантском вагоне и под конвоем. А арестантский вагон — это та же тюрьма.

— О? — обрадовался губернатор. — Та же тюрьма? Молодчина у меня Журавлихин, вот-то молодчина! Нужно ему непременно что-нибудь такое-эдакое! Конечно, арестантский вагон — та же тюрьма. Окна с решетками! Молодчина! Позвать сюда Журавлихина!

Не прошло и недели, как вице-губернатор, обеспокоенный равнодушной медлительностью своего начальника в столь вопиющем деле, как нарушение закона Журавлихиным, напомнил губернатору об этой печальной истории.

Но тот встретил его насмешливым хохотом.

— Никакого тут закона не нарушено. Арестантский вагон — та же тюрьма, а Журавлихин молодчина! Позвать его сюда!

Но вице-губернатор не уступал:

— По закону арестант не может отходить от своей тюрьмы дальше, чем на строго определенное количество саженой. А они там по всему пути разбрелись! При чем же здесь вагон? Ведь они не в вагоне сидели, когда поезд откапывали.

Губернатор приуныл.

— Подлец Журавлихин. И как он это смел! Позвать его сюда!

Недели через две приезжает к губернатору влиятельный генерал.

Рассказывает, как его занесло в поезде снегом, и если бы не распорядительность начальника тюрьмы, то, наверное, все пассажиры погибли бы. Рассыпался в похвалах Журавлихину, просил его отличить и отметить.

Генерал был очень важный, и губернатор отмяк снова.

— Да, действительно, Журавлихин молодец! Я и сам думал, что ему нужно что-нибудь такое-эдакое. Позвать сюда Журавлихина!

Так время шло, судьба пряла свою нить, поворачиваясь к Журавлихину то лбом, то затылком. И Журавлихин не жаловался. Так ребенок, которого по системе Кнейпа перекадывают из холодной воды в горячую и потом опять в холодную, или умирает, или настолько великолепно закаляется, что уж его ничего не доймешь. Журавлихин закалился.

Но сам губернатор, переходя постоянно от восторга к раздражению, совсем измочалил свою душу и стал быстро хиреть.

Даже предаваясь мирным домашним развлечениям, он не мог оторвать мысли от журавлихинского дела и, в зависимости от положения этого дела, все время приговаривал:

— Нет, как он мне смел! Позвать его сюда!

Или:

— Нужно ему что-нибудь такое-эдакое. Молодчина Журавлихин!

Играя в карты, он вдруг с удивлением впирался взглядом в какого-нибудь валета и недоуменно шептал:

— Нет, как он мне смел!

Или лихо козырял, припевая:

— Молодчина!

Затем последовала катастрофа.

Он увидел у знакомых в клетке попугая.

Птица качалась вниз головой и повторяла попеременно то:

— Попка дурак!

То:

— Дайте попчке сахару.

Какая-то смутная, подсознательная мысль колыхнула душу губернатора туманной ассоциацией. Он сел и вдруг заплакал.

— Как смеют так мучить птицу! Ведь и птица тоже человек! Тоже млекопитающийся!

И вышел в отставку, с мундиром и всеми к нему принадлежностями.

Таков седой факт, иллюстрирующий всю трудность и все ужасы обязательного по долгу категорического суждения.

«Де»

Гимназисту Щупаку прислали с родных бахчей арбузов и дынь.

Пронюхавшие об этом событии приятели не замедлили завернуть вечером на огонек.

Собралось всех, кроме хозяина, трое, и все люди будущего: будущий философ, будущая акушерка, будущий дантист, и только сам Щупак, бородатый и тусклый гимназист, был без всякого будущего. Его только что выгнали из гимназии без права поступления, и он ждал приезда матери, которая должна была у кого-то «вывалиться», чтобы Щупак мог дальше и без конца быть гимназистом.

Сидели у стола и долго молча чавкали.

Хозяин вынимал из лубочной корзинки арбуз за арбузом, вскидывал на руке и с треском раскалывал ножом пополам.

— Многие воображают, — говорил он, презрительно шуря глаза, — что в арбузе самое вкусное середина. Не середина хороша, а вот тут, где семечки. Тут всего слаще. Ей-богу! Середина твердая. Это понимать надо.

— Гм! — мыкнул будущий дантист, вгрызаясь в корку.

— Здесь сама природа отметила, — продолжал Щупак. — Видите, как тут красно. А середина бледнее. А вот еще бывают арбузы, у которых семечки светлые, с черным ободком. Удивительно хороши! В прошлом году мне присылали с бахчи. Это, надо вам сказать, понимать надо!

Все молча чавкали.

Щупак был доволен. Редко ему случалось говорить при такой большой и внимательной аудитории. Раз в год. А именно, по осени, когда присылали с бахчей. Теперь Щупак чувствовал себя не последним человеком и отводил душу да целый год.

— А вот дыня. Она, конечно, с пятном. Но что же из этого? Тем лучше. Пятно показывает, что она созрела. Пробки-на, хотите дыни?

Будущая акушерка, не глядя, протянула лапу и, нащупав отрезанный кусок, потащила его к себе на тарелку.

Сам хозяин еще не пробовал ничего, но ему было не до того. Некогда. Нужно было пользоваться случаем, когда тебя слушают.

— Вы вот, наверное, скажете: «А как же холера?» Холера нам не страшна, раз есть чума. Чумы надо бояться, вот что. Мы бережемся, и холера нам не страшна. Но если беречься чрезмерно, то это еще хуже. Я читал недавно в газетах, как померла одна жена статского советника. Страшно, понима-

ете, береглась! Кухарку свою мыла каждый день кипяченой водой. И что же вы думаете, — выпила как-то чашку чаю и через полчаса померла!

— Это с чаю-то? — спросила акушерка.

— Ну да, от чаю. Как-нибудь неосторожно выпила. Господа! Кто арбуза хочет? Еще два осталось.

— Да вы бы сами, а то что же так... Неловко! — вдруг застыдился будущий философ.

— Я ничего, я потом. На чем я остановился? Да, главное — осторожность. В этом-то и есть культурность. Во-первых, вывезти крыс из Одессы. То есть заняться серьезной дератизацией на научной ноге. Крыса — главный рассадник. Понимаете? Крыса в Азии залучает к себе блоху с чумного человека. Конечно, совершенно случайно, и везет ее в Европу. Там эта блоха, сближаясь с блохой, населяющей европейскую крысу, переносит на нее свою заразу. Но эта крысиная блоха человеку еще не опасна. Крысиная блоха, надо вам заметить, человека ни за какие деньги кусать не станет. Но если она сблизится с человеческой блохой и передаст ей свою заразу, — тогда капут. Поэтому надо заняться научным разделением крысиных блох или, куда ни шло, уничтожить их совершенно. Деблохизация крыс — вот лозунг борьбы с чумой. Последний арбуз, господа! Кто хочет?

Будущий дантист тупо подставил тарелку.

— Получайте! Ничего. Я потом. На чем бишь я... Ах да. Насчет холеры должен я вам сказать, что бороться с ней поздно, потому что она поселилась у нас уже навсегда. Вот мы едим арбуз, но мы осторожны. Осторожность эта заключается в том, что мы, ну да... то есть мы вообще осторожны. А на будущий год, если правительство не примет никакой демухизации, мы бросим и осторожность. Муха на каждом суставе своей лапы несет миллиарды бактерий всех сортов и систем. А мы что делаем? Мы вытащим муху из молока да еще обсосем ее, вместо того чтобы сделать полную дезинфекцию этого молока.

— Какие вы гадости говорите, Щупак, — поморщилась акушерка. — Можно ли так языком трепать!

Гимназист без будущего не обиделся, но сильно встревожился.

«Видно, уж наелись, коли заговорили! — подумал он. — Сейчас встанут и уйдут, а еще и половины не высказал».

— Господа, еще кусочек дыни остался. Я не хочу. Я потом. Ольга Петровна! Скушайте! Ну прошу, как личное одолжение! Холеры бояться нечего, раз мы осторожны. Ну, хотите, я сейчас пойду, все это под краном вымою? На будущий год уже никто не будет бояться. Посудите сами. Если мне скажут: «Щупак, если дорожите жизнью, не ходите на Захарьевскую девятнадцать лет». Нет, господа, это уж вы как хотите, а я не могу, я пойду. На кой черт мне ваша Захарьевская? Буквально ни к чему! Но я пойду, потому что раз вы не сделаете полной дезахарьезации на научной ноге, то человек этого лишения не вынесет. Уверяю вас! Это понимать надо. Куда вы? Еще есть дыня... Я, признаться сказать, припрятал ее для... Ну, да не стесняйтесь. Прошу вас! Как личное одолжение. Ананасная. А на будущий год, господа, и к чуме привыкнем. Раз не сделают деблохизированной дератизации — привыкнем! А года через два вырвется из лепрозориумов сама проказа и пойдет гулять по белу свету. А почему? А потому, что давно уже указывали на необходимость детараканизации, а разве хоть какие-нибудь шаги сделаны? Разве меры приняты? Смешно сказать, таракан гуляет по всей квартире, а почем вы знаете, где он сейчас побывал? В сыпном бараке или в чумном отделении? Однако же мы привыкли, и, не обрати я вашего внимания, вы бы по-прежнему поощряли тараканов. Еще кусочек дыни? Да? Как я рад! А подумали ли вы о том, что если крошечная муха носит на лапках мириады микробов, то сколько же их помещается на собачьих лапах! Ужас! А разве кто-нибудь подумал о десобакизации русских городов? Да у нас и слова такого не слыхивали, не то что!.. А то вот теперь видел я в «Аквариуме» слонов, какую-то дурацкую польку танцуют. Постойте! Не уходите! Дайте досказать мысль! Танцуют, ногами трясут. А подумал ли кто-нибудь, что если на мушиной лапе помещаются мириады микробов, то сколько же их помещается на слоновой? Во сколько раз слоновая лапа больше мушиной? А? Это понимать надо! Ведь если слон попадет лапой, скажем, в суп, так ведь он весь город на тот свет отправит... Ну, чего вы торопитесь, ей-богу?.. Так же нельзя!

Но они уходили спешно и окончательно. Будущая акушерка повернулась в дверях и сказала брезгливо:

— От ваших арбузов ощущается неприятный холод в области подложечки, у предсердия.

Она выразилась так нарочно, с черствостью высшего существа, чтобы сразить ученостью гимназиста, у которого не было будущего.

А в коридоре кто-то из уходящих громко говорил:

— Привозить такую дрянь, да еще с бахчей, да еще в холерное время. Свинья! Прописать бы ему здоровую дедурацию!

Щупак вздохнул и, разыскав у дантистовой тарелки арбузную корку порозовее, задумчиво погрыз.

«Теперь что? Молчи! Вплоть до будущих арбузов. Никто не захочет слушать. Спрашивают одни учителя, да ответить-то им нечего. Абсолютно нечего!»

АНТЕЙ

Сколько ни хлопотал Иван Петрович, отпуск ему дали только в начале июля.

Семья давно уже была в деревне, и Иван Петрович рвался туда всей душой.

Сидя в вагоне, он набрасывал в записной книжке:

«Я жажду коснуться земли. Припасть к ней всей грудью. Впитать в себя ее соки, как Антей, набравшись от этого общения новых сил, кинуться снова в битву».

«Битвой» Иван Петрович называл хлопоты о переводе на другое место с высшим окладом.

Так размышляя, подъехал он к последней станции. Было уже часов одиннадцать вечера.

На платформе ждал его высланный навстречу кучер.

— А барыня? А барышня? Захворали, что ли? Отчего не встретили?

— Оне уж спать полягали! — ответил кучер равнодушно.

— Как странно! Так рано! Встают, верно, в шесть...

Сел в коляску.

Всю дорогу строил планы новой жизни.

— Вставать, конечно, не позже шести. Хорошо иногда встретить солнце с женой и свояченицей... Прямо с постели — в воду. Вода в речке холодная... бррр... На весь день юн и свеж. Затем стакан молока с черным хлебом и верховая прогулка. Если дождь, надел плащ и — марш. Затем легкий завтрак. Потом работать, работать, работать! Перед самым обедом игра с детьми в крокет. После легкого обеда прогулка совместная с детьми. Организуем пикники... Потом легкий ужин, чтение и на боковую. Роскошь! Сколько за это время прочтешь, как поправишь организм!

До усадьбы не больше шести верст. Приехали быстро.

— Не беспокойте барыню. Пусть спит.

Устроился в кабинете. Выпил чаю. Заснул.

Утром вскочил, взглянул на часы. Половина двенадцатого. Ну, да ведь не начинать же с первого дня. Пусть пройдет дорожная усталость.

Оделся, пошел в столовую.

Вся семья за столом.

Пьют чай, едят ветчину.

— Это что же? Легкий завтрак?

— Нет. Чай пьем. Только что встали.

— Что же это с вами?

— Да так.

— Отчего вчера не встретили?

— Это после ужина-то да шесть верст трястись! Съешь кусочек ветчины. До обеда еще полтора часа.

— Так рано обедаете?

— Нельзя позже. Не дотерпеть.

Иван Петрович посмотрел пристально на жену, на свояченицу, на детей. И больше ничего не спрашивал.

Лица у всех были круглые, глаза припухшие, рот в масле. Жевали бутерброды, а глазами намечали себе новые куски на блюде.

— А вы запаслись каким-нибудь чтением?

Жена сконфузилась.

— Есть «Нива». От покойной тетушки.

— «Нива»?

— Ну да. Чего же тут особенного? Вот Лиза «Сергея Горбатова» читает.

— Гм... Может быть, пойдем пройтись?
— Теперь не стоит. Сейчас накрывать будут. Лучше после обеда.

— После обеда жарко, — сказала свояченица.

— Ну, вечером. Торопиться некуда.

— Ну, ладно. Я после обеда с детками в крокет поиграю. Необходимо хоть маленькое физическое движение.

Дети посмотрели на него припухшими глазами недоверчиво.

Потом сели обедать. Ели серьезно и долго. Говорили о какой-то курице, которую где-то ели с какими-то грибами. В разговоре приняли участие и дети, и нянька. Потом горничная, служившая еще покойной тетушке, очень живо и ярко рассказала, как тетушка фаршировала индюка.

Иван Петрович злился. Изредка пытался заводить разговор о театре, о литературе, городских новостях. Ему отвечали вскользь и снова возвращались к знакомой курице и тетушкиному индюку.

Сразу после обеда он ушел в свою комнату разбирать вещи. Стал просматривать книги, в глазах зарябило так странно и приятно. Затем пришла откуда-то симпатичная курица, села на диван и закурила папиросу.

Разбудил его голос жены, предлагавший ему раков.

— Каких раков? Почему вдруг раков?

— Очень просто. Сейчас принес мужик, я и велела сварить. Лиза любит.

Иван Петрович, еще плохо соображая, пошел в столовую. Там сидела свояченица и ела раков.

— Ну, как это можно? — возмутился Иван Петрович. — Ведь только что обедали!

Но сел за стол и загляделся. Свояченица ела раков артистически. Надломит клешню, обсосет, очистит шейку, поперчит, оботрет корочкой скорлупку...

Три минуты смотрел он, на четвертой не выдержал. С тихим стоном протянул руку и выбрал рака покрупнее...

В пять часов пили чай, ели простоквашу, ягоды и варенец. Отдыхали на балконе, ужинали поплотнее и отправились спать.

— Завтра, после верховой езды, поиграю с детками в крокет, — сказал Иван Петрович, зевая.

Вечером занес в книжечку:

«У меня мало общего с женой. Из хрупкого существа, полного интеллигентных порывов, она обратилась в жвачное животное. Я чувствую себя, как связанный орел, у которого висят на крыльях жена, дети и своячени...»

Он заснул.

• • •

Конец июля.

— Чего вы тянете с обедом? — ворчит Иван Петрович. — Уже без четверти час! Ни о чем не подумают.

— Ты бы успел еще выкупаться, — говорит жена. — Сам же кричал, что хочешь купаться.

— Покорно благодарю. По этой жарнице в гору переть! Купайся сама. Что же, обед скоро? Прикажи пока хоть яичницу сделать, что ли. Не могу я голодать. Мне это вредно. Я поправляться приехал, а ты меня как лошадь тренируешь. Где Лиза?

— «Ниву» читает.

— Опять с книгой! Безобразие. Летом отдыхать надо, поправляться, а не над книгой сохнуть. Начитается зимой. Хоть бы раков принесли, что ли. После обеда и закусить нечем будет. Ни о чем не подумают.

— После обеда ты, кажется, хотел пикник устроить, — говорит жена.

— Пикник? Кто ж в такую жару пикники устраивает. Для пикника нужен серенький денек. Осенью хорошо. Да мне, кроме того, еще работы много. Нужно еще вещи разобрать. До сих пор не успел, все некогда было.

— А вечером, папочка, будем в крокет играть?

— Ну, чего пристали? Видите, отцу некогда. Уж не маленькие. Пора бы понимать.

— Глаша, горничная, говорит, что у тетушки жила кухарка, которая умела печь новогодние лепешки, — рассказывает жена.

— Да что ты? Неужели? И вкусные?

— Очень. С картофелем, с морковкой.

— И с морковкой? Быть не может! И что же, с маслом или как?

Вечером Иван Петрович заносил в книжку:

«...буквально ничего общего. Где ее любовь? Куда девалась ее страсть? Третий день сижу без простокваши! Не может понять, что я — труженик и должен, как Антей, коснувшись земли, набраться новых сил».

Предсказатель прошлого

«На основании точнейших данных науки хиромантии предсказываю настоящее, прошедшее и будущее. Даю советы о пропавших вещах, неудачах в браке и способы разбогатеть».

Далее следовал адрес и часы приема: от 9 утра до 11 вечера.

«Нужно пойти, — подумала я. — А то живешь — ничего не знаешь. Пойду, хоть прошлое узнаю».

Разыскала дом. Спросила у швейцара.

— У нас таких нет, — отвечал он. — Прежде, действительно, жил тут дворник, умел зубы лечить. Пошепчет в рот — зуб и пройдет. Многим помогал. А теперь он на Фонтанке, а какой номер дому, я знать не могу, потому что с меня этого не спрашивается. А если вам знать требуется, где квартира номер тридцать два, так прямо вам скажу, что во дворе, налево, шестой этаж.

Я пошла во двор, налево, в шестой этаж.

Лестница была корявая и грязная. Кошки владели ею беспредельно. Они шныряли вверх и вниз, кричали как бешеные и вообще широко пользовались своими правами. Дверь, за которой предсказывают прошлое, была обита грязной клеенкой и украшена нелепым звонком, болтавшимся прямо снаружи.

Кто-то открыл мне и быстро шмыгнул в другую комнату.

— Пожалте-с сюда! — тихо заблеял простуженный голос.

Я пожаловала.

Комната была маленькая, в одно голое окно. Железная кровать, закрытая вместо одеяла газетной бумагой, два стула и ломберный стол. Над столом прикреплен булавкой к стене лист бумаги с нарисованной на ней пятерней.

Хозяин стоял и грустно меня разглядывал. Он был очень маленький, с очень большим флюсом, перевязанным черным платком, торчащим на затылке двумя заячьими ушами.

— А, понимаю! — сказал он вдруг и улыбнулся, сколько позволял флюс. — Понимаю!.. Вас, вероятно, прислала ко мне графиня Изнарская?

— Нет, — удивилась я.

— Ну, в таком случае княгиня Издорская?

— И не княгиня.

Он не был поражен таким ответом и как будто даже ждал его. Выслушал с интересом и спросил еще, словно для очистки совести:

— В таком случае, наверное, баронесса Изконская.

И тут же прибавил с достоинством:

— Это все мои клиентки. И полковник Иванов — вы знаете полковника Иванова? — тоже приходил советовать-ся со мной, когда у него украли чайную ложку. Чистейшего серебра. С пробой. По пробе все и искали сначала... Чем могу служить? Настоящее, прошедшее или будущее? Позвольте вашу левую ручку. Которая у вас левая? Ах да, виноват, эта. Они, знаете, так похожи, что даже мы, специалисты, часто путаем. Позвольте рассмотреть линии. Гм... да. Я этого ожидал! Вы проживете до девяноста... да, совершенно верно, до девяноста трех лет и умрете от самой пустой и безопасной болезни... от отравления карболовой кислотой. Остерегайтесь пить карболовую кислоту в преклонных летах!

— Благодарю вас! — сказала я. — Только я больше интересуюсь другим вопросом...

— Понимаю! — перебил он. — Для того, чтобы я понял, достаточно самого легкого намека. Вас беспокоит мысль о той вещи, которая у вас пропала на днях!

Я стала вспоминать, что у меня пропало: булавка от шляпы, последний номер журнала «Аполлон», перчатка с правой руки...

— Эта вещь была вам дорога и необходима, — я вижу это по линиям вашего указательного пальца.

Положительно, он намекал на перчатку. Она была действительно очень нужна, и я, разыскивая ее, полезла даже под шкаф и стукнула лоб.

— Вам бы хотелось знать, где теперь эта вещь! — пророческим голосом продолжал хиромант.

— Да! О-очень!..

— Она вам возвращена не будет. Но благодаря ей будет спасено от голода целое семейство. И оно будет благословлять ваше имя, даже не зная его!

— Несчастные!

— Теперь скажу вам о вашем прошлом. Вы были больны. Я молчала.

— Не очень сильно.

Я молчала.

— И довольно давно. Еще в детстве.

Я молчала.

— Но несерьезная болезнь. Я же говорю, что несерьезная, — оправдывался он. — Так, какие-то пустяки! Голова, что ли, болела... и недолго. Что там! Какой-нибудь час. И еще должен вам сказать, что в вашей жизни сыграли некоторую роль ваши родители: проще скажу — мать и отец. А еще мне открыто, на основании ваших линий, что у вас очень щедрая натура. Если вы только заметите, что человеку нужны деньги, уже вы сейчас все ему отдадите.

Мы помолчали некоторое время — он вопросительно, я отрицательно.

Потом он захотел огорчить меня. Он поднял голову вверх и, трясая заячьими ушами, ехидно сказал:

— Замуж вы никогда не выйдете!

— Ну, это положим!

— Как «положим»? Мне по линиям шестого сустава безымянного пальца...

— Врет вам шестой сустав. Я давно замужем.

Заячьи уши уныло опустились.

— Я в этом смысле и говорил. Раз вы замужем, так как же вам еще раз выходить. Тем более что даже смерть вашего мужа не обозначена на ваших суставах. Он доживет до девяности двух лет и умрет от такого пустяка, что вы даже и не заметите. Но для вашего мужа очень опасны пожары. В огне он очень легко загорается...

— Благодарю вас, мы будем осторожны.

— И вообще, остерегайтесь всяческих несчастий — это мой вам совет. Ушибы, увечья, заразные болезни, по-

теря глаза, рук, ног и прочих конечностей, со смертельным исходом, — все это для вас чрезвычайно вредно. Это все, что я могу вам сказать на основании научных исследований вашей руки, называемых хиромантией. Один рубль.

Я заплатила, поблагодарила и вышла.

Он стоял на лестнице — одно заячье ухо вверх точно прислушивалось к моим шагам, другое — упало вниз, безнадежное. Он долго смотрел мне вслед.

— Поблагодарите от меня графиню Задольскую! — вдруг крикнул он сверху.

— Что-о? — подняла я голову.

— Баронессу... за рекомендацию. И княжну тоже...

Слегка прищутив глаза, он гордым взглядом окинул двух пегих кошек, примостившихся у самого порога. Вы, мол, твари, понимаете, кого пред собой видите?

— Непременно! — ответила я.

Я понимала, что раз нас слушают посторонние, то нужно быть деликатной.

Кошки переглянулись.

Два Вилли

Американский рассказ

Вы думаете, господа, что американским миллионерам очень легко живется?

Вы, вероятно, представляете себе так: вот встал миллионер утром, позанимался сколько следует своими делами, отдохнул, вкусно позавтракал какими-нибудь маринованными африканскими муравьями в шампанском, покатался на своей яхте вместимостью в пятьсот тысяч тонн вдоль по Атлантическому океану туда и обратно. Потом обед из каких-нибудь семисот тридцати пяти блюд, затем поездка на автомобиле в сорок тысяч слоновых сил, потом бал, потом ужин в собственном салон-вагоне, который за ночь облетит всю Америку, черт его знает зачем.

Ничего подобного.

Истинный американский миллионер — мученик своего ремесла, во всяком случае первые годы, когда вылезет в богачи.

Дело в том, что в Америке такая масса миллионеров, что каждый из них, кто только не желает потонуть в этом море ничтожной каплей, должен непременно чем-нибудь выдвинуться, прогреметь, прославиться или хоть проскандальиться.

Кроме чистого честолюбия, немалую роль играет здесь и коммерческий расчет.

— Эге! — скажут. — Да это тот самый знаменитый миллионер, который верхом на козе проехался из Нью-Йорка в Филадельфию. Очень известная фигура. Алло! Алло!

И вот все молодые миллионеры из кожи вон лезут, стараясь переоригинальничать один другого.

Дело это, в общем, очень трудное и требует, кроме личных способностей, еще и много простой удачи. Так легко удариться в чрезмерную крайность и вместо милого чудака прослыть болваном!

Вот именно в этом отношении и не повезло бедному богатому Вилли Броуну. Он был еще очень молод, когда через его руки прошло уже столько свиней, сколько иному человеку и в кошмаре не привидится. При этом Вилли Броун умел каждую свинью перевернуть три раза хитрее любого фокусника и от каждого оборота имел особый доход.

Так как в деле этом ни один американский свинарь не мог соперничать с Вилли, то он и получил лестное прозвище — «свиной король».

Но этим дело и ограничилось. А у Вилли Броуна честолюбие было очень велико, и хотелось ему, кроме всего прочего, прослыть чудачком и оригиналом. Но что он ни предпринимал с этой целью, все выходило или очень обыкновенно, или очень глупо.

В особенности мучил его пример сотоварища по миллионам, Вилли Гульда, керосинового короля. Тому везло чрезвычайно. В море он два раза терпел аварии, причем в журналах появлялись его портреты, в Европе дрался на дуэли с принцем крови «до первой крови» (тоже с портретами), сорвал банк в Монако и был в Мессине во время землетрясения.

Кроме того, везде и всегда умел он привлекать к себе всеобщее внимание, что если и удавалось Вилли Броуну, то только в самом печальном смысле.

Вилли Броун терзался завистью и ходил за Вилли Гульдом, как пастух за бараном, изучая его приемы и втайне надеясь, что и ему когда-нибудь удастся какая-нибудь гульдовская штучка.

Эта слабость свиного короля была многими подмечена и высмеяна, так что бедному Вилли приходилось прятаться и следить за своим идеалом исподтишка.

Однажды, это было в блестящем курорте на юге Франции, где оба Вилли проводили каждую осень, керосиновый король превзошел самого себя.

Он вошел в игорный зал казино в сопровождении маленькой кафешантанной испаночки Гукиньеро, вошел бледный, спокойный, более того — зеленый и равнодушный.

Вошел и остановился.

Весь зал зашелестел шепотом, как тараканы за печкой:

— Вилли Гульд! Вилли Гульд!

Все головы обернулись к нему.

И прежде всех, конечно, голова укрывшегося за портьеру Вилли Броуна.

Все ждали, что будет.

Но он сделал какой-то знак одному из крупье, и тот сел за него играть.

Сам же Вилли взял стул, расселся посреди зала и, презрительно опустив губы, стал смотреть куда-то в угол через головы играющих. Сказал что-то своей испанке, и та села с ним рядом и, не имея возможности играть в рулетку, играла глазами, плечами и фальшивыми бриллиантами.

Вилли Броун весь горел и, как гусь, вытягивал шею из-за портьеры.

Но вот керосиновый король встал.

— *Assez!* — сказал он своим прекрасным миллионно-американским выговором. — Довольно!

И тотчас крупье вскочил и, заискивающе улыбаясь, подал на подносике кучку золота — выигрыш Гульда.

Тот отстранил его руку (о, что за жест! Вилли Броун заучивал его потом перед зеркалом!) и, указывая на испанку, бросил сквозь зубы:

— *À madame!* Отдайте это барыне.

Испанка высыпала золото в свой ридикюль, и оба вышли.

Пока они шли, слышно было только, как позвякивало золото в ридикюле испанки. И больше ничего.

Минута была так торжественна, что Вилли Броун почти упал в обморок. То есть, наверное, упал бы, если бы его не поддерживало твердое решение сохранить инкогнито.

Игорный зал долго не мог успокоиться.

— Гульд! Керосиновый король, триста тысяч франков.

— А madame, уличной девчонке. Каков жест, а? Даже не посмотрел — сколько. Триста тысяч, Вилли Гульд.

Все были в восторге, и несколько дней на курорте замечалось особое оживление: это все бегали друг к другу, чтобы рассказать о жесте американского миллионера.

Вилли Броун похудел на шесть фунтов. Но он решил, что сделает штуку не хуже этой. Нужно только переждать, чтобы Гульд уехал. А кроме того, нужно еще эту штуку придумать. Чтобы было так же хорошо, как «à madame», но вместе с тем и не то же самое, а то скажут, что Вилли Броун — обезьяна Вилли Гульда.

Однажды, гуляя по взморью и мысленно примеривая себя во всяких небывалых, но очень лестных положениях, Вилли Броун увидел испаночку Гукиньеро. Она сидела у дверей ресторана и кончиком зонтика рвала кружева на собственной юбке.

Вилли вспомнил, что она за последние дни проигралась в пух и прах и, как особа сильно темпераментная, так страшно кричала и стучала кулаками по столу и даже по соседям, что ее попросили больше в казино не показываться.

И вот она сидела и рвала кружево зонтиком, а ореол того бессмертного жеста, того великолепного «à madame» веял над нею, и Вилли не мог, Вилли подошел и пригласил ее пообедать.

И вот, когда они входили в огромный, переполненный народом зал модного ресторана, он, Вилли, и та самая испанка, которая была с Гульдом, свиной король вдруг остановился. Та самая штука, которую он так долго придумывал, вдруг сама собой прыгнула прямо ему в голову.

Это было так просто и так похоже на то, что выкинул Гульд, и так же красиво, но вместе с тем совсем не то, и никто не посмеет сказать, что это подражание.

Он вдохновенно поманил к себе пальцем метрдотеля.

— Я миллионер Броун! Ага! Знаешь. Я сам не обедаю. Мне лень. Вы будете есть за меня. Садитесь!

Метрдотель взметнул фалдами и мгновенно уселся за отдельный столик. Вилли с испанкой сели в некотором отдалении. Вилли заказал обед, вынул бинокль и стал смотреть, как тот ест.

Метрдотель выполнял свою роль с глубоким знанием дела. Подливал соуса, смотрел вино на свет, слегка перемешивал салат перед тем, как положить его на тарелку, и проводил по усам корочкой хлеба.

После третьего блюда испанка вздохнула.

— Слушай, Вилли! А ведь я, собственно говоря, не прочь тоже пообедать!

Но тот остановил ее:

— Молчи! Не порти дела! Ты не прогадаешь!

Он был бледен, и хотя сохранял наружное спокойствие, посвистывал и болтал ногой, но чувствовалось, что весь он горит какой-то великой творческой мыслью.

Публика, впрочем, мало обращала на него внимания. Ближайшие соседи сначала удивленно поглядывали на человека, разглядывающего в бинокль какого-то обедающего господина, но потом, вероятно, решили, что Вилли просто пьян, и окончательно перестали им интересоваться.

— Ну, скоро ли? — бесилась испанка.

Наконец метрдотель допил последнюю рюмку ликера, встал и, почтительно держа обеими руками счет, подал его Вилли.

Ага! Вот он, тот самый момент!

Склоненный человек во фраке, и толпа вокруг, и даже та же испанка...

Вилли выпрямился и, отстранив руку, подающую счет, совершенно таким жестом, какой сделал Вилли Гульд, сказал голосом, совершенно таким, какой был у Вилли Гульда, как он, указывая на испанку:

— À madame! Отдайте это барыне!

И, надменно повернувшись, направился к выходу.

И вдруг раздался страшный визг, словно сразу трем кошкам наступили на хвост.

Это пришла в себя остолбеневшая испанка. Быстро сломав о колени пополам свой зонтик, она швырнула его прямо в затылок свиного короля. Но тот даже не обернулся.

— Га-а! Он требует, чтобы я платила за его дурацкие прихоти! Га-а! Я! Гукиньеро! Которая в жизни своей никогда не платила даже по собственным счетам! Убийца! Убийца!

Она металась как бешеная и, запустив обе руки в свою шевелюру, для полной картины отчаяния распустила волосы.

Это был настоящий спектакль.

Вся публика столпилась вокруг.

— А он еще выдавал себя за миллионера! — разводил руками без толку пообедавший метрдотель.

Вилли Броун шагал между тем по тротуару и недоумевал.

До него доносились крики Гукиньеро, он видел, как какие-то молодые джентльмены, высунувшись из окна, показывали ему кулаки и свистели, — и ровно ничего не понимал.

— Положительно они чем-то недовольны! А между тем я сделал все, как он. Вот так, голову вверх, рукой слева направо: «À madame». Да... Гукиньеро. Затылок немного горит. Но не мог же я сейчас же дать ей денег, — это все бы испортило. Я пошлю ей. Странные люди! Все, что делает Гульд, им нравится, а что делаю я, они не хотят ценить!

Увидя свое отражение в зеркальном окне магазина, он не вытерпел: поднял голову, развел рукой:

— À madame!

И, блаженно улыбнувшись, пошел домой.

Светлый праздник

Как факел, передавали друг другу
благую весть и, как от факела, зажигал
от нея каждый огонь свой.

Из сказаний о жизни первых христиан

Самосов стоял мрачно, смотрел на кадящего дьякона и мысленно говорил ему: «Махай, махай! Думаешь, до архиепископа домахаешься? Держи карман!»

Он медленно, но верно выпирал локтем стоявшего около него мальчишку, чтобы пролезть поближе к молящемуся

здесь же начальнику. Хотелось быть на виду — для того и пришел. Начальник был с супругой и с тещей.

— Жену привел! — крестился Самосов. — Харя ты, харя! У самой сорок любовников, а в церковь пошла — брови по своему лицу намалевала. Хотя бы перед Богом постеснялась. И он дурак — из-за приданого женился. Она, конечно, пошла! Не помирать же с голоду.

— Христос Воскресе! — возгласил священник.

— Воистину Воскресе! — прочувствованно отвечал Самосов. — И тещу привели! Как не привести! Ее оставить — так она либо посуду перебьет, либо несгораемый шкаф взломает. Ей бы только дочерьми торговать. Народила уродов и торгует. И шляпы приличной не могли старухе купить! Нарочно старую галошу на голову ей напялили. Чтоб все издевались. Нечего сказать! Уважают старуху. Как-никак, а все-таки она вас родила! Не отвертитесь! Махай, махай кадилом-то! Архимандрит! Митрополюю получишь.

Служба кончилась. Самосов с почтительным достоинством приблизился к начальнику.

— Воистину, хе-хе!

Облобызались.

Ручку у начальницы. Ручку у тещи.

— Хе... хе! Так отрадно видеть у этой толпы простолудинов веру в неугасимость заветов... которые... Жена? Нет, она, знаете, осталась домохозяйничать... Библейская Марфа.

Выходя из церкви, он еще чувствовал некоторое время умиленность от общения с начальством и запах цветочного одеколona на своих усах. Но мало-помалу опомнился.

— А ведь разговляться не позвал! Обрадовались... Тычут руки — целуй! Небось охотников-то немного найдут на свои дырявые лапы.

Пришел домой.

За столом жена и дочь. На столе ветчина и пасха. У жены лицо такое, как будто ее все время ругают: сконфуженное и обиженное.

У дочери большой нос заломился немножко на правый бок и оттянул за собой левый глаз, который скосился и смотрит подозрительно.

Самосов минутку подумал.

— Эге! Воображают, что я им подарков принес!

Подошел к столу и треснул кулаком.

— Какой черт без меня разговляться позволил?

— Да что ты? — изумилась жена. — Мы думали, что ты у начальника. Сам же говорил...

— В собственном доме покою не дадут! — чуть не заплакал Самосов. Ему очень хотелось ветчины, но во время скандала считал неприличным закусывать.

— Подать мне чай в мою комнату!!

Хлопнул дверью и ушел.

— Другой бы, из церкви придя, сказал: «Бог милости прислал», — сказала дочка, смотря одним глазом на мать, другим на тарелку, — а у нас все не как у людей!

— Ты это про кого так говоришь? — с деланным любопытством спросила мать. — Про отца? Да как ты смеешь? Отец целые дни, как лошадь, не разгибая спины, пишет, пришел домой разговеться, а она даже похристосоваться не подумала! Все Андрей Петрович на уме? Ужасно ты ему нужна! И чем подумала прельстить! Непочтительностью к родителям, что ли! Девушка, которая себя уважает, заботится, как бы ей облегчить родителей, как бы самой деньги заработать. Юлия Пастрана, или как ее там... с двух лет сама родителей содержала и родственникам помогала.

— А чем я виновата, что вы мне блестящего воспитания не дали? С блестящим-то воспитанием очень легко и переписку найти, и все.

Мать встала с достоинством.

— Пришлешь мне чай в мою комнату! Спасибо! Отравила праздник.

Ушла.

Весело озираясь, с радостно пылающим лицом, вошла в столовую кухарка с красным яичком в руках.

— С Христос Воскресом, барышня! Дай вам Бог всего самолучшего. Женишка бы хорошего да молодого, капитального.

— Убирайся к черту! Нахалка! Лезет прямо в лицо!

— Господи помилуй! — попятилась кухарка. — И с чего это... Ну, как с человеком не похристосоваться? Личность у меня действительно красная. Слова нет. Да ведь целый день варила да пекла, от одной уморительности покраснелась.

Плита весь день топится, такое воспаление — дыхнуть нечем. Погода жаркая, с утра дождь мурашил. О прошлом годе куда прохладнее было! К утрени шли — снег поросился.

— Да отвяжете вы от меня! — взвизгнула барышня. — Я скажу маме, чтоб вам отказали.

Она быстро повернулась и ушла той самой походкой, какой всегда ходят хозяйки, поругавшись с прислугой: маленькими шагами, ступая быстро, но двигаясь медленно, виляя боками и выпятив грудь.

— Уж-жасно я боюсь! — запела вслед кухарка. — Ух, как напугали... Прежде жалованье доплатите, а потом и форсите! Я, может, с Рождества месяца пятака от вас не нюхивала. Уберу со стола и спать завалюсь, и никаких чаев подавать не стану. Ищите себе каторжника. Он вам будет ночью чай подавать.

Она сняла со стола грязную тарелку, положила на нее по системе всех старых баб, живущих одной прислугой, ложку, на ложку другую тарелку, на тарелку стакан, на стакан блюдо с ветчиной и уже хотела на ветчину ставить поднос с чашками, как все рухнуло на пол.

— Все пропадом!

В руке осталась одна основная тарелка.

Кухарка подумала-подумала и бросила ее в общую кучу.

Почесала под платком за ухом и вдруг, точно что вспомнив, пошла на кухню.

Там сидела на табуретке поджарая кошка и лакала с блюдечка молоко с водой. Перед кошкой на корточках пристроилась девчонка, «сирота, чтоб посуду мыть», смотрела и приговаривала:

— Лакчи, лакчи, матушка! Разговейся, напостимшись! С хорошей пищи, к часу молвить, поправишься!

Кухарка ухватила девочку за ухо.

— Эт-то кто в столовой посуду переколотил? А? Для того тебя держат, чтоб посуду колотить? Ах ты, личность твоя ху-дорожая! А? Что выдумала! Пошла в столовую прибирать. Вот тебе завтра покажут, толоконный твой рот!

Девчонка испуганно захныкала, высморкалась в передник; потеряла ухо, высморкалась в подол, всхлипнула, высморкалась в уголок головного платка и вдруг, подбежав к кошке, спихнула ее на пол и лягнула ногой:

— А провались ты, пес дармоедный! Житья от вас нету, от нехристов. Только бы молоки жрать! Чтоб те прежде смерти сдохнуть!

Кошка, поощряемая ногой, выскочила на лестницу, едва успела хвост унести, — чуть его не отхватили дверью.

Забилась за помойное ведро, долго сидела не шевелясь, понимая, что могущественный враг, может быть, ищет ее.

Потом стала изливать свое горе и недоумение помойному ведру. Ведро безучастно молчало.

— Уау! Уау!

Это все, что она знала.

— Уау!

Много ли тут поймешь?

Горы

Путевые заметки

I

— Зачем же нам ехать в Италию, когда мы преспокойно можем поехать в Испанию?

Я посмотрела Софье Ивановне прямо в глаза и отвечала спокойно:

— А зачем нам ехать в Испанию, когда мы преспокойно можем поехать в Швейцарию?

— А зачем нас понесет в Швейцарию, — подхватила она, — когда мы преспокойно можем поехать на Кавказ?

Я прекрасно понимала, в чем дело.

Дело было в том, что Софья Ивановна только что разбила любимую чашку и ей нужно было сорвать на ком-нибудь сердце. Не желая служить ее низменным инстинктам, я решила убить ее сразу своей кротостью.

— Да, друг мой? Вы хотите ехать на Кавказ? Что ж — я очень рада.

Ей не хотелось на Кавказ. Она чуть не плакала со злости и говорила дрожащим голосом, надеясь вызвать меня на протест:

— Поедем по Военно-Грузинской дороге. Вы ведь не видели ничего подобного. Мне-то все равно, но вам это, конечно, страшно интересно.

Я кротно улыбалась, и через три дня мы поехали.

От Петербурга до Кавказа — стоит ли описывать наше путешествие?

Потеряли один зонтик, одну картонку, два пледа, один кошелек, одну фальшивую косу, одну квитанцию от багажа, три полотенца и восемнадцать рублей деньгами.

Словом, доехали благополучно.

Во Владикавказе поели на вокзале шашлыку и пошли на базар нанимать коляску до Млет и обратно.

На базаре оказалась всего одна коляска; на козлах сидел бородатый русский мужик и зевал, крестя рот.

Софья Ивановна деловито отстранила меня локтем и сказала мужику:

— До Млет и обратно коляску четверкой, сколько возьмешь?

— До Мле-ет? — он презрительно улыбнулся. — Цена известная — тридцать пять рублей.

— Нечего, нечего! Больше сорока не дам!

Я дернула Софью Ивановну за рукав.

Она оглянулась сердито:

— Оставьте, пожалуйста. Вы вечно везде переплачиваете! Меня предупреждали, чтобы я больше сорока не давала.

Но ямщик стоял на своем.

— Ищите другого. Может, какой дурак и повезет дешевле, а я не могу. Как я цену с вас не ломил, а по-божески сказал, что тридцать пять, так нужно тоже и совесть иметь.

— А я больше сорока не дам!

Не знаю, чем бы дело кончилось, если бы я не вмешалась. Вероятно, они никогда бы не сговорились. Но мне очень понравился ямщик; он так подходил к нашей компании, что было жаль его упустить.

Я схватила Софью Ивановну за руку и громко закричала:

— Ради Бога, молчите! Он уже согласен. Ямщик, голубчик! Барыня согласна! Подавай скорей лошадей к вокзалу.

Но тут снова вышла история. Ямщик сказал, что должен нам дать задаток, а то мы его надует и возьмем другого. А Софья Ивановна обиделась и выразила уверенность, что

надует-то именно он и поедет с другими, и поэтому он должен взять с нас задаток. Я с трудом помирила их, взяв с каждого в свою пользу пока что по три рубля.

После долгих сборов, ссор и разговоров мы наконец выехали, остро ненавидя друг друга, ямщика и всю четверку лошадей.

II

— Феерично! Феерично! — кудахчет Софья Ивановна. — Скалы, а наверху — вершины! Нет, вы себе представить не можете, какая это красота!

— Чего же мне представлять, — говорю я, — раз я все это вижу собственными глазами.

— Ах, вы не понимаете, это феерично. Я много видала красивого, ездил морем. Это было тоже феерично, но даже на море нет ничего подобного!

— Чего нет, гор-то?

— Ах, ничего нет. И потом, на море я бываю больна — у меня делается мертвая зыбь... Ямщик! Ямщик, что это за гора?

— Пронеси Господи, — мрачно раздается с козел.

— Ах, опять «Пронеси Господи», это он уже пятый раз говорит... Быть не может, чтобы все скалы так назывались... Ямщик! Ямщик! Что это за ручей?

— Терек.

— Ах! Терек! «Плещет мутный вал»! Ямщик! Ямщик! Где мутный вал? А это что за гора?

— Пронеси Господи.

— Опять! Да тут хоть и не молись, все равно пронесет, — гладкое место.

Ямщик презрительно подергивает плечом. Он человек русский и с глубоким презрением относится к Кавказу. Глядя на скалы, крутит головой с таким видом, точно хочет сказать: «И нагородили же зря всякой всячины. Затеяники! Делать, мол, вам нечего». Ужасно уж он был некстати в этой обстановке. Такому мужику нужно ходить по гладкому месту, пахать да боронить. А тут едет, бедняга, внизу пропасть, сверху камень висит, справа — «Пронеси Господи», слева — «Пронеси Господи», сзади — «Пронеси Господи». Тьфу!

Настроение у него, по-видимому, невеселое, да и страх порой пробирает, но из чувства собственного достоинства он старательно прячет его «под маской наружного холода».

Вот мы и в Дарьяльском ущелье.

Воздушный железный мостик, легкий и звонкий, перекинут с одного берега на другой. Терек весь кипит и бурлит и сердито бросает нам в лицо холодную белую пену. Мостик дрожит. Голова кружится. Вода глухо ревет. Сотни огромных водяных колес крутятся и вертятся, точно торопятся выполнить какой-то спешный и важный заказ.

Эдакая бестолочь!

Чувство удовольствия, тайного торжества и победы сладко пробегает по нервам: мы на другом берегу.

Я смотрю, улыбаясь, как бесятся злые волны, и думаю:

«Злись себе сколько влезет — а я все-таки переехала!»

— Чертов мост! — заявляет ямщик таким тоном, что моя спутница даже обижается:

— Il se permet trop!¹

Мимо нас, тяжело гроыхая, пронеслась огромная карета, запряженная четверкой лошадей. На козлах благодушно улыбающийся кучер и облаченный в черкесский костюм, весело дудящий в рожок кондуктор.

Из необычайно маленьких окошечек кареты торчала чья-то рука и совершенно стиснутый локтем этой руки большой сизый нос. С другой стороны не то козырек фуражки, не то чье-то оторванное ухо. На запятках, покрытые, словно ковром из солдатского сукна, густым слоем пыли, копошились какие-то живые существа. Вернее, полуживые. Лица их были плотно прижаты к кузову кареты, спины подпирались чемоданами. Чуть-чуть двигались только какие-то странные седые отростки, похожие на человеческие руки. В общем, существа эти напоминали жуков, приколотых булавкою к пробке.

— Почтовый *обнимусь*, — пояснил ямщик, когда карета скорби промчалась мимо, обдав нас густым и тяжелым облаком пыли.

Много интересного узнала я об этом странном сооружении. Более всего удивил меня новый и оригинальный принцип его: чем дороже платит пассажир, тем хуже ему ехать.

¹ Он себе слишком много позволяет! (Фр.)

Лучше всего чувствуют себя кучер и кондуктор. Они дышат свежим воздухом, любят природу, трубят в рожок и вдобавок получают жалованье.

Пассажир второго класса, заплативший за проезд, помещается на запятках. Но он может иногда пошевелить вбок рукою, может свободно вылететь на крутом повороте и, приложив некоторое старание, может также увидеть клочок неба над своей головой, когда отчаяние охватит его душу и он захочет ободрить себя молитвой.

Пассажиру первого класса — самого дорогого — приходится хуже всех. Он ничего не видит, ничего не слышит, совершенно лишен воздуха и, как Иона во чреве китовом, ждет сладостного момента, когда «обнимусь» изрыгнет его на какой-нибудь станции.

Я потом видела этих несчастных на остановках. Они качались на ногах, испуганно щурились от света и все дышали, дышали, дышали... Они напоминали мне подводный корабль «Наутилус» Жюль Верна, который выплывал раз в месяц на поверхность моря и, причалив к «туземным» островам, запасался свежим воздухом.

Рекомендую путешествие в омнибусе для особ, ненавидящих природу и не желающих бросить на нее ни одного, даже равнодушного, даже негодующего взгляда. (Бери билет второго класса.)

Рекомендую путешествие в омнибусе также для особ, которые органически не выносят свободы движений и свежего воздуха. (Бери билет первого класса.)

Если вы едете на вольных, в обыкновенной коляске, то как ни отворачивайтесь, как ни прячьтесь, а все равно что-нибудь да увидите. Ненароком — а увидите. В почтовом же омнибусе вы гарантированы вполне от всяких, раздражающих взор ваш, картин. Локоть соседа, нос визави, спинка кареты, собственная ладонь, если вам повезет и удастся поднять руку, — этим исчерпаются все зрительные впечатления, какими подарит вас Военно-Грузинская дорога.

III

— Замок царицы Тамары, — тычет ямщик кнутом куда-то в пространство.

— Ах! Какая красота, — всколыхнулась моя спутница, — феерично! Буквально феерично! И как все хорошо сохранилось... Четыре башни... Окошечки такие чистенькие... «Ценою жизни ночь мою!..» Ах, Тамара, Тамара!

— Это вы, между прочим, из Клеопатры, а не из Тамары, — замечаю я.

— Ах, это безразлично... Раз их *manières de se conduire*¹ так похожи... Дивный замок! Скажи, ты помнишь ли еще свою царицу? — И она запела тоненьким фальшивым голоском:

Не плачь, дитя, не плачь напрасно.
Твоя слеза совсем напрасно
Куда не надо упадет!..

— Феерично! Феерично!

— Да вы, барыня, совсем не туда смотрите, — удивляется ямщик. — Это вон с четырьмя башнями казацкий пост; недавно выстроен. А замок там, на горе. Ишь — камушки торчат.

Мы сконфуженно смолкаем.

От замка царицы Тамары осталась одна дыра с каемочкой. Мы объезжаем скалу и, повернув головы, долго смотрим на развалины.

Прескверное было жилище.

— У моей скотницы более комфортабельная изба, — замечает моя спутница.

И потом, покойнице было очень неудобно сталкивать с этой скалы своих поклонников — здесь недостаточно круто, и приходилось несколько сажен бежать сзади и подталкивать их в спину. Утопить их тоже было трудненько. Терек слишком далеко, и если им и удавалось скатиться вниз, то для того, чтобы утонуть, нужно было порядочное пространство отмахать пешком. Или, может быть, Тамара сама волокла их по камням? Работа нелегкая.

Моя спутница даже вздохнула по этому поводу:

— *Tout n'est pas rose dans le métier!*²

И потом, обратившись к ямщику, полюбопытствовала:

¹ Манеры вести себя (*фр*)

² У каждой розы есть свое ремесло! (*Фр*.)

— Скажи, любезный, что же она, действительно... женщина была?..

Дорога снова круто поворачивает, и снова тоненький, хрупкий мостик робко перекидывается через поток.

Он весь звенит и дрожит, словно от страха, словно хочет сказать нам: «Уж не знаю, доведу ли я вас до того берега...».

— Ямщик, — спрашивает моя спутница, — а где же мы будем ночевать?

— Да уж нужно до Казбека добраться, а завтра рано утром выедем и к обеду в Млетах будем.

* * *

Млеты — конечный пункт нашего путешествия. Далее, как нам говорили, горы уже не так красивы и после Дарьяльского ущелья представляют мало интересного. Из Млет мы вернемся тою же дорогой во Владикавказ.

— А хорошие ли там комнаты для ночлега? — спрашиваю я.

— Еще б те нет! На каждой станции три отделения: одно для дам, одно для мужчин и одно для генералов.

— У вас на Кавказе, голубчик, генералы, верно, третьим полом считаются?

Ямщик не отвечает. Мимо нас с грохотом, треском и трубным звуком проносится «каре́та скорби». Долго потом через клубы пыли чудятся нам какие-то сдавленные стоны, мольбы и насмешливый хохот. Меня охватывает такое настроение, будто мы увидели проклятого «летучего голландца», и раздавшиеся затем слова ямщика «гроза будет» кажутся мне прямым последствием зловещей встречи.

Начинает темнеть. Лиловые тучи медленно опускаются на широкие каменные плечи утесов и, тихо покачиваясь, прильнули к ним.

На станцию «Казбек» мы приехали поздно ночью, продрогшие и промокшие под проливным дождем.

Мы действительно нашли хорошие комнаты, удобные постели и порядочный ресторан.

В столовой уже было несколько путешественников, таких же мокрых и голодных, как мы. Около нас помещился господин с самым туземным носом и таковым же костюмом.

— Дайте мне что-нибудь, шашлык и что-нибудь, форель, — гордо приказывал он и повторял свое приказание такое бесконечное число раз, что я поняла, что это делалось не без умысла. Он, очевидно, рассчитывал произвести на нас впечатление. И кто знает, может быть, уже не одно женское сердце погублено и разбито этой властной фразой.

— Я сказал: что-нибудь, шашлык!

— Ne le regardez pas¹, — тревожно шепчет мне моя спутница. — Не забывайте, что мы на Военно-Грузинской дороге.

— А что?

— А то, что он познакомится с вами, а потом зарежет и ограбит. И очень просто!

— Так вы думаете, что здешние разбойники такого деликатного воспитания, что не станут резать даму, которой не представлены?

— Что-нибудь, форель я велел! — И нас обжигает пламенный взгляд.

— Mais détournes-vous!² Ах, Боже мой! Если бы не дыпленок, я бы ушла, — мечется на своем месте моя спутница.

— Велим подать в номер, если вы так боитесь, — решила я.

Мы встали и пошли вдоль коридора, отыскивая занятую нами комнату.

Темно. Фонарь, повешенный у входной двери, слабо мерцает вдали. Никого нет, спросить не у кого. Вдруг чьи-то шаги...

— Извэнитэ, милостивая государыня...

Голос знакомый. Мы оборачиваемся.

— Ай! C'est lui³, — вопит моя спутница. — Голубчик! У меня ничего нет! Денег нет... Я несовершеннолетняя... Я послала все дочерям... в Москву... по телефону!.. Ах, qu'est ce, que je raconte!⁴

— Извэните, милостивая государыня, — спокойно продолжал незнакомец, обращаясь ко мне. — Вы не мармозель Баринская из Киева?

¹ Не смотрите на него (фр.).

² Да отвернитесь же! (фр.)

³ Это он (фр.).

⁴ Что я несу! (фр.)

«Эге! — подумала я. — Понимаю твою военно-грузинскую хитрость. Просто познакомиться хочешь... Ладно же!»

— Совершенно верно. Я мармазель Баринская из Киева.

Несколько мгновений испуганного молчания. Затем удивленно-радостный возглас:

— Нэ правду, врощь! Она брунетка!..

Подошел слуга со свечой и провел нас в нашу комнату. Восточный незнакомец так и остался с раскрытым ртом и расставленными руками. Я не уверена, что он не стоит там до сих пор...

По распоряжению ямщика нас разбудили в пять часов утра. Алые лучи только что проснувшегося солнца весело и дерзко били в окошко.

— Скажите вашему ямщику, что я ему не раба! Когда захочу, тогда и встану! — хриплым, сирым голосом ворчала моя спутница.

— Софья Ивановна, — робко убеждаю я, — ведь мы ничего не увидим, если мы выедем поздно.

Молчание. Затем легкий храп.

Проходит полчаса.

— Ямщик скучает, — раздается тягучий голос за дверью. — Лошади поданы.

Делать нечего. Софья Ивановна медленно принимается за одевание с видом приговоренного к казни преступника, совершающего свой последний туалет.

Мы выходим на крыльцо. Странная неожиданная картина представляется нам: все покрыто молочно-белым туманом, покрыто до такой степени, что нам кажется, будто мы не на Кавказе, а где-нибудь в степях Екатеринославской губернии. Ни одной горы не видно. Все гладко и чисто.

— Вот так пейзаж! — ворчит моя спутница. — Стоило ехать!

— Как жаль, — вторю я. — И Казбека не увидим.

— Благодарите Бога, что хоть Терек-то видите.

Я стараюсь как-нибудь примириться с разочарованием.

— Не правда ли, какое чудное широкое шоссе! — говорю я.

— Ну уж, нашли тоже! Вот, говорят, Китайская стена. Вот что я называю шириной: двенадцать колесниц разъехаться не могут!

Я не отвечаю, и мы обе едем молча.

Туман начал алеть и таять. Робко, стыдливо, словно сдерживавшие чадру восточные красавицы, проглянули силуэты гор. Показались местами розово-серебристые вершины.

— Сегодня ночью в горах снег выпал, — говорит ямщик.

Солнце поднимается выше, посылает лучи горячее... Вот они, горы! И не такие, как вчера: они стали легкие, воздушные, чистые в девственно-белых покрывалах, словно надетых для утренней молитвы.

— Какой обман зрения, — рассуждает моя спутница. — Смотришь на гору — кажется, совсем близко, а подъедешь, видишь, что и в самом деле близко...

— Ужасно, ужасно, — машинально отвечаю я.

Посреди дороги нас ждет сюрприз. Наш сердитый спутник — Терек — внезапно поворачивает и, глухо ворча, уходит от нас направо в ущелье. А через несколько времени нас встречает другая речка — тоже бурная, но уже и как-то веселее.

— Это ихняя Рагва-река, — поясняет ямщик с непередаваемым презрением.

Мы поднимаемся все выше и выше. Скоро достигнем самого высокого пункта Военно-Грузинской дороги — Крестового перевала. Здесь часто бывают обвалы. На самых опасных местах устроены туннели, предохраняющие от падающих камней, а зимой — от сползающих сверху снеговых глыб.

Вот дорога внезапно делается вдвое уже. Слева над пропастью вбиты сваи и положены доски. Сверху навис огромный расколовшийся камень. Сбоку у дороги прибит флаг.

Ямщик остановил лошадей и стал благодушествовать, согоня мух с лошадиных хвостов.

— Что это за место, голубчик? — спрашиваю я. — Зачем здесь доска?

— А тут недавно скала сверху упала, — отвечает он, ласково улыбаясь. — Да вон полшаши отколотило. Все туда вниз полетело.

Мы начинаем чувствовать себя скверно.

— А флаг здесь зачем?

— А просто для обозначения опасного места. Чтоб, значит, проезжали скорей, что ли.

— Так зачем же ты остановился, несчастный!

— А мы и всегда так. Чтоб лошади передохнули. Потому здесь, значит, ровно полдороги будет.

Моя спутница произносит скороговоркой несколько удивительных слов, заключающих в себе одновременно и краткое определение умственных способностей нашего возницы, и какие-то загадочные обещания по его адресу.

Он как будто только этого и ждал и, с большим интересом выслушав ее, дернул вожжи и погнал лошадей.

IV

Вот и Крестовый перевал. Справа — отвесная скала, слева — пропасть. На дне ее весело серебрится и вьется измятою лентой «ихняя» Арагва. Мы поднялись так высоко, что до нас даже не долетает шум. Кое-где по склонам мелькают маленькие селения. Видно, как ползают по горам крошки люди, собирая траву для своих стад.

Немного ниже нас, над обрывом проносится стая птиц и, смешно поджав крылья, ныряет и кувыркается в воздухе. Им просторно, свободно, они высоко над землей. Мы еще выше их, но на земле. Нам тесно, и мы лепимся около отвесной стены.

— Обидно за человека, — соглашается со мною моя спутница. — И несправедливо со стороны природы отдавать птице такой преферанс.

Скоро приедем во Млеты. Начинают попадаться навстречу местные жители в телегах самой невероятной конструкции: две плетеные стенки, очень высокие, поставлены на колеса параллельно друг другу. Пролезть между этими стенками может только очень отощавший человек, и то боком. Влезают туда, вероятно, подставляя лестницы, а для того, чтобы попасть на землю, приходится, должно быть, переворачивать затейливый экипаж вверх колесами и вытряхивать пассажиров.

— Ямщик, — говорит Софья Ивановна, — как ты те горы называл, что около Владикавказа?

— Данаурские, а потом Дарьяльские, а это вон Крестовый перевал.

— Гм!.. А которые считаются самые красивые?

Ямщик на минуту задумывается.

— Нет, тут лучше. Там и лошадей попоить негде.

— Да он ровно ничего не понимает! — удивляется, обращаясь ко мне, Софья Ивановна.

— Вы уж слишком к нему требовательны, — заступаюсь я. — Вы хотите, чтобы он был и географом, и историком, и эстетом, и даже светским *causeur*¹.

За Крестовым перевалом мы снова спускаемся. Вся придорожная сторона горы испещрена увековеченными на ней фамилиями туристов. Многие надписи сделаны положительно с опасностью для жизни. Вон над самой пропастью выведено аршинными буквами «Па-по», затем два добросовестно выписанных переносных знака и внизу «фъ». Затем мелькают разные «Манечки», «Шурочки», «Пети», реклама велосипедной фирмы и вдруг умиливший мою душу корявый, с лихими выкрутасами «Пыфнутьев с семейством».

Милый, милый Пыфнутьев! Ты хороший семьянин и, верно, добрый человек. Как жаль, что твое сердце тоже грызет маленькая мышка честолубия. И в угоду ей пришлось тебе лезть на скалу и, пока «смейство» твое пицало в коляске от восторга и страха, размалевывать мелом выкрутасы ради бессмертия имени своего...

А теперь, где-нибудь в далеком Кологриве, распивая чай с мармеладами, вспоминаешь о Военно-Грузинской дороге и пугаешь величием подвига своего какого-нибудь доверчивого бакалейщика.

«Да, мила голова, не легко было писать-то. Скалы-то треща-ат... Облака-то вокруг головы ффр... ффр... прямо в уши лезут... Как жив остался — не знаю!..»

В Млетах мы едим «что-нибудь, шашлык» и выходим погулять, пока отдыхают лошади. Млеты — селение большое, на самом берегу Арагвы. К воде, впрочем, подойти очень трудно; нужно пройти большое пространство, заваленное острыми камнями, крупными и мелкими, которые вертятся под ногами, ломают каблуки и заставляют приплясывать от боли, врезываясь в башмаки.

Черномазые, грязные ребятишки сидят между камнями и пекут свои круглые, как картошки, головенки на солнце. Я пробую завести сношения с туземцами и подхожу к тоненькой девочке с кудрями, напоминающими шерсть коричневой козы.

¹ Собеседником (*фр.*).

— Скажи, милая, как лучше пройти к реке?

Девочка молчит.

— К Арагве... к Арагве — понимаешь? — делаю я выразительные жесты. Девочка все молчит и смотрит на меня с тихим ужасом, как святой Себастьян на своих палачей...

Тогда я стараюсь припомнить грузинские слова, но так как ни одного никогда не слышала, то старания мои ни к чему не ведут. Вспомнила только две грузинские фамилии.

— Девочка, девочка. Бибилосвили, Амарели, Арагва?

Слова подействовали. Девочка вскрикнула: «Кахейтис!» — и, подобрав рубашонку, стремительно пустилась бежать.

«Не беда, — думаю я. — Все-таки теперь одним словом больше знаю».

— Эй, мальчик! Бибилосвили, Амарели, Кахейтис, Арагва.

Я старалась говорить так, чтобы мои слова звучали, как будто я спрашиваю: «Как ближе пройти к Арагве?»

Но мальчишка не понял меня и убежал прочь, а другой, поменьше, закрыл лицо руками и горько заплакал.

— Mais finissez!¹ — урезонила меня Софья Ивановна. — Может быть, скверная девчонка просто выбранилась, убегая, а вы повторяете это слово и наживаете себе врагов среди туземцев.

Когда мы вернулись на станцию, там уже сидели новые туристы. Папаша и мамаша мирно кушали цыпленка, а дочка занималась легким горным флиртом с молодым человеком в узкой и высокой мерлушковой шапке.

— Я перс, персиян, — говорил флиртер ломаным языком. — Мы народ не такой, как вы народ. У нас справа налево пишут.

— Скажите! — любезно удивлялась барышня. — А читают как? Тоже справа или наоборот?..

* * *

Выезжаем мы из Млет уже под вечер. На вопрос, где будем ночевать, ямщик говорит какое-то слово, среднее между «пеньюар» и «будуар». Мы переспросили два раза и, ничего не поняв, успокоились...

¹ Перестаньте! (Фр.)

Ночь надвигалась холодная, туманная. Луны еще не было видно, но далекие вершины гор, чистые, обнаженные, уже купались в ее голубом сиянии. При взгляде на них делалось как-то еще холоднее. Мы закутались в пледы, попросили ямщика поднять верх и, закрыв глаза, мечтали вслух о теплой комнате и чашке горячего чая.

По приезде на станцию нас постигло разочарование. Отдельных комнат не было, общие были заняты пассажирами, прибывшими раньше нас. К нашим услугам был только узенький кожаный диван, набитый, судя по эластичности, камнями Арагвы, причем, вероятно, тщательно выбирались наиболее острые. К стене — скат, посередине — провал, из недр которого прямо на зрителя вылезает большой гвоздь острием вверх.

Таково было ложе, уготованное для нас, ложе, которому бы позавидовал сам Прокруст.

— Нет, воля ваша, а я прямо скажу ямщику, что в его «будуаре» ночевать не желаю. Доедем до Казбека, здесь недалеко, — решила моя спутница.

Но переговоры с ямщиком не привели ни к чему. Лошади устали, и дальше ехать нельзя.

Мы снова вернулись в общую дамскую и долго ходили, приплясывая, чтобы отогреть ноги. Софья Ивановна, размахивая зонтиком, как индеец томагавком, исполнила даже с неожиданной грацией какой-то замысловатый танец. Затем мы уселись рядом на прокрустово ложе и стали с завистью смотреть в сторону широкой кровати, откуда из-под груды одеял свешивалась чудовищных размеров нога. Мне даже показалось, что нога эта отрублена и похищена с конной статуи Петра Великого. К довершению сходства на ней была бронзовая туфля...

В дверь тихо постучали.

Я вышла в коридор и увидела мужика с всклокоченной бородой. Он прятался за дверь и неистово ворочал глазами.

— Что тебе, голубчик?..

Сдавленный хриплый шепот, шепот шекспировского заговорщика-убийцы отвечал мне:

— Ямщик ваш сказывал... ехать хотите. Я довезу... Единым духом, и комар носа не подточит.

— Да ты кто же такой? — тревожно недоумеваю я.

Он наклонился ко мне так близко, что нос его, напоминающий прошлогоднюю, уже начавшую прорастать картофелину, приходится под полями моей шляпы:

— Ямщик я... Только молчок! Чтoб без ябеды... Четверка коней. Вещи потихоньку вынесу, и комар носа не подточит.

Я вернулась в комнату, и мы несколько минут совещались с Софьей Ивановной.

— Уж очень он какой-то... странный, — беспокоилась я.

— Ах, пустяки! Человек как человек. Просто немножко нервный.

* * *

Софье Ивановне очень хотелось ехать, и мы решили вверить свою судьбу нервному ямщику.

Он забрал наши вещи и повел нас какими-то окольными путями. Вел долго через какие-то заборы и канавы и все время нервничал. Поминутно оборачивался на нас, останавливался, прислушивался, строго цыкнул на мою спутницу, когда та, взглянув на Терек, воскликнула «феерично!», и молча погрозил мне пальцем, когда я споткнулась.

Наконец мы вышли на дорогу, где действительно ожидала нас коляска, запряженная четверкой.

— Единым духом! — хрипел ямщик, влезая на козлы. — Завтра утром ваш-то приедет за вами...

Мы тронулись. Лошади бежали лениво, медленно. Холод был сырой и пронизывающий. Временами я слышала, как моя соседка стучит зубами, словно собака, которая зевнула. Я закуталась, насколько могла лучше, и пробовала заснуть, но ямщик не давал покоя. Ежеминутно просовывалась его голова под верх нашей коляски. Я видела круглые сверкающие белки, слышала прерывистое дыхание и сдавленный шепот:

— На отчаянность иду! Ежели кто теперь, да с этаким делом...

— Господи! — вся дрожит Софья Ивановна. — Да ведь он и правда сумасшедший. Что он говорит — ничего не понимаю!

— Да как же он тогда может быть ямщиком? Его бы не держали на месте, если бы он был сумасшедший.

— А кто вам поручится, что он ямщик? — чуть не плачет она. — Купил себе лошадей и коляску; ведь между ними тоже богатые бывают, между сумасшедшими-то... Купил и возит по полям людей... Мании разные бывают...

— Так как же нам быть?

— По-моему, выпрыгнем потихоньку и спрячемся в горах... Может быть, кто-нибудь подберет нас утром... Все лучше, чем быть под властью сумасшедшего.

— Тпрру!

— Ай, что такое? Зачем он остановил лошадей?

Мы действительно стоим на месте. Перед самым лицом моим ворочаются страшные белки.

— Вылезайте скорее! Тутотка за откосом постоит... О, Господи!

— Голубчик! — вопит Софья Ивановна. — Боже мой! У него острый припадок!.. Голубчик, не убивай нас... Мы... мы тоже сумасшедшие... Я понимаю, что тебе нездоровится.. Ах! mourir si jeune!..¹ Ты поправишься... специалисты... доктора-психопаты...

— Скорей выходите! Ох, отчаянность моя! — убеждает нас трагический хрип. — За поворотом хозяйские лошади видны... Погуляйте по дорожке-то, а я быдто порожнем... быдто порожнем...

Делать ничего не оставалось. Мы вылезли и спрятались за камень. Через несколько минут мимо проехал экипаж. Затем наш ямщик разыскал нас и пригласил ехать дальше.

— Все равно, здесь ли убьешь, в коляске ли... — пролепетала Софья Ивановна, и мы покорно последовали за нашим палачом.

Отчаяние придает храбрости.

— Голубчик, — рискнула я, — чего ты все так пугаешься! Ты больной?

— Не-ет... Штрафу боюсь, барыня. Потому я обратный ямщик.. У нас обратный закон порожнем ехать...

— Ах, подлый! — радостно возмущается Софья Ивановна. — Да как же ты смеешь, не предупредив, делать нас соучастницами твоих проказ? А?

¹ Умереть молодым! (Фр.)

— Единым духом! — оправдывается ямщик, и мы едем немного успокоенные...

* * *

Под моей головой локоть Софьи Ивановны. Это ничего. Немножко больно, но я утешаюсь мыслью, что ее локтю от моей головы еще больнее.

Так сладко дремлется.

Снится, что мы уже приехали и ложимся спать в чистые мягкие постели, где так тепло и спокойно и, главное, — совсем не трясет.

Тут вдруг я начинаю чувствовать, что и правда совершенно не трясет.

— Qu'est ce que c'est?¹ — пищит голос Софьи Ивановны. — Ведь мы опять стоим?

Я очнулась. Мы действительно стояли среди дороги. Вдали мелькал огонек — верно, станция близко. Ямщик вертелся около лошадей и поправлял какие-то ремешки.

— Что у тебя там оборвалось? — спрашиваю я. — Уж вези скорее, и так три часа шестнадцать верст едем.

Ямщик подошел и сострадательно покачал головой.

— Нет уж, барыня, дальше мне вас везти несподручно. Вишь на станции огонь... Стало, не спят, стало, увидят, стало, меня по шапке...

— Так не ночевать же нам здесь!

— Нет — зачем ночевать! Кто ж говорит, что ночевать. Это нехорошо — на дороге ночевать. Вы себе пойдите на станцию, тут и полверсты не будет, я потом потихоньку подъеду, порожнем, значит.

— Как — порожнем? — возмущаюсь я. — А вещи-то?

— А вещи уж вам с собою прихватить надо, потому мне с вещами нельзя. Потому у нас обратный закон порожнем ехать.

— Да где же нам дотащить столько вещей! Ты с ума сошел!

Мы чуть не плачем. Ямщик с самым добродушным видом выгружает вещи на шоссе.

— Э, плевое дело! Разве это тяжелые вещи! Два чемоданишка, да корзинишка, да два одеялишка, да две подушонки,

¹ Что такое? (Фр.)

да этот свертышек, да картоночка... Вот вчерась обратным законом господина вез, так тот два сундука большущих целую версту по шашё волок. Веревочкой за ушко зацепил...

— Что же ты нам раньше не сказал! Разве бы мы на такую муку пошли, — стонала Софья Ивановна, подбирая подушки и навьючивая на себя одеяло.

— Да кто ж их знал, что они так поздно огни не загасят. Никогда не бывало... Всегда свезу, и комар носа не подточит...

Увы! Это был, вероятно, единственный в мире случай, когда комар подточил свой нос! До сих пор, по крайней мере, никому не случилось видеть, чтоб он его подтачивал. Никогда! А тут вот взял да и подточил!

Мы долго навьючивали на себя тяжести, от которых с негодованием отказался бы самый завалиющий верблюд, и тронулись в путь.

У меня на голове была подушка, на плечах одеяло, в правой руке чемодан, под мышкой зонтик, в зубах картонка, в левой руке сверток, из которого все время что-то сыпалось. Но этим последним обстоятельством я не огорчалась нисколько; я делала вид, что ничего не замечаю, и втайне злорадовалась: сверток принадлежал Софье Ивановне и был бесчестно подсунут ею мне сверх комплекта.

Спутница моя, навьюченная и задыхавшаяся, едва брела за мною.

— J'etouffe¹. Милочка, что это, как будто моя зубная щеточка лежит на дороге? — тревожно говорит она.

— Пустяки, какая там щеточка! Просто камень! Здесь попадаются камни очень странной формы.

— Ах, милочка, J'etouffe!.. А вот как будто моя мыльница!.. И даже блестит...

— Ах, да полно! Говорят вам, что здесь странные камни... — и я зловеще потрясаю ее значительно облегченным свертком...

— Где же ваши лошади? — подозрительно осматривает нас на станции отворивший двери сторож.

— J'etouffe, — отвечает Софья Ивановна и горько плачет. Я молча махнула рукой.

¹ Я задыхаюсь (фр.).

V

Мы уже далеко отъехали от станции, но в окно вагона еще видны были розовато-перламутровые вершины гор.

Софья Ивановна расстелила на коленях бумажку, чтоб не запачкать платья, и, всхлипывая от удовольствия, поела купленные во Владикавказе персики.

Чтобы подчеркнуть животную низменность ее поведения, я встала в позу и начала приветствовать горы, размахивая в окошко носовым платком.

— Милые горы! — восклицала я, косясь на Софью Ивановну. — Прощайте! Я люблю вас и вернусь к вам, но уже одна! Люблю вас за то, что вы не позволяете человеку залезать слишком высоко с его больницами и ресторанами, что всегда есть у вас наготове хороший увесистый камушек, которым вы можете угостить по темечку слишком далеко забравшегося нахала. Милые горы! Будьте всегда такими и, главное, прошу вас, никогда не ходите на зов Магометов, потому что...

Но мне так и не удалось сказать моей главной философской мысли, из-за которой я, собственно говоря, и в позу-то встала! Пришел кондуктор и потребовал наши билеты. Моего билета не оказалось ни в портмоне, ни под скамейкой.

Я до сих пор вполне уверена, что Софья Ивановна съела его вместе с персиками, а она кричала, что я сама его выкинула, «когда вытряхала платок в окошко».

«Вытряхала платок»!

Как глупо путешествовать с людьми, которые вас не понимают и не ценят!

«Предпраздничное»

I

Предрождественское настроение определеннее всего выражается в оживлении Гостиного двора.

В окнах — заманчивая выставка материй, кружев, лент, и всюду коротенькие, но красноречивые объявления:

«Специально для подарков».

Если вы войдете в магазин и спросите какую-нибудь материю, приказчик предупредительно осведомится:

— Для вас прикажете или для подарков?

И, узнав, что для подарков, будет предлагать совсем особого качества товар.

Дело не так просто, как вы, может быть, думаете.

Товар этот изготовлен на самой тонкой психологии.

За выработкой материала наблюдают специалисты, знатоки души человеческой.

Для подарка — значит, нужно, чтобы было красиво и имело вид дорогого, потому что нужно вызвать в «одаряемом» радость и благодарность.

Для подарка — значит, не для себя, значит, платить хочется подешевле, и забота о доброкачественности покупаемого отсутствует вполне.

Итак, основой для приготовления рождественских подарков берется основа человеческих отношений: поменьше заплатить — побольше получить.

«Куплю для бонны этой дряни в крапинках, — думает барыня, ощупывая материю. — С виду оно будто атлас. Все равно не разберет; я скажу, что такой шелк... Она рада будет, поможет Манечке платице сшить».

«Для тетеньки куплю этой полосатой, — думает другая. — Господи! Прямо по нитке лезет. Ну, да ничего, она все равно после праздников уедет, при мне шить не станет».

— Вам для прислуги? — спрашивает приказчик.

И, получив утвердительный ответ, справляется о подробностях:

— Они кухарка? Для кухарок предпочтительнее всего коричневое бордо с желтой горошиной. Клетка для кухарки тоже хороша. Особливо с красным. Потому цвет лица у кухарок пылкий и требует оживления в кофтах.

— Для нянюшки? Для нянюшки солидное с мелким цветком, кардинал-эстрагон, лиловое с мильфлером...

— Для горнишен веселенькое под шелк, с ажурчиком под брокер...

— Для гуверняnek-с вот это, под мужской жилет, под рытый бархат, под ватерлоо...

— А вот для вас лично могу рекомендовать последние новости: аэроплан в полосочку, пропеллер с начесом, решительный с ворсом, вуазен в клетку, фарман с мелкими дырочками, международная-двуличная, хорошо для стирки... Мальчик! Поддай стул барыне — оне на ногах качаются!

Кроме материй есть еще специальные вещицы для подарков.

Странные вещицы!

Продаются они обыкновенно в парфюмерных или писчебумажных магазинах.

Форма их самая разнообразная.

Материал тоже.

Бывают они и из фарфора, и из металла, и из всяких шелковых тряпочек, но что они изображают и для чего предназначаются — никто не знает...

— Скажите, пожалуйста, что это за штука? — робко спрашиваете вы у продавщицы.

— Это? — недоумевает она. — Это...

И она произносит несколько свистящих и шипящих.

— А-а! — притворяетесь вы, что поняли. — Странно, что я сразу не узнал. А... собственно говоря, для чего она?

Новое недоумение и ответ.

— Для подарков.

— Ах да! А сколько стоит?

— Четыре с полтиной. А поменьше и без бронзы — три.

Вас начинает притягивать к загадочной вещице какое-то странное тупое любопытство. Вы покупаете ее и много дней придумываете, кому подарить. Наконец жертва выбрана.

— Прелестная вещица, — мечтательно благодарит она вас. — Это, верно, для перьев.

— То есть... гм... Ну да, конечно, для перьев.

— Странно... А я думал, что это для снятия сапог, — вставляет свое слово старый дядюшка-провинциал.

— Нет, это скорее всего для штопанья чулок, — говорит тетка. — Видишь, оно вроде гриба...

— А мне кажется, его нужно вешать на лампу....

— Нет, это подчашник... Чего вы смеетесь? Ведь бывают же подстаканники, так почему же...

Барышни шепчут что-то друг другу на ухо и, густо покраснев, смеются до слез.

— Неплавада! — говорит толстый маленький мальчик. — Я знаю, что это: это наушник для зайца...

Потом начинают говорить о предполагаемом пикнике, на который вас не приглашают...

II

Вопрос о том, как украсить елку и что на нее повесить, решен давно, может быть, целое столетие тому назад.

Каждый знает, что именно нужно покупать.

На самую верхушку — звезду. Вешается она специально для дам-писательниц, чтобы дать им сюжет о бедном мальчике, которому бабушка обещала показать звездочку, но надула. Мальчик умрет, а бабушка исправится и перестанет говорить надвое.

На нижние ветки подвешивается всякая дрянь — там никому, кроме самых маленьких детей, ничего не видно.

А самые маленькие дети, если и поймут, что под елкой висит дрянь, все равно рассказать об этом не сумеют, потому что их не учили гадким словам.

Чуть-чуть повыше вешаются маленькие каменные яблоки, рекомендованные торговцами специально для елок.

— Действительно, — говорят они, — мала штучка, а вот поди-ка раскуси!

Самый лучший, отборный ряд украшений вешается не ниже двухаршинного расстояния от пола. Здесь маленькие дети не достанут, а большим все хорошо видно.

Здесь помещаются бонбоньерки подороже и разные вещицы, дающие хозяевам возможность показать свое остроумие.

— Этот башмачок для Александра Алексеевича, — решает хозяйка. — Я ему подам его и скажу: «Вот под этим предметом желаю вам находиться».

— А эту скрипочку Осипу Сергеевичу: «Пусть все под нее пляшут».

— Что-о? Ничего не понимаю, — удивляется муж.

— Очень просто: желаю, чтобы все плясали под его дудку.

— Так ведь это же не дудка, а скрипка...

— Как глупо! Не все ли равно. Лишь бы был инструмент...

— А эта свинья с золотом для кого?

— Это для папашки...

— Гм... А он не обидится?

— Ты с ума сошел! Это самая счастливая эмблема...

Повыше вешаются орехи, бусы и вещи, которые жалко дарить чужим детям.

— Хорошо, милочка, этот зайчик достанется тебе. Ты напомни, когда будешь уезжать. А теперь, видишь, мне не достать...

* * *

Таков порядок, освященный веками...

И всякая хозяйка дома, получившая приличное воспитание (неприличное, впрочем, кажется, никому и не дается), справится с этим делом без особого труда.

Гораздо труднее решить вопрос о том, что класть под елку, что выбирать для подарков.

Прежде всего обращается внимание на так называемые «практичные подарки».

Их иногда даже выписывают из Варшавы.

— Вот, Наденька, — говорит муж, — нужно раздобыть для Мишеля этот приборчик. Называется: «Каждый сам себе позолотчик». Прилагаются разные кисточки, лаки, золотой порошок. Ему понравится. Он ведь любит пачкать все, что под руку попадается.

— А для Аркадия Веняминовича вот это. Слушай: «Каждый сам себе сифон». Видишь, вот эту трубочку воткнуть в пробку...

— А Сереже можно просто подарить твою пепельницу с круглого стола. Скажем, что это новость, что это «Каждый сам себе пепельница».

Затем подбираются подарки ехидно-мстительного характера.

Для старой девы — амур с розгой, для домовладельца — заводной трамвайчик, для вегетарианца — картонная котлетка.

Выбираются вещи все самые обидные, и на совет приглашается старая гувернантка только потому, что у нее скверный характер.

* * *

Наконец доходит очередь и до детей.

Маленьким мальчикам по настоянию приказчиков приобретаются деревянные ружья, из которых они на другой же день запаливают пробкой в лоб своему грудному братцу, и разные рожки и трубы, в которые им запретят трубить.

Для детей самого беззащитного возраста (от года до двух) рекомендуются игрушки, которые нельзя брать в руку потому, что они выкрашены ядовитой краской, и конфетки, которых нельзя есть потому, что они изготовлены на салициле, сахарине, глицерине, стрихнине, трихине и прочих растительных и животных ядах.

Для ребят дошкольного возраста лучше всего покупать книжки с картинками.

Между ними бывают такие (я говорю о книжках с картинками), которые могли бы не без пользы прочесть и люди солидного возраста.

Я помню, мне рекомендовал приказчик книжного магазина для девочки семи лет: «Сластолюбивая Соня».

Глубоко нравственная история начиналась следующими словами:

«Маленькая Соня была очень сластолюбива. Однажды она съела все вишневое варенье, которое с трудом и заботами сварила для своих друзей ее добрая мать».

В конце рассказа маленькая Соня строго наказана за свое сластолюбие, и дети-читатели убеждаются раз навсегда, что сластолюбивыми быть невыгодно.

В большом ходу также переводные немецкие книжки. На русских детей они действуют несколько двусмысленно.

Есть, например, рассказ про маленького Фрица, сделавшего тысячи добрых дел, которые были бы не под силу самому всесовершенному Будде. В конце рассказа маленький Фриц идет по улице, и все прохожие, смотря на него, говорят: «Вот идет наш добрый маленький Фриц». Только и всего!

Прочтя этот рассказ, русские дети убеждаются, что добрые дела вознаграждаются очень плохо, и стараются впредь сдерживать свои сердечные порывы.

Есть еще очень поучительный рассказ про маленького Генриха, который вел себя очень скверно и был в наказание оставлен без обеда. И «в то время как сестры и братья его ели вкусные говяжьи соусы, он принужден был довольствоваться печеным яблоком и чашкой шоколада!!».

Книга эта производит на русских детей самое развращающее действие. Я знаю двоих, которые прямо взбесились, добиваясь счастья есть печеные яблоки и пить шоколад вместо скверных говяжьих соусов.

Безнравственная книга!

Мы-то, взрослые, давно знаем, что добродетель питается говяжьими соусами, в то время как разные безобразники лакомятся шоколадом, но зачем же открывать глаза детям? Задача педагогики — как можно дольше сохранять в детях их невинную бессмысленность, чтобы из них могли вырабатываться сознательные люди только к тридцати годам. Иначе, подумайте, что бы было! Кого бы мы тогда эксплуатировали? На ком бы выезжали?

Нет, господа! Берегитесь вредных книжек, лишаящих наших детей их очаровательной незащитности!

Дачный разъезд

Первыми, конечно, приезжают к поезду дамы с детьми. Вторыми — дамы без детей, одинокие. Третий транспорт — дамы с мужьями. Четвертый, и последний, — мужья одни.

Детные дамы забираются на вокзал так рано, что носильщик долго не может взять в толк, на какой именно поезд они хотят попасть: на утренний, дневной или вечерний. Сплошь и рядом оказывается, что хотят на завтрашний вечерний.

Одинокие дамы долго томятся, пишут открытки и ходят на телеграф. Железнодорожные воры пользуются этим моментом, чтобы облегчить дамский багаж на пару-другую чемоданов и картонок.

Дамы, приезжающие с мужьями, прямо и спешно направляются в буфет, точно для того и выбрались из дому, чтобы поесть, а путешествие — просто приличный предлог.

Едят долго, вдумчиво. Пьют и снова едят, пока не подойдет носильщик и не напомнит, что пора занимать места.

После третьего звонка, в жуткий последний момент, протекающий между свистком кондуктора и ответным гудением локомотива, на платформу вбегает врассыпную испуганная толпа мужчин.

Они бегут, странно подгибая колени, точно боятся растряссти голову. Нигде, кроме вокзала после третьего звонка, не увидите вы подобной походки, вернее — побежки.

Глаза выпученные, рот рыбий, задышающийся.

Тут же среди них бегут и носильщики с чемоданами.

Чемоданы швыряются прямо в окна, пассажиров втаскивают в последний вагон. Носильщики бегут рядом с уходящим поездом в ожидании вознаграждения.

Эти последние пассажиры — одинокие мужья, находящие особым шиком приезжать к третьему звонку.

— Это, мать моя, называется: по-европейски.

Порядочный мужчина, путешествующий один, никогда не позволит себе приехать вовремя на вокзал. Это у них считается страшно неприлично. Не по-европейски.

— О, Гос-с-с-поди! — вопит европеец, несясь галопом по дебаркадеру. — Ой, сердце лопнет!

И долго потом сидит, отдуваясь, и с ужасом вспоминает, как бежал и что по дороге растерял.

* * *

Думаю, что теперь было бы вполне своевременно дать несколько советов провожающим и уезжающим, которых провожают.

Конечно, самое лучшее для провожающего — это опоздать к отходу поезда.

Можно даже для удобства переждать где-нибудь за колонной, а как только поезд тронется, выбежать и с жестами безграничного отчаяния махать издали букетом и коробкой конфет.

Конфеты, из экономии, можно даже сделать фальшивыми (как Раскольников делал фальшивый заклад). Просто завернуть в бумагу кирпич или пустую коробку, обвязать крест-накрест ленточкой — и готово.

Цветы можно взять напрокат. Скажите, что вы тенор и сегодня ваш бенефис.

Если же не удастся раздобыть, то, делать нечего, — купите. Зато в тот же вечер можете поднести их той, которая не уехала. Недаром говорят французы:

— *Les absents ont toujours tort*¹.

Главное — побольше отчаяния. Прижимайте руку к сердцу, трясите вашим букетом. Только не бегите к вагону, — а то еще, чего доброго, успеете добежать.

Делайте вид, что вы окончательно растерялись от своей неудачи.

Если же вы слишком добросовестный человек или просто плохой актер и пришли на вокзал вовремя с истинной коробкой конфет, то помните, что провожающим отпущено от Господа Бога всего три фразы:

1) Напишите, хорошо ли доехали.

2) Просто «пишите».

3) Кланяйтесь вашим (или нашим, в зависимости от того, куда провожаемый едет).

Многие неосмотрительные люди выпаливают все три фразы зараз, и потом им уж совершенно ничего не остается делать. Они томятся, смотрят на часы, что в высшей степени невежливо, шлепают ладонью по вагону, что довольно глупо, и оживляются при третьем звонке до неприличия.

Нужно держать себя корректно. К чему расточать все свои сокровища сразу, когда можно пользоваться ими осмотрительно, на радость себе и другим.

Так, сразу после второго звонка вы можете позволить себе сказать первую фразу:

— Напишите, хорошо ли доехали!

После третьего звонка:

— Кланяйтесь вашим-нашим!

¹ Отсутствующие всегда не правы (*фр.*)

И только когда поезд тронется, вы должны сделать вид, что спохватились, и, кинувшись вслед за вагоном, завопить с идиотским видом:

— Пишите! Пишите! Пишите!

Следуя этим указаниям, вы всегда будете чувствовать себя джентльменом, и вас будут считать очаровательным, если вы даже, пользуясь суматохой, сделаете вид, что забыли вручить конфеты по назначению.

Теперь советы для провожаемых.

Забирайтесь на вокзал пораньше и засядьте в вагоне. Пусть провожающие рыскают по вокзалу и ругаются, ища вас. Это их немножечко оживит и придаст блеск их глазам.

Когда увидите в их руках цветы или коробку, немедленно протяните к ним руку, укоризненно качая головой:

— Ай-ай! Ну, к чему это! Зачем же вы беспокоились? Мне, право, так совестно.

Если же провожающие разыщут вас слишком рано и надоедят своими напряженными лицами, скажите, что вам нужно на телеграф, а кондуктора попросите запереть пока что ваше купе.

Если среди провожающих находится человек, вам исключительно неприятный, не давайте ему времени покрасоваться своей находчивостью и попросить вас писать и кланяться. Забегите вперед и, как только увидите его, начните кричать еще издали:

— А я вам буду писать с дороги и поклонюсь от вас нашим-вашим. Да и вообще буду писать.

Тут он сразу весь облетит, как одуванчик от порыва ветра, и будет стоять обиженный и глупый, на радость вам.

Если у вас есть собака, дайте ему подержать вашу собаку. Это очень сердит людей. Потому что обращаться с собакой при ее хозяйке ужасно трудно. Многие делают вид, что относятся к ней, как к вашему ребенку, — любовно и покровительственно и с тихим любованием. Это выходит особенно глупо, когда собака начинает тявкать.

Если у вас собаки нет, то пошлите ненавистного после третьего звонка купить вам книжку на дорогу. Он будет бежать за поездом, как заяц, а вы в окошко укоризненно качайте головой, как будто он же еще и виноват.

В самый последний момент, когда вы уже немножко отъехали и провожающие с самодовольными и удовлетворенными лицами начали отставать от вагона, высуньтесь в окно и, выдумав какое-нибудь имя, крикните:

— А такой-то (лучше имя, совершенно никому не знакомое) поехал меня провожать в Гатчину.

Это выходит очень эффектно. И весь вагон может полюбоваться на злобное недоумение ваших друзей.

А вы улыбайтесь и бросайте им цветочки на память. И кричите прямо в их ошалелые глаза:

— Пишите! Пишите! Пишите!

На этом ритуал кончается.

«Tanglefoot»¹

Когда после летнего отдыха возвращаешься в город, всегда испытываешь смутную, дразнящую тревогу: вот мы столько времени проболтались даром, а ведь жизнь не ждет!

Пока мы купались и ели простоквашу, здесь небось работа кипела.

Сколько новых мыслей, трудов, событий, открытий, радостей и торжества духа!

Стыдно делается за себя, и, робко озираясь, начинаешь вводить себя в бурный поток культурной жизни. Торопишься повидать старых друзей, расспросить, разузнать.

• • •

Мы сидим в столовой.

На столе три клейких листа «Tanglefoot», два таких же листа на подоконнике, один на самоварном столике, один припилен булавкой к стене.

Всюду извиваются и жужжат мухи.

Мы беседуем с притворным интересом. Следим за мухами — с настоящим.

— Так вы, значит, все лето оставались в городе?

¹ Липкая лента от мух (*фр.*).

— Что? В городе?.. Да, все лето... Это что, а вот посмотрели бы вы, сколько у нас в кухне! Прямо взглянуть страшно!

— В кухне?

— Ну да, мух.

— У вас, кажется, много нового. В деревне, знаете, как-то мало читаешь...

— Да какие уж у нас новости? Вот мухи одолели.

— Читали мы, что у вас тут какие-то дома провалились.

— Что? Да, говорят... Смотрите: села, потом встряхнулась и улетела. Верно, скверный клей. Высох совсем. Нужно бы уж новую бумажку положить, да, знаете, интересно смотреть, когда побольше мух. Скучно над пустой бумажкой сидеть.

— А мы в газетах читали, будто вы новую пьесу задумали.

— Я? Пьесу? Ах да! Помню, что-то было в этом роде.

— Что же, подвигается работа?

— Опять полетела... Вон две зараз. Что?

— Работаете много?

— Как вам сказать?.. И рад бы работать, да некогда. Вре-
мя как-то уходит.

— Говорят, какая-то интересная выставка скоро будет? Правда это?

— Выставка? Неужели? Следовало бы переменить лист. Им вон больше и липнуть некуда.

Мы замолкли. Большая муха, прилипнув боком к бумажке, сердито жужжала. В соседней комнате тягучий старушечий голос скрипел:

— Петька, а Петька! Не тронь муху! Зачем ножки рвешь? Кабы она тебя, так небо-ось...

— Бывали вы летом в театрах, в опере?

— Н-нет, знаете ли. Трудно как-то выбраться. Жену вот брат в деревню звал с детьми, в Саратовскую губернию. Там, говорят, хорошо. Воздух чудесный, кумыс и все прочее. А может, и нет кумыса. Словом, великолепие.

— Ну, что же, ездили?

— Собственно говоря, нет. Трудно как-то. То да се. Опять-таки не знаем, когда поезда отходят.

— Так ведь можно же справиться.

— Некому у нас справляться... Времени нет. Сами видите.

— Досадно.

— Еще бы не досадно. И деньги были. Да ведь что же поделаешь? Трудно.

Он вздохнул и поник головой.

— А все-таки любопытная вещь — эти бумажки для мух. Прежде их не было; были другие, синенькие. Совсем дрянь. А отсюда уж не уйдешь. Жена сначала никак привыкнуть не могла. Все мух жалела... Вытащит, бывало, муху из клея и — ха-ха-ха — лапки ей теплой водой вымоет! Потеха! Где уж там отмыть! Иная ножки вытянет, тянется-тянется, да вдруг — бух носом в самую гущу. Ха-ха-ха! Шалишь! Не уйдешь!

— Кого видели из общих знакомых?

— Да никого, кажется. Тутъ съезжаются. Рано еще. Да и Бог с ними. Прибегут, настрекочут, — смотришь, и сам закрутился...

Провожая меня в переднюю, он с деловым видом переложил лист «Tanglefoot'a» со стола на подоконник.

— Темнеет, — объяснил он. — Теперь они больше на окно садятся. А вот как лампу зажгут, тогда можно и на стол перенести.

А в соседней комнате голос скрипел:

— Петька, а Петька! Опять ты ей крылья рвешь! Зачем мучаешь! Кабы она тебя, так небо-ось!...

Ревность

Почти каждый день найдете вы в газетах известие о том, что кто-нибудь совершил убийство из ревности. И до такой степени стало это обычным, что даже не дочитываешь до конца, — все равно знаешь наперед, что из ревности.

Да и не одно убийство! Самые разнообразные преступления и проступки объясняются ревностью.

Чтобы бороться с этим ужасным злом, французы выстроили даже специальную лечебницу для ревнивых и пользуют их с большим успехом.

Чувствуется, что не сегодня-завтра найдут микроб ревности, и тогда дело будет поставлено вполне на научных основаниях.

Да и пора.

Ревность в человечестве растет и ширится и захватывает, казалось бы, совсем не подведомственные ей учреждения.

Как вам, например, понравится такая история:

«Крестьянин Никодим Д., проживающий на Можайской улице, пришел к своей знакомой мещанке Анисье В. и стал требовать от нее денег. Когда же Анисья денег дать отказалась, крестьянин Д. из ревности перерезал ей горло».

Недаром писал Соломон: «Люта, как преисподняя, ревность!»

«Мещанин К. убил лавочника и ограбил выручку. Преступление свое объясняет ревностью».

Недавно на Николаевском вокзале арестовали известного железнодорожного вора. Пойманный как раз в ту минуту, когда тащил бумажник из кармана зазевавшегося пассажира, вор объяснил свой поступок сильной вспышкой ревности. По его словам, и все предыдущие кражи он совершал под влиянием этого грозного чувства.

Присяжные, сами в большинстве случаев люди ревнивые, всегда оправдывают преступления из ревности.

А сколько ужасов, никому не известных или известных очень немногим, причиняет супружеская ревность!

Одна молодая дама приехала весной к себе домой из Гостиного двора. Извозчик ей попался на белой лошади, которых многие избегают в весеннее время, чтобы не пачкать платье.

Муж встретил даму очень сурово и, окинув взглядом ее костюм, воскликнул со злым торжеством:

— И вы будете отрицать, что ездили на свидание!

Дама отрицала, объясняла, показывала сделанные ею покупки.

— Хорошо-с! — холодно ответил муж. — Но не будете ли вы любезны открыть мне имя старика, который линял на ваше платье?

И он указал на ключья белых лошадиных волос, прилипшие к коленям несчастной.

Пораженная неопровержимой уликой, бедная женщина тут же согласилась на развод, взяла на себя вину и обязанность выплачивать алименты пострадавшей стороне, которая с большим трудом утешилась, женившись на собственной кухарке.

Но тяжелее и хуже всех этих убийств одна тихая семейная драма, о которой из посторонних знала только я одна, и то случайно. Потом скажу, почему я об этом знаю.

Здесь речь идет о ревности, которая втерлась в душу любящей женщины, развратила ее любящего и верного мужа и разрушила долготелый союз.

Жили эти супруги очень дружно в продолжение шести лет. Срок немалый для современного чувства.

Вот как-то приехала к жене, которую назовем для удобства Марьей Ивановной (собственно говоря, для моего удобства, потому что, рассказывая о двух женщинах, из которых каждая в отдельности «она», очень легко запутаться), ее приятельница и осталась обедать.

Подружки сидели уже за столом, когда прибежал со службы муж Марьи Ивановны. Обедали, разговаривали.

Только замечает Марья Ивановна, что муж ее что-то неестественно оживлен. Она стала приглядываться.

Когда гостя ушла, Марья Ивановна сказала мужу:

— Неужели она тебе так понравилась?

— Да, она славная, — отвечал тот.

— Что же тебе в ней так понравилось?

— Да просто я в хорошем настроении. Мне сегодня обещали прибавку и отпуск.

Дело, казалось бы, естественное, но Марья Ивановна, как топкий психолог, поняла, что это просто мужской выверт, и продолжала:

— У нее чудные глаза! Не правда ли?

— Да? Не заметил. Нужно будет поглядеть.

— Что за руки! Нежные, ласковые! Так и хочется поцеловать! Правда? Я приглашу ее завтра. Хорошо?

— Хорошо, хорошо. Нужно будет посмотреть на нее внимательнее, раз ты так восхищаешься.

На другой день муж внимательно смотрел на приятельницу и часто целовал ей руки, а Марья Ивановна думала: «Ага!»

Через два дня, когда он сильно опоздал к обеду, Марья Ивановна сказала, поджимая губы:

— Ты был на набережной и гулял с Лизой.

— Что-о?!

— Пожалуйста, не притворяйся. Ты прекрасно знаешь, что она в эти часы гуляет по набережной. Конечно, тебе приятно пройтись с такой красивой женщиной, на которую все оборочиваются. Это, говорят, совсем особенное чувство.

Муж Марьи Ивановны, человек молодой и по натуре довольно увлекающийся, хотя и сдержанный, немножко призадумался. Думал он дня два, а на третий, выходя со службы, нанял извозчика прямо на набережную, разыскал там приятельницу своей жены и проводил ее домой.

— Ты, конечно, уже пригласил ее с собой в театр? — спросила его Марья Ивановна, наливая остывший суп.

Муж растерянно пожал плечами, — ему и в голову не пришло!

Но через несколько дней он уже исправил свою ошибку и повел приятельницу жены в «Фарс».

На другое утро Марья Ивановна сказала ему:

— Где вы ужинали?

Он молчал. Ему стыдно было признаться, что он не догадался пригласить свою даму в ресторан.

— Я вас спрашиваю, где вы с ней вчера ужинали? — гневно настаивала Марья Ивановна и, не дождавшись ответа, ушла, хлопнув дверью.

Целую неделю она с мужем не разговаривала.

Бедняк мучился несказанно. Он уже успел за это время побывать с приятельницей в ресторане, но совершенно не знал, что ему делать дальше. Без опытных наставлений жены он был как без рук.

«Что мне делать! Что мне делать! — думал он. — Нельзя же все гулять да ужинать! Надоест!»

На седьмой день жена сказала, презрительно поджимая губы:

— Чего же вы сегодня дома? Такая чудная погода. Везите вашу пассиву в Павловск! Целуйтесь с ней под каждым кустом! Вы думаете, я не знаю, куда вы с ней ездите? Ха-ха!

Муж схватил пальто и радостно выбежал на улицу. Теперь, слава Богу, он знал, что нужно делать.

Через неделю жена наклеила на окна билетики.

— Раз вы решили с осени жить вместе, — с достоинством объяснила она, — то я хочу вовремя сдать квартиру. Для меня одной она слишком велика.

Муж вздохнул и пошел к приятельнице. К его удивлению, та выслушала его очень сухо и даже как будто не совсем поняла, чего он хочет.

— Я вижу, — сказала она, — что вы придаете слишком серьезное значение нашему маленькому флирту. Лучше расстанемся.

Он не огорчился, а только растерялся и пошел к жене за дальнейшими указаниями.

Она и слушать его не стала.

— Я все знаю! Все! У вас мало денег, и вы требуете, чтобы я обеспечила вашу новую семью!

Он так привык слушаться ее в своих любовных делишках, что бессознательно повторил:

— Требую! Требую!

Она заплакала.

— Теперь вы на меня кинетесь с кулаками!.. За то, что я... не захочу-у-у!

— Подлая! — заорал он вдруг и, вскочив с места, стал изо всей силы трясти ее за плечи. — Подлая! Обеспечь нас всех! Всех обеспечь сейчас же!

Подруга была очень удивлена, когда узнала, что неизвестное лицо положило в банк деньги на ее имя.

У Марьи Ивановны она больше не бывала. Сама Марья Ивановна от доброй встряски точно иссякла и не могла больше обдумывать делишки своего мужа.

Оба скоро успокоились и считали, что дешево отделались от урагана страсти, чуть не разбившей их семейную жизнь.

Ревность — штука лютая. Заставит ли она убить любимого человека или женить его на сопернице, — и то и другое хлопотно и неприятно.

И если у нас построят лечебницу для ревнивых, то я чистосердечно готова приветствовать благое начинание.

* * *

P. S. Я еще забыла сказать, откуда я узнала в таких подробностях о рассказанной мною трагической истории. Очень просто: я ее сама выдумала.

Арабские сказки

Осень — время грибное.

Весна — зубное.

Осенью ходят в лес за грибами.

Весною — к дантисту за зубами.

Почему это так — не знаю, но это верно.

То есть не знаю о зубах, о грибах-то знаю. Но почему каждую весну вы встречаете подвязанные щеки у лиц, совершенно к этому виду неподходящих: у извозчиков, у офицеров, у кафешантанных певиц, у трамвайных кондукторов, у борцов-атлетов, у беговых лошадей, у теноров и у грудных младенцев?

Не потому ли, что, как метко выразился поэт, «выставляется первая рама» и отовсюду дует?

Во всяком случае, это не такой пустяк, как кажется, и недавно я убедилась, какое сильное впечатление оставляет в человеке это зубное время и как остро переживается самое воспоминание о нем.

Зашла я как-то к добрым старым знакомым на огонек. Застала всю семью за столом, очевидно, только что позавтракали. (Употребила здесь выражение «на огонек», потому что давно поняла, что это значит просто без приглашения, и «на огонек» можно зайти и в десять часов утра, и ночью, когда все лампы погашены.)

Все были в сборе. Мать, замужняя дочь, сын с женой, дочь-девица, влюбленный студент, внучкина бонна, гимназист и дачный знакомый.

Никогда не видела я это спокойное буржуазное семейство в таком странном состоянии. Глаза у всех горели в каком-то болезненном возбуждении, лица пошли пятнами.

Я сразу поняла, что тут что-то случилось. Иначе почему бы все были в сборе, почему сын с женой, обыкновенно приезжавшие только на минутку, сидят и волнуются.

Верно, какой-нибудь семейный скандал, и я не стала спрашивать.

Меня усадили, наскоро плеснули чаю, и все глаза устремились на хозяйского сына.

— Ну-с, я продолжаю, — сказал он.

Из-за двери выглянуло коричневое лицо с пушистой бородкой: это старая нянька слушала тоже.

— Ну, так вот, наложил он щипцы второй раз. Болища адская! Я реву как белуга, ногами дрыгаю, а он тянет. Словом, все как следует. Наконец, понимаете, вырвал...

— После тебя я расскажу, — вдруг перебивает барышня.

— И я хотел бы... Несколько слов, — говорит влюбленный студент.

— Подождите, нельзя же всем сразу, — останавливает мать.

Сын с достоинством выждал минуту и продолжал:

— ...Вырвал, взглянул на зуб, расшаркался и говорит: «Pardon, это опять не тот!» И лезет снова в рот за третьим зубом! Нет, вы подумайте! Я говорю: «Милостивый государь! Если вы...»

— Господи помилуй! — охает нянька за дверью. — Им только дай волю...

— А мне дантист говорит: «Чего вы боитесь?» — сорвался вдруг дачный знакомый. — «Есть чего бояться! Я как раз перед вами удалил одному пациенту все сорок восемь зубов!» Но я не растерялся и говорю: «Извините, почему же так много? Это, верно, был не пациент, а корова!» Ха-ха!

— И у коров не бывает, — сунулся гимназист. — Корова млекопитающая. Теперь я расскажу. В нашем классе...

— Шш! Шш! — зашипели кругом. — Не перебивай. Твоя очередь потом.

— Он обиделся, — продолжал рассказчик, — а я теперь так думаю, что он удалил пациенту десять зубов, а пациент ему самому удалил остальные!.. Ха-ха!

— Теперь я! — закричал гимназист. — Почему же я непременно позже всех?

— Это прямо бандит зубного дела! — торжествовал дачный знакомый, довольный своим рассказом.

— А я в прошлом году спросила у дантиста, долго ли его пломба продержится, — заволновалась барышня, — а он говорит: «Лет пять, да нам ведь и не нужно, чтобы зубы нас переживали». Я говорю: «Неужели же я через пять лет умру?» Удивилась ужасно. А он надулся: «Этот вопрос не имеет прямого отношения к моей специальности».

— Им только волю дай! — раззадоривается нянька за дверью.

Входит горничная, собирает посуду, но уйти не может. Останавливается как замороженная с подносом в руках. Краснеет и бледнеет. Видно, что и ей много есть чего порассказать, да не смеет.

— Один мой приятель вырвал себе зуб. Ужасно было больно! — рассказал влюбленный студент.

— Нашли что рассказывать! — так и подпрыгнул гимназист. — Очень, подумаешь, интересно! Теперь я! У нас в кла...

— Мой брат хотел рвать зуб, — начала бонна. — Ему советуют, что напротив по лестнице живет дантист. Он пошел, позвонил. Господин дантист сам ему двери открыл. Он видит, что господин очень симпатичный, так что даже не страшно зуб рвать. Говорит господину: «Пожалуйста, прошу вас, вырвите мне зуб». Тот говорит: «Что ж, я бы с удовольствием, да только мне нечем. А очень болит?» Брат говорит: «Очень болит; рвите прямо щипцами». — «Ну, разве что щипцами!» Пошел, поискал, принес какие-то щипцы, большие. Брат рот открыл, а щипцы и не влезают. Брат и рассердился: «Какой же вы, — говорит, — дантист, когда у вас даже инструментов нет?» А тот так удивился. «Да я, — говорит, — вовсе и не дантист! Я — инженер». — «Так как же вы лезете зуб рвать, если вы инженер?» — «Да я, — говорит, — и не лезу. Вы сами ко мне пришли. Я думал, вы знаете, что я инженер, и просто по человечеству просите помощи. А я добрый, ну и...»

— А мне фершал рвал, — вдруг вдохновенно воскликнула нянька. — Этакий был подлец! Ухватил щипцом, да в одну

минутку и вырвал. Я и дыхнуть не успела. «Подавай, — говорит, — старуха, полтинник». Один раз повернул — и полтинник. «Ловко, — говорю. — Я и дыхнуть не успела!» А он мне в ответ: «Что ж вы, — говорит, — хотите, чтоб я за ваш полтинник четыре часа вас по полу за зуб волочил? Жадны вы, — говорит, — все, и довольно стыдно!»

— Ей-богу, правда! — вдруг взвизгнула горничная, нашедшая, что переход от няньки к ней не слишком для господ оскорбителен. — Ей-богу, все это — сушая правда. Живодеры они! Брат мой пошел зуб рвать, а дохтур ему говорит: «У тебя на этом зубе четыре корня, все переплелись и к глазу приросли. За этот зуб я меньше трех рублей взять не могу». А где нам три рубля платить? Мы люди бедные! Вот брат подумал, да и говорит: «Денег таких у меня при себе нету, а вытяни ты мне этого зуба сегодня на полтора рубля. Через месяц расчет от хозяина получу, тогда до конца дотянешь». Так ведь нет! Не согласился! Все ему сразу подавай!

— Скандал! — вдруг спохватился, взглянув на часы, дачный знакомый. — Три часа! Я на службу опоздал!

— Три? Боже мой, а нам в Царское! — вскочили сын с женой.

— Ах! Я Бэбичку не накормила! — засуетилась дочка.

И все разошлись, разгоряченные, приятно усталые.

Но я шла домой очень недовольная. Дело в том, что мне самой очень хотелось рассказать одну зубную историю. Да мне и не предложили.

«Сидят, — думаю, — своим тесным, сплоченным буржуазным кружком, как арабы у костра, рассказывают свои сказки. Разве они о чужом человеке подумают? Конечно, мне, в сущности, все равно, но все-таки я — гостья. Неделикатно с их стороны».

Конечно, мне все равно. Но тем не менее все-таки хочется рассказать...

Дело было в глухом провинциальном городишке, где о дантистах и помину не было. У меня болел зуб, и направили меня к частному врачу, который, по слухам, кое-что в зубах понимал.

Пришла. Врач был унылый, вислоухий и такой худой, что видно его было только в профиль.

— Зуб? Это ужасно! Ну, покажите!

Я показала.

— Неужели болит? Как странно! Такой прекрасный зуб! Так, значит, болит? Ну, это ужасно! Такой зуб! Прямо удивительный!

Он деловым шагом подошел к столу, разыскал какую-то длинную булавку, — верно, от жениной шляпки.

— Откройте ротик!

Он быстро нагнулся и ткнул меня булавкой в язык. Затем тщательно вытер булавку и осмотрел ее, как ценный инструмент, который может еще не раз пригодиться, так чтобы не попортился.

— Извините, мадам, это все, что я могу для вас сделать.

Я молча смотрела на него и сама чувствовала, какие у меня стали круглые глаза.

Он уныло повел бровями.

— Я, извините, не специалист! Делаю, что могу!..

• • •

Вот я и рассказала.

Переводчица

Самыми презренными людьми в Египте считались свинопасы и переводчики.

История Египта

Каждую весну раскрываются двери женских гимназий, пансионов и институтов и выпускают в жизнь несколько сотен... переводчиц.

Я не шучу. До шуток ли тут!

В былые времена о чем думали и о чем заботились маменьки выпускных девиц?

— Вот буду вывозить Машеньку. Может быть, и пошлет Бог подходящую партию. Глашенька-то как хорошо пристроилась! Всего девять зим выезжала, на десятую — Исаия, ликуй!

Так говорила маменька со средствами. У кого же не было запаса на девять зим, те старались подсунуть дочь погостить к богатому родственнику или к «благодетельнице». И родственник, и благодетельница понимали, что каждую девицу нужно выдавать замуж, и способствовали делу. Вейнингеров в то время еще не было, и никто не подозревал о том, как низка и вредна женщина. Открыть глаза было некому, и молодые люди женились на барышнях.

Так было прежде.

Теперь совсем не то. Теперь жених (так называемый «жених» — лицо собирательное), как бы влюблен он ни был, уже вкусил от Вейнингера! Хоть из десятых рук, от какого-нибудь репетитора племянника сестры, двоюродного дяди. И пусть он слышал только всего, что у Вейнингеров все «м» да «ж», — с него достаточно, чтобы скривить рот и сказать барышне:

— Знаете, я принципиально против женитьбы. У женщин слишком много этих всяких букв... Вейнингер совершенно прав!

И маменьки это знают.

— Знаете, Авдотья Петровна, — говорит маменька своей приятельнице. — Что-то в нас, в женщинах, такое открылось нехорошее. Уж и ума не приложу, что такое. Придется, видно, Сонечке в контору поступать либо переводов искать.

— Все в конторах переполнено. У меня две дочки второй год со всех языков переводят. Беда!

— Уж не переехать ли лучше в провинцию? Может быть, там еще ничего не знают про наши дела. Может, до них еще не дошло.

— Да, рассказывайте! У меня в Могилеве брат жену бросил. Пишет: никуда жена не годится. Что ни сделает — все «ж». Едет, бедная, сюда. Хочет переводами заняться...

Выйдет девица из института, сунется в одну контору — полно. В другую — полно. В третьей — запишут кандидаткой.

— Нет, — скажут, — сударыня. Вам не особенно долго ждать придется. Лет через восемь получите место младшей подбарышни, сразу на одиннадцать рублей. Счастливо попали.

Повертится девица, повертится. Напечатает публикацию:

«Окончившая институт, знает все науки практически и теоретически, может готовить все возрасты и полы, временем и пространством не стесняется».

Придет на другой день старуха, спросит:

— А вы сладкое умеете?

— Чего-с?

— Ну, да, сладкое готовить умеете?

— Нет... я этому не училась.

— Так чего же тогда публикуете, что готовить умеете. Только даром порядочных людей беспокоите.

Больше не придет никто.

Поплачет девица, потужит и купит два словаря: французский и немецкий.

Тут судьба ее определяется раз навсегда.

Трещит перо, свистит бумага, шуршит словарь... Скорей! Скорей!

Главное достоинство перевода, по убеждению издателей, — скорость выполнения.

Да и для самой переводчицы выгоднее валять скорее. Двенадцать, пятнадцать рублей с листа. Эта плата не располагает человека к лени.

Трещит перо.

«Поздно ночью, прокрадываясь к дому своей возлюбленной, увидел ее собаку, сидеть одной на краю дороги».

«Он вспомнил ее слова: «Я была любовницей графа но это не переначнется».

Бумага свистит.

«Красавица была замечательно очаровательна. Ее смуглые черты лица были невероятны. Крупные котята (chatons — алмазы) играли на ее ушах. Но очаровательнее всего была ямочка на подзатыльнике красавицы. Ах, сколько раз — увы! — этот подзатыльник снился Гастону!»

Шуршит словарь.

«Зал заливался светом при помощи канделябров. Графиня снова была царицей бала. Она приехала с бабушкой в открытом лиловом платье, отделанном белыми розами».

«Амели плакала, обнимая родителям колени, которые были всегда так добры к ней, но теперь сурово отталкивали ее».

«Она была полного роста, но довольно бледного».

«Он всюду натыкался на любовь к себе и нежное обращение».

Вот передо мною серьезная работа — перевод какой-то английской богословской книги.

Читаю:

«Хорош тот, кто сведет стадо в несколько голов. Но хорош и тот, кто раздобудет одного барана. Он также может спокойно зажить в хорошей деревне».

Что такое? Что же это значит?

Это значит вот что:

«Блажен приведший всю паству свою, но блажен и приведший одну овцу, ибо и он упокоится в селениях праведных».

Все реже и реже шуршит словарь. Навык быстро приобретается. Работа приятная. Сидишь дома, в тепле. Бежать никуда не надо. И знакомым можно ввернуть словечко, вроде:

— Мы, литераторы...

— С тех пор как я посвятила себя литературе...

— Ах, литературный труд так плохо оплачивается... у нас нет ничего, кроме славы!

Трещат перья, свистит бумага. Скорей! Скорей.

«Алиса Рузевельт любит роскошь. На большом приеме она щегольнула своим полуплисовым платьем...»

Шуршит словарь.

Песье время

Медленно поворачивается земля, но, сколько ни медли и сколько ни откладывай, все равно от судьбы не уйдешь, и каждый год в определенное время приходится несчастной планете влезать в созвездие Большого Пса.

По-моему, вполне достаточно было бы и Малого Пса, но, повторяю, от судьбы не уйдешь.

И вот тогда наступают для бедного человечества самые дурацкие дни из всего года, так называемые «каникулы», от слова «caniculi», или, в переводе, просто «песье время».

Влияние Большого Пса сказывается буквально на всем: на репертуаре, на ресторанном меню, на картинах, на железных дорогах, на домовых ремонтах, на извозчиках, на веснушках, на приказчиках, на здоровье и на шляпках.

Пес на все кладет свой отпечаток.

Если вы увидите на даме вместо шляпки просторное помещение для живности и огородных продуктов, не судите ее слишком строго. Она не виновата. Этого петуха с семейством и четырнадцать реп, из которых два помидора, сдобренные морковной травой, — это ей Пес наляпал. Она невинна, верьте мне!

А каникулярный приказчик!

Если вы попросите его дать вам черную катушку, самую простую черную катушку, он сделает мыслящее лицо, полезет куда-то вверх, встанет а la колосс Родосский одной ногой на полку с товаром, другой на прилавок, причем наступит вам на палец (убирайте руки!) и, треснув вас сорвавшейся картонкой по голове, с достоинством предложит кусок синего бархата.

— Мне не нужно синего бархата, — кротко скажете вы. — Я просила черную катушку. Простую, № 60.

— Виноват-с! Это действительно синий, — извинится приказчик и полезет куда-то вниз под прилавок, так глубоко, что несколько минут виден будет только самый нижний край его пиджака. Когда же, движимая естественным любопытством, вы нагнетесь, чтобы посмотреть, что он там поделявает, он вдруг выпрямится и ткнет вас ящиком прямо в щеку.

В ящике будут ленты и тесемка, которые он великодушно предложит вам на выбор и пообещает сделать скидку.

Узнав, что вы все еще упорствуете в своем желании приобрести черную катушку, он очень огорчится и, нырнув под прилавком, исчезнет в соседней клетушке. Только вы его и видели! Сколько ни ждите, уж он не вернется.

Идите в другой магазин и спрашивайте розовую вуаль, — может быть, Пес так напутает, что вы по ошибке получите и катушку. Другого пути нет.

На железных дорогах песья власть выражается в каких-то дачных и добавочных поездах, у которых нет ни привыч-

ки, ни силы воли, и болтаются они как попало, без определенных часов, скорости и направления.

Сядешь на такой поезд и думаешь:

«Куда-то ты меня, батюшка, тащишь?»

И спросить страшно. Да и к чему?

Только поставишь кондуктора в неловкое положение.

Но что всего удивительнее в этих поездах — это их капризный задор. Вдруг остановятся на каком-нибудь полустанке, и ни тпру ни ну! Стоит часа два.

Пассажиры нервничают. Фантазия работает.

— Чего стоит? Верно, бабу переехали.

— Тёлку, а не бабу. Тут вчера одну бабу переехали, — не каждый же день по бабе. Верно, сегодня тёлку.

— Да, станут они из-за телки стоять!

— Конечно, станут. Нужно же колеса из нее вытащить.

— Просто кондуктор чай пить пошел, вот и стоим, — вставляет какой-то скептик.

— Да, чай пить! Грабить нас хотят, вот что. Теперь, верно, передний вагон чистят, а там и до нас дойдет. Ясное дело — грабят.

Но поезд так же неожиданно трогается, как и остановился, и всем некоторое время досадно, что не случилось никакой гадости.

А отчего стояли?

Не может же кондуктор, человек малограмотный и ничего общего с Пулковской обсерваторией не имеющий, объяснить вам, что все это шутики Большого и скверного Пса.

От влияния этого самого Пса на людей находит nepосeдство. Едут, сами не зная куда и зачем. Не потому, что ищут прохладного места, так как многие, например, любят летом побывать в Берлине, где, как известно, такая жарница, что даже лошадь без шляпки ни за какие деньги на улице носа не покажет, и у каждой порядочной коровы есть зонтик.

Каждый бежит с насиженного места, оставляя стеречь квартиру какую-нибудь «кухаркиной тетки сдвуродну бабу». Днем эти бабки проветривают комнаты и свешивают в окошко свои щербатые носы. И гулко по опустевшему двору, отскакивая от высоких стен, разносятся их оживленные, захватывающие разговоры.

— Марфа-а! — каркает нос из форточки четвертого этажа. — Марфа-а!

— А-а-а! — гудит и отскакивает от всех стен.

— Что-о? — пищит нос, задранный из форточки второго этажа.

— О-о-о! — отвечает двор.

— У Потаповны кадушка рассохши!

— И-и-и!

— Намокши? — пищит нос из второго.

— Рассохши! Кадушка у Потаповны рассохши!

— И-и-и!

— Подушка-а?

— Кадушка! Кадушка-а!

— У-у-у-а-а!

— У Протасовых?

— У Потаповны! Кадушка у Пота...

Закрывайте окно, дохните, как мухи, в духоте, только не слушайте, как бабки беседуют.

Они под особым покровительством Большого Пса.

По ночам, между прочим, этих бабок убивают и грабят квартиры.

Громилы вполне уверены, что этих сторожих оставляют специально для их удобства. А то и двери открыть было бы некому. Самому ломать входные крюки, замки и засовы очень хлопотно, громоздко и, главное, трудно не шуметь. А такая Божья старушка — золото, а не человек. И откроет, и впустит.

А Большой Пес только радуется. Ему что!

Но из всех песьих бичей хуже всего, конечно, солнце.

Не спорю, оно несколько лет тому назад было в большой моде. Имя его писали с прописной буквы, поэты посвящали ему стихи, в которых воспевали различные его приятные качества и хорошие поступки.

Я, признаюсь, этому течению никогда не сочувствовала.

«Будем как солнце!»

Покорно благодарю! Это значит — вставай в пять часов утра!

Слуга покорный!

Солнце, если говорить о нем спокойно и без пафоса, — несноснейшая тварь из всей вселенной. Конечно, хорошо,

что оно выращивает огурцы и прочее. Но, право, было бы лучше, если бы человечество нашло способ обходиться своими средствами, отопляя, освещая свою землю и выращивая на ней что нужно без посторонней помощи.

Солнце несносно!

Представьте себе круглое краснорожее существо, встающее ежедневно ни свет ни заря и весь день измывающееся над вами.

Разведет кругом такое парево, что дохнуть нельзя. На щеки наляпает вам коричневых пятен, с носу сдерет кожу. Кругом, куда ни глянешь, расплодит муху и комара. Чего уж, кажется, хуже! А люди не нарадуются:

— Ах, восход, заход!

— Ах, закат, воскат!

Удивительная, подумаешь, штука, что солнце село! Иной человек за день раз двести и встанет, и сядет, и никто на это не умиляется.

Подхалимничают люди из выгоды и расчета. Подлизываются к солнцу, что оно огурцы растит.

Стыдно!

Живешь и ничего не замечаешь. А вот как наступит песье время, да припечет тебя, да поджарит, да подпалит с боков, — тут и подумаешь обо всем посерьезнее.

О, поверьте, не из-за веснушки какой-нибудь хлопочу я и встаю против солнца! Нет, мы выше этого, да и существуем вуали. Просто не хочется из-за материальной выгоды (огурца) лебезить перед банальной красной физиономией, которая маячит над нами там, наверху!

Опомнитесь, господа! Оглянитесь на себя! Ведь стыдно! А?

Письма издалека

Тяжело порою быть русским человеком.

Вот мне, например, очень хотелось бы писать «Письма издалека». А нельзя. И не потому нельзя, что я недалеко заехала, а потому, что русскому человеку ближе чем какую-нибудь северо-западную Зеландию и описывать неприлично.

Немцы — другое дело. Если немец проедет полчаса по железной дороге, то он уже считает, что сделал «eine Reise», «eine schöne Reise»¹, и может потом описывать приключения этого путешествия многие годы, вызывая завистливые восклицания у восхищенных слушателей.

Сам, блаженной памяти, Генрих Гейне, пройдя пешком что-то верст восемнадцать из одного города в другой, пережил лиризма и сатиризма на сто двадцать страниц убористой печати.

Все зависит от восприимчивости путешествующего лица. Уверяю вас.

Иной сибиряк сделает полторы тысячи верст, завернувшись в шубу, и носа не выставит на свет Божий. Да и нельзя. От сибирского мороза нос может треснуть, как грецкий орех под каблуком.

Ну вот спросите такого сибиряка, что он вынес из своего путешествия. Скажет одно:

— Вся эта полоса России пахнет собакой, крашенной под енота.

Потому что воспринял только свой собственный воротник.

Настоящий, толковый путешественник должен прежде всего любопытствовать. На каждой остановке спрашивать, что за станция и сколько, примерно, от нее верст до Богородска.

Если на платформе девочка продает грибы, подзовите и спросите, что это такое. Хоть и сами видите, а все-таки спросите. Потому что путешествующий должен любопытствовать. Потом справьтесь о цене. Скажите, что лучше бы ей было продавать малину. А если ответит, что малины уж нет, то посоветуйте лучше снова дожждаться ее и завести выгодную торговлю, чем растрачивать молодые силы на грибы.

Если поезд стоит долго, спросите у кондуктора, где жандарм, а у жандарма — где начальник станции, а у начальника станции — где буфет. Таким образом, вы будете все знать из первых рук.

¹ Путешествие, прекрасное путешествие (нем.).

У пассажиров — с благородством, но настойчиво — пытайтесь, куда, зачем и откуда они едут, сколько, примерно, в их городе жителей и далеко ли от них до Богородска.

Этот последний вопрос всегда неотразимо действует в особенности на иностранцев. Они начинают относиться к вам необычайно внимательно и иногда даже, забрав всю поклажу, уходят в соседний вагон, чтобы предоставить вам покой и место.

Кроме того, узнавайте все время, как кого зовут и у кого что болит; у дам спрашивайте, не вредно ли им сидеть спиной к движению, у стариков — не дует ли на них из вентилятора. Разузнав все подробно, вы, отъехав на двенадцать верст от места своего жительства, имеете уже полное право послать родным и знакомым «Письма издалека».

Теперь поговорим о настоящем, серьезном путешествии.

Прежде всего, куда бы вы ни ехали, хоть в Тибет, границу непременно переезжайте в Эйдкунене, иначе никогда не почувствуете себя на границе. Это уже дознано и признано.

Если хотите быть стереотипным, то, переезжая пограничную речонку, вытянитесь в окошко и высуньте язык.

Я лично этого не делаю, потому что, по-моему, это вовсе не так уж важно. Но многие считают это священным ритуалом. Не нами, мол, заведено, не нами и кончится. Ну и пусть себе.

Самый важный момент ваших пограничных переживаний, это — предъявление немецкого билета немецкому сторожу на платформе Эйдкунена. Поднимите глаза и взгляните на него. У него нос цвета голубинового крыла, с пурпурными разводами и мелким синим крапом. Тут вы сразу поймете, что все для вас кончено, что родина от вас отрезана и что вы одиноки и на чужбине.

Лезьте скорее в вагон и пишите открытки.

Если судьба занесет вас в Берлин (а она обыкновенно проделывает это с людьми, едущими через Эйдкунен), не забудьте во что бы то ни стало пойти к придворному парикмахеру Гансу Хаби, распушившему усы императору Вильгельму. Это вам обойдется рублей в шестнадцать, но зато вы узнаете кое-что.

Хаби посадит вас на стул и спросит, что вам угодно. Узнав, что вы хотите остричься, он загадочно улыбнется и наденет на вас намордник. Вы будете мычать и отбиваться, но крепко скрученная простыня не даст вам ни подняться, ни высвободить руки.

А Хаби начнет говорить о том, что все счастье вашей жизни в распушенных усах и что Вильгельм только потому и Вильгельм, что он, Хаби, надел на него свой намордник.

Говоря это, он будет поливать вам голову всякой гадостью собственного изобретения.

— Вы, конечно, разрешите коснуться вас слегка вот этим фиксатуаром? — поет он.

— Мм... не хочу! — мычите вы.

— Итак, с вашего разрешения!

И он снова мажет вас и, глумясь, хвалит за культурное отношение к парикмахерскому делу.

Но все на свете кончается. И Хаби, сняв с вас намордник, подставляет вам зеркало, из которого глядит на вас белый тигр с печальными человеческими глазами и намавленной лысиной.

— Тридцать марок!

— Что-о?

— Этот инструмент я распечатал специально для вас. Эту мазь — тоже. Ведро этой жидкости откупорено ради вас, — теперь она все равно выдохнется. А вот эту щеточку — она стоит не менее пятидесяти пфеннигов, уверяю вас, — вы можете взять себе.

Не забудьте же побывать у придворного парикмахера. Вы, по крайней мере, сразу поймете, почему императору Вильгельму пришлось расширить цивильный лист. Бедняге не хватало денег, чтобы как следует «*sich rasieren*»¹.

Еще советую вам обратить внимание на берлинских извозчиков, которые за последние годы невесть что забрали себе в голову. Они считают себя равноправными гражданами с шоферами и с трамвайными вожатыми. Лезут всюду, и некому их осадить и поставить на место.

¹ Побриться (нем.).

Ни разу не довелось мне слышать, чтобы кто-нибудь дал им краткое, но меткое определение, которое так хорошо действует на извозчичью душу:

— Гужеед желтоглазый!

Конечно, они по-русски не поймут, но ведь можно же перевести. Не Бог ведь какая трудность. Скажите:

— Du Rimenesser! Gelbauge!¹

Не знаю в точности, как по-немецки гужи. Ну, да вы это от него же и узнать можете.

Прямо спросите:

— Любезный извозчик! Как называется та часть упряжи, которую вы кушаете?

Он, конечно, не замедлит удовлетворить ваше законное любопытство. А вы воспользуетесь этим и сразу поставите его на место.

Ах, если относиться к своей задаче серьезно, то сколько полезного и для себя и для других можно извлечь из самого маленького путешествия.

Но много ли нас, серьезных-то людей!

Курорт

Знаете ли вы, господа, что такое курорт?

Курорт состоит из следующих элементов:

- а) воды,
- б) доктора,
- в) больного и
- г) музыки.

Вода течет из крана в стакан или в ванну.

Доктор получает деньги и делает знающее лицо. Больной поддерживает докторское существование.

Музыка допекает больного, чтобы он не так скоро поправился.

Все, взятое вместе в определенных дозах, образует гармоническое целое, называемое — курорт.

Само собой разумеется, что это — только схема, набросок, руководство для детей, если бы они пожелали устроить себе домашний курортик.

На самом деле курорт куда сложнее!

¹ Ремнеед! Желтые глаза! (Нем)

Вода

Курортная вода прежде всего должна быть скверна на вкус. Если она при этом имеет и вид отталкивающий, то ценится вдвое дороже и экспортируется в чужие страны как драгоценность. Если же она к тому же обладает и противным запахом, то ей цены нет! Она тогда кормит и содержит все население благословенной страны, в которой пробила себе ход из земли.

Свойства курортной воды самые разнообразные и даже взаимоисключающие. Та же самая вода лечит от худобы и от толщины, от возбуждения и от апатии. Она помогает ото всего, но при обязательном условии — через каждые три дня показываться доктору.

Доктор сделает знающее лицо и спросит, не дает ли себя чувствовать ваш левый мизинец или не покалывает ли в правую бровь.

— Нет! — испуганно отвечает вы. — А разве нужно, чтобы кололо?

Он усмехнется загадочно и ничего не ответит, а вы потом несколько дней подряд будете с ожесточением пить курортную воду и жаловаться знакомым:

— Не знаю, чего я тут сижу! До сих пор в правую бровь не колет. Только даром время теряю.

Относительно курортной воды французы всех перехитрили. Они разлили в бутылки хорошую чистую родниковую воду, назвали ее «Eau d'Evian»¹ и разослали по всем границам. От времени эта вода в бутылках немного портится и тухнет, приобретая некий курортный отпечаток, что наводит людей на мысль о ее целебности. У нас в лучших ресторанах воду эту подают по рублю за бутылку, и знатоки любят после обеда выпить стаканчик.

Дорого, зато тухло.

Вот как высоко котируется в настоящее время всякая испорченность.

Доктор

Курортный доктор — жрец совсем особой науки, все следствия выводит и относит к одной причине.

¹ Вода «Эвиан» (фр.).

Если курортный доктор сидит около воды, исцеляющей от ревматизма, то, что бы с вами ни случилось, он все определит как последствия ревматизма.

Болит ли у вас зуб, умерла ли бабушка, украли ли на вокзале ваш багаж — все это грустные последствия застарелого ревматизма, требующие питья двух стаканов воды поутру и двух вечером, перед сном.

— Доктор, у меня мигрень.

— Это у вас так называемый ревматизм мозга. Пейте по три стакана утром и по четыре ве...

— Ревматизм мозга? Никогда не слышала.

— Вы откуда изволили приехать?

— Из Петербурга.

— Тогда неудивительно! Три дня вы пробывали в пути! Наука шагает быстро. За эти три дня сделаны колоссальные открытия! Пейте пять стаканов перед сном и двенадцать во время еды!

У курортного врача лежит на письменном столе большая книга, в которую он вписывает какие-то таинственные штуки про своих больных. Спросит:

— Гуляете много?

— Много, — ответит больной.

— Ага!

И начнет писать долго-долго.

Сидишь, следишь за его пером. Букв не видно, и приходится угадывать чутьем. Кажется, что пишет приблизительно следующее:

— Ага! Гуляешь много! Вот я те погуляю! Как закачу тебе двадцать четыре стакана бурды через каждые два часа, так небось перестанешь разгуливать.

Потом поднимет свое знающее лицо, проникновенно взглянет усталыми глазами и скажет:

— Попробуйте пить шесть стаканов. Через два дня зайдите.

Вы заходите через два дня. Он пощупает ваш пульс или смеряет температуру. Никто его не осудит за это, потому что нужно же и ему что-нибудь делать! Тоже ведь и он человек!

Потом велит пить не два стакана, а четыре полстакана, что составляет одно и то же только с грубо математической точки зрения.

В курортном миропонимании четыре полстакана стоят значительно выше двух стаканов, и пьющий враздробь должен показываться врачу не через три, а через два дня.

В общем, обязанность курортного врача очень сложна, ответственна и требует особых сведений.

Больной

Курортный больной существует обыкновенно в нескольких лицах.

Он приезжает всегда с женой, с детьми, с теткой или с романами. Болен бывает, собственно, он один, но лечатся заодно и жены, и тетки, и романы.

Так как на каждого больного полагается несколько теток и романов, то курортную толпу составляют, собственно говоря, не больные, а этот их антураж.

Поэтому вполне понятно недоумение какого-нибудь неопытного туриста, попавшего в курзал серьезного курорта для серьезных больных, когда он видит здоровенные, круглые физиономии, пылающие от веселых *ras d'Espagne*, и толстые ноги, лихо щелкающие каблуками.

— Это больные? Или это те, которые уже выздоровели? Какой чудный курорт, где так великолепно поправляются!

Через два дня неопытный турист узнает, что настоящих больных никогда и не видно. Они сидят дома или ездят в экипажах подышать воздухом. А живут полной жизнью только тетки и романы.

В каждом курорте есть своя официальная красавица.

Красоты от официальной курортной красавицы никакой, впрочем, не требуется. Большею частью даже они бывают некрасивы, носаты, с несколько круглой спиной и большими ногами.

На каждом курорте есть своя красавица, которая приезжает каждый год, и, когда умрет от старости, ее сменяет новая.

— *Le roi est mort, — vive le roi!*¹

О курортных красавицах создаются легенды.

¹ Король умер, да здравствует король! (Фр.)

— Посмотрите, вон она! Видите, в зеленой шляпе... Она была замужем четырнадцать раз!

— Четырнадцать? Правда? А на вид, пожалуй, даже больше.

— Не правда ли? Удивительно интересная женщина! У нее двенадцать неизлечимых болезней. И все — наследственные. Сам доктор Шток лечит ее от наследственной простуды ноги. Это тоже неизлечимо. Правда, интересная женщина?

Курортная красавица должна делать все не так, как обыкновенная женщина, и не в то время.

Если все пьют первую бурду в 7 часов, то красавица — на два часа позже. Если жарко и на всех надеты летние платья, курортная красавица надевает на себя черный бархат и томится, как тушеная говядина в кастрюле.

Под дождем, если дождь с ветром, она ходит в декольтированном платье и обмахивается веером.

Все это очень трудно, и редкая курортная красавица доживает до семидесяти лет. Чаще они погибают безвременно, как тепличные растения, едва начав шестой-седьмой десяток.

Зато как пожито!

Музыка

Курортная музыка давно уже делит одинаковое прозвище с Аттилой:

— Бич Божий!

Состоит она из десятка-другого выгнанных отовсюду за бездарность и жестокосердие молодых людей, которым, следовательно, все равно — терять уже нечего.

И вот они дудят кто во что горазд. Но молодые люди не без юмора: по программе объявляют то рапсодию Листа, то из «Тангейзера».

Играют же всегда одно и то же: скрипка печально подвизгивает: «Du mein lieber Augustin»¹, флейта — из похоронного марша два такта, барабан — «Рассыпся, молодцы, за камни, за кусты, по два в ряд», виолончель — «Когда б я знал!». Остальные беззастенчиво и просто все время настраиваются;

¹ Ты, мой милый Августин (нем.).

получается нечто вроде аккомпанемента для каждого инструмента отдельно.

Напиваются эти жестокие молодые люди по очереди, и только по воскресеньям, к вечерней музыке, пьяны все раз.

Музыка очень мучит больных. Но многие уже нашли средство борьбы с нею, которое следовало бы опубликовать, они громко поют что-нибудь свое, веселенькое.

Русское

Русские приезжают в курорт целыми семьями. Один лечится, другие ходят за лечащимся, чтобы ему было с кем душу отвести.

Приезжие обыкновенно прежде всего справляются о ресторанах.

— Где бы здесь можно было хорошо поесть, чтобы посытнее да повкуснее?

Этим вопросом больше всего интересуются толстяки, присланные докторами для худения.

Разведав о ресторане, русский худеющий заглядывает туда между обедом и ужином, чтобы заморить червячка.

Немец живет аккуратно и ест в положенное время, и никакого червячка, которого нужно морить водкой и закуской, у него не водится.

Узнают немцы об этой русской хворости с большим удивлением и относятся к ней подозрительно, тем более что самый усердный мор, в сущности, паллиатив, потому что погибший червяк к ужину заменяется новым.

Первый докторский визит повергает русского в самое черное отчаяние.

Доктор дает расписание: вставать в 6 утра, ходить до 9-ти и пить воду. Есть одно белое мясо с овощами, брать ванну и тому подобные ужасы.

Осмотревшись и заведя знакомство с соотечественниками, русский успокаивается. Соотечественник научит, как взяться за дело.

— В шесть часов вставать? Да что вы, с ума сошли, что ли? Этак можно себе нервы вконец истрепать!

— А как же воду-то пить?

— Очень просто. Это вот как делается: даете лакею ихний двугривенный, он вам воду утром прямо в постель принесет — и никаких. Выпьете, утретесь и снова заснете.

— А ванна?

— А на что вам ванна? Простудиться хотите, что ли? Дайте лакею ихний гривенник, он за вас ванну возьмет — и никаких. А доктору скажите, что сами брали. Очень просто.

— Так-то так, — соглашается худеющий, — да ведь доктор мне еще и гулять велел.

— Гулять? Ну, посудите сами, какой вы гуляка, когда в вас весу больше шести пудов? Доктору хорошо говорить. Пусть сам гуляет. А мы с вами и посидеть можем. Дайте лакею ихний пятак, — он вам на скамеечке место займет, у самой музыки, всех видеть будете. Очень удобно.

Через пять недель значительно округлившийся худеющий собирается восвояси, горько каясь, что потерял золотое время на проклятом курорте.

— Шарлатаны! Только деньги драть умеют. Вместо того чтобы исхудить человека, который им, обиралам, доверился, они ему еще семь фунтов собственного жиру навязали!

Веселый, посвежевший и поправивший свои делишки лакей подает счет и выражает сожаление о столь раннем отъезде постояльца.

— Нет, — говорит тот. — Полно! Попили вы моей кроушки, и довольно. В другой раз сюда не заманите.

Лакей

В немецком курорте русскому человеку неуютно.

Во-первых, раз двенадцать — пятнадцать в день вся прислуга здороваается. Нервного человека эта система доводит до конвульсий. После шестьдесят пятого гутентага редкий организм оправляется.

Особенно резкая разница между русской и немецкой курортной прислужкой чувствуется в ресторане.

В русском ресторане лакей, особенно если он татарин, — человек душевный. Между ним и вашим чревом, которое вы пришли насытить, мгновенно образуются нити и звенья. Ваш обед, хотя съедите его вы один,

становится вашим общим делом, для лакея еще более дорогим, чем для вас.

Предлагая вам какую-нибудь редкостную рыбу или птицу, русский лакей даже слегка приседает и начинает говорить шепотом, и все это делается исключительно из уважения к вашему желудку.

Немецкий лакей прежде всего подчеркивает, что ему нет ровно никакого дела, как и чем вы напитаетесь. Он служит просто так, совершенно случайно, может быть, только для того, чтобы убить время между теннисом и партией в шахматы у посланника. Он, вообще, граф и имеет собственную виллу. Вы хотите пообедать в этой грязной лавчонке? Он удивляется вашему дурному вкусу и невоспитанности.

Наш лакей — энциклопедист. Он отвечает один по всем отраслям ресторанный дела.

Немецкий лакей — узкий специалист и служит у стойла в четырех лицах. Одно из них подает обед, другое — вино и пиво, третье — хлеб, четвертое — счет.

Я слышала, как однажды обедающий профан обратился к человеку, подающему пиво, с просьбой «поторопить там насчет селедки».

Подающий пиво весь вспыхнул. Ему, подающему пиво, сказали такое слово:

— Селедка!

Он ничего подобного никогда в жизни не слышал!

Я думаю, что слово это врезалось в его мозг острыми красными буквами и отравило грядущую старость своей неуместностью. Пиво, пиво, пиво — и вдруг...

Как жутко!

Подает немецкий лакей ужасно медленно, даже без внешней, деланной торопливости, от которой так картинно раздуваются фалды русского лакея.

Раз я видела разъяренного господина, развопившего руками над тарелкой супа, и щеки у него дрожали от ярости. Сначала я думала, что это сумасшедший, но, прислушавшись, поняла, что это русский, которому уже полчаса не дают ни соли, ни хлеба, и кушанье остыло.

— Господи! — стонал он. — Если бы я знал, как их ругать, — мне бы легче было. Ну, чего они за душу тянут? Как это

по-немецки? Warum meine Seele...¹ Черт знает, что! Еще сам дураком окажешься. Ну, чего они бродят, как сонные мухи! Warum sie wie... wie sie... eine Fliege, die will schlafen...² Ну, вот, видите! Круглая ерунда получается! Господи! Ведь ругают же их как-нибудь? Где бы это узнать? В посольстве, что ли?

Я стала успокаивать его, как могла.

Говорила, что есть хлеб — это предрассудок земледельческой страны, что и предки наши (в обезьяньем периоде) обходились совсем без соли и были куда здоровее нас.

Он успокоился, но долго и горько жаловался на немецкий обиход.

— Я у них спрашиваю: «Откуда икра, — астраханская, что ли?» — «Нет, — говорят, — мы ее прямо из Малосола выписываем. И тычет карту «russischer Kaviar Malossol»³. Хвастуны пошлые! Вчера велел хлеба подать, — жду-жду, взглянул не нарочно на улицу, а он, этот самый хлебник-то, под моим же окном на велосипеде катается. Если это не бесстыдство, то укажите мне, где оно, прошу вас!

В глубокой задумчивости окончил он свой обед и, выходя из комнаты, столкнулся с лакеем, несшим ему хлеб и соль. Лакей с достоинством поставил все на стол, точно и не видел, что гость уже ушел.

А тот горько усмехнулся и сказал:

— И он же меня еще и презирает! Уж верьте совести!

— Warum sie... Wie... sie...⁴ — вдруг вскинулся он на лакея, но тотчас же оборвал свою горячую речь.

— Тьфу! Разве эта харя способна понимать по-человечески?

Маски

У нас любят рядиться на святках и прятаться под маску, но что в этом веселого, — право, никто объяснить не сумеет.

Я понимаю, как чувствует себя француз, надевая маску.

¹ Почему моя душа... (Нем.)

² Почему они как... как они... птица, которая хочет спать... (Нем.)

³ Малосольная русская икра (нем.).

⁴ Почему они... Как.. они... (Нем.)

— Но-ла-ла!

Про каждого из своих добрых знакомых он знает сотни штучек и тысячи маленьких гадостей, на которые так приятно намекнуть, а еще приятнее сказать прямо в глаза!

Но в обыденной жизни и с открытым лицом это невозможно. Еще поколотят! Да и к чему ссориться?

То ли дело в маскараде.

— Madame! Брюнет, которым вы интересовались в сентябре прошлого года, передал известный вам ключ одной из ваших приятельниц. Какой? Если позволите, я намекну...

Тонкая интрига заплетается, расплетается.

Отправляясь на маскарад, француз заранее придумывает, с кем и о чем говорить, как устроить, чтобы было занятно, и весело, и тонко, чтобы можно было немножко рискнуть, немножко провиниться и все-таки «*ça ne tire pas à consequence*»¹.

Русский человек маскируется мрачно.

Прежде всего и главное всего — это чтобы его не узнали. И для чего ему это нужно, одному Богу известно, потому что ни балагурить, ни шутить, ни интриговать он никогда не будет.

Приедет на костюмированный вечер, встанет где-нибудь у печки и молчит. Слова из него не выжмешь. А кругом все стараются:

— Да это Иван Петрович! По рукам видно! Иван Петрович, снимите маску!

Но маска пыжится, прячет руки и молчит, пока не удостоверится, что узнана раз навсегда и бесповоротно. Тогда со вздохом облегчения открывает лицо и идет чай пить. Потом помогает узнавать другие маски.

Долго не узнанные томятся.

Им жарко, душно и смертельно скучно.

Зато на другой день хвастаются:

— Весело вчера было?

— Ну, еще бы! Меня так до конца и не узнали! Нарочно весь вечер ни с кем не разговаривал.

— Всех надул! — мрачно веселится вчерашняя маска. — Поди, до сих пор не угадали, что это был я. Сегодня отдохну

¹ Это не имеет никаких последствий (*фр.*)

денек, а завтра снова в маскарад. А то уж очень жарко! Два дня подряд — организм не вынесет.

Тоска в наших маскарадах смертельная!

Распорядители из кожи вон лезут, придумывая «трюки».

Ничто не помогает!

Жмутся по углам тоскливые маски и все боятся, как бы их не узнали!

Изредка мелькнет нелепым диссонансом какой-нибудь веселый Пьеро или Арлекин. Вздвигнет, перекувырнется.

Но от него все норовят подальше. Еще, мол, в историю впутаться.

Если, не приведи Бог, затешется в маскарадную толпу настоящий остряк и весельчак (чего на свете не бывает!), — ему несдобровать.

Слушать его будут молча, на шутки не ответят.

В прорези масок заблестят злые огоньки и скажут:

— А сорвать с него маску да вздуть хорошенько, так не стал бы тут растабарывать!

— Туда же, шутник!

Хозяева к острякам тоже относятся подозрительно.

— Афимья! — кричат кухарке. — Ты там посматривай за галошами. Мы отвечать не можем. В маске-то каждый притвориться может. А кто его знает, что у него на уме! Шутники!

Но такие шутники на русском маскараде редки до чрезвычайности. И то они склонны скорее покукарекать петухом или поквакать лягушкой, чем завести тонкую интригу.

Даже любители анонимных писем, завязанные сплетники и вруны, и те, надев маску, думают только о сохранении своего инкогнито.

— Маска, ты меня знаешь? — спрашивает у сплетника дама, которую он сразу узнал и про которую чересчур много знает.

Но он мычит в ответ, хотя сердце его разрывается от желания поязвить безнаказанно.

Особенно жестоко веселятся на святах в провинции.

Каждый вечер рядятся и ездят по домам.

— Ряженные приехали!

Хозяева встречают их в гостиной молча. Молча входят маски.

Кто-нибудь заиграет на рояле. Маски молча протанцуют и молча уйдут.

Поедут к другим знакомым, и опять то же.

Уж такое беспросветное удовольствие!

У помощника исправника был сынок. Страшно любил наряжаться и маскироваться.

Из гимназии его выгнали, так что досугу было много. На Святках наряжался, в будни вспоминал.

Юноша был здоровьем слаб и к концу Святок еле держался на ногах.

— Да посмотрите, — жаловалась его мать, — на что он похож стал! Ведь краше в гроб кладут.

— Зато никто меня ни разу не узнал! — хвастался сынок. — Двадцать раз маскировался, — и никто! У головы до утра молча просидел, маски не снимал. И ужинать не стал. Начну, думаю, есть — еще узнает кто. Худо мне стало под конец, прямо дышать нечем. Закрыв глаза, даже сомлел на минутку. Сижу, держусь за стол руками, дотяну ли до утра, сам не знаю.

— Вот видите! — горюет мать. — Не бережет он себя, загубит здоровье!

Но сын остановил ее строго:

— Нечего, маменька! Вы свое пожили, так дайте и другим. Мне ведь тоже повеселиться хочется.

И мать замолчала. Потому что сама знала, что значит русский маскарад.

Тяжело, а ничего не поделаешь!

Разговоры

Кто не видел Айседоры Дункан, Мод Аллан, Стефании Домбровской и прочих босоножек, разговаривающих ногами!

Многие русские артистки уже изучают это искусство.

И хорошо делают.

У нас, в России, это большое подспорье. Уж слишком плохо мы говорим языком. Немногие из нас могут быть

уверены, что скажут именно то, что хотят. Рады, если дадут себя понять хоть приблизительно.

Ни на одном языке в мире нет такого удивительного оборота фразы, как, например, в следующем диалоге:

— Уж и поговорить нельзя?

— Я тебе поговорю!

— Уж и погулять нельзя?

— Я тебе погуляю!

Весь смысл этих странных обещаний ясно заключается только в интонации, с которой произносится фраза. Вне интонации смысл утрачивается.

Переведите эту фразу французу. То-то удивится!

А я недавно слышала целый разговор, горячий и сердитый, когда ни один из собеседников ни разу не сказал того слова, которое хотел.

Понимали друг друга только по интонации, по выпученным глазам и размахивающим рукам.

Ах, как бы здесь пригодились хорошо дрессированные ноги!

Дело происходило в центральной кассе театров. Было это накануне какой-то премьеры, так что народу в маленьком помещении кассы толпилось масса, давили друг друга, пролезали «в хвост».

Вдруг появляется какая-то личность в потертом пальто и быстрыми шагами направляется к кассе, не выжидая очереди.

Стоявший у двери швейцар остановил:

— Потрудитесь стать в очередь!

Личность огрызнулась:

— Оставьте меня в покое!

Тут и начался разговор. Оба говорили совсем не то, что хотели, с грехом пополам понимая друг друга по интонации.

— Тут не оставление, а потрудитесь тоже порядочно знать! — сказал швейцар с достоинством.

Фраза эта значила, что личность должна вести себя прилично.

Личность поняла и ответила:

— Вы не имеете права через предназначенье, как стоять у дверей. И так и знайте!

Это значило: ты — швейцар и не суйся не в свое дело.

Но швейцар не сдавался.

— Должен вам сказать, что вы напрасно относитесь. Не такое здесь место, чтобы относиться! (Не затевай скандала!)

— Кто кому и куда — это уж позвольте, пожалуйста, другим знать! — взбесилась личность.

Что значила эта фраза, я не понимаю, но швейцар понял и отпарировал удар, сказав язвительно:

— Вы опять относитесь! Если я теперь тут стою, то, значит, совершенно напрасно каждый себя может понимать, и довольно совестно при покупающей публике, и надо совесть понимать. А вы совести не понимаете.

Швейцар повернулся к личности спиной и отошел к двери, показывая равнодушным выражением лица, что разговор окончен.

Личность сердито фыркнула и сказала последние уничтожающие слова:

— Это еще очень даже неизвестно, кто относится. А другой по нахальству может чести приписать на необразованность.

После чего смолкла и покорно стала в «хвост».

И мне представлялось, что оба они, вернувшись домой, должны же будут проболтаться кому-нибудь об этой истории. Но что они расскажут? И понимают ли сами, что с ними случилось?

Летом мне пришлось слышать еще более трагическую беседу.

Оба собеседника говорили одно и то же, говорили томительно долго и не могли договориться и понять друг друга.

Они ехали в вагоне со мною, сидели напротив меня. Он — офицер, пожилой, озабоченный. Она — барышня.

Он занимал ее разговором о даче и деревне.

Собственно говоря, оба они внутренне говорили следующую фразу:

«Кто хочет летом отдохнуть, тот должен ехать в деревню, а кто хочет повеселиться, пусть живет на даче».

Но высказывали они эту простую мысль следующим приемом.

Офицер говорил:

— Ну, конечно, вы скажете, что природа и там вообще...
А дачная жизнь — это все-таки... Разумеется...

— Многие любят ездить верхом, — отвечала барышня, смело смотря ему в глаза.

— А соседей, по большей части, мало. На даче сосед — пять минут ходьбы, а в де...

— Ловить рыбу очень интересно, только не...

— ...деревне пять верст езды!

— ...неприятно снимать с крючка. Она мучится...

— Ну и, конечно, разные спектакли, туалеты...

— В деревне трудно достать режиссера.

— Ну, что там! Из Парижа специальные туалеты выписывают. Разве можно при таких условиях поправиться?

— Нужно пить молоко.

Офицер посмотрел на барышню подозрительно:

— Уж какое там молоко! Просто какая-то окись!

— Ах нет, у нас всегда чудесное молоко!

— Это из Петербурга-то в вагонах привозят чудесное?

Признаюсь, вы меня удивляете.

Барышня обиделась.

— У нас имение в Смоленской губернии. При чем же тут Петербург?

— Тем стыднее! — отрезал офицер и развернул газету.

Барышня побледнела и долго смотрела на него страдающим взором.

Но все было кончено.

Вечером, когда он, сухо попрощавшись, вылез на станции, она что-то царапала в маленькой записной книжке.

Мне кажется, она писала:

«Мужчины — странные и прихотливые создания! Они любят молоко и рады возить его с собой всюду из Петербурга»...

А он, должно быть, рассказывал в это время товарищу:

— Ехала со мной славенькая барышня. Но около Тулы оказалась испорченной до мозга костей, как и все современные девицы. Все бы им только наряжаться да веселиться. Пустые души!..

Если бы этот офицер и эта барышня не игнорировали школу великой Айседоры, может быть, их знакомство и не кончилось бы так пустоцветно.

Уж ноги, наверное, в конце концов заставили бы их сговориться!

Французский роман

Осень для нас, несчастных неврастеников, время очень тяжелое!

Во-первых, темно, во-вторых, мокро, в-третьих, холодно.

Это — на улице. А дома — самое густое разочарование в жизни. Жизнь надувает человека именно осенью.

Каждую весну вы думаете:

«Вот летом сделают ремонт в квартире, и все пойдет иначе. Осенью поставлю диван углом, рояль поверну боком... Как можно будет весело разговаривать вот на этих двух креслах, под пальмой, вдвоем... Вдвоем, так уж все равно — с кем; ведь с осени все люди будут совсем другими. А если на старую оттоманку да положить подушку с голубыми разводами, так, пожалуй, и муж перестанет в клуб бегать».

За лето эти туманные надежды вырастают в уверенность, в начале сентября диван ставится углом, кресла — боком, рояль — хвостом вперед, а в конце сентября вы уже ясно понимаете, что жизнь вас обошла и надула крутом и заставила совершенно напрасно поднимать весь этот дым коромыслом. Все осталось по-прежнему, по-прошлогоднему, и прежние люди удивляются прошлогодними словами, зачем вы все перевернули вверх дном.

Тогда вы захотите забыться и пойдете в театр.

Не ходите в театр!

Там будут подходить к вам полужнакомые, давно забытые скверные физиономии и, если вы очень сухопары, скажут вам, что вы за лето еще осунулись; если толсты — что вас разнесло; если бледны, спросят, как ваши делишки, и если стары, заметят вскользь, что лета дают себя знать.

Намекнут, попрекнут, лягут и уйдут. Как пузырь на болоте. И вспомнить потом трудно. Было что-то скверное, а в чем дело, даже и не поймешь.

Нет, если у вас осенняя неврастения, сидите дома и читайте французский роман. Это единственное, что может вас спасти.

Хороший французский роман среднего французского романиста.

Наш русский роман очень беспокоен. То у нас «опрокидонт», и «дьякон налил по третьей — выпили», то вдруг изменившая мужу попадья стала зыбиться огненными столбами. Всего этого неврастенику безусловно нельзя. Он либо повесится, либо переколотит всю посуду в доме.

Не таков французский роман. Он спокоен, длинен и хорош уже тем, что, при всей своей видимой простоте, ничего общего с действительной жизнью не имеет.

Французский роман, как и все на свете, тоже эволюционирует.

Прежде, лет двадцать тому назад, героине его было только сорок пять лет. «Прелестное дитя улыбалось цветам и птичкам» и изменяло своему мужу.

Десять лет спустя прелестное дитя, оставаясь приблизительно в том же возрасте, увлекало читателей тонкой психологией своего двенадцатого адюльтера. Муж вообще не считался уже ни за что. Разбирался только вопрос, имеет ли второй любовник столько же прав на ревность, как и одиннадцатый.

Теперь уже не то. Теперь берите шире. В новом французском романе героине или не более двенадцати лет (как «Claudine», «La petite Cady»¹ и прочим их суррогатам), или не менее пятидесяти.

Какова амплитуда! Каков размах!

Хуже всех живется во французском романе молодой девушке. Единственная роль, которая ей отводится скупым на девические радости романистом, — это делать к столу букеты и падать в обморок. Вообще же она скоро умирает или уезжает навеки к тетке в провинцию.

Любить ее нельзя.

¹ «Клодина», «Малютка Кади» (фр.).

Она, конечно, равнодушна к материнскому Густаву или Адольфу, но для него-то она не представляет ровно никакого интереса.

Молодая особа, которой, может быть, нет даже двадцати пяти лет, с хорошеньким личиком и кое-каким приданым.

О нет! Il en a soupe!¹

Он бежит от нее к ее очаровательной матери, которая ждет его у окна, и «ее стройная шестидесятилетняя фигура изящно вырисовывается на фоне темной драпировки».

— Мадлена!

— Я твоя, но мне нужны деньги. Я люблю запах золота.

Он понимает ее. Он сам всю жизнь готов нюхать золото.

И вот они на пышном рауте (это все по роману Маргерита).

Там присутствует еще одна красавица, уже несколько отяжелевшая (лет, вероятно, этак под девяносто). И красота Мадлены выделяется еще ярче. Два банкира, увидев все это, тут же разорились. Запах золота, густой и пряный, опьянял присутствующих.

Мадлена торжествовала.

Там, вдали, в провинции, у тетки, дочь ее лежала в обмороке. А она улыбалась улыбкой Артемиды, которая к шестидесяти пяти годам только прочнее утвердилась в девственности своих очертаний.

Fin.

А вот роман другого полюса.

Героине двенадцать лет.

Чувствуется досада автора, что ей не три года. Но никак нельзя. Эти трехлетние девочки обыкновенно так еще плохо говорят, что толком и не разберешь, что им нужно.

Итак, ей двенадцать лет.

На совести ее несколько коротких романов и мимолетных связей. Она презирает мать за неумение пудрить затылок так, чтобы не было заметно.

Она первая пустила в употребление голубую краску для нижних век.

Она «уже» стыдится пошлой интрижки с молодым лакеем и любезна с ним только из выгоды: любит распить потихоньку бутылочку-другую шампанского.

¹ Надоело! (Фр.)

Гувернантку держит в страхе. Вместо уроков географии ходит в гости к знакомой кокотке, что тем не менее ничуть не вредит ее образованию.

Если же она поступает в школу, то времяпрепровождение ее среди сверстниц принимает такой уклон, что романы с ее жизнеописанием строжайше воспрещаются к ввозу в Россию, Австрию, Германию, Италию, Румынию, Испанию и Португалию.

Но ее редко отдают в школу. К чему? Да и некогда.

Утром (она встает около двух, так как утомлена ночным кутежом) позирование у модного художника, затем несколько свиданий, поездка с подругами в кафешантан. Смотришь, и день прошел.

Дома достаточно ей переступить без няньки за порог детской, чтобы тотчас же несколько министров, болтающихся всегда в коридоре, сделали ей бесчестные предложения.

Со свойственным ей тактом она ставит министров на место.

— Через пятьдесят лет я буду вашей.

— Zut!¹

И через пятьдесят лет, уже в другом романе, где крепкий запах золота ест глаза, все министерства падают. Так пожелала она, стоя в коротеньких панталончиках на пороге своей детской.

О герое нового французского романа я не говорю ничего, потому что роль его вряд ли может утешить неврастеника-читателя.

Герой французского романа так неопытен и невинен, что самая чистая лилия кажется по сравнению с ним бурой свиньей.

Он всегда обманут, всегда несчастлив и всегда уважает волю своих родителей, живущих сельскими продуктами, где-то «там», среди ландышей и бузины.

Не будем же говорить о герое. Ну его!

Итак, господа осенние неврастеники, читайте французские романы.

¹ Черт возьми! (Фр.)

Читайте и оставьте вашу мебель в покое. Пусть стоит, как стояла в прошлом году. Нужно немножко переждать.

Вот стукнет вам шестьдесят лет, и все переменится само собою. Фигура ваша зазмеится в амбразуре окна; четыре Гастона, давя друг друга, бросятся к вашим ногам, и от терпкого запаха золота расчихается даже ваша старая, ко всему привычная кошка.

А министерства! С каким треском они рухнут, если только вы этого пожелаете. Вы, в своих коротеньких панталончиках!

Zut!

Рекламы

Обратили ли вы внимание, как составляются новые рекламы?

С каждым днем их тон делается серьезнее и внушительнее. Где прежде предлагалось, там теперь требуется. Где прежде советовалось, там теперь внушается.

Писали так:

«Обращаем внимание почтеннейших покупателей на нашу сельдь нежного засола».

Теперь:

«Всегда и всюду требуйте нашу нежную селедку!»

И чувствуется, что завтра будет:

«Эй ты! Каждое утро, как глаза продрал, беги за нашей селедкой».

Для нервного и впечатлительного человека это — отравка, потому что не может он не воспринимать этих приказаний, этих окриков, которые сыплются на него на каждом шагу.

Газеты, вывески, объявления на улицах — все это дергает, кричит, требует и приказывает.

Проснулись вы утром после тусклой малосонной петербургской ночи, берете в руки газету, и сразу на беззащитную и неустоявшуюся душу получается строгий приказ:

«Купите! Купите! Купите! Не теряя ни минуты, кирпичи братьев Сигаевых!»

Вам не нужно кирпичей. И что вам с ними делать в маленькой, тесной квартирке? Вас выгонят на улицу, если вы натащите в комнаты всякой дряни. Все это вы понимаете, но приказ получен, и сколько душевной силы нужно потратить на то, чтобы не вскочить с постели и не ринуться за окаян-ным кирпичом!

Но вот вы справились со своей непосредственностью и лежите несколько минут разбитый и утираете на лбу холод-ный пот.

Открыли глаза:

«Требуйте всюду нашу подпись красными чернилами: Беркензон и сын!»

Вы нервно звоните и кричите испуганной горничной:

— Беркензон и сын! Живо! И чтоб красными чернила-ми! Знаю я вас!..

А глаза читают:

«Прежде чем жить дальше, испробуйте наш цветочный одеколон, двенадцать тысяч запахов».

«Двенадцать тысяч запахов! — ужасается ваш утомлен-ный рассудок. — Сколько на это потребуется времени! При-дется бросить все дела и подать в отставку».

Вам грозит нищета и горькая старость. Но долг прежде всего. Нельзя жить дальше, пока не перепробуешь двенад-цать тысяч запахов цветочного одеколona.

Вы уже уступили раз. Вы уступили Беркензону с сыном, и теперь нет для вас препон и преград.

Нахлынули на вас братья Сигаевы, вынырнула откуда-то вчерашняя сельдь нежного засола и кофе «Аппетит», кото-рый нужно требовать у всех интеллигентных людей нашего века, и ножницы простейшей конструкции, необходимые для каждой честной семьи трудящегося класса, и фуражка с «любой кокардой», которую нужно выписать из Варшавы, не «откладывая в долгий ящик», и самоучитель на балалай-ке, который нужно сегодня же купить во всех книжных и прочих магазинах, потому что (о, ужас!) запас истощается, и кошелек со штемпелем, который можно только на этой неделе купить за двадцать четыре копейки, а пропустите срок — и всего вашего состояния не хватит, чтобы раздо-бить эту, необходимую каждому мыслящему человеку, ве-щицу.

Вы вскакиваете и как угорелый вылетаете из дому. Каждая минута дорога!

Начинаете с кирпичей, кончаете профессором Бехтеревым, который, уступая горячим просьбам ваших родных, соглашается посадить вас в изолятор.

Стены изолятора обиты мягким войлоком, и, колотясь о них головой, вы не причиняете себе серьезных увечий.

У меня сильный характер, и я долго боролась с опасными чарами рекламы. Но все-таки они сыграли в моей жизни очень печальную роль.

Дело было вот как.

Однажды утром проснулась я в каком-то странном тревожном настроении. Похоже было на то, словно я не исполнила чего-то нужного или позабыла о чем-то чрезвычайно важном.

Старалась вспомнить, — не могу.

Тревога не проходит, а все разрастается, окрашивает собою все разговоры, все книги, весь день.

Ничего не могу делать, ничего не слышу из того, что мне говорят. Вспоминаю мучительно и не могу вспомнить.

Срочная работа не выполнена, и к тревоге присоединяется тупое недовольство собою и какая-то безнадежность.

Хочется вылить это настроение в какую-нибудь реальную гадость, и я говорю прислуге:

— Мне кажется, Клаша, что вы что-то забыли. Это очень нехорошо. Вы видите, что мне некогда, и нарочно все забываете.

Я знаю, что нарочно забыть нельзя, и знаю, что она знает, что я это знаю. Кроме того, я лежу на диване и вожу пальцем по рисунку обоев; занятие не особенно необходимое, и слово «некогда» звучит при такой обстановке особенно скверно.

Но этого-то мне и надо. Мне от этого легче.

День идет скучный, рыхлый. Все неинтересно, все не нужно, все только мешает вспомнить.

В пять часов отчаяние выгоняет меня на улицу и заставляет купить туфли совсем не того цвета, который был нужен.

Вечером в театре. Так тяжело!

Пьеса кажется пошлой и ненужной. Актеры — дармоедами, которые не хотят работать.

Мечтается уйти, затвориться в пустыне и, отбросив все бренное, думать, думать, пока не вспомнится то великое, что забыто и мучит.

За ужином отчаяние борется с холодным ростбифом и одолевает его. Я есть не могу. Я встаю и говорю своим друзьям:

— Стыдно! Вы заглушаете себя этой пошлостью (жест в сторону ростбифа), чтобы не вспоминать о главном.

И я ушла.

Но день еще не был кончен. Я села к столу и написала целый ряд скверных писем и велела тотчас же отослать их.

Результаты этой корреспонденции я ощущаю еще и теперь и, вероятно, не изглажу их за всю жизнь!..

В постели я горько плакала.

За один день опустошилась вся моя жизнь. Друзья поняли, насколько нравственно я выше их, и никогда не простят мне этого. Все, с кем я сталкивалась в этот великий день, составили обо мне определенное непоколебимое мнение. А почта везет во все концы света мои скверные, то есть искренние и гордые письма.

Моя жизнь пуста, и я одинока. Но это все равно. Только бы вспомнить.

Ах! Только бы вспомнить то важное, необходимое, нужное, единственное мое!

И вот я уже засыпала, усталая и печальная, как вдруг словно золотая проволочка просверлила темную безнадежность моей мысли. Я вспомнила.

Я вспомнила то, что мучило меня, что я забыла, во имя чего пожертвовала всем, к чему тянулась и за чем готова была идти, как за путеводной звездой, к новой прекрасной жизни.

Это было объявление, прочтенное мною во вчерашней газете.

Испуганная, подавленная, сидела я на постели и, глядя в ночную темноту, повторяла его от слова до слова. Я вспомнила все. И забуду ли когда-нибудь!

«Не забывайте никогда, что белье монополь — самое гигиеничное, потому что не требует стирки».

Вот!

Аэродром

Петербург ходит, задрав голову кверху.

Приезжий иностранец, наверное, подумал бы:

«Какая гордая нация».

Или:

«Не ищут ли они там, за звездами, чтоб погибнуть?»

Э, нет! Не ищут! Просто знают, что французы летать приехали, — ну, и надеются, не залетят ли, мол, сюда на улицу, чтоб на даровщинку поглазеть.

Каждый день, начиная с двух часов, огромная толпа бежит, едет, идет и ползет по направлению к аэродрому. Полеты начинаются (если только начинаются) в пять, но многие любят прийти с запасцем; часы России считаются машинкой ненадежной и шаловливой и любят подурочить честной народ. Иногда посмотришь: на Николаевском вокзале стрелка показывает десять часов утра, а на соседней колокольне восемь вечера.

На аэродроме веселятся как умеют: ругают буфет, ругают ветер, ругают солнце, ругают дождь, облака, холод, жару, воздух — ругают всю природу во всех ее атмосферических проявлениях и уныло смотрят на дощатые ангараы, около которых суетятся тонконогие французы и избранная аэроклубом публика.

Выдвинут из ангара длинную зыбкую машину, похожую не то на сеялку, не то на веялку, потрещат винтом, поссорятся и снова тащат на место. А публика бежит из буфета и, ругая бутерброды, спрашивает, кто полетел.

Посреди круга — палка с флагом.

Долго мучились, придумывая цвета. За границей, если полет отменяется, выкидывают красный. У нас — полиция запретила.

— Это еще что за марсельеза!

Черный — тоже нельзя.

— Террориста радовать? А?

И желтый неудобно:

— Кто его знает, что он там значит!

Решили остановиться на цвете bleu gendarme¹. Успокоительный цвет. Состоится полет, выкидывают bleu gendarme посветлее. Не состоится — потемнее.

Смотрит публика и ничего не понимает. Пойди растолкуй им разницу между голубым и синим.

Но вот завертелся винт, зашипел, загудел. Пыль столбом. Еще минутка — и полетела сеялка-веялка.

Смотрят, рты разинули. Некоторые переглядываются, улыбаясь, точно увидели, как рыба гуляет на хвосте.

Минут через десять удивление проходит, и начинается критика:

— Очень это еще все несовершенно!

— Летают, летают, даже надоело!

— Я, знаете, хочу потребовать деньги обратно.

На полянке, где ждут извозчики и стоит бесплатная публика, критики еще строже.

— Видал, как энтот полетел?

— Есть чего смотреть-то! Я думала, и вправду машина полетит. А он взял четыре палки, натянул холстину, да и все тут. Эдак-то и каждый полетит.

— И ты полетишь?

— Мне нельзя: я при лошади.

— А кабы не лошадь, так полетел бы?

— Отвяжись ты, окаянный ты человек!

— А что, Григорий, видал, как люди нынче летать стали?

— Лю-у-ди? Где ж они летают?

— Как где? Да вон, сейчас летел.

— Барин летел, а ты говоришь — люди. Чего барину не полететь? — народ обеспеченный.

— Летают? А пусть себе летают. Мне-то что!

Волнуются и спрашивают о мнении больше интеллигенты. Мужики и извозчики чрезвычайно равнодушны.

Посмотрит сонными глазами на парящего Фармана и сплюнет с таким видом, точно у себя в Замякишне и не такие штуки видывал.

¹ Синий (голубой) жандармский (фр.).

В середину круга — к ангарам, аппаратам и тонконогим французам — попасть очень трудно.

Нужна особая протекция.

Один инженер, набравшись храбрости, рискнул и перешел заколдованную черту.

Не успел он сделать десяти шагов, как к нему подошел какой-то полный господин, иностранного покроя, очевидно, один из участников воздушного дела, и, вежливо поклонившись, что-то спросил по-немецки.

Инженер этого языка не знал и ответил по-французски, что очень просит разрешить ему посмотреть поближе машины, так как он сам специалист и очень авиатикой интересуется.

Но полный немец не понимал по-французски и снова сказал что-то по-немецки и грустно покачал головой.

Инженер понял, что немец и рад бы был пропустить его, но не может, так как это будет против правил. Он вздохнул, извинился, развел руками и вернулся на свое место. Немец тоже исчез.

Когда полет окончился и публика стала расходиться, инженер снова увидел своего немца. Тот сидел на автомобиле и ласково указывал свободное место около себя, предлагая подвезти.

«Какой любезный народ эти иностранцы», — подумал инженер и с радостью воспользовался предложением, тем более что при разъезде с аэродрома очень трудно разыскать своего извозчика. Все они, позабыв свой номер и свое имя, пялят глаза на небо.

Разговаривая больше жестами и любезными улыбками, инженер и немец делились впечатлениями дня. Русские вообще как-то слащаво жентильничают с иностранцами, в особенности если говорят на чужом языке, и непременно скажут «pardon» там, где по-русски привычно и верно звучит: «О, чтоб тебя!»

— Хе-хе! — радушиничал немец, устраивая инженера поудобнее.

— Хе-хе! — деликатничал инженер, усаживаясь на самый краешек.

Так ехали они умиленно, весело и приятно, как вдруг на повороте немец высунулся вперед и крикнул шоферу:

— Забирай левее, братец, там будет посвободнее, а то, видишь сам, какая давка, — ни тпру ни ну!

Так и отчеканил на чистейшем русском языке. Инженер чуть не выскочил:

— Да ведь вы русский, черт вас...

— Господи! Да ведь и вы! Чего ж вы дурака ломали! Я думал, что вы из самых главных французов! А вы...

— Так чего же вы меня из круга прогнали? — возмущался инженер.

— Я вас? Господь с вами! Это вы меня, а не я вас. Я подошел и вежливенько попросил позволения остаться, а вы все только руками разводили. И рад бы, мол, да не имею права. А я еще подумал: «Какой симпатичный, кабы не так строго, он бы меня пустил». Эх вы!

— И вы тоже хороши! Обрадовались, что с французом на автомобиле едете!

— А вы не рады были, что вас воздушный немец везет? Эх вы!

— И как же это вы не догадались?

— А вы отчего не догадались? Нашли тоже француза!

И долго и горько они укоряли друг друга.

Вот такая печальная история разыгралась у нас на аэродроме.

Невольно возникает вопрос: Полезно ли воздухоплавание?

Причины и следствия

Каких только лекций не читали на белом свете!

И о богостроительстве, и о Шантеклере в жизни, и о Вербицкой в кулинарном искусстве, и о вреде самоубийства среди детей школьного возраста, и о туберкулине, и о женском вопросе.

Один превосходный оратор, говоря о прогрессе женского движения, воскликнул:

— Женщина всюду и всюду вытесняет мужчину! Женщина и в школе, и в академии, женщина и в родильных домах!

Речь эта вызвала немало волнений среди наших суффражисток, и они подняли даже вопрос об уступке своих прав мужчине касательно последнего пункта.

Многие удивлялись и в печати даже высмеивали это обилие лекций.

— Для кого, — говорили, — все это? Кому нужно мнение какого-нибудь Семена Семеновича о Шопене или об эротизме у статских советников?

Другие отстаивали идею лекторства, находили, что это приучает людей шевелить мозгами и рассуждать логически.

Вот об этом-то последнем пункте мне и хочется поговорить пообстоятельнее.

Ну, не глупо ли приучать людей рассуждать логически, когда теперь уже достоверно дознано, что ни одно следствие из своей причины вытекать не может?

Прежде — в былые, правильные времена — вытекало. А теперь — кончено дело.

Поэтому человек, правильно рассуждающий и на основании таковых рассуждений поступающий, вечно будет путаться во всей этой неразберихе, отыскивая начало начал и концы концов.

Жить на свете вообще трудно, а за последнее время, когда следствие перестало вытекать из своих причин и причины вместо своих следствий выводят, точно ворона кукушечьи яйца, нечто совсем иной породы, жизнь стала мучительной бестолочью.

Ну, чего проще: вы, уходя из дому, бросаете взгляд в окошко. Видите, что идет дождь.

Ваша культурная голова начинает свою логическую работу.

Она думает:

а) Идет дождь.

б) От дождя спасает зонтик.

Ерго, возьму свой зонтик и спасусь от дождя.

Ха-ха! Это вы так думаете. А на самом деле выйдет, что вы забудете ваш зонтик в Гостином дворе и потом четыре часа подряд будете бегать под проливным дождем из магазина в магазин, спрашивая: не здесь ли вы его оставили? Потом простудитесь и, умирая, пролепечете детям:

— Вместо наследства, дорогие мои, оставляю вам хороший совет: никогда в дождливую погоду не ходите под зонтиком.

Конечно, потом про вас будут распускать слухи, что перед смертью вы окончательно свихнулись, но вы-то будете знать, что были правы.

Бойтесь правильно рассуждать!

Одна моя знакомая, женщина семейная, пожилая и спокойная, которой ничто не мешало рассуждать правильно, чуть не сошла с ума, видя, к каким результатам это приводит.

У женщины этой жила в Полтаве тетка, обладающая небольшим, но доходным и приятным хуторком «Чарнобульбы».

Как-то вышеописанная рассудительная женщина, всю жизнь точившая зубы на теткины «Чарнобульбы», сказала мужу следующую, вполне правильную, в смысле логических требований, фразу:

а) Старухи любят почтительных родственников.

б) Напишу тетке Александре почтительное письмо.

Ergo, она меня и полюбит.

Муж одобрил рассудительную женщину и сказал:

— Напиши ей что-нибудь интересное. Старухам не нравится, когда все только о здоровье да о делах. Опиши ей, как мы устраивали пикник и готовили польский бигос под открытым небом.

Сказано — сделано.

Почтительное письмо с описанием изготовления польского бигоса отослано.

Чего бы, кажется, теперь ожидать?

Ожидать взрыва теткой любви.

А знаете, что из этого вышло?

Вышло то, что в Костромской губернии, в Кологривском уезде баба-кухарка больно-пребольно выпорола сестрино-го мальчишку.

Вот и разберись тут. Вот и ищите нити! Письмо почтительного содержания в Полтаве, а парня порют в Костроме!

Ну, таких ли результатов добивалась рассудительная женщина, когда так правильно, по пунктам, конструировала свою мысль? Ну, не страшно ли после этого жить на свете?

Вот вы, может быть, теперь читаете эту мистическую повесть в Ялте, а за этот самый ваш поступок где-нибудь в Архангельске сельский учитель объелся тухлой рыбой!

Не удивляйтесь! Раз следствия не вытекают из своих причин, а причины не рожают своих следствий, а напротив того, совершенно посторонние, то почему бы и не объесться сельскому учителю?

Однако хочу рассказать дальше про рассудительную женщину.

Когда тетка получила ее письмо, это последнее произвело на нее самое приятное впечатление. И почувствовала тетка, что нужно что-то сделать. Она была стара и от природы глупа, поэтому и не догадалась, что нужно написать племяннице и завещать ей «Чарнобульбы».

А так как душа требовала какого-то подвига, то тетка принялась писать своей старой приятельнице в Костромскую губернию и изливать душу насчет того, как интересно готовить бигос под открытым небом. Так старуха отвела свою душу и зажила в прежнем спокойствии.

Приятельница же ее, прочтя письмо за обедом, сильно рассердилась на кухарку за пережаренного гуся.

— Вон, — кричала она, — люди, которые самые несчастные и даже крова над головой не имеют, ухитряются стряпать под открытым небом! А вы, мазурики, только хозяйское добро растатыриваете!

Кухарка, женщина нервная, обиды снести не могла и, поймав на огороде лущившего без спросу горох сестрина мальчишку, тут же его и выпорола!

Какова история!

Но это не все.

Как бы для того, чтобы доказать самой себе, какая она нелогичная дура, судьба устроила следующую штуку.

Рассудительная женщина имела еще одну тетку с мужниной стороны, Таисию, с сельцом «Лисьи ноги».

Вот и случилось так, что почтительная племянница забыла, которой из теток написала она почтительное письмо про бигос.

Муж, человек занятой и рассеянный, стал уверять, что Таисии с «Лисьими ногами», и посоветовал написать такое

же и Александре. Не ломать же себе голову над сюжетами! На всех теток разнообразия не напасешься.

Сказано — сделано. Отослано снова в «Чернобульбы» письмо про пикник с бигосом.

Казалось бы, одинаковая причина должна породить и одинаковое следствие. Вы думаете, что костромского парня опять выпороли?

Ха-ха! Ничуть не бывало! Это вы так думаете, а на самом деле, благодаря тому письму, совершенно посторонний старик подарил своему кучеру пятьсот рублей.

Логично?

Получила тетка Александра второе письмо про пикник и обиделась.

— И все-то у них дурь в голове! Пикники да микники! Нет чтобы о старухином здоровье толком порасспросить.

Тетка знала, что такого и слова нет — «микники», но, как старуха богатая, позволяла себе порою много лишнего.

Присутствовавший при чтении письма сосед, старик одинокий, вернувшись домой, позвал преданного ему кучера и сказал:

— Я тебе, Вавила, все состояние завещаю со временем, а у меня, в банке, пятьсот рублей чистоганом да домишко. Только ты меня береги и родственников, буде такие объявятся, гони со двора метлой. Потому у них только на уме, что пикники да микники. Еще отравят.

И кучер получил 500 рублей.

Я могла бы привести еще несколько примеров в доказательство истинности моего открытия, но мне кажется, что достаточно и вышеприведенной истории, чтобы волосы ваши поднялись дыбом.

Я и сама в ужасе и не знаю, как быть дальше.

На всякий случай буду жить спустя рукава. И вам строго завещаю:

Режьте всегда, не примеривши ни одного раза, вместо прежних семи.

Отвечайте всегда не подумавши. Никогда не смотрите себе под ноги.

Ну, с Богом! Начинаем!

С незапамятных времен

В городе Малые Суслы уже несколько лет была мужская прогимназия, но влачила она самое жалкое существование.

Начать с того, что у нее не было своего собственного здания, а приходилось разные классы помещать в разных местах. Приготовишки, например, ютились в земской управе, а второй класс занесло за огороды к самому монастырю, так что учителя бегали от урока к уроку, высуня язык и подвернув штаны, чем и побуждали врагов просвещения к писанию доносов на несолидность своего облика.

Вообще, трудно было.

Оборудовали физический кабинет. Купили гремучую змею в спирту, модель уха в разрезе, лейденскую банку, колбу и изображение двуутробки натуральной величины в красках. Городской голова уступил горницу даром. Только что устроились, не минуло и недели, как все пошло прахом. Головиный пасынок, известный драчун и пьяница, выпил весь спирт из-под змеи и, захмелев, тут же въехал кулаком в ухо в разрезе. А головиха, отсылая гостинцы к сестре в Кострому, наложила по ошибке соленых груздей прямо в лейденскую банку, да так и отправила.

Кабинет был разорен — на одной двуутробке далеко не уедешь! Стали просить разрешение строить собственное здание. После долгих хлопот разрешение это наконец было получено.

Город ликовал. Предводитель дворянства закатил обед с кулебякой, а председатель управы, меценат и златоуст, вызвался сказать речь.

Все замерли, когда он встал с места и вдохновенно поднял вверх указательный палец.

— Господа! — начал он. — Еще с незапамятных времен, когда земной шар представлял из себя беспорядочное обиталище хищных зверей и растений и был, вообще, совершенно пустынный и круглый, когда нашей великой и славной матушки-Руси еще не было и в зачатке... То есть как это так не было и в зачатке? — вдруг остановил он себя довольно строго. — Русь была! Само собою разумеется, что была, но была она совсем не в таком виде, в каком мы наблюдаем

и прославляем ее теперь и когда поражаются ее ширью многие иностранцы, а в совершенно другом! Еще татарские становища рыскали по ее многострадальному лику, производя свое иго и налагая дань... То есть как это татары? — уличил он себя снова. — При чем тут татары? Не татары здесь были, а, скажем, Иоанн Грозный, вот кто! Да и не Иоанн Грозный, а вернее, что Петр Великий. Могучий преобразователь, который, прорубая окно в Европу, тем не менее не забывал и родной своей страны, ежечасно проливая за нее свою кровь и слезы. Много недовольных было, и многим не нравились великие реформы, которые могущественный монарх... Да и не при Петре это вовсе было. Гм... Вовсе даже не при Петре! Было это при Екатерине Великой. При императрице Екатерине Великой. Вот когда! Императрица Екатерина Великая была, как известно, Ангальт-Цербстского происхождения. Вступив на престол своего нового отечества, она поклялась посвятить всю свою жизнь благу народному и окружила себя достойными соправителями. Одним взмахом пера прекратив взятки...

...Да и не при Екатерине вовсе это было. Зубов уж был из изгнания возвращен... Какая же тут Екатерина! Александр Благословенный, вот кто! При Александре Павловиче, в то время как на западе... Позвольте! А как же турецкая-то война? Турецкая-то война при Николае была! Вот когда! Стало быть, еще при Николае I, когда Россия принуждена была... Да и не при Николае I это было, а при Александре Втором. Впрочем, как же это при Александре Втором? Позвольте, господа, попечитель-то когда к нам приезжал?

— Да в прошлом году! В прошлом году постом приезжал, — хором отвечали слушатели.

— В прошлом году? Так вот, стало быть, еще когда! Еще, стало быть, в прошлом году возникла у нас мысль выстроить собственное здание для прогимназии. И вот, значит, теперь получили мы разрешение. Ура-а!

— Урр-аа! — восторженно подхватили все и кинулись качать златоуста.

А в самом конце стола, примостившись боком между дьяконом и головиным пьяницей, сидел молодой учитель чистописания. Он не смел качать председателя управы. Для

этого он был слишком мелкая сошка и не имел даже крахмального белья.

Но он смотрел, как все лобызают златоуста и чокаются с ним, поливая шампанским его приятный круглый живот в белом пике, и весь горел и томился тоскливым вопросом:

— Отчего так? Отчего одним и слава, и талант? Отчего одним всё, а другим ничего?

Прачечная

В городе еще душно.

Окна весь день открыты настежь, и весь наш огромный шестизэтажный дом живет одной общей жизнью.

Тайн никаких.

Если у кухарки из третьего этажа пережарилась говядина, то весь дом участвует в этом происшествии, по крайней мере, тремя чувствами. Слышит визги разгневанной барыни, обоняет кухонный чад и видит, как кухарка, высунувшись в окно, грозит кулаком безответным небесам. Но все на свете имеет свой порядок и свое место.

Первое, что вы слышите, — это вопль из прачечной:

Мамашенька руга-а-ла-а-а!

Чи-иво я так грустна-а-а!

Вы не видите поющей, но и так знаете: петь должна рыжая прачка, потому что только из рыжего веснушчатого носа могут выходить на свет Божий такие звуки — и-и.

Это первое впечатление остается и подновляется весь день. Вся остальная жизнь проходит на фоне этого пения и окрашивается им. Жизнь — такая маленькая и урывчатая, а пение сплошное и бесконечное.

Конечно, бывают за день и более свежие впечатления, заглушающие прачку. Но надолго ли!

В восемь утра приходит во двор баба и звонко и долго убеждает нас, что слива — ягода.

— Слива — ягода, ягода!

Распространив эти заведомо ложные слухи, она уступает место какой-то ерунде с «ту-уфлями, чулками и нитками». А прачка все поет про мамашеньку. Между тем события назревают. Жизнь не ждет.

В третьем этаже кто-то выпил баринов коньяк, и вопли невинно заподозренных надрывают сердце. Только к вечеру выясняется, что коньяк выпился сам собой.

В два часа дня господин из бельэтажа начинает подозревать свою жену в неверности. Подозревает он ее вплоть до обеда, шумно, бурно, открыто. Излагает свои мотивы просто и ясно. Может быть, он вел бы себя иначе, если б прачка не пела в это время:

Там играла луна сы перекатной валной-й-й
И шевелила та-ску ва груди маладой-й-й.

Теперь ее можно видеть еще лучше. Да, она рыжая, курносая. Она широко расставляет руки с красными локтями и раздутыми красными суставами пальцев. С них каплет мыльная пена.

Ва груди ма-ла-дой-й-й!

Заходит во двор татарин. Грустно окидывает взглядом все шесть этажей.

— Халат! Халат!

И действительно, халат. Весь дом похож на халат, старый, из разношерстных заплат. Эх, татарин, татарин, зачем проворонил и свое и наше счастье! Трудно нам без тебя. И где-то твое родное игрушко?

Дворник с пылом Дмитрия Донского гонит татарина со двора.

...И над рекой-й-й
Виется мрамер морской-й-й.

В шесть часов вечера в шестом этаже вернувшийся со службы чиновник начинает воспитывать своих шестерых детей. (Очевидно, цифра шесть играет в его жизни фатальную роль.)

— Кто разбил блюдечко? Отвечай! Ты должен всегда говорить правду отцу! Правду, правду отвечай!

И, внушив это, тут же показывает всю несостоятельность своей теории. Все шесть этажей слышат вопли одного из шести младенцев, сказавшего правду, и многие впечатлительные люди дают зарок — не открывать свою душу родителям.

Там играла луна
Сы перека-ты-най валной-й-й.

Может быть, если б луна не играла, младенец не вопил бы так отчаянно?

В восемь часов в подвале бьют сапожника мальчишку.

В девятом — последний всплеск «перека-ты-ной валны», и в «груде молодой» замирают звуки до следующего утра.

Но это не беда: в девять на крышу вылезают кошки и оплакивают погибшую любовь минувшего лета теми же звуками.

Уау-ой-й-й!

Едем в кафешантан! Едем все, сколько нас здесь есть. Все, слышавшие прачку и боящиеся услышать кошку.

В кафешантане будет хорошо. Застучат каблучки испанок, вспыхнут огоньки бриллиантов и обольют гибкие шеи, тонкие нежные руки. Музыка скверная, развратная, как перигорский трюфель, возвращенный на перегною, но она выдуманна и сделана искусно и специально. И уж до такой степени далека от прачки и кошки, что и ассоциаций никаких возникнуть не может. А ведь этого и надо. Только этого — чтоб подальше от них хоть на два-три часа.

Программы новые и очень интересные. Обещаны, между прочим, какие-то «любимицы публики, русские певицы нового жанра — Пелагея Егоровна Назарова и Степанида Трофимовна Пахомова».

Интересно.

Ну вот, приехали. Сели.

Защелкали испанские каблучки, вспыхнули огоньки бриллиантов, промелькнул бешеный вихрь разноцветных воланов.

Наконец выкинули № 12-й. Все оживились, — это и был «новый жанр».

На сцену вышла женщина с круглым носом и распаленным ртом. Над скуластым лицом, словно для смеха, виднелась прическа Клео-де-Мерод.

Женщина расставила ширококостные руки с красными локтями и суставами пальцев и, задрав нос кверху, загнула:

Посмотри над рекой-й-й,
Виется мрамор морской-й-й!

Уж не галлюцинация ли это?

Какой скандал! Как могла залезть сюда прачка? Кто ее впустил?

...А ва груди молодой-й-й!

Прачка чувствовала себя как дома. Вздыхала, сопела, изредка, по вкоренившейся привычке, вытирала руки об юбку и гнула от всей души.

Я все ждала, когда ее наконец выведут. Но ей везло. Ее не вывели, а, напротив того, попросили погнусить еще немножечко. И она спела о том, как убили «прилесную чайку», вдобавок совершенно невинную. Музыка соответствовала сюжету, и даже аккомпаниатор играл, как заправский убийца, потерявший стыд и совесть.

— Bravo, Назарова, bravo! — кричала публика.

И прачка спела на бис трагическую историю о том, как парень надул девку, не заплатив ей обещанную полтину.

И только знает рожь высокая...

сколько девка понесла убытка. И «Гей ты, доля женская».

И опять вызовы без конца, и новая трагедия, но уже с приплясом, о том, как опять «примяли рожь высокую», и опять кто-то кого-то обсчитал.

Еще не смолкли аплодисменты расчувствовавшейся публики, как на сцену ухарски выплыла вторая прачка и, шмыгнув носом, призадумалась. Очевидно, ей строго было внушено перед публикой в руку не сморкаться, и она теперь не знала, как и быть.

Но, отогнав тяжелую мысль прочь, она запела.

В противовес лирической Пелагее, репертуар Степаниды оказался оттенка героического:

Гей, чаво кобылы мчатся,
Тешут душу ямщику!

Седок понукает ямщика:

Знать, не знал седок угрюмый,
Что ямщик давно влюблен...

На бис — снова ямщицкие амуры. И так раз шесть подряд.
А из-за кулис уже выглядывает третья баба и дожевывает
что-то, утирая локтем подбородок.
Вот и она выскочила:

Тпру! Ямщик, что кони стали.
Парень девку загубил...

Прачечная орудовала в полном составе. Мы уходим, медленно пробираясь к выходу.
А четвертая прачка надрывается:

Во вчерашнем лесу
Отдалась, задалась...

Вот мы уже около двери. Последнее усилие...

Эх, ямщик, ямщик бесстыжий!

Мы спасены. Сидим за столиком, пьем холодный нарзан.
На открытой сцене танцуют дрессированные слоны. Они не
похожи на прачку, и мы смотрим на них, не отрывая глаз.

За соседним столиком разговор.

Толстый человек говорит вразумительно:

— Не нравится-а? Назарова-а? Нужно, батенька, русскую
жилу иметь, чтоб понимать. А у вас и фамилия от немецко-
го корня. Да уж нечего! Да уж так! Вот вы теперь смотрите,
как энтот, как его, крокодил, что ли, польку танцует. А раз-
ве его можно сравнить, скажем, с русским пением? Нельзя!
Потому он просто зверь из физиологического сада. И баста.
А Назарова — она просто прачкой была, а вон как нынче.
А почему?.. А так!.. Как так? А просто так. Вот как!

Неделикатности

Журфикс был в полном разгаре.

Молодой моряк — душа общества — декламировал, импровизировал, читал Бальмонта под собственную музыку:

Я в мир-р пришел, чтоб видеть солн-н-це!

Вдохновенно ворочал круглыми глазами и под конец прочел свое собственное стихотворение, до такой степени похожее на бальмонтовское, что барышни даже не разобрали, которое чье.

Потом играли в рулетку, потом ужинали.

За ужином толстый полковник рассказывал горбуновские сценки, путая и перевирая. Слушатели доверчиво смеялись.

— Пузырь... Он те полетит... Накачали воздуху, так и полетит...

Мой сосед, моряк, душа общества, вдруг загрустил...

— Все это было когда-то так! Теперь не то!

— О чем вы!

— Не то теперь! Теперь они не скажут «пузырь» или «водолаз». Скорее мы с вами скажем. Сегодня утром, как раз после того, как я подобрал музыку «Полевой ромашке», пришел ко мне матрос по делу. Я, нужно вам признаться, специалист по беспроводному... как это называется... гм... да, по беспроводному телеграфу. У меня, понимаете, звучат в душе: «Я зовусь по-ле-вая ромашка!», а матрос так и жарит: «переменный ток когерер, самоиндукция...» Стою как дурак!

— Чего же вы так? — удивляюсь я. — Ведь вы специалист?

Душа общества криво усмехается.

— На днях еду в трамвае, — вполголоса, точно на исповеди, изливает он, — вдруг остановились, ни туда, ни назад. Я и говорю вагоновожатому: «Видно, братец, что-то в машине заело». А он чуть-чуть отвернулся и говорит: «Нет, это просто мотор замкнулся на себя». И чувствую, что, не будь ему так за меня стыдно, он бы тут же пустился объяснять, как мотор замыкается.

Толстый полковник рассказывал анекдот, как мужик хотел послать сапоги по телеграфу.

— Да, да! — приговаривал моряк. — Это мы с вами пошлем! А мужик не пошлет. Мужик вам скажет, какой аппарат Морзе, а какой не Морзе. Говорю недавно своим матросам: «Вот, братцы, теперь в беспроводной телеграфии введена такая особенная, как ее... дуга, очень сильная, так что можно будет далеко телеграфировать». А матросик-монтер мне в ответ: «Это вы про дугу Паульсена? Действительно, благодаря монохроматичности переменного поля допустима более точная синтонизация на основное колебание».

Верите ли, у меня было такое чувство, как будто он меня при всех колотит. И так, и этак, и перевернет... Да вдруг как крикну: «Мо-олчать!» Повернулся и ушел. Ужасно глупо! Ужасно!

Но что же мне оставалось, когда я ему: «этакая... как ее... дуга», а он переменного Паульсена или как там его... Прямо неделикатно.

— Вы это серьезно?

— Как вам сказать? Понимаю, что глупо, а ничего не могу поделать!

Он задумался и еще раз сказал про себя:

— Неделикатно!

После ужина опять сели играть в рулетку. Я быстро проигралась и отправилась домой.

В переднюю проводила меня дочь хозяйки дома, молоденькая барышня, прошлой весной окончившая институт.

Она загадочно улыбалась, лукаво шурила глаза и наконец шепнула:

— Вы не скажете маме? Дайте слово, что не скажете.

— Ну?

— Нет, вы дайте слово!

Ей так хотелось в чем-то признаться, что даже в горле у нее пищало.

— Ну, все равно, я вам верю. Знаете, мы вчера какую штуку выкинули? Вы прямо не поверите! Я, Лилия Корина, ее брат и Владимир Андреевич отправились потихоньку в кафешантан. Мама думает, что я была у Лили, а Лилина мама думает, что Лилия была у меня. Всех надули!

— Ну, что же, весело было?

— Ах! Вы себе представить не можете! Там танцевали «Ой-ра». Это так неприлично!

И снова у нее в горле само собою пискнуло от приятного волнения.

— Непременно поедем еще раз. А Владимир Андреич был совершенно пьян! Ужасно! Только, ради Бога, маме не говорите. На будущей неделе опять поедем. Ах, как это все неприлично!

В передней молоденькая горничная надевала мне галоши.

— Что это вы, Глаша, какая сегодня завитая? — спросила я.

— Я вчера со двора ходила.

— Весело было?

— Да, очень интересно было, — отвечала горничная с достоинством. — Собралось человек пятнадцать. Играли в суд. Один молодой человек был прокурором, одна девушка — защитником. Судьи были, присяжные, — все как следует. Очень интересно.

Я вспомнила, как зимой предлагал кто-то устроить эту игру в одном из кабаре и как большинством голосов затея была отвергнута. Кричали, что скучно, что люди собираются отдохнуть и повеселиться, а не голову ломать над юридическими хитростями.

— От вас все разбегутся в карточные комнаты!

— А действительно тоска! — соглашалась и я с другими.

— Скажите, Глаша, — робко спросила я. — Вам не скучно было?

— Что вы, барыня! Не в карты же нам играть! Приятно развлечься чем-нибудь действительно интересным.

Мы переглянулись с бывшей институткой.

Глаша любила jeux d'esprit¹, а мы...

Мы сказали друг другу глазами:

— Как это не деликатно!

Завоевание воздуха

Гулкая трактирная машина скрежетала вальс из «Евгения Онегина». Было душно, жарко. Пахло салом и жареным луком.

¹ Интеллектуальные игры (фр.).

Околоточный блаженствовал. Закинув голову вверх, он смотрел крошечными свиными глазками на розовый цветок электрической лампочки и мечтал вслух.

Лавочник слушал молча, перебирал пальцами, точно что-то подсчитывал и прикидывал.

— Полетела Россия-матушка, — говорил околоточный с умилением. — Сидела-сидела и полетела. Фррр... под самые облака. Благодать! Думал ли ты дожить до того, что люди вверх головой полетят?

— В Питере, слышно, аэроштаты строят, — сказал лавочник и прикинул пальцами. — И кому они только подряды сдают, — ума не приложу.

— Благода-ать! Только надо дело говорить, — и забот прибавится. Скажем, насчет паспортов. Мужуку, скажем, во-лость не выдает вида, а он сел на шар да и фыррьт куда хочет. Это никак нельзя. Придется воздушные участки строить. Как внизу, так и наверху. Пристав — внизу, пристав — наверху. Городовой — внизу, городовой — наверху. Околоточный — внизу, околоточный — наверху. Чтобы, значит, как звезды в воде отражались! Кр-расота!

Сижу это я там, наверху, на каком-нибудь этаком балкончике, и птичек на удочку ловлю.

Вдруг — что такое? — на дежурном баллоне городской летит!

— Ваше благородие! Беспаспортные поднялись!

— Беспаспортные! Волоки сюда. Уж я разберу.

Ведут... Кто такие? А не хотите ли вниз, сухопутным путем, вверх ногами. Савельев! Запри их пока что в аэростантскую. Кр-р-асота!

А предъявил паспорт — лети. Лети. Мне не жаль! С меня воздуха хватит.

Помолчали. Лавочник подсчитал пальцами.

— Ресторант открыть можно, — сказал он значительно. — Большой шар оборудовать, с крепкими напитками. Можно на канате держать, чтобы, значит, в чужой участок не залетел. А то вашей милости плати, да еще другому, да третьему... Не того-с. Не с чего. Балкончики можно тоже разные. Отдельные кабинеты со стеклянным полом. Входная плата, само собой, а кабинет отдельно, а на балкончик

выйти — тоже отдельно. Нельзя-с! Самим дороже стоит. Не ндравится, так не ходи.

Но околоточный не слушал.

— Уж я непременно наверх попрошусь. Уж из кожи вон вылезу, а наверх порхну. Представляй себе: на такой незапамтной вышине, где до сих пор царили только львы да орлы, стою я да посматриваю. А снизу кричат:

— Феоктист Иванович! Как вас вознесло!

А я им сверху — ручкой, ручкой:

— По чину-с! По чину-с!

— Гравюра! Прямо гравюра!

— Кабинеты — особая цена, — подсчитывал лавочник, — да за вина, что захочу, то и положу. Здесь, сударь, не земля. С облаков тоже вина не надоишь. Хотите пейте, хотите не пейте. У нас чистая публика и претензий никогда не заявляла.

— Одно меня беспокоит, — прервал околоточный. — Боюсь, что жид полетит! Ну, что тогда делать? Ему оседлость дана в Могилевской губернии, а он будет над Москвой парить. И все свои дела сверху обделает.

— Ну! Сверху нельзя.

— Нельзя! Это нам с тобой нельзя, а жид станет этак как-нибудь пальцами вертеть — они это умеют, — ну, а снизу ему свои будут знаки подавать. Вот и готово! Вот и закон обойден! Придется проволочные решетки делать. Высокие. Сажень на пятьсот. Выше-то он не залетит. Ему не расчет выше-то лететь.

— Дорого будет стоять этакая решетка, — прикинул пальцами лавочник.

— И недешево, да не нам платить. Государственная безопасность требует расходов. Во имя кр-расоты!

— Сверху тоже решеткой забрать придется. Они на машине легко перескакнут смогут. Нужно солидно делать.

— Вот ты теперь сидишь здесь свинья свиньей, каждая курица мимо тебя пройти может! Каждый пес тебя хвостом заденет. А там!!! Приду я к тебе в твоё заведение, залезу на самую вышку: Саморылов! Тащи сюда водку! Тащи закуску! Угощай! Гость к тебе прилетел, Феоктист Иваныч. С добрым утром! А? Что ты на это скажешь?

Лавочник подсчитал пальцами, скосил глаза на околоточного и ответил внушительно:

— А что сказать? Оченно просто. Видеть вас приятно, а потчевать, извините, нечем. Как ты теперь не нашего околотка, так к нам уже воздушный навевывался и всю закуску к себе отправить велел. Только и всего. Наше вам-с.

Когда рак свистнул

Рождественский ужас

Елка догорела, гости разъехались.

Маленький Петя Жаботыкин старательно выдирает мо- чальный хвост у новой лошадки и прислушивался к разгово- ру родителей, убиравших бусы и звезды, чтобы припрятать их до будущего года. А разговор был интересный.

— Последний раз делаю елку, — говорил папа Жаботы- кин. — Один расход, и удовольствия никакого.

— Я думала, твой отец пришлет нам что-нибудь к празд- нику, — вставила татап Жаботыкина.

— Да, черта с два! Пришлет, когда рак свистнет.

— А я думал, что он мне живую лошадку подарит, — под- нял голову Петя.

— Да, черта с два! Когда рак свистнет.

Папа сидел, широко расставив ноги и опустив голову. Усы у него повисли, словно мокрые; бараньи глаза уныло уставились в одну точку.

Петя взглянул па отца и решил, что сейчас можно безо- пасно с ним побеседовать.

— Папа, отчего рак?

— Гм?

— Когда рак свистнет, тогда, значит, все будет?

— Гм!..

— А когда он свистит?

Отец уже собрался было ответить откровенно на вопрос сына, но, вспомнив, что долг отца быть строгим, дал Пете легонький подзатыльник и сказал:

— Пошел спать, поросенок!

Петя спать пошел, но думать про рака не перестал. Напротив, мысль эта так засела у него в голове, что вся остальная жизнь утратила всякий интерес. Лошадки стояли с невыдранными хвостами, из заводного солдата пружина осталась невыломанной, в паяце пищалка сидела на своем месте — под ложечкой, — словом, всюду мерзость запустения. Потому что хозяину было не до этой ерунды. Он ходил и раздумывал, как бы так сделать, чтобы рак поскорее свистнул.

Пошел на кухню, посоветовался с кухаркой Секлетиной. Она сказала:

— Не свистит, потому что у него губов нетути. Как губу наростит, так и свистнет.

Больше ни она, ни кто-либо другой ничего объяснить не могли.

Стал Петя расти, стал больше задумываться.

— Почему-нибудь да говорят же, что коли свистнет, так все и исполнится, чего хочешь.

Если бы рачий свист был только символ невозможности, то почему же не говорят: «когда слон полетит» или «когда корова зачирикает». Нет! Здесь чувствуется глубокая народная мудрость. Этого дела так оставить нельзя. Рак свистнуть не может, потому что у него и легких-то нету. Пусть так! Но неужели же не может наука воздействовать на рачий организм и путем подбора и различных влияний заставить его обзавестись легкими?

Всю свою жизнь посвятил он этому вопросу. Занимался оккультизмом, чтобы уяснить себе мистическую связь между рачьим свистом и человеческим счастьем. Изучал строение рака, его жизнь, нравы, происхождение и возможности.

Женился, но счастлив не был. Он ненавидел жену за то, что та дышала легкими, которых у рака не было. Развелся с женой и всю остальную жизнь служил идее.

Умирая, сказал сыну:

— Сын мой! Слушайся моего завета. Работай для счастья ближних твоих. Изучай рачье телосложение, следи за раком, заставь его, мерзавца, изменить свою натуру. Оккультные науки открыли мне, что с каждым рачьим свистом будет исполняться одно из самых горячих и искренних челове-

ческих желаний. Можешь ли ты теперь думать о чем-либо, кроме этого свиста, если ты не подлец? Близорукие людишки строят больницы и думают, что облагодетельствовали ближних. Конечно, это легче, чем изменить натуру рака. Но мы, мы — Жаботыкины, из поколения в поколение будем работать и добьемся своего!

Когда он умер, сын взял на себя продолжение отцовского дела. Над этим же работал и правнук его, а праправнук, находя, что в России трудно заниматься серьезной научной работой, переехал в Америку. Американцы не любят длинных имен и скоро перекрестили Жаботыкина в мистера Джеба, и, таким образом, эта славная линия совсем затерялась и скрылась от внимания русских родственников.

Прошло много, очень много лет. Многое на свете изменилось, но степень счастья человеческого осталась ровно в том же положении, в каком была в тот день, когда Петя Жаботыкин, выдирая у лошадки мочальный хвост, спрашивал:

— Папа, отчего рак?

По-прежнему люди желали больше, чем получали, и по-прежнему сгорали в своих несбыточных желаниях и мучились.

Но вот стало появляться в газетах странное воззвание:

«Люди! Готовьтесь! Труды многих поколений движутся к концу! Акционерное общество «Мистер Джеб энд компани» объявляет, что 25 декабря сего года в первый раз свистнет рак, и исполнится самое горячее желание каждого из ста человек (1%). Готовьтесь!»

Сначала люди не придавали большого значения этому объявлению. «Вот, — думали, — верно, какое-нибудь мошенничество. Какая-то американская фирма чудеса обещает, а все сведется к тому, чтобы прорекламировать новую ваксу. Знаем мы их!»

Но чем ближе подступал обещанный срок, тем чаще стали призадумываться над американской затеей, покачивали головой и высказывались надвое.

А когда новость подхватили газеты и поместили портрет великого изобретателя и снимок с его лаборатории во всех разрезах, никто уже не боялся признаться, что верит в грядущее чудо.

Вскоре появилось и изображение рака, который обещал свистнуть. Он был скорее похож на станового пристава из Юго-Западного края, чем на животное хладнокровное. Выпученные глаза, лихие усы, выражение лица бравое. Одет он был в какую-то вязаную куртку со шнурками, а хвост не то был спрятан в какую-то вату, не то его и вовсе не было.

Изображение это пользовалось большой популярностью. Его отпечатывали и на почтовых открытках, раскрашенное в самые фантастические цвета, — зеленый с голубыми глазами, лиловый в золотых блестках и т. д. Новая рябиновая водка носила ярлык с его портретом. Новый русский дирижабль имел его форму и пятился назад. Ни одна уважающая себя дама не позволяла себе надеть шляпу без рачьих клешней на гарнировке.

Осенью компания «Мистер Джеб энд компани» выпустила первые акции, которые так быстро пошли в гору, что самые солидные биржевые «зайцы» стали говорить о них почтительным шепотом.

Время шло, бежало, летело. В начале октября сорок две граммофонные фирмы выслали в Америку своих представителей, чтобы записать и обнародовать по всему миру первый рачий свист.

25 декабря утром никто не заспался. Многие даже не ложились, высчитывая и споря, через сколько секунд может на нашем меридиане воздействовать свист, раздавшийся в Америке. Одни говорили, что для этого пройдет времени не больше, чем для электрической передачи. Другие кричали, что астральный ток быстрее электрического, а так как здесь дело идет, конечно, об астральном токе, а не о каком-нибудь другом, то и так далее.

С восьми часов утра улицы кишели народом. Конные городовые благодушно наседали на публику лошадиными задами, а публика радостно гудела и ждала.

Объявлено было, что тотчас по получении первой телеграммы дан будет пушечный выстрел.

Ждали, волновались. Восторженная молодежь громко ликовала, строя лучезарные планы. Скептики кряхтели и советовали лучше идти домой и позавтракать, потому что, само собой разумеется, ровно ничего не будет, и дураков валять довольно глупо.

Ровно в два часа дня раздался ясный и гулкий пушечный выстрел, и в ответ ему ахнули тысячи радостных вздохов.

Но тут произошло что-то странное, непредвиденное, необычное, что-то такое, в чем никто не смог и не захотел увидеть звена сковывавшей всех цепи: какой-то высокий толстый полковник вдруг стал как-то странно надуваться, точно нарочно; он весь разбух, слился в продолговатый шар; вот затрещало пальто, треснул шов на спине, и, словно радуясь, что преодолел неприятное препятствие, полковник звонко лопнул и разлетелся брызгами во все стороны.

Толпа шархнула. Многие, взвизгнув, бросились бежать.

— Что такое? Что же это?

Бледный солдатик, криво улыбаясь трясущимися губами, почесал за ухом и махнул рукой:

— Вяжи, ребята! Мой грех! Я ему пожелал: «Чтоб те лопнуть!»

Но никто не слушал и не трогал его, потому что все в ужасе смотрели на дико визжавшую длинную старуху в лихей ротонде; она вдруг закружилась и на глазах у всех словно юркнула в землю.

— Провалилась, подлая! — напутственно прошамкали чьи-то губы.

Безумная паника охватила толпу. Бежали, сами не зная куда, опрокидывая и топча друг друга. Слышался предсмертный храп двух баб, подавившихся собственными языками, а над ними громкий вой старика:

— Бейте меня, православные! Моя волюшка в этих бабахдохнет!

Жуткая ночь сменила кошмарный вечер. Никто не спал. Вспоминали собственные черные желания и ждали исполнения над собою чужих желаний.

Люди гибли как мухи. В целом свете только одна какая-то девчонка в Северной Гвинее выиграла от рачьего свиста: у нее прошел насморк по желанию тетки, которой она надоела непрерывным чиханьем. Все остальные добрые желания (если только они были) оказались слишком вялыми и холодными, чтобы рак мог насвистать их исполнение.

Человечество быстрыми шагами шло к гибели. И погибло бы окончательно, если бы не жадность «Мистера Джеба энд компани», которые, желая еще более вздуть свои акции, переутомили рака, понуждая его к непосильному свисту электрическим раздражением и специальными пилюлями.

Рак сдох.

На могильном памятнике его (работы знаменитого скульптора по премированной модели) напечатана надпись:

«Здесь покоится свистнувший экземпляр рака — собственность «Мистера Джеба энд компани», утоливший души человеческие и насытивший пламеннейшие их желания.

Не просыпайся!»

Путешественник

В вагоне ехали двое: помещик и путешественник.

Помещик вздыхал, зевал, курил, томился и на каждой станции выходил закусывать.

Путешественник важничал. Через плечо у него висело пять ремешков: на одном болталась фляжка, на другом — дорожная сумка, на третьем — кожаный футляр для папирос, на четвертом — бинокль, и на пятом — фотографический аппарат. Кроме того, на цепочке у жилетки прицеплен был огромный перочинный нож.

Через два часа совместного путешествия спутники разговорились. Помещик купил на станции грушу, и путешественник любезно предложил свой ножик, чтобы очистить ее.

— Замечательный ножик! — хвалил он. — Содержит пятнадцать предметов крайней необходимости: большой нож, средний нож, маленький нож, ложку, вилку, пробочник, отвертку, шильце, ногтечистку, зубочистку, ухвертку, пилочку, вздержку, ножнички и маленькую тыкалку. Незаменим в путешествии! Представьте себе, что вы где-нибудь в пустыне, достать ничего нельзя, или даже вот как сейчас... Или если, не

дай Бог, какое-нибудь несчастье, и нужен наспех инструмент... Берете, и — моментально! Прикажете ножичек? Извольте!

Помещик поблагодарил, взял инструмент, потянул — вытащил вилку. Закрыв, потянул снова — вытащил ухвертку, снова закрыл, потянул — вытащил ножницы.

— Позвольте, вы не так! — остановил его путешественник. — Дайте сюда. Я сразу. Вам что? Ножичек? Который? Большой? Извольте большой, — воскликнул он, вытягивая ногтечистку. — Ах! Ошибся... Вот он! — и вытянул шильце. — Это что? Ах да, верно, я не так... Вот ножик!

Из футляра медленно, но верно вылезла ложка.

— Да полно вам! — успокаивал его помещик. — Вон даже покраснели весь.

И, обтерев грушу рукавом пиджака, принялся закусывать.

— Нет, зачем же! Я сейчас... Как можно, имея под рукой все удобства, не пользоваться ими. Дело в том, что мы слишком торопимся. Нужно вытаскивать все подряд, и тогда уж непременно нападешь на желаемый предмет. Это безусловно. Вот так. Ай! Эта чертова тыкалка всегда угодит под ноготь. А вот и зубочистка. Теперь, кажется, уж близко! Впрочем, вам, как я вижу, больше уже нет надобности. Вы изволили скушать.

— Мерси. Я уж того, и так обошелся. Я в путешествии неприхотлив.

— А давно вы изволите путешествовать?

— Да изрядно. Уж часа четыре.

Путешественник насмешливо усмехнулся.

— Я еду уже восьмой месяц и то считаю, что недавно.

— Ах вы, несчастный!

— То есть почему же это — несчастный, позвольте вас спросить? Путешествие — моя жизнь. Что может быть приятнее?

— Да что же вам, собственно говоря, в этом деле так нравится? — удивился помещик.

— Ах, масса интересного! Представьте себе эти горы, черт знает сколько футов над уровнем моря, снежные вершины...

— Да мне-то какое дело! Полагаю, что снежная вершина меня никоим образом касаться не может...

— Ах, как можно так говорить!.. Какая-нибудь скала Тиверия... Камень, если бросить сверху, летит целых двенадцать секунд!

- А вам, что ж, непременно надо, чтоб поскорее?
- Ведь это же чудо природы! Вот был я, например, в Малой Азии. Можете себе представить — двенадцать дней с седла не слезал!
- Как, и не переодевались?
- Где уж там!
- Неужто и не мылись?
- Ну разумеется!
- Это двенадцать-то дней! Ну, простите меня, а должен я вам сказать, что вы изрядный неряха!
- Две недели на верблюдах ехал! Качает, как в море. Каждый день к вечеру морская болезнь делалась. Восторг!
- Я вот четыре часа в вагоне, и то в голове стучит!
- Да, это бывает. Приходилось мне по десяти дней не выходить из вагона. Под конец совсем ошалеваешь. Доктора объясняют это сотрясением мозга. Зато сколько интересного увидишь! В каждой стране свои нравы... свои обычаи.
- А тоже нос-то совать в чужие дела не особенно прилично. Мне бы даже и совестно было.
- А знаменитый Страсбургский собор! Нарочно ездил, только чтобы взглянуть!
- Экий ты, право, любопытник! А мне хоть бы что! Вот позавчера мельнику брусом ногу придавило. Все село бежалося глазеть. А я даже и не подумал пойти. Очень мне нужно. Всего не пересмотришь.
- А музеи, картинные галереи! Идешь — удивляешься, сколько в каждую вещь красоты убухано! На миллионы, на миллиарды.
- А по мне, хошь на миллиарды, хошь на миллиарды, — их дело.
- Идешь — глаза разбегаются.
- Нас за это еще в детстве драли. Коль идешь, мол, так смотри под ноги, а не по сторонам!
- Всего даже и не упомнишь. Порою так прямо досадно станет. Легко очень забывается. И спутать можно. А второй раз ехать на то же место уж больно дорого.
- Ну и какая вам от всего этого польза?
- И очень даже большая. От путешествия человек развивается. Вот вы мне, например, скажете: «Я люблю Париж». А я вам в ответ: «А я был в Париже. Стоит на Сене, а в нем

Нотр-Дам». Скажете вы мне: «Швейцария». А я и в Швейцарии был. «Ниагара» — и в Ниагаре. Словом, ничем меня не забьете.

— Нет, забью!

— Нет, не забьете!

— А я вам говорю, что забью!

— А я вам отвечаю, что не забьете!..

— Хотите пари?

— Ладно. На «катеньку». Идет?

— Идет!

— Ну-с, так вот вы уверяете, что везде были и все местные достопримечательности видели. А я вам говорю, что иной самый простой серый мужик больше вашего видал. Вы вон в вагоне мозги трясли, а он, мужик-то этот, сидя на месте, больше вас видел. А!

— Ничего не понимаю. Какой мужик?

— А вот, например, позвольте вас спросить, многоуважаемый господин, видели ли вы ногу нашего мельника? А? Видели? Ну да, когда ему брусом придавило?

— Что за вздор! Конечно, нет!

— Ну, вот видите! А у меня все село, все мужики видели. Вот зайдет где-нибудь про него разговор, а вы и опросто-волоситесь. Люди говорить будут, а вы — глазами моргать. Вот вам и развитие! Раз это по вашей части, чтобы все знать, так как же вы мельника-то проморгали? Ха-ха! Давайте «катеньку»!

И стало
Так...

Репетитор

Когда у Коли Факелова отлетела подметка и на втором сапоге, он заложил теткину солонку и составил объявление:

«Гимназист 8-го класса готовит по всем предметам теоретически и практически, расстоянием не стесняется. Знаменская, 5. Н. Ф.».

Отнес в газету и попросил конторщика получше сократить, чтобы дешевле вышло.

Тот и напечатал:

«Гимн. 8 кл. г. по вс. пр. тр. пр., р. не ст. Знаменская, 5. Н. Ф., др.».

Последнее «др.» въехало как-то само собой, и ни Коля, ни сам конторщик не могли понять, откуда оно взялось. Но пошло оно, очевидно, на пользу, потому что на второй же день после предложения поступил и спрос.

Пришла на буквы Н. Ф. открытка следующего содержания:

«Господин учитель гимназист пожалуйста завтра для переговоров Бармалева улица номеру дома 12.

Госпожа Ветчинкина».

Коля решил держать себя просто, но с достоинством, выпятил грудь, прищурил правый глаз и засунул руки в карманы. Поглядел в зеркало: поза, действительно, указывала на простоту и достоинство.

В таком виде он и предстал перед госпожой Ветчинкиной.

А та говорила:

— Пожалуйста, господин учитель-гимназист, уж возьмите вы на себя Божеску милость Ваську-оболтуса обравнять. На третий год в классе остался. Ходила намеренно к дилекто-

ру, так тот велели, чтоб по латыни его прижучить, да еще, говорит, шкурьте его, как следует, по географии. Вы ведь по латыни можете?

— Могу-с! — отвечал Коля Факелов с достоинством. — Могу-с и теоретически, и практически.

— Ну, вот и ладно. Только, пожалуйста, чтобы и география, тоже и теоретически, и практически, и все предметы. У вас вон в объявлении сказано, что вы все можете.

Она достала вырезку из газеты и корявым мизинцем, больше похожим на соленый огурец, чем на обыкновенный человеческий палец, указала на загадочные слова: «пр. тр. пр. др.».

— Так вот, пожалуйста, чтоб это все было. Жалованье у нас хорошее — пять рублей в месяц; на улице не найдете. А супруга нашего теперь нету — поехал гусями заниматься.

Коля выпятил грудь, прищурил глаз и с достоинством согласился.

На следующий день начались занятия. Кроме Васьки-оболтуса, за учебным столом оказалась еще какая-то девочка постарше, потом мальчик поменьше и еще что-то совсем маленькое, стриженое, не то мальчик, не то девочка.

— Это ничего, — успокаивала Колю госпожа Ветчинкина. — Они вам мешать не будут, они только слушают. Петьке, лентяю, покажите буквы, с него пока и полно. А Манечка вам уж потом, после урока ответит, что им в школе задано.

— Ну-с, молодой человек, — спросил Коля Ваську-оболтуса, — по какому предмету вы себя чувствуете слабее?

— По французскому кол, — сказал оболтус басом. — Глаголов не понимаю.

— Гм... да что вы?! Ведь это так просто.

— Не понимаю импарфе и плюскепарфе.

— Да что вы?! Да я вам это сейчас в двух словах... Гм... Например, «я пришел», это будет импарфе. Понимаете? «Я пришел». А если я совсем пришел, так уж это будет плюскепарфе. Понимаете? Ведь это же так просто! Ну, повторите.

— Импарфе, это — когда вы не совсем пришли, — унылым басом загудел оболтус. — А если вы окончательно пришли, тогда это уж будет... Это уж будет...

— Ну да, раз я уже совсем пришел, значит, — ну? Что же это значит?

— Если вы не совсем еще пришли, то импарфе, а если уже, значит, окончательно, со всеми вещами, то плюске-парфе.

— Ну вот, видите. Разве трудно?

— А как по-немецки картофель? — спросила вдруг девочка.

У Коли Факелова засосало под ложечкой. Вот оно, «пр.», когда началось!

— Картофель? Вас интересует, как по-немецки картофель? Как это странно! А впрочем, это очень просто...

Сидевшая у окна за работой госпожа Ветчинкина насто-рожилась.

Откладывать картофель в долгий ящик было нельзя.

— Очень просто. Дер фруктус.

— Дер фруктус? — повторила девочка недоверчиво. — А как же прежний репетитор по-другому говорил?

— Сонька, молчи! — прикрикнула мать. — Раз господин учитель говорит — значит, так и есть.

В пять часов госпожа Ветчинкина увела детей обедать, а к Коле Факелову подвинула стриженое существо и сказала:

— А уж вы пока, господин гимназист-учитель, с Нюшкой посидите. Она у меня все равно особенное есть, так ее и потом покормить можно. Вот игрушками займитесь, либо картинки покажите.

Нюшка сунула ему книгу с картинками и спросила:

— А это что?

Раскрыла.

— А это что?

На картинке изображены были плавающие утки, к которым из-за кустов подкрадывалась лисица.

— А это что? — приставала Нюшка.

— А это уточка купается, а лисичка подсматривает, — чистосердечно пояснил Коля Факелов.

— А это что?

— А это собака. Ведь сама видишь, что же пристаешь?

— А это что?

— А то, что ты — дура, и убирайся к черту.

Нюшка заревела громко, с визгом. Прибежала мать, не расспрашивая, надавала ей шлепков и тут же извинилась перед Колей:

— Сама знаю, что их пороть надо, да некому у нас. Супруг-то ведь гусями занимается, недосут ему.

На другой день, после урока, госпожа Ветчинкина попросила Колю сходить с девочками на рынок купить им сапоги.

— Мне-то, видите, некогда, а сам-то гусями занимается, вот на вас вся и надежда.

Коля пошел, но очень конфузился на улице и делал вид, что идет сам по себе.

На следующий день заболела кухарка, а так как хозяин был занят гусями, то Коле пришлось сбегать за крупой и за булками.

Через неделю он нашел в классной комнате еще двух мальчиков, испуганно шаркнувших ему ногами.

— Э, с этими стесняться нечего! — успокоила его госпожа Ветчинкина. — Это — мужней сестры дети. Свои, стало быть. Покажите им какие-нибудь буквы — с них и полно будет.

Коля приуныл.

— Что ж, госпожа Ветчинкина, я с удовольствием, — говорил он дрожащим голосом, а когда она ушла, сказал ей вслед тихо, но с большим чувством, — Чтоб ты лопнула!

И опять объяснял, как он не совсем пришел с импарфе и как окончательно засел с плюскемпарфе, и все думал: «Дотянуть бы только до конца месяца, а там получу пять рублей, и черт мне не брат».

Но черт оказался брат, потому что к концу месяца госпожа Ветчинкина сказала ему, что без мужа платить не может, а вот муж скоро приедет и все заплатит.

Коля смирился, стал совсем тихий и даже забыл, как надо щурить глаз, чтобы показать свое достоинство.

К концу второго месяца приехал хозяин. Вошел во время обеда, когда Коля Факелов, в качестве репетитора, кормил Нюшку особливym супом. Уставился хозяин на Колю и заорал:

— Эт-то кто, а?

Госпожа Ветчинкина заплакала:

— Ей-богу, Иван Трофимович! Верь совести!

Порылась в кармане, вытащила огрызок сахара, кошелек и Колино объявление:

— Вот они кто. Господин учитель, гимназист.

— Давай сюда! Мол-чать! — крикнул хозяин.

Схватил бумажку:

— ...Г. пр. тр. пр. р. ст. др... Вот как? Ладно. Потрудитесь, господин, отсюда удалиться. Здесь честный дом, а что вы эту дурю обошли, за это с вас судом взыщется.

— Что же это? — затрепетал Коля. — Ведь вы же мне должны...

— Должны-ы? Так мы еще и должны? В семью втерся, детей супом кормит, а мы же еще ему и плати. Какой тр. пр. нашелся. Вон, чтобы твоего духу тут не было, не то сейчас дворника крикну. Др. тр.! Развратники!

Коля опомнился только на улице, и то не на Бармалеевской, а на какой-то совсем незнакомой. Остановился и закричал:

— Вы — невежа, вот вы кто! Прямо вам в глаза говорю, что вы невежа! Да-с!

Он прищурил глаз, выпятил грудь, подбоченился и зашагал с достоинством вперед.

— Да-с! Я еще с вами посчитаюсь! — подбодрил он себя.

Но душа его не могла подбочениться. Она тихо и горько плакала и понимала, что считаться ни с кем не придется, что его обидели и выгнали и что ушел он окончательно, совсем ушел — плюскепарфе!

Публика

Швейцар частных коммерческих курсов должен был вечером отлучиться, чтобы узнать, не помер ли его дяденька, а поэтому бразды правления передал своему помощнику и, передавая, наказывал строго:

— Вечером тут два зала отданы под частные лекции. Прошу относиться к делу внимательно, посетителей опра-

шивать, кто куда. Сиди на своем месте, снимай польты. Если на лекцию Киньгрустина, — пожалуйста направо, а если на лекцию Фермопилова, — пожалуйста налево. Кажется, дело простое.

Он говорил так умно и спокойно, что на минуту даже сам себя принял за директора.

— Вы меня слышите, Вавила?

Вавиле все это было обидно, и по уходе швейцара он долго изливал душу перед длинной пустой вешалкой.

— Вот, братец ты мой, — говорил он вешалке, — вот, братец ты мой, иди и протестуй. Он, конечно, швейцар, конечно, не нашего поля ягода. У него, конечно, и дяденька помер, и то и се. А для нас с тобой нету ни празднику, ни буднику, ничего для нас нету. И не протестуй. Конечно, с другой стороны, ежели начнешь рассуждать, так ведь и у меня может дяденька помереть, опять-таки, и у третьего, у Григория, дворника, скажем, может тоже дяденька помереть. Да еще там у кого, у пятого, у десятого, у извозчика там у какого-нибудь... Отчего ж? У извозчика, братец ты мой, тоже дяденька может помереть. Что ж извозчик, по-твоему, не человек, что ли? Так тоже нехорошо, — нужно справедливо рассуждать.

Он посмотрел на вешалку с презрением и укором, а она стояла, сконфуженно раскинув ручки, длинная и глупая.

— Теперь у меня, у другого, у третьего, у всего мира дядя помрут, так это, значит, что же? Вся Европа остановится, а мы будем по похоронам гулять? Нет, брат, так тоже не показано.

Он немножко помолчал и потом вдруг решительно вскочил с места.

— И зачем я должен у дверей сидеть? Чтоб мне от двери вторичный плюс на зуб надуло? Сиди сам, а я на ту сторону сяду.

Он передвинул стул к противоположной стене и успокоился.

Через десять минут стала собираться публика.

Первыми пришли веселые студенты с барышнями:

— Где у вас тут лекция юмориста Киньгрустина?

— На лекцию Киньгрустина пожалуйста направо, — отвечал помощник швейцара тоном настоящего швейцара, так что получился директор во втором преломлении.

За веселыми студентами пришли мрачные студенты и курсистки с тетрадками.

— Лекция Фермопилова здесь?

— На лекцию Фермопилова пожалуйста налево, — отвечал дважды преломленный директор.

Вечер был удачный: обе аудитории оказались битком набитыми.

Пришедшие на юмористическую лекцию хохотали заранее, остряли, вспоминали смешные рассказы Киньгрустина.

— Ох, уморит он нас сегодня! Чувствую, что уморит.

— И что это он такое затеял: лекцию читать! Верно, пародия на ученую чепуху. Вот распотешит. Молодчина этот Киньгрустин!

Аудитория Фермопилова вела себя сосредоточенно, чинила карандаши, переговаривалась вполголоса:

— Вы не знаете, товарищ, он, кажется, будет читать о строении земли?

— Ну, конечно. Идете на лекцию и сами не знаете, что будете слушать. Удивляюсь!

— Он лектор хороший?

— Не знаю, он здесь в первый раз. Москва, говорят, обожает.

Лекторы вышли из своей комнатухи, где пили чай для освежения голоса, и направились каждый в нанятый им зал. Киньгрустин, плотный господин, в красном жилете, быстро взбежал на кафедру и, не давая публике опомниться, крикнул:

— Ну, вот и я!

— Какой он молодежавый, этот Фермопилов, — зашептали курсистки. — А говорили, что старик.

— Знаете ли вы, господа, что такое теща? Нет, вы не знаете, господа, что такое теща!

— Что? Как он сказал? — зашептали курсистки. — Товарищ, вы не слышали?

— Н... не разобрал. Кажется, про какую-то тощу.

— Тощу?

— Ну да, тощу. Не понимаю, что вас удивляет! Ведь раз существует понятие о земной толще, то должно существовать понятие и о земной тоще.

— Так вот, господа, сегодняшнюю мою лекцию я хочу всецело посвятить серьезнейшему разбору тещи как таковой, происхождению ее, историческому развитию и прослежу ее вместе с вами во всех ее эволюциях.

— Какая ясная мысль! — зашептала публика.

— Какая точность выражения.

Между тем в другом зале стоял дым коромыслом.

Когда на кафедру влез маленький, седенький старичок Фермопилов, публика встретила его громом аплодисментов и криками «ура».

— Молодчина Киньгрустин. Валяй!

— Слушайте, чего же это он так постарел с прошлого года?

— Га-га-га! Да это он нарочно масленичным дедом вырядился! Ловко загримировался, молодчина!

— Милостивые государины, — зашамкал старичок Фермопилов, — и милостивые государи!

— Шамкает! Шамкает! — прокатилось по всему залу. — Ох, уморил.

Старичок сконфузился, замолчал, начал что-то говорить, сбился и, чтобы успокоиться, вытащил из заднего кармана сюртука носовой платок и громко высморкался.

Аудитория пришла в неистовый восторг.

— Видели? Видели, как он высморкался? Ха-ха-ха! Браво! Молодчина! Я вам говорил, что он уморит.

— Я хотел побеседовать с вами, — задребезжал лектор, — о вопросе, который не может не интересовать каждого живущего на планете, называемой Землею, а именно — о строении этой самой Земли.

— Ха-ха-ха! — покатывались слушатели. — Каждый, мол, интересуется. Ох-ха-ха-ха! Именно, каждый интересуется.

— Метко, подлец, подцепил!

— Нос-то какой себе соорудил — грушей!

— Ха-ха! Груша с малиновым наливом!

— Я попросил бы господ присутствующих быть потише, — запищал старичок. — Мне так трудно!

— Трудно! Ох, уморил! Давайте ему помогать!

— Итак, милостивые государины и милостивые государи, — надрывался старичок, — наша сегодняшняя беседа...

- Ловко пародирует, шельма! Bravo!
- Стойте! Изобразите лучше Пуришкевича!
- Да, да! Пусть как будто Пуришкевич.

А в противоположном зале юморист Киньгрустин лез из кожи вон, желая вызвать улыбку хоть на одном из этих сосредоточенных благоговейных лиц. Он с завистью прислушивался к доносившемуся смеху и радостному гулу слушателей Фермопилова и думал:

«Ишь, мерзавец, старикашка! На вид ходячая панихида, а как развернулся. Да что он там, канканирует, что ли?»

Он откашлялся, сделал комическую гримасу ученого педанта и продолжал свою лекцию:

— Чтобы вы не подумали, милостивые государины и, особенности, милостивые государи, что теща есть вид ископаемого или просто некая земная окаменелость, какой предрассудок существовал многие века, я беру на себя смелость открыть вам, что теща есть не что иное, как, по выражению древних ученых, — недоразумение в квадрате.

Он приостановился.

Курсистки старательно записывали что-то в тетрадку. Многие, нахмутив брови и впившись взором в лицо лектора, казалось, ловили каждое слово, и напряженная работа мысли придавала их физиономиям вдохновенный и гордый вид.

Как на всех серьезных лекциях, из укромного уголка около двери несло тихое похрапывание с присвистом.

Киньгрустин совсем растерялся.

Он чувствовал, как перлы его остроумия ударяются об эти мрачные головы и отскакивают, как град от подоконника.

«Вот черти! — думал он в полном отчаянии. — Тут нужно сотню городских позвать, дворников триста человек, чтобы их, подлецов, щекотали. Извольте ли видеть. Я для них плох! Марка Твена им подавай за шестьдесят копеек! Свины!»

Он совсем спутался, схватился за голову, извинился и убежал.

В передней стояли треск и грохот. Маленький старичок Фермопилов метался около вешалки и требовал свое

пальто. Грохочущая публика хотела непременно его качать и орала:

— Браво, Киньгрустин! Браво!

Киньгрустин, несмотря на свою растерянность, спросил у одного из галдевших:

— Почему вы кричите про Киньгрустина?

— Да вот он, Киньгрустин, вон тот, заgrimированный старичком. Он нас прямо до обморока...

— Как он? — весь похолодел юморист. — Это я — Киньгрустин. Это я... До обморока... Здесь ужасное недоразумение.

Когда недоразумение выяснилось, негодованию публики не было предела. Она кричала, что это — наглость и мошенничество, что надо было ее предупредить, где юмористическая лекция, а где серьезная. Кричала, что это безобразие следует обличить в газетах, и в конце концов потребовала деньги обратно.

Денег ей не вернули, но натворившего беду помощника швейцара выгнали.

И поделом. Разве можно так поступать с публикой?

Бабья книга

Аркадию Руманову

Молодой эстет, стилист, модернист и критик Герман Енский сидел в своем кабинете, просматривал бабью книгу и злился. Бабья книга была толстенький роман, с любовью, кровью, очами и ночами.

«— Я люблю тебя! — страстно шептал художник, обхватывая гибкий стан Лидии...»

«Нас толкает друг к другу какая-то могучая сила, против которой мы не можем бороться!»

«Вся моя жизнь была предчувствием этой встречи...»

«Вы смеетесь надо мной?»

«Я так полон вами, что все остальное потеряло для меня всякое значение».

— О-о, пошлая! — стонал Герман Енский. — Это художник будет так говорить! «Могучая сила толкает», и «нельзя бороться», и всякая прочая гниль. Да ведь это приказчик постеснялся бы сказать, — приказчик из галантерейного магазина, с которым эта дурища, наверное, завела интрижку, чтобы было что описывать.

«Мне кажется, что я никого никогда еще не любил...»

«Это как сон...»

«Безумно!.. Хочу прильнуть!..»

— Тыфу! Больше не могу! — и он отшвырнул книгу. — Вот мы работаем, совершенствуем стиль, форму, ищем новый смысл и новые настроения, бросаем все это в толпу: смотри — целое небо звезд над тобою, бери, какую хочешь! Нет! Ничего не видят, ничего не хотят. Но не клевети по крайней мере! Не уверяй, что художник высказывает твои коровьи мысли!

Он так расстроился, что уже не мог оставаться дома. Оделся и пошел в гости.

Еще по дороге почувствовал он приятное возбуждение, неосознанное предчувствие чего-то яркого и захватывающего. А когда вошел в светлую столовую и окинул глазами собравшееся за чаем общество, он уже понял, чего хотел и чего ждал. Викулина была здесь, и одна, без мужа.

Под громкие возгласы общего разговора Енский шептал Викулиной:

— Знаете, как странно, у меня было предчувствие, что я встречу вас.

— Да? И давно?

— Давно. Час тому назад. А может быть, и всю жизнь.

Это Викулиной понравилось. Она покраснела и сказала томно:

— Я боюсь, что вы просто донжуан.

Енский посмотрел на ее смущенные глаза, на ее ждущее, взволнованное лицо и ответил искренно и вдумчиво:

— Знаете, мне сейчас кажется, что я никого никогда еще не любил.

Она полузакрыла глаза, пригнулась к нему немножко и подождала, что он скажет еще.

И он сказал:

— Я люблю тебя!

Тут кто-то окликнул его, подцепил какой-то фразой, потянул в общий разговор. И Викулина отвернулась и тоже заговорила, спрашивала, смеялась. Оба стали такими же, как все здесь за столом, веселые, простые, — все как на ладони.

Герман Енский говорил умно, красиво и оживленно, но внутренне весь затих и думал:

«Что же это было? Что же это было? Отчего звезды покоят в душе моей?»

И, обернувшись к Викулиной, вдруг увидел, что она снова пригнулась и ждет. Тогда он захотел сказать ей что-нибудь яркое и глубокое, прислушался к ее ожиданию, прислушался к своей душе и шепнул вдохновенно и страстно:

— Это как сон...

Она снова полузакрыла глаза и чуть-чуть улыбалась, вся теплая и счастливая, но он вдруг встревожился. Что-то странно знакомое и неприятное, нечто позорное зазвучало для него в сказанных им словах.

— Что это такое? В чем дело? — замучился он. — Или, может быть, я прежде, давно когда-нибудь уже говорил эту фразу и говорил не любя, неискренно, и вот теперь мне стыдно. Ничего не понимаю.

Он снова посмотрел на Викулину, но она вдруг отодвинулась и шепнула торопливо:

— Осторожно! Мы, кажется, обращаем на себя внимание...

Он отодвинулся тоже и, стараясь придать своему лицу спокойное выражение, тихо сказал:

— Простите! Я так полон вами, что все остальное потеряло для меня всякое значение.

И опять какая-то мутная досада напозла на его настроение, и опять он не понял, откуда она, зачем.

«Я люблю, я люблю, и говорю о любви своей так искренно и просто, что это не может быть ни пошло, ни некрасиво. Отчего же я так мучаюсь?»

И он сказал Викулиной:

— Я не знаю, может быть, вы смеетесь надо мной... Но я не хочу ничего говорить. Я не могу. Я хочу прильнуть...

Спазма перехватила ему горло, и он замолчал.

Он провожал ее домой, и все было решено. Завтра она придет к нему. У них будет красивое счастье, неслыханное и невиданное.

— Это как сон!..

Ей только немножко жалко мужа.

Но Герман Енский прижал ее к себе и убедил.

— Что же нам делать, дорогая, — сказал он, — если нас толкает друг к другу какая-то могучая сила, против которой мы не можем бороться!

— Безумно! — шепнула она.

— Безумно! — повторил он.

Он вернулся домой как в бреду. Ходил по комнатам, улыбался, и звезды пели в его душе.

— Завтра! — шептал он. — Завтра! О, что будет завтра!

И потому, что все влюбленные суеверны, он машинально взял со стола первую попавшуюся книгу, раскрыл ее, ткнул пальцем и прочел:

«Она первая очнулась и тихо спросила:

— Ты не презираешь меня, Евгений?»

— Как странно! — усмехнулся Енский. — Ответ такой ясный, точно я вслух спросил у судьбы. Что это за вещь?

А вещь была совсем немудреная. Просто-напросто последняя глава из бабьей книги.

Он весь сразу погас, съезжился и на цыпочках отошел от стола.

И звезды в душе его в эту ночь ничего не спели.

Катенька

Дачка была крошечная — две комнатки и кухня.

Мать ворчала в комнатах, кухарка на кухне, и так как объектом ворчания для обеих служила Катенька, то оставаться дома этой Катеньке не было никакой возможности, и сидела она целый день в саду на скамейке-качалке.

Мать Катеньки, бедная, но неблагородная вдова, всю зиму шила дамские наряды и даже на входных дверях прибила дощечку «Мадам Параскове, моды и платья». Летом же отдыхала и воспитывала гимназистку-дочь посредством упреков в неблагодарности.

Кухарка Дарья зазналась уже давно, лет десять тому назад, и во всей природе до сих пор не нашлось существа, которое сумело бы поставить ее на место.

Катенька сидит на своей качалке и мечтает «о нем». Через год ей будет шестнадцать лет, тогда можно будет венчаться и без разрешения митрополита. Но с кем венчаться-то, вот вопрос?

Из дома доносится тихое бубнение матери:

— ...И ничего, ни малейшей благодарности! Розовый брокар на платье купила, сорок пять...

— Девка на выданье, — гудит из кухни, — избаловавши с детства. Нет, коли ты мать, так взяла бы хворостину хорошую...

— Самих бы вас хворостиной! — кричит Катенька и мечтает дальше.

Венчаться можно со всяким, это ерунда, — лишь бы была блестящая партия. Вот, например, есть инженеры, которые воруют. Это очень блестящая партия. Потом еще можно выйти за генерала. Да мало ли за кого! Но интересно совсем не это. Интересно, с кем будешь мужу изменять. «Генеральша-графиня Катерина Ивановна дома?» И входит «он» в белом кителе, вроде Середенкина, только, конечно, гораздо красивее, и носом не фыркает. «Извините, я дома, но принять вас не могу, потому что я другому отдана и буду век ему верна». Он побледнел, как мрамор, только глаза его дивно сверкают... Едва дыша, он берет ее за руку и говорит...

— Катя-а! А Катя-а! Это ты с тарелки черносливину взяла-а?

Мать высунула голову в окошко, и видно ее сердитое лицо. Из другого окошка, подальше, высовывается голова в повойнике и отвечает:

— Конечно, она. Я сразу увидела: было для компоту десять черносливин, а как она подошла, так и девять сделалось. И как тебе не стыдно — а?

— Сами слопали, а на меня валите! — огрызнулась Катенька. — Очень мне нужен ваш чернослив! От него керосином пахнет.

— Кероси-ином? А почему же ты знаешь, что керосином, коли ты не пробовала, — а?

— Керосином? — ужасается кухарка. — Эдакие слова произносить! Взять бы что ни на есть да отстегать бы, так небось...

— Стегайте себя саму! Отвяжитесь!

Да... значит, он берет за руку и говорит: «Отдайся мне!» Я уже готова уступить его доводам, как вдруг дверь распахивается и входит муж. «Сударыня, я все слышал. Я дарю вам мой титул, чин, и все состояние, и мы разведемся...»

— Катька! Дура полосатая! Кошка носатая! — раздался голос позади скамейки.

Катенька обернулась.

Через забор перевесился соседский Мишка и, дрыгая для равновесия высоко поднятой ногой, обрывал у скамейки с кустов зеленую смородину.

— Пошел вон, поганый мальчишка! — взвизгнула Катенька.

— Поган, да не цыган! А ты вроде Володи.

— Мама! Мама, он смородину рвет!

— Ах ты, Господи помилуй! — высунулись две головы. — Час от часу не легче! Ах ты, дерзостный! Ах ты, мерзостный!

— Взять бы хворостину хорошую...

— Мало вас, видно, в школе порют, что вы и на каникулах под розгу проситесь. Вон пошел, чтоб духу твоего!..

Мальчишка спрятался, предварительно показав для самоудовлетворения, всем по очереди, свой длинный язык с налипшим к нему листом смородины.

Катенька уселась поудобнее и попробовала мечтать дальше. Но ничего не выходило. Поганый мальчишка совсем выбил ее из настроения. Почему вдруг «кошка носатая»? Во-первых, у кошек нет носов — они дышат дырками, — а во-вторых, у нее, у Катеньки, совершенно греческий нос, как у древних римлян. И потом, что это значит, «вроде Володи»? Володи разные бывают. Ужасно глупо. Не стоит обращать внимания.

Но не обращать внимания было трудно. От обиды сами собой опускались углы рта и тоненькая косичка дрожала под затылком.

Катенька подошла к матери и сказала:

— Я не понимаю вас! Как можно позволять уличным мальчишкам издеваться над собой? Неужели же только военные должны понимать, что значит честь мундира?

Потом пошла в свой уголок, достала конвертик, украшенный золотой незабудкой с розовым сиянием вокруг каждого лепестка, и стала изливать душу в письме к Мане Кокиной:

«Дорогая моя! Я в ужасном состоянии. Все мои нервные окончания расстроились совершенно. Дело в том, что мой роман быстро идет к роковой развязке.

Наш сосед по имению, молодой граф Михаил, не дает мне покоя. Достаточно мне выйти в сад, чтобы услышать за спиной его страстный шепот. К стыду моему, я его полюбила беззаветно.

Сегодня утром у нас в имении случилось необычное событие: пропала масса фруктов, чернослизов и прочих драгоценностей. Вся прислуга в один голос обвинила шайку соседских разбойников. Я молчала, потому что знала, что их предводитель граф Михаил.

В тот же вечер он с опасностью для жизни перелез через забор и шепнул страстным шепотом: „Ты должна быть моей“. Разбуженная этим шепотом, я выбежала в сад в капоте из серебряной парчи, закрытая, как плащом, моими распущенными волосами (у меня коса очень отросла за это время, ей-богу), и граф заключил меня в свои объятия. Я ничего не сказала, но вся побледнела, как мрамор; только глаза мои дивно сверкали...»

Катенька вдруг приостановилась и крикнула в соседнюю комнатушку:

— Мама! Дайте мне, пожалуйста, семикопеечную марку. Я пишу Мане Кокиной.

— Что-о? Ма-арку? Все только Кокиным да Мокиным письма писать! Нет, милая моя, мать у тебя тоже не лошадь, чтоб на Мокиных работать. Посидят Мокины и без писем!

— Только и слышно, что марку давай, — загудело из кухни. — Взяла бы хворостину хорошую, да как ни на есть...

Катенька подождала минутку, прислушалась, и когда стало ясно, что марки не получить, она вздохнула и приписала:

«Дорогая Манечка! Я очень криво приклеила марку, и боюсь, что она отклеится, как на прошлом письме. Целую тебя 100,000,000 раз. Твоя Катя Моткова».

Страх

В дамском отделении уже сидела полная пожилая дама и посмотрела на меня очень обиженно, когда носильщик внес мой чемодан и усадил меня на место.

Впрочем, дамы всегда обижаются, когда видят, что кто-нибудь хочет ехать вместе с ними туда же, куда едут они.

— Вам далеко? — спросила она, решив, по-видимому, простить меня.

Я ответила.

— И мне туда же. Утром приедем. Если никто не сядет, то ночь можно будет провести очень удобно.

Я выразила полную уверенность, что никто не сядет:

— Кому же тут садиться? Чего ради? Вы как любите ехать — спиной или лицом?

Но не успела она удовлетворить моего любезного любопытства, как в дверях показалась желтая картонка, за картонкой — портплед, за портпледом — носильщик, а за носильщиком — востроносая дама с зеленым галстуком.

— Вот тебе и переночевали! — обиделась толстая пассажирка.

— Ведь я вам говорила, что так будет! — вздохнула я.

— Нет, вы, напротив того, уверяли, что никто не придет.

— Нет, это вы уверяли, а у меня всегда очень верное предчувствие.

Востроносая дама, делая вид, что совершенно не понимает нашей острой к ней ненависти, рассчиталась с носильщиком и уселась поудобнее.

Но как она ни притворялась, все равно должна была понимать, что только воспитание, правила приличия и

страх уголовной ответственности мешают нам немедленно прикончить ее.

Поезд тронулся.

Толстая дама пригнулась к окошечку, набожно завела глаза и перекрестилась на водокачку. Востроносая вынула из корзиночки бутерброд и стала, аппетитно причмокивая, закусывать.

Толстая заволновалась, но делала равнодушное лицо и заговорила со мной о пользе железной дороги, совершенно справедливо отмечая, что поезда ходят гораздо скорее лошадей. Я с радостью поддерживала ее мнение, и обе мы сладко презирали чавкающую соседку. У нас были умственные запросы и глубокие интересы, недоступные для нее, с ее бутербродами.

Но когда востроносая принялась за второй кусок, толстая не выдержала и, с тихим стоном открыв саквояж, извлекла из него жареную курицу.

Теперь я оказалась в лагере врагов. Они уже были заодно. Предлагали друг другу соль, советовали возить бумажные стаканчики и явно показывали, что не верят в мои умственные запросы и считают, что и о пользе я говорила с таким жаром только потому, что не запаслась жареной курицей.

Чувствуя, что все человечество против меня, я впала в уныние и, малодушно вынув плитку шоколада, стала грызть ее. Где уж мне идти одной против всех, да еще в вагоне!

Набитые рты сблизили нас всех трех, и связали теснее самой нежной дружбы, и мы бодро и весело стали укладываться спать.

— Я полезу на верхнюю скамейку, — сказала востроносая, развязывая свой зеленый галстук. — Я люблю ездить наверху. Надо вам признаться, что трусиха я ужасная, все боюсь, что меня в дороге ограбят. Ну, а наверху труднее меня достать, хе-хе!

— Нужно всегда возить деньги, как я, прямо в чулке, — сказала толстая. — Самое удобное, — уж никто не достанет, да и не догадается.

— Положим, догадаться нетрудно, — усмехнулась я. — Все деревенские бабы возят деньги в чулке, — это всем известно.

— Нет, я бы в чулке не стала, — неудобно, — согласилась востроносовая. — Я всегда вожу в мешочке, на груди, под лифчиком. Уж если кто начнет его снимать, я сразу почувствую.

— Ну, так никто с вас снимать не станет, — сказала толстая, — а вот сначала подкурят вас особыми папиросками, либо угостят конфетками, от которых вы одуреете, а уж тогда и снимут, — будьте покойны!

Востроносовая ощупала свой лифчик и тоскливо оглянулась.

— Ужас какой! Что вы говорите! А знаете, я читала, что недавно в Швейцарии ехали две дамы в купе, одна заснула, а другая впустила мужчину, вдвоем и ограбили.

От этого рассказа она сама так перепугалась, что даже защелкала зубами.

— А я всегда вожу деньги прямо вот в этой ручной сумочке, — похвасталась я. — Это, по-моему, остроумнее всего, потому что никому в голову не придет, что здесь деньги!

— Ну, знаете, это рискованно! — сказала толстая и покосилась на мою сумочку.

Мы улеглись.

— Не задернуть ли фонарь? — предложила я. — Глазам больно.

Толстая что-то промычала, но востроносовая вдруг вскинулась наверх и даже ноги спустила.

— Зачем задергивать? Не надо задергивать! Я не хочу! Слышите, я не хочу!

— Ну, не хотите — не надо.

Я уже стала засыпать, как вдруг очнулась от какого-то неприятного чувства, точно на меня кто-то смотрит. На меня, действительно, смотрели в упор четыре глаза. Два сверху, черные, дико испуганные, и два снизу, подозрительные и острые.

— Отчего же вы не спите? — спросила я.

— Так, что-то не спится, — отвечали сверху. — Я и вообще никогда не сплю в вагоне.

— Да ведь и вы тоже не спите, — язвительно сказали снизу, — так чего же вы на других удивляетесь?

Я стала засыпать снова. Какой-то шепот разбудил меня. Это толстая спрашивала меня:

- Вам не видно, что она там наверху делает?
- Ничего особенного. Сидит.
- Сидит? Гм! Вы с ней раньше не были знакомы?
- Нет. А что?

— Да так.

— Вам не помешает, если я закурю? — вдруг спросила востроносая.

Толстая так и подпрыгнула.

— Ну, уж нет! Убедительно вас прошу! Иначе я сейчас же позову кондуктора. Знаем мы!..

Она почему-то страшно разволновалась и стала тяжело дышать. Я вдруг поняла: она боялась той подозрительной особы наверху, которая, ясное дело, хотела нас подкупить и ограбить.

— Не хотите ли шоколадку, вы, кажется, любите сладенькое? — вдруг зашевелилась толстая, протягивая мне коробку.

— Нет-с! Я от незнакомых не беру в дороге конфет, — закричала вдруг востроносая. — Сама не беру, да и другим не советую.

Она кричала так зловеще, что я невольно отдернула руку и отказалась от угощения.

Заснуть я больше не могла. Эти четыре глаза, непрерывно смотрящие то на меня, то друг на друга, раздражали и смущали меня.

«А уж не воровки ли это в самом деле? — мелькнуло у меня в голове. — Притворились, что не знакомы, попытали у меня ловким разговором, где мои деньги, а теперь стерегут, чтобы я заснула».

Я решила не спать. Села, взяла под мышку сумочку и уставилась на злодеек. Не так-то просто было меня обокрасть...

От усталости и желания спать разболелась голова. И так было досадно, что, имея в распоряжении целую скамейку, не можешь уснуть.

Вдруг я вспомнила, что видела на вокзале знакомого старичка, который ехал с этим же поездом.

— Mesdames! — сказала я. — Мы все равно не спим. Не разрешите ли вы посидеть с нами одному очень милому старичку? Он расскажет что-нибудь забавное, развлечет.

Но они обе так и закудахтали:

— Ни за что на свете! Скажите, пожалуйста! Знаем мы этих старичков!

Было ясно, что лишний свидетель только помешал бы им. И сомнения в их намерении у меня больше не оставалось никакого. Всю ночь я промаялась, а под утро нечаянно заснула. Когда я проснулась, было уже светло. Моя сумочка валялась на полу, а обе дамы сидели рядом и не спускали с нее глаз.

— Наконец-то! — закричали они обе сразу. — Я не хотела вас будить! Ваша сумка с деньгами упала на пол, я не могла допустить, чтобы кто-нибудь дотронулся до нее.

— И я тоже не могла допустить!

Я смущенно поблагодарила обеих и, выйдя в коридор, подсчитала деньги. Все было цело.

Когда наш поезд уже подходил к станции и востроносая вышла звать носильщика, толстая шепнула мне:

— Мы дешево отделались! Это, наверное, была воровка. Ее план был очень прост: подкурить нас и ограбить!

— Вы думаете?

Когда я выходила из вагона, я услышала, как востроносая шептала толстой:

— Я сразу поняла, что ей нужно. Она подсадила бы своего старичка, а он бы нас по голове тюкнул, и готово. Заметьте, всю ночь нас подстерегала, а потом притворилась, что спит.

На вокзале кто-то дернул меня за рукав. Оглянулась — востроносая.

— Вы с этой толстой дамой не были раньше знакомы?

— Нет.

— Так как же можно было рассказывать при ней, куда вы деньги прячете. У нее был такой подозрительный вид.

А толстая проходила в это время мимо и, не замечая нас, рассказывала встретившей ее барышне:

— Ужасная ночь! Эти две стакнувшиеся мегеры разнюхали, где у меня лежат деньги, и устроили нечто вроде

дежурства. Одна спит, другая за мной следит. Нет, конечно! Больше никогда одна не поеду!

— Ах, ma tante! Нужно бы заявить в полицию! — ужасалась барышня.

Мы с востроносой испуганно переглянулись. Я пошла, а она долго смотрела мне вслед и всей своей фигурой, и шляпой, и зонтиком, выражала раскаяние, что доверилась мне.

Теперь-то уж она знала навверное, что грабительница была именно я.

Легенда и жизнь

В начале июня мадам Гужеедова стала делать прощальные визиты своим светским приятельницам.

Прежде всего отправилась к Коркиной, с которой так мило провела вместе прошлое лето в третьем Парголове.

— Ах, дорогая моя! — воскликнула Коркина. — Неужели же вы опять обречены на прозябание в этом моветонном Парголове? Как я вас жалею!

— Почему же непременно в Парголове? — обиделась Гужеедова. — Точно свет клином сошелся. Найдутся и другие места.

— Уж не за границу ли собрались? Хе-хе-хе!

— Почему ж бы мне и не поехать за границу?

— А на какие медные? Хе-хе-хе!

— Отчета в своих средствах, дорогая моя, я вам отдавать не намерена, — надменно отвечала Гужеедова. — И довольно бестактно с вашей стороны говорить таким тоном, тем более что кинуть в Парголове будете именно вы, а я поеду за границу.

— Куда же вы едете? — даже испугалась Коркина.

Гужеедова на минутку растерялась.

— Куда? Собственно говоря, я еще не... А впрочем, я еду в Берлин. Ну да, в Берлин. Чего же тут удивительного? По-французски я говорю очаровательно...

— Да кто же с вами в Берлине по-французски говорить станет? Хе-хе-хе! В Берлине немцы живут.

— Я просто оговорила. Я хотела сказать: Париж, а не Берлин. Я еду в Париж.

— В Париж — теперь, в такую жару?

— Пустяки. Париж именно теперь и хорош. Я обожаю Париж именно теперь.

— О вкусах не спорят. А я еду в Карлсбад.

— Да что вы? А как же Парголово-то?

— Далось вам это Парголово! Я и в прошлом году попала туда совершенно случайно. Мужу не дали отпуска. А вообще я каждое лето провожу в Карлсбаде. Там у нас чудная вилла! Ее так и называют: вилла русских аристократов.

— Это кто же аристократы-то? — с деланной наивностью спросила Гужеедова.

— Как кто? Мы! Я с мужем, моя сестра с мужем, сестра мужа с мужем и мадам Булкина.

Все это Гужеедову так горько обидело, что дольше сидеть она уже не могла.

— Прощайте, дорогая моя.

— Чего же вы так торопитесь? Посидим, поболтаем.

Гужеедовой, собственно говоря, очень хотелось сказать ей, что беседа с такой вруньей и хвастуньей не может доставить удовольствия даже самому грубому вкусу, но, вспомнив, что она — светская дама, отправляющаяся освежиться в Париж, сморщилась в самую утонченную улыбку и отвечала, картавя, как истинная парижанка:

— Ах, я так тороплюсь! Вы знаете, перед отъездом всегда так много дела: туалеты, визиты...

— Ах, я вас вполне понимаю, дорогая моя! — впала и Коркина в светский тон. — У меня тоже такая возня с модистками.

— Как жаль, что мы не встретимся за границей!

— Ах да, ужасно жаль. Приезжайте, дорогая, к нам в Карлсбад, прямо на нашу виллу. Организуем пикники, поедem на Монблан... Я вам потом пришлю адрес. Так бы обрадовали!

— Мерси! Мерси! Непременно! Но, к сожалению, назад я собиралась ехать прямо через Испанию...

От Коркиной Гужеедова отправилась к Булкиной.

— Дорогая моя! Вот еду за границу...

— Да что вы! Ах, счастливица! Впрочем, я, вероятно, тоже поеду.

— Куда?

— Конечно, в Рим. Вечный город! Красота! Чуткая душа, понимающая задачи искусства, должна каждый год ездить в Рим. Я и без того так виновата, что в прошлом году не собралась. Знаете, прямо поленилась.

— А Коркина собирается в Карлсбад.

— Ах, ненавижу эти курорты. Пыль, доктора, толкуются все на одном месте, как мухи на блюдечке. Тоска! Нет, я признаю только Вечный город.

— Я всегда в Париже останавливаюсь в самой лучшей гостинице. Ее так и называют: гостиница русских аристократов, — сказала Гужеедова и вдруг сразу почувствовала себя удовлетворенной, словно отомстила Коркиной.

— Ах, не верьте им, дорогая моя, — успокоила ее Булкина. — Эти французы такой продувной народ. Может быть, у них остановился когда-нибудь какой-нибудь русский генералишка из самых завалящих, а уж они сейчас рады раструбить по всему свету, что у них аристократическое общество. Хвастунишки-французишки, ветрогонный народ.

Гужеедова, увидев, что ее не поняли, глубоко вздохнула и поникла головой. Тяжело быть не понятой близкими людьми!

Прошло недели три.

Солнце высоко поднялось над третьим Парголовом и палило прямо в спину мадам Гужеедовой, возвращавшейся с купанья.

Она уже свернула на боковую дорожку и поднималась по кособогу к своей дачке, как вдруг ее поразил знакомый голос.

Она оглянулась и увидела разносчика с ягодами и около него даму. Лицо дамы было прикрыто зонтиком, но из-под зонтика раздавались очень знакомые звуки:

— Нет, милый мой! Этакой цены тебе никто не даст. Не уступишь — не надо. Куплю у другого.

И вдруг, опустив зонтик, дама обернулась.

Гужеедова тихо ахнула и даже присела от ужаса. Перед ней стояла Коркина.

«Боже мой! — думала Гужеедова. — А я не за границей! Какой срам! Какой позор!»

Но Коркина сама была страшно сконфужена. Сначала отвернулась и сделала вид, что не узнает Гужеедову, потом передумала и, заискивающе улыбаясь, стала подходить ближе.

— Дорогая моя! Как я рада, что вижу вас здесь! Вы знаете, я раздумала ехать в Карлсбад. Откровенно говоря, я совсем не верю в эти курорты. Какая там вода! Все вздор. Нарочно выдумали, чтобы русские деньги грабить. Сплошное мошенничество.

— Как я счастлива, что вы здесь, — оправилась Гужеедова. — Как мы заживем очаровательно. Вместо того чтобы тащиться в пыльном и душном вагоне, как приятно подышать нашим чудным северным воздухом. Вы знаете, одному человеку, заболевшему на чужбине, доктора сказали: «Дорогой мой, вас может вылечить только воздух родины». А мы разве ценим воздух родины? Нам всякая дрянь дороже...

— Ну, как я рада! Пойдемте, я вам покажу чудный вид. Вот здесь, около коровника.

— Тут? Да тут какое-то белье висит...

— Чье бы это могло быть? Посмотрите метку. А? Н. К.? Ну, это верно Куклиной. Бумажные кружева! Какая гадость! Нос задирает, говорит, что от арбуза у нее голова кружится, а сама крючком кружева вяжет для рубашек.

— Возмутительно! А где же пейзаж?

— Ах, пейзаж — вот сюда. Вот, посмотрите в щелочку забора. Ну, что?

— Гм... Да там что-то бурое...

— Бурое? Позвольте-ка... Ну да, конечно, это — корова. А вот когда она отойдет, то там бывает видно: береза и закат солнца. Феерично! А знаете, кого я вчера здесь встретила? Можете себе представить, — Булкину!

— Да что вы! А как же Рим-то?

— Хе-хе-хе! Трещала-трещала: «Вечный город, Вечный город», а сама радехонька, что хоть в Парголово-то попала! Хвастунья!

— Возмутительно! И к чему было сочинять? Ведь все равно все открылось.

— Удивительно пустая душа. Выделявает из себя аристократку. И непременно куда мы, туда и она. Мы за границу, так и ей сейчас же надо.

— Подождите, кажется, корова отошла. Смотрите, смотрите, вот сюда, левее. Видите березу? Феерично!

— Ах, феерично! Только это, кажется, не береза, а баба.

— Господи, да никак это Булкина? Уйдем скорее!

Юбилей

Странное дело, — большинство юбилеев справляется почему-то около декабря. Это ясно указывает на какую-то тайную связь между появлением первого снега и первым обнаруживанием молодого таланта.

Вопрос любопытный, но так как обнаруживание тайных связей — дело не особенно почтенное, то и оставим его в покое. Отметим только, что, вероятно, в силу именно этой неизвестной причины двадцатипятилетний юбилей Антона Омнибусова праздновался тоже в декабре.

Началось дело, как и пожар в Москве, с малого: пришел в одну из редакций собственный ее сотрудник по хронологической части и сказал:

— На четвертое декабря: в 1857 году — рескрипт об улучшении быта крепостных крестьян. В 1885 году — первая рецензия Антона Омнибусова.

И прибавил:

— Вот, господа, Омнибусов уже двадцать пять лет пишет, а похвал себе не слышит.

Присутствующие тут же молодые сотрудники газеты зевнули и сказали легкомысленно:

— Хоть бы какой-нибудь болван юбилей ему устроил, — повеселились бы, а то такая скучища!

Болван нашелся тут же, в соседней комнате, высунул голову в дверь и сказал:

— Что вы говорите? Омнибусов уже двадцать пять лет пишет? Нужно непременно это отметить. Приходил вчера, бедняга, ко мне, плакался. Никто не печатает, в доме ни гроша. Справим ему юбилей, сделаем доброе дело — напомним о нем.

Сотрудники оживились, только один немножко смутился:

— Совестно как-то... уж больно бездарен!

Но другие отстояли позицию.

— Никто же и не говорит, что он талантлив, но какую бы человек ни делал ерунду, раз он ее делает в продолжение двадцати пяти лет, он имеет полное право требовать от близких людей поздравления. Словом, я все беру на себя.

Для юбилея Антона Омнибусова наняли залу в кухмистерской, разослали билеты — по три рубля с вином, пустили заметку в газетах, сочинили десять экспромтов, и только накануне спохватились, что не дали знать о торжестве самому юбиляру. Отрядили сотрудника. Тот вернулся в полном отчаянии. Антона Омнибусова он застал в состоянии нетрезвом и до такой степени гордом, что ни о каком юбилее и слышать не хотел.

— А за одно это ваше намерение перед всеми меня болванить требую с вас четвертной билет за бесчестье, и благодарите Бога, что дешево отделались!

Все растерялись. Отрядили редакционного поэта Валентина Астартова для вразумления и убеждения. Дали на расходы сорок рублей, стали ждать и молиться.

Астартов вернулся с просветленным лицом и принес три рубля сдачи. Юбиляр, выслушав посвященные ему триолеты, протрезвился, выпался и пошел на все.

Теперь оставалось только уговорить его сходить в баню, остричь волосы, взять для него напрокат сюртук, разыскать братца, проживающего в Царском Селе, и привезти сына-гимназиста из Гатчины, потому что юбиляр, не окруженный родным семейством, не производит надлежаще умилительного впечатления.

Секретарь редакции был, положим, против семейства, но и то только потому, что уже приготовил экспромт, в котором восклицал:

«Взгляните, господа, на эту одинокую фигуру, похожую на дуб!»

— Но что же делать, — всем не угодишь!

На другой день толпа друзей-читателей и почитателей в приятном возбуждении ожидала появления юбиляра. Беседа велась отдельными группами, и все в самых теплых тонах.

— Интересно знать, — говорил почтенной наружности господин, очевидно, близко знавший юбиляра, — удалось ли его уговорить сходить в баню? Я даже по этому поводу с Михаилом Ильичом пари держал.

— А он кого же лечил? — спрашивала в другой группе молодая почитательница таланта.

— Он не лечил, а писал. Он писатель, — объясняли ей.

— Ну вот! А Соня спорила, что будто мы на докторский юбилей едем!

— Этот самый Омнибусов, — с чувством говорил кто-то в третьей группе, — еще с девятьсот четвертого года мне три рубля за жилетку должен. Я на них шил. Может, сегодня отдадут.

Какой-то молодой человек, юркнувший на минутку в комнату, где был накрыт стол, сказал вполголоса своему приятелю:

— Свежая икра, действительно, есть. Стоит на краю, около ветчины. Прямо туда и пойдем, а то живо слопают.

Проходивший мимо бородач прислушался, улыбнулся загадочно и пошел шептаться с двумя репортерами и пришедшими с ними почитателями таланта.

— Идет! Идет! — закричал вдруг распорядитель, пробежал вдоль комнаты с испуганным лицом и, быстро повернувшись на каблуках лицом к двери, бешено зааплодировал.

Все поняли, что это — сигнал, и зааплодировали тоже.

В дверях показалась сконфуженная фигура юбиляра. Он криво улыбался, еще кривее кланялся, растерянно оглядывался и совсем не знал, что ему делать. Хотел было пожать руку стоявшему с краю секретарю редакции, но тот руки ему не подал, так как иначе ему нечем было бы хлопать.

— Браво! Браво! Браво!

— Боже мой! Да его узнать нельзя! — восклицал кто-то в заднем ряду. — Вот что значит человек вымылся!

Юбиляр продвинулся немножко вперед, и тогда показалась за ним другая, чрезвычайно похожая на него фигура, только очень маленького роста, но зато в таком длинном сюртуке, что карманы его приходились под коленками.

Так судьба, урезав человека в одном, вознаграждает его в другом.

По радостно осклабленному лицу фигуры все сразу догадались, что это и есть братец юбиляра.

За брата прятался гимназист со свежевыдранными ушами.

А публика все хлопала да хлопала, пока распорядитель не сорвался вдруг с места. Он подхватил юбиляра под руку и повел к столу.

Тогда публика хлынула к столу, давя друг друга, и все лопылись к одному концу.

— Я говорил: опоздаете, — шипел кто-то. — Смотрите, уже пустая жестянка. Безобразие!

Наконец уселись.

Сконфуженный юбиляр только что поднес ко рту первый бутерброд, придерживая на нем дрожащим пальцем кусочек селедки и думая только о том, чтобы не закапать чужой сюртук, как вдруг кто-то крикнул визгливым голосом, так громко и неестественно, что бутерброд, перевернувшись селедкой вниз, шлепнулся прямо на юбилярово колено.

Минуло четверть века,
Когда, исполнен сил,
Антон, ты человека
В себе вдруг пробудил!

Это начал свой тост редакционный поэт Валентин Астартов.

— Встаньте! Встаньте! — шепнул Омнибусову распорядитель.

Омнибусов встал и стоял, длинный и унылый, вытирая украдкой о скатерть селедочное пятно на своем сюртуке.

— Вот кончит, тогда подзакашу немножко, — подбодрял он себя.

Но не успел поэт опуститься на место и утереть свой влажный от вдохновения лоб, как вскочил сам распоряди-

тель и полчаса подряд уверял всех, что юбиляр был честным человеком.

А юбиляр стоял и думал, оставят ему рыбы или так все и съедят.

Распорядителя сменил помощник редактора, смененный, в свою очередь, уже за жареной курицей, одним из почитателей таланта, вероятно, врачом, потому что он все время вместо «юбиляр» говорил «пациент».

Потом поднялась в конце стола какая-то темная и очень пьяная личность, которая вообразила, что присутствует на похоронах, и, глотая слезы, выкрикивала:

— Дор-рогой покойник! Научи нас загробной жизни! Мы пла-чем! Неужели тебе наплевать?!

Личность стали успокаивать, но за ее честь вступилась другая личность, а чей-то голос предложил вывести всю компанию «под ручки, да на мороз».

А юбиляр все стоял и слушал.

Курицу съели всю, как съели рыбу. На что теперь надеяться? На кусок сыра? Двадцать пять лет человек работал...

От тяжело вздыхал, и только пролетевшая мимо вилка несколько развлекла его, задев слегка за ухо.

«Если бы я был пьян, — думал он, — я бы все это мог, а так я не могу... Уйти, что ли?»

Он подвинулся ближе к стене и стал боком пробираться к двери.

Его ухода не заметили, потому что как раз в это время, не желая уступать друг другу очереди, говорили два оратора зараз.

— Этот честный труженик успевал в то же время быть и отцом семейства! — кричал один оратор.

— Выявляя сущность дерзновения, он влек нас к безднам аморального «я», — надрывался другой.

— И как сейчас вижу я твою располагающую фигуру! — вставил пьяный похоронщик.

Омнибусов оделся и стал шарить на вешалке, отыскивая свой шарф.

— Вам чего, господин хороший? — вдруг выскочил откуда-то швейцар. — Вы кто такой будете?

— Я... Я юбиляр... — пробормотал Омнибусов, сам себе не веря. — Не кричите ради Бога, а то они услышат...

— Ага! Услышат? Я тебе, милый мой, не потатчик! Вчера шубу слямзили, на прошлой неделе шапку из-под носу уперли, такие же вот юбиляры, как и ты. Микита! Бери юбиляра под левое крыло. В участке разберут. Я до тебя, милый мой, давно добираюсь. И как он только парадную дверь открыл, что и не щелкнула? Ловкачи — мазурия!

Омнибусов ехал на извозчике в горячих объятиях дворника и тихо улыбался.

Мог ли он думать, что весь этот ужас может так скоро, так хорошо и, главное, так просто кончиться!

Талант

У Зоиньки Мильгау еще в институте обнаружился большой талант к литературе.

Однажды она такими яркими красками описала в немецком переложении страдания Орлеанской девы, что учитель от волнения и не мог на другой день прийти в класс.

Затем последовал новый триумф, укрепивший за Зоинькой навсегда славу лучшей институтской поэтессы. Чести этой добилась она, написав пышное стихотворение на приезд попечителя, начинавшееся словами:

Вот, наконец, пробил наш час,
И мы увидели ваш облик среди нас...

Когда Зоинька окончила институт, мать спросила у нее:

— Что же мы теперь будем делать? Молодая девушка должна совершенствоваться или в музыке, или в рисовании.

Зоинька посмотрела на мать с удивлением и отвечала просто:

— Зачем же мне рисовать, когда я писательница.

И в тот же день села за роман.

Писала она целый месяц очень прилежно, но вышел все-таки не роман, а рассказ, чему она сама немало удивилась.

Тема была самая оригинальная: одна молодая девушка влюбилась в одного молодого человека и вышла за него замуж. Называлась эта штука «Иероглифы Сфинкса».

Молодая девушка вышла замуж приблизительно на десятой странице листа писчей бумаги обыкновенного формата, а что делать с ней дальше, Зоинька положительно не знала. Думала три дня и приписала эпилог:

«С течением времени у Элизы родилось двое детей и она, по-видимому, была счастлива».

Зоинька подумала еще дня два, потом переписала все начисто и понесла в редакцию.

Редактор оказался человеком малообразованным. В разговоре выяснилось, что он никогда даже и не слышал о Зоинькином стихотворении на приезде попечителя. Рукопись, однако, взял и попросил прийти за ответом через две недели.

Зоинька покраснела, побледнела, сделала реверанс и вернулась через две недели.

Редактор посмотрел на нее сконфуженно и сказал:

— Н-да, госпожа Мильгау!

Потом пошел в другую комнату и вынес Зоинькину рукопись. Рукопись стала грязная, углы ее закруглились в разные стороны, как уши у бойкой борзой собаки, и, вообще, она имела печальный и опозоренный вид.

Редактор протянул Зоиньке рукопись.

— Вот-с.

Но Зоинька не понимала, в чем дело.

— Ваша вещица не подходит для нашего органа. Вот, изволите видеть...

Он развернул рукопись.

— Вот, например, в начале... ммм... «...солнце золотило верхушки деревьев»... ммм... Видите ли, милая барышня, газета наша идейная. Мы в настоящее время отстаиваем права якутских женщин на сельских сходах, так что в солнце в настоящее время буквально никакой надобности не имеем. Так-с!

Но Зоинька все не уходила и смотрела на него с такой беззащитной доверчивостью, что у редактора стало горько во рту.

— Тем не менее у вас, конечно, есть дарование, — прибавил он, с интересом рассматривая собственный башмак. — Я даже хочу вам посоветовать сделать некоторые изменения в вашем рассказе, которые несомненно послужат ему на

пользу. Иногда от какого-нибудь пустяка зависит вся будущность произведения. Так, например, ваш рассказ буквально просится, чтобы ему придали драматическую форму. Понимаете? Форму диалога. У вас, вообще, блестящий диалог. Вот тут, например, мм... «до свиданья, сказала она» и так далее. Вот вам мой совет. Переделайте вашу вещицу в драму. И не торопитесь, а подумайте серьезно, художественно. Поработайте.

Зоинька пошла домой, купила для вдохновения плитку шоколада и села работать.

Через две недели она уже сидела перед редактором, а тот утирал лоб и говорил заикаясь:

— Нап-прасно вы так торопились. Если писать медленно и хорошо обдумывать, то произведение выходит лучше, чем когда не об-бдумывают и пишут скоро. Зайдите через месяц за ответом.

Когда Зоинька ушла, он тяжело вздохнул и подумал:

— А вдруг она за этот месяц выйдет замуж, или уедет куда-нибудь, или просто бросит всю эту дрянь. Ведь бывают же чудеса! Ведь бывает же счастье!

Но счастье бывает редко, а чудес и совсем не бывает, и Зоинька через месяц пришла за ответом.

Увидев ее, редактор покачнулся, но тотчас взял себя в руки.

— Ваша вещица? Н-да, прелестная вещь. Только знаете что — я должен дать вам один блестящий совет. Вот что, милая барышня, переложите вы ее, не медля ни минуты, на музыку. А?

Зоинька обиженно повела губами.

— Зачем на музыку? Я не понимаю!

— Как не понимаете! Переложите на музыку, так ведь у вас из нее, чудак вы эдакий, опера выйдет! Подумайте только — опера! Потом сами благодарить придете. Поищите хорошего композитора...

— Нет, я не хочу оперы! — сказала Зоинька решительно. — Я писательница... а вы вдруг оперы. Я не хочу!

— Голубчик мой! Ну, вы прямо сами себе враг. Вы только представьте себе... вдруг вашу вещь запоют! Нет, я вас прямо отказываюсь понимать.

Зоинька сделала козлиное лицо и отвечала настойчиво:

— Нет и нет. Не желаю. Раз вы мне сами заказали переделать мою вещь в драму, так вы теперь должны ее напечатать, потому что я приноравливала ее на ваш вкус.

— Да я и не спорю! Вещица очаровательная! Но вы меня не поняли. Я, собственно говоря, советовал переделать ее для театра, а не для печати.

— Ну, так и отдайте ее в театр! — улыбнулась Зоинька его бестолковости.

— Ммм-да, но видите ли, современный театр требует особого репертуара. «Гамлет» уже написан. Другого не нужно. А вот хороший фарс нашему театру очень нужен. Если бы вы могли...

— Иными словами — вы хотите, чтобы я переделала «Иероглифы Сфинкса» в фарс? Так бы и говорили.

Она кивнула ему головой, взяла рукопись и с достоинством вышла.

Редактор долго смотрел ей вслед и чесал карандашом в бороде.

— Ну, слава богу! Больше не вернется. Но жаль все-таки, что она так обиделась. Только бы не покончила с собой.

— Милая барышня, — говорил он через месяц, смотря на Зоиньку кроткими голубыми глазами. — Милая барышня. Вы напрасно взялись за это дело! Я прочел ваш фарс и, конечно, остался по-прежнему поклонником вашего таланта. Но, к сожалению, должен вам сказать, что такие тонкие и изящные фарсы не могут иметь успеха у нашей грубой публики. Поэтому театры берут только очень, как бы вам сказать, очень неприличные фарсы, а ваша вещь, простите, совсем не пикантна.

— Вам нужно неприличное? — деловито осведомилась Зоинька и, вернувшись домой, спросила у матери:

— Мамап, что считается самым неприличным?

Мамап подумала и сказала, что, по ее мнению, неприличнее всего на свете голые люди.

Зоинька поскрипела минут десять пером и на другой день гордо протянула свою рукопись ошеломленному редактору.

— Вы хотели неприличного? Вот! Я переделала.

— Да где же? — законфузился редактор. — Я не вижу... кажется, все, как было...

— Как где? Вот здесь — в действующих лицах.

Редактор перевернул страницу и прочел:

«Действующие лица: Иван Петрович Жукин, мировой судья, 53 лет — голый.

Анна Петровна Бек, помещица, благотворительница, 48 лет — голая.

Кусков, земский врач — голый.

Рыкова, фельдшерица, влюбленная в Жукина, 20 лет — голая.

Становой пристав — голый.

Глаша, горничная — голая.

Чернов, Петр Гаврилыч, профессор, 65 лет — голый».

— Теперь у вас нет предлога отвергать мое произведение, — язвительно торжествовала Зоинька. — Мне кажется, что уж это достаточно неприлично!

Великопостное

Старуха лавочница, вдова околоточного и богаделенская старушонка пьют чай.

Чай не какой-нибудь, а настоящий постный, и не с простым сахаром, который, как известно каждому образованному человеку, очищается через собачьи кости, а с постным, который совсем не очищается, а, напротив того, еще пачкается разными фруктовыми соками с миндалем.

У каждой из трех собеседниц лицо особое, как полагается.

У лавочницы нос сизый, нарочно, чтобы люди плели, будто она клюкнуть любит.

У вдовы околоточного глаза пронзительные и смотрят все на то, на что не следовало бы: на лавочницын нос, на прореху в юбке, на дырку в скатерти, на щербатый чайник.

У богаделенки лицо «обнаковенное», какое бывает у старух, век свой трепавшихся по господам, вроде тарелки, на которую кое-как посыпано какой-то рубленой дряни; все маленькое, все кривенькое, все ни к чему.

— Н-да, сла-те господа, — говорит богаделенка. — Вот дожили и до поста.

— Только нужно и то понимать, что пост человеку не на радость послан, а на воздержание плоти и крови, — подхватывает вдова и косится на большой кусок постного сахара, который богаделенка подпрятала сбоку под блюдечко.

Богаделенка деликатно направляет разговор по другому руслу.

— Очинно отец Евмений хорошо служит. Благолепно.

— Что служит хорошо, с этим не поспорю, — обиженно поджигает губы вдова, — ну, что круглый пост рыбное ест, это уж чести приписать нельзя.

— Оне ученые. Их учить нечего, что можно, чего нельзя, — успокоительно замечает лавочница.

— Пусть ученые. Этого никто от них и не отнимает. У меня у самой дочка прогимназию кончает. Ну, чтобы я допустила себя до рыбного, так легче мне живой в гроб лечь.

— Господа всегда постом рыбу кушают, — говорит богаделенка, и чувствуется, что хоть и грех это, а господами она гордится. — Уху варят с ершом, расстегаи пекут, осетрину варят, сига коптят. А у Даниловых нельму разварную делали.

— Не-ельму? Да такой рыбы-то вовсе нету, — обиделась вдова.

— Из Сибири привозили.

— Еще что выдумашь! Язык без костей! Из Сибири ей рыбу повезут.

— А я, — вздохнула лавочница, — очинно рыбу люблю. Особливо солоную. Солоная рыба прямо смерть моя...

— А взять бы тебе осетринки, да залить бы ее...

— Милая! — с чувством отвечает лавочница. — Милая! Осетрина-то ведь кусается! Кусается осетрина-то!

— Ну, хошь судака. Можно тоже и судака залить.

— Кусается судак-то нынче. Очень даже кусается.

— Ну, леща возьми. Из леща тоже можно, коли его хорошенько...

— Кусается лещ-то...

— И что это у вас все кусается! Больно вы пужливы, — острит вдова.

Лавочница вздыхает глубоко.

— Вот муж был жив, так и рыбку ели, и ничего не боялись. Достаток был, и никаких санитаров в глаза не видывали. А нынче ходят да разнюхивают. Один придет понюхает,

другой понюхает. Тьфу! От одних от ихних носов товар у меня, гриб, плесенью пошел. Товар нежный, рази он может человеческий нос перенести. Худо стало теперь. Муж-то у меня был молодой, кр-расавец, мужчина во всю щеку. Раз это случилась с ним беда. Шел он на почту, деньги за товар отправлять; тысячи полторы было с ним. А почта тогда в старом доме была, от нас недалеко; оврагом надо было идти, да мимо выгона. Место пустое. Он с собой всегда и пистолет брал. Храбрый был, — одно слово, кровь с молоком. Идет это он, вдруг откуда ни возьмись, парень перед ним. «Стой, — кричит, — не то дух вон». Остановился муж. «Чего, — говорит, — тебе надать?» — «А отдавай, — говорит, — мне денежки свои, все — какие есть, да живо поворачивайся, мне, — говорит, — проклаждаться некогда». И что бы вы думали? Другой бы напужался бы до смерти. А муж-то мой хоть бы что. Преспokoйно вынул деньги, да и отдал их мошеннику-грабителю. Тот деньги взял и строго-настрого заказал людям сказывать. Ну, муж вернулся домой, все двери на запор, да шепотком мне и рассказал. А больше никому. Уж и удивлялась я! Другой бы на его месте невесть бы чего со страху натворил. И кричал бы, и стрелял бы, и защищался бы, а он хоть бы что. Этакого другого — поискать, не сыщешь. Вот и помер. Не живут хорошие люди на свете!

— Н-да, — вздыхает богаделенка и подымает глаза на грязный потолок. — Такие-то, видно, и там нужны!

— Говорили, быдто опился, оттого и помер, — вставляет вдова, безмятежно глядя на лавочницын нос. — Мне что! За что купила, за то и продаю.

— Ну, это ты оставь, — окрысилась лавочница. — Муж мой с наговору помер, а не с перепою. Это тебе грудной младенец скажет, не то что...

— Такой болезни не бывает. Наговор! Что это за болезнь такая? У меня вон дочка в прогимназии учится. Всякая болезнь — это микроб. А наговор — про такое никто и не слыхивал.

— Господи, помилуй! — в тихом негодовании восклицает богаделенка и даже вытирает рот, чтоб удобнее было возражать, если лавочнице понадобится ее помощь.

Но лавочница и так сильна.

— Дочка! У тебя дочка в прогимназии учится! А спросила ли, хочу ли я слышать про твою дочку-то! Тычет мне дочкой

в рыло. Не посмотрят, что Великий пост, а со всякой, прости Господи, пустяковиной...

— Истинно, истинно! — подхватывает богаделенка. — Не посмотрят, что пост... Вот я у немца жила, у Август Иваныча, и то всегда на Страстной постное ел. «Мне, — грит, — ветчину вкуснее будет на праздниках кушать, если я последнюю неделю постное покушаю». Вот вам! Немец — и то душеспасенье понимал!

— Понимал, понима-ал твой немец! — передразнивает вдова, вставая со стула. — Понима-ал. Это он, верно, тебя сибирской рыбой кормил. Выписывал из Сибири! Хи-хи! Ох, уморушка. Смотри, хозяйка, она у тебя, у старой вороны, постный сахар стащила. Нечего, нечего! Вон под блюдечком-то лежит!

— Ах ты, подлая твоя личность! — затряслась богаделенка. — Да очень мне ваш сахар нужен! Не видала я вашего сахару обсосанного!

— Это у меня сахар обсосанный?! — ужаснулась лавочница. — В-вон! Чтоб духу вашего...

— Интеллигентному человеку слушать вас совершенно невозможно! — отряхнула крошки с платья вдова и с достоинством вышла.

— Вон! — повторила еще раз лавочница.

Богаделенка поджала губы, подтянула головной платок и засемила к дверям.

Ушли.

Лавочница сразу успокоилась, обрядливо все прибрала на место.

— Ну-с, чайку попили, теперь, пожалуй, и в церкву пора. Слава тебе, Господи! Все во благовремении.

Страшная сказка

Когда я пришла к Сундуковым, они торопились на вокзал провожать кого-то, но меня отпустить ни за что не согласились.

— Ровно через час, а то и того меньше, мы будем дома. Посидите пока с детками, — вы такая редкая гостья, что по-

том опять три года не дозовешься. Посидите с детками! Кокося! Тотося! Тюля! Идите сюда! Займите тетю.

Пришли Кокося, Тотося и Тюля.

Кокося — чистенький мальчик с проборчиком на голове, в крахмальном воротничке.

Тотося — чистенькая девочка с косичкой, в передничке.

Тюля — толстый пузырь, соединивший крахмальный воротничок и передничек.

Поздоровались чинно, усадили меня в гостиной на диван и стали занимать.

— У нас папа фрейлейн прогнал, — сказал Кокося.

— Прогнал фрейлейн, — сказала Тотося.

Толстый Тюля вздохнул и прошептал:

— Плогнал!

— Она была ужасная дурища! — любезно пояснил Кокося.

— Дурища была! — поддержала Тотося.

— Дулища! — вздохнул толстый.

— А папа купил лианозовские акции! — продолжал занимать Кокося. — Как вы полагаете, они не упадут?

— А я почему знаю!

— Ну да, у вас, верно, нет лианозовских акций, так вам все равно. А я ужасно боюсь.

— Боюсь! — вздохнул Тюля и поежился.

— Чего же вы так боитесь?

— Ну, как же вы не понимаете? Ведь мы прямые наследники. Умри папа сегодня, — все будет наше, а как лианозовские упадут, — тогда будет, пожалуй, не густо!

— Тогда не густо! — повторила Тотося.

— Да уж, не густо! — прошептал Тюля.

— Милые детки, бросьте печальные мысли, — сказала я. — Папа ваш молод и здоров, и ничего с ним не случится. Давайте веселиться. Теперь Святки. Любите вы страшные сказки?

— Да мы не знаем, — какие такие страшные?

— Не знаете, ну, так я вам расскажу. Хотите?

— Хочу!

— Хочу!

— Хацу!

— Ну-с, так вот слушайте: в некотором царстве, да не в нашем государстве, жила-была царевна, красавица-раскрасавица. Ручки у нее были сахарные, глазки васильковые, а волоски медовые.

— Французенка? — деловито осведомился Кокося.

— Гм... пожалуй, что не без того. Ну-с, жила царевна, жила, вдруг смотрит: волк идет...

Тут я остановилась, потому что сама немножко испугалась.

— Ну-с, идет этот волк и говорит ей человеческим голосом: «Царевна, а царевна, я тебя съем!»

Испугалась царевна, упала волку в ноги, лежит, землю грызет.

— Отпусти ты меня, волк, на волю.

— Нет, — говорит, — не пушу!

Тут я снова остановилась, вспомнила про толстого Тюлю, — еще перепугается, захворает.

— Тюля! Тебе не очень страшно?

— Мне-то? А ни капельки.

Кокося и Тотося усмехнулись презрительно.

— Мы, знаете ли, волков не боимся.

Я сконфузилась.

— Ну, хорошо, так я вам другую расскажу. Только, чур, потом по ночам не пугаться. Ну, слушайте! Жила-была на свете старая царица, и пошла эта царица в лес погулять. Идет-идет, идет-идет, идет-идет, вдруг, откуда ни возьмись, выходит горбатая старушонка. Подходит старушонка к царице и говорит ей человеческим голосом:

— Здравствуй, матушка!

Отдала царица старушонке поклон.

— Кто же ты, — говорит, — бабушка, что по лесу ходишь да человеческим голосом разговариваешь?

А старушонка вдруг как засмеется, зубы у нее так и скрипнули.

— А я, — говорит, — матушка, та самая, которую никто не знает, а всякий встречает. Я, — говорит, — матушка, твоя Смерть!

Я перевела дух, потому что горло у меня от страха стянуло.

Взглянула на детей. Сидят, не шевелятся. Только Тотоса вдруг придвинулась ко мне поближе (ага, у девочки-то, небось, нервы потоньше, чем у этих идиотских парней) и спросила что-то.

— Что ты говоришь?

— Я спрашиваю, сколько ваша муфта стоит?

— А? Что? Не знаю... не помню... Вам, верно, эта сказка не нравится? Тюля, ты, может быть, очень испугался? Отчего ты молчишь?

— Чего испугался? Я старухов не боюсь.

Я приуныла. Что бы такое выдумать, чтобы их немножко проняло?

— Да вы, может быть, не хотите сказки слушать?

— Нет, очень хотим, пожалуйста, расскажите, только что-нибудь страшное!

— Ну, хорошо, уж так и быть. Только, может быть, нехорошо Тюлю пугать, он еще совсем маленький.

— Нет, ничего, пожалуйста, расскажите.

— Ну-с, так вот! Жил-был на свете старый граф. И такой этот граф был злой, что к старости у него даже выросли рога.

Тотоса подтолкнула Кокосю, и оба, закрыв рот ладонью, хихикнули.

— Чего это вы? Ну-с, так вот, выросли у него рога, а когда вывалились от старости зубы, то на место них прорезались кабаньи клыки. Ну, вот жил он, жил, рогами мотал, клыками щелкал, и пришло ему наконец время помирать. Вырыл он себе сам большую могилу, да не простую, а с подземным ходом, и вел этот подземный ход из могилы прямо в главную залу, под графский трон. А детям своим сказал, чтоб не смели без него никаких дел решать, и чтоб после его похорон три дня ждали. А потом, — говорит, — увидите, что будет.

А как стал граф помирать, позвал к себе двух своих сыновей и велел старшему у меньшего через три дня сердце вырезать и положить это сердце в стеклянный кувшин. А потом, — говорит, — увидите, что будет.

Тут я до того сама перепугалась, что мне даже холодно стало. Глупо! Насочиняла тут всякие страхи, а потом через темную комнату пройти не решусь.

— Дети, вы что? Может быть... не надо больше?

— Это у вас настоящая цепочка? — спросил Кокося.

— А где же проба? — спросила Тотося.

Но что это с Тюлей? Он глаза закрыл! Ему положительно дурно от страха!

— Дети! Смотрите! Тюля! Тюля!

— Да это он заснул. Открой же глаза, так невежливо.

— Знаете, милые детки, мне, очевидно, не дожидаться вашей мамы. Уже поздно, темнеет, а впотьмах мне, пожалуй, будет страшновато идти после... после всего. Но на прощанье я вам расскажу еще одну сказочку, коротенькую, но очень страшную.

Вот слушайте:

Жили-были на свете лианозовские акции. Жили, жили, жили, жили, жили, жили, да вдруг... и упали!

Ай! Что с вами?

Господи! Что же это с ними?

Кокося дрожит как осиновый лист. Рот перекосило... Паралич, что ли?

Тотося вся белая, глаза широко открыла, хочет что-то сказать и не может, только в ужасе отгаликивает руками какой-то страшный призрак.

И вдруг отчаянный вопль Тюли:

— Ай! Боюсь! Боюсь! Ай, довольно! Страшно! Боюсь! Боюсь!

Что-то стукнуло. Это Тотося упала без чувств на ковер.

Новогодние поздравления

От приказчика Панкова из мясной лавки генеральской кухарке Офимьюшке.

Открытка: вид города Палермо.

Текст:

«Перо мое писало
Не знаю для каво
А сердце мне сказала
Для друга моево.

С Новым Годом, с Новым щастьем жилаю Успеха и на
всех по прыщам посылаю мятных пряничков для вашево
переживания и целую вас нечотное число раз.

Известный вам прикащик Панков».

Влюбленный писатель даме своего сердца.
Открытка: череп и бокал.

«С Новым годом!

Я запер двери и один поднимаю свой бокал за твое сча-
стье, единственная! Крутом тихо. За стеной скребется мышь,
отдирая старый штоф обоев. Я один, — я с тобой.

Евгений.

Присоединяемся к тосту:

Белкин.

А. Галкин.

С Новым годом!
Felicite. Chiffinette.

Бути здоровы. *Нюшка».*

Митя Кокин, в Борисоглебск, в лавку купца Егорьина.
Открытка: дама танцует на бутылке.

«Христос воскрес!»

Любезный папенька еще имею честь уведомить вас что
застрял я на полпути, сижу вторые стуки на станции в Бо-
логом по семейным обстоятельствам. Деньги у меня украли
явите божеску милость выслать на продолжение транспор-
та. Со мной Пашка Зиминов тоже несчастный.

Единоутробный ваш сын

Демитрий Кокин».

Генерал Тетюрин актрисе Мотылек-Воропайской, с казенным курьером в пакете с надписью: «Весьма нужное, совершенно доверительное, спешное».

«Мой нежный Ангел! С Новым Годом!

Перо мое писало
Не знаю для кого
А сердце мое мне подсказало
Что для друга твоего.

Обнимаю нежно (конечно мысленно) и целую нежно (конечно мысленно).

Твой незабвенный Цып-Цып».

Институтка Зиночка своей подруге Ниночке.

Открытка: Амур и Психея.

«С Новым Годом!

Дорогая Ниночка!

Желаю тебе на будущий год выйти замуж за Л. Д. и за В. К.

Твоя Зина».

Прачка Федосья в деревню.

Открытка: свинья с васильками.

«С Новым Годом, с Новым счастьем, с новым здоровьем и здоровье дороже всего. И во первых строках моего письма проздравляю маменьку нашу Анну Семеновну и здоровье дороже всего. А еще во первых строках проздравляю сестрицу нашу Маланью Ивановну, а пусть она мерзавка мово коврового платка не носит а как он в сундуке лежал пусть так и лежит и от Господа доброго здоровья. здоровье дороже всего.

Дочь ваша известная Федосья».

Юнкер Лошадиных отцу в деревню.

Телеграмма.

«С Новым Годом стреляюсь немедя телеграфом триста.

Покойный сын Николай».

Пуговица

Когда поезд тронулся, Катя сняла шляпку, оправила шарфик и вдруг воскликнула:

— Ай, какая досада! Посмотри! Купила такие чудные дорожные перчатки, только что надела, и вот уж пуговицы нет!

Трубников, Катин муж, покачал головой сокрушенно, и так как был женат на Кате всего два с половиною месяца, то и не ответил ей на это:

— Сама, милая моя, виновата. Нужно прикреплять новые пуговицы.

Или:

— У тебя, мать моя, вечные истории. Все не как у людей!

Или:

— Нужно, матушка, под ноги смотреть, а не зевать по сторонам, — вот и будешь замечать, когда с тебя пуговицы валяются.

Или что-нибудь другое, глубокое и мудрое, что говорят вдумчивые мужья, когда с их женами приключается неприятность.

Трубников только поцеловал ей руку, как раз там, где не хватало пуговицы у перчатки, и сказал весело:

— А вот я и починил!

Но его веселость Кате что-то не понравилась.

— Очень глупо. Конечно, вам все равно, если ваша жена будет одета, как кухарка!

— Голубчик, что ты говоришь! При чем тут кухарка?! Да ты поверни руку. Смотри, — совсем даже и не заметно, что пуговица оторвана.

— Вам не заметно, а другим заметно. Именно по мелким деталям и отличают элегантную женщину от обыкновенных.

— Ну, раз это так важно, надень какие-нибудь другие перчатки.

— Благодарю за совет, — иронически прищурилась Катя. — Я купила специально для этого путешествия дорожные перчатки, а поеду «в каких-нибудь других». Вы очень находчивы.

Трубников замолчал и запечалился.

«Не надо было жениться на умной женщине, — думал он. — С существом обыденным живо можно сговориться и убедить, а у Катерины такой ясный способ мышления и такая железная логика, что я вечно буду раздавлен ею!»

Катя достала книгу, но видно было, что она не читает ее, а только смотрит на строчки.

«И о чем она думает? — мучился Трубников. — Верно, догадалась, что я — дурак, и жалеет о своей загубленной жизни».

— Жаль, — вдруг сказала Катя. — Очень жаль!

— Ч-чего тебе жаль, голубка? — весь затрепетал Трубников.

— Жаль, что мы не заедем в Вену. В Вене я скорее могла бы подобрать подходящую пуговицу, потому что продавщица говорила, что эти перчатки венские. И, действительно, я не понимаю, почему мы должны были непременно ехать через Берлин, а не через Вену? Ведь ехала же Оля Попова через Вену, а нас непременно несет через Берлин. Это все твоё упорство.

— Дорогая... Но ведь Оля Попова, насколько я понимаю, ехала в Италию, а мы — в Мюнхен.

— Ничуть не в Италию! Это она сначала думала, что поедет в Италию, а потом поехала из Вены к бабушке в Киев. Берешься спорить, не зная фактов. Но довольно об этом. Придется искать пуговицу в Берлине. В другой раз, во всяком случае, не доверю никому постороннему составлять для меня маршрут...

— Да ведь, если бы я знал... — начал Трубников и осекся. Он просто хотел сказать: «Я не знал, что ты потеряешь пуговицу», — но не посмел. А Катя посмотрела на него холодными глазами и сказала, поджимая губы:

— Вот в том-то и дело, что вы ровно ничего ни о чем не знаете.

«Кончено! — оборвалось что-то в душе у Трубникова. — Догадалась! Догадалась, что я — дурак. Господи, что-то будет, что-то будет!»

На путешествие у Трубниковых времени было в обрез. Патрон, пославший молодого Трубникова по своему делу в Мюнхен, рассчитал верно и аккуратно и велел вернуться в срок и несколько раз повторил свой наказ, догадываясь, что молодой муж потащит с собой и Катю.

Трубников, хотя и понимал всю важность возложенного на него поручения, никак не мог ехать без Кати, которая еще ни разу за границей не была и так обрадовалась возможности поехать туда вместе.

Два вечера составляли планы, куда пойти и что посмотреть.

В Берлине прежде всего Аквариум, где ползает живой осьминог, потом зоологический сад, потом ресторан Кемпинского, потом к Вертейму — покупать для Кати жакетку, потом рейхстаг, потом египетский музей и, наконец, даже университет. Это последнее придумал сам Трубников, чтобы поважничать перед Катей своими научными интересами и тем помешать ей догадаться, что он глупый.

Приехали в Берлин поздно вечером, усталые и сердитые. Катя отказалась даже пройтись перед сном по улице. К чему? Магазины закрыты, пуговицы все равно не купишь, а смотреть на Берлин, который она всегда инстинктивно ненавидела, ей совсем не весело. Другое дело, если бы это была Вена, чудная, веселая Вена, страна вальсов, в которой такие великолепные магазины и фабрики, что поставляют на весь мир разные вещи, например перчатки.

Трубников в угоду жене даже ругал Берлин со всем пылом любящего мужа, и утром долго уверял, что ему противно выйти на улицу. Однако выйти пришлось, так как решено было для очистки совести поискать в Берлине пуговицу.

Посмотрели в двух-трех магазинах, но подходящей не нашли. То мала и, значит, будет расстегиваться, то велика и,

значит, не будет застегиваться, то не тот рисунок и, значит, не подходит к остальным. В двух магазинах Катя усмехнулась горько и сказала мужу:

— Я ведь говорила!

В третьем Трубников забежал вперед и сам усмехнулся горько и сказал:

— Я ведь говорил!

Потом пошли завтракать, причем Катя ела с таким выражением, точно говорила:

— Хотя судьба и заставляет меня нести крест, я все-таки имею право есть, когда я голодна.

А Трубников жевал смиренно и кротко, словно отвечал ей:

— Ну, хорошо, ну, пусть я — идиот, но пока ты не убила меня, поедем немножко, если не запретишь!

Этот молчаливый разговор так занимал обоих, что прекратился только тогда, когда они вышли на улицу.

— Теперь куда? — спросил он робко. — Может быть, в Аквариум, — там живой осьминог...

— Нет, уж избавьте! Меня и без того тошнит.

— Так, может быть, к Вертгейму за жакеткой? Ведь тебе так нужна хорошенькая жакетка! Прямо необходима. Ты ведь такая элегантная! — лебезил Трубников.

Кате самой хотелось поехать за жакеткой, но так как это предложил муж, с которым только что установились такие интересные отношения тягучей ссоры, в которой ей была предоставлена такая выигрышная и захватывающая роль, от которой из-за какой-нибудь ерунды отказываться было бы прямо глупо, то она слегка топнула ногой и протянула плаксиво:

— Не могу я думать о ваших дурацких жакетах, когда у меня в голове пуговица!

Пошли на Лейпцигерштрассе, о которой значилось в Бедекере, что она — самая торговая. Стали искать пуговицу. Заходили во все подходящие магазины подряд, но на углу запутались и вошли второй раз в тот же магазин, причем приказчик, объясняя им их ошибку, позволили себе усмехнуться. Трубников раздул ноздри и хотел немедленно вызвать приказчика на дуэль, но пока собирался, тот полез куда-то на верхнюю полку. А ждать, пока он оттуда слезет, было унижительно. На улице Катя стала доказывать, что

Трубников сам виноват, потому что ведет себя вызывающе и спрашивает про пуговицу всегда вызывающим тоном.

Потом пошли обедать, а после обеда, «чтобы немножко отдохнуть от этого ужасного Берлина», Катя легла спать. Отдохнули так хорошо, что еле успели на вечерний поезд.

В вагоне было тесно и душно, и Трубников всю ночь говорил жене про Вену и про пуговицу, называя последнюю из подлости «пуговка» и «пуговочка»; но когда заметил, что это не вызывает в Кате ни удовольствия, ни нежности к нему, стал говорить с достоинством, серьезно и вдумчиво просто «пуговица».

В Мюнхене Катя окончательно упала духом и, пока Трубников ездил по делам, проплакала одна у себя в номере, заперев двери на ключ и на задвижку, чтобы прислуга не подсмотрела.

Трубников, выполнив поручение своего патрона кое-как, потому что в голове у него была только пуговица, по дороге домой три раза слезал с извозчика, чтобы забежать в подходящие магазины, — вдруг здесь найдется, вот бы Катя обрадовалась! Но от усталости и растерянности чувств в одном магазине забыл, как по-немецки пуговица, а в другом — как перчатка, а в третьем — и то и другое.

Дома, при виде опечаленной жены, он сам всхлипнул и вдруг озарился мыслью:

— Катя, дорогая! Плевать на патрона, едем домой через Вену.

Она усмехнулась распухшими губами.

— Если вы хотите... мне ведь все равно, но я предпочитала бы вернуться домой.

— Нет, этого я не допущу! — воскликнул, весь задрожав, Трубников. — Мы оба так любим Вену! Глупо было бы не посмотреть ее, когда мы всего в нескольких часах езды. Когда еще попадем в другой раз.

Он чувствовал в себе необычайный подъем энергии. Звонко чмокнул Катину руку и побежал на вокзал за билетами.

Она что-то робко пищала ему вслед, но он не слушал, и на другое утро они уже стояли перед венским носильщиком, и Трубников спрашивал деловым тоном:

— Какая здесь у вас, милый мой, самая торговая улица?

И носильщик, отвечая, смотрел на Трубникова с глубоким уважением.

— Может быть, мы сначала осмотрим город? — предложила Катя.

— Нет, дорогая моя. Прежде надо покончить дело, а там уж можем приняться за удовольствия, — отвечал Трубников и думал, сладко замирая:

«А ведь я, кажется, вовсе даже не дурак! Прямо даже очень не дурак! Хо!»

Он бодро вбегал в магазины и выкрикивал:

— Есть у вас пуговица для перчатки круглая, плоская, большая, с двумя дырочками?

Потом завтракали, потом обедали. Времени до поезда оставалось еще много, так что, купив пуговицу, можно было еще успеть посмотреть хоть Пратер или мост через Дунай.

Катя была, видимо, подавлена энергией мужа и, вверив ему судьбу свою и своей пуговицы, молчала и только вздыхала.

Времени оставалось все меньше, и уже пора стала подвигаться ближе к вокзалу, как вдруг в одной маленькой лавчонке, куда Трубников зашел только для очистки совести, равнодушный приказчик вытащил какую-то коробку и равнодушно раскрыл ее.

— Катя! — вскрикнул Трубников. — Катя, взгляни! Ведь это, по-моему, как раз те самые пуговицы! Дорогая!

Он весь дрожал и даже приплясывал на месте.

Но Катя равнодушно подняла брови.

— Нет, они слишком малы.

— Что? Что ты говоришь? Ничуть не малы! Давай сюда скорей свои перчатки. Где они у тебя?

— А я тебе говорю, что малы! — И она повернулась к выходу.

— За что ты убиваешь меня? — завопил вдруг Трубников, хватая ее за руку. — Заклинаю тебя! Объездили всю Европу... нашли, а ты не хочешь! Дай мне только свои перчатки!

— Не могу.

— Что? Что не могу?

Она вдруг всхлипнула.

— Оттого, что я их... я их еще в Берлине потеря-ала!..

На журфиксе у Рыловых был художник Коптилко, жантильничал перед дамами радужными манжетами и спрашивал у Кати Трубниковой:

— Понравился вам в Мюнхене Гляс Паласт?

— Какой?

— Гляс Паласт?

— Жена вообще не любит Мюнхена, — закричал Трубников через вазу с апельсинами.

— А Берлин вы любите? — вертел манжетами художник Коптилко.

— Н-да, только он такой странный... Там, например, совсем нет средних пуговиц, а все или очень большие, или очень маленькие. А в Вене — масса пуговиц, но все больше выпуклые.

— Счастливая Катерина Николаевна! — воскликнула хозяйка дома. — Вдруг бросила наш туманный Петербург и понеслась в блестящую Европу. Путешествие так освежает!

— Освежает и расширяет кругозор, — уверенно подтвердил Трубников.

Он больше уж не боялся, что Катя кое о чем догадается.

Пасхальные советы молодым хозяйкам

Прежде всего мы должны помнить, что из пасхальных приготовлений важнее всего сама Пасха, так как праздник получил свое название именно от нее, а не от кулича и не от ветчины, как предполагают многие невежды.

Поэтому на Пасху мы должны покупать пять фунтов творогу у чухонки и хорошенько сдобрить его сахаром.

Если пасха готовится только для своего семейства, то этим можно и ограничиться. Если же предполагается разговение с гостями, то нужно еще наболтать в творог яиц и сметаны. Гость также требует и ванили, чего тоже забывать не следует.

Чтоб показать гостю, что пасха хорошо удобрена, в нее втыкают цветок. Гость, если он человек неиспорченный и

доверчивый, должен думать, что цветок сам вырос — и умилиться.

С боков пасхи хорошо насовать изюму, как будто и внутри тоже изюм. Иной гость пасхи даже и не попробует, а только поглядит, а впечатление получит сильное.

Если же кухарка второпях налепит вам в пасху вместо изюма тараканов, то сами вы их не ешьте (гадость, да и вредно), а перед гостем не смущайтесь, потому что если он человек воспитанный, то и виду не должен показать, что признал в изюмине таракана. Если же он невоспитанный нахал, то велика, подумаешь, для вас корысть водить с ним знакомство. Таких людей обегать следует и гнушаться.

Оборудовав пасху, следует заняться куличом.

Тут я должна сделать маленькое разоблачение. Пусть недовольные бранят меня, как хотят, а по-моему, разоблачение это сделать давно пора. Слишком пора.

Итак, судите меня, как хотите, но кулич не что иное, как самая обыкновенная сдобная булка, в которую натыкали кардамону, а сверху воткнули бумажную розу.

Кто может возразить мне?

Больше о куличе я ничего говорить не хочу, потому что это меня раздражает.

Займемся лучше ветчиной.

Какой бы скверный окорок у вас ни был, хоть собачья нога, но раз вы намерены им разговляться, а в особенности разговлять своих гостей, вы обязаны украсить его стриженной бумагой. Какую взять бумагу и как ее настричь, это уж вам должна подсказать ваша совесть.

Нарезать окорок должны под вашим личным наблюдением, ибо у всех кухарок для числа нарезаемых кусков существует одна формула: $N = \text{числу потребителей} - 1$.

Таким образом, один гость всегда останется без ветчины, и все знакомые на другой же день услышат мрачную легенду о вашей жадности.

Теперь перейдем к невиннейшему и трогательнейшему украшению пасхального стола — к барашку из масла.

Это изящное произведение искусства делается очень просто: вы велите кухарке накрутить между ладонями продолговатый катыш из масла. Это туловище барашка. Сверху нужно прилепнуть маленький круглый катыш с двумя из-

юминами — это голова. Затем пусть кухарка поскребет всю эту штуку ногтями вокруг, чтобы баран вышел кудрявый. К голове прикрепите веточку петрушки или укропу, будто баран утоляет свой аппетит, а если вас затошнит, то уйдите прочь из кухни, чтоб кухарка не видела вашего малодушия.

Гости очень любят такого барашка. Умиляются над ним, некоторые отчаянные головы даже едят его, а под конец разговенья часто тпрукают ему губами, чтобы польстить хозяевам, и говорят заплетающимся языком: «Какой искусный у вас этот баранчик! Доведись такого встретить на улице, подумал бы, что живой. Ей-богу! Поклонился бы...»

Кроме всего вышеуказанного, на пасхальный стол ставят еще либо индюшку, либо курицу, в зависимости от ваших отношений с соседним зеленщиком. Какая бы птица ни была, вы обязуетесь на обе ее лапы, если только у вас есть эстетические запросы, надеть панталоны из стриженной бумаги. Это сразу поднимет птицу в глазах ваших гостей.

Класть птицу на блюдо нужно филеем вверх, чтобы гость, окинув ее даже самым беглым взглядом, сразу понял, с кем имеет дело.

Под одно крыло нужно ей подсунуть ее собственную печенку, под другое почку. Курица, снаряженная таким образом, имеет вид, будто собралась в дальнейшее путешествие и захватила под руку все необходимое. Забыла только голову.

Затем нужно декорировать стол бутылками.

Прежде всего поставьте два графина с водой. Потом бутылку с уксусом и сифон. Все это занимает много места и все-таки бутылки, а не какой-либо иной предмет, которому на столе быть не надлежит.

Затем поставьте «тип мадеры», который сохраняет все типические черты этого вина, кроме цены, и потому предпочтительнее заграничного. Поставьте еще «тип хереса», «тип портвейна», «тип токайского», и у вас на столе будет нечто вроде альбома типов, что должно же импонировать гостям.

Когда наливаете вино, каждый раз приговаривайте: «Вот могу рекомендовать!»

Чем вы рискуете?

Когда гости, по вашему мнению, достаточно разговелись и вам захочется спать, не следует говорить избитой фразы:

— А не пора ли, господа, и по домам!

Это, в сущности, довольно невежливо. Следует поступать томно и по-аристократически. Прикройте рот рукой и скажите:

— У-аух!

Будто зеваете. А потом посмотрите на часы и будто про себя:

— Ого! Однако!

Тут они, наверное, поймут и встанут. А если не поймут, то можно повторить этот прием несколько раз все громче и внушительнее.

Если какой-нибудь гость до того доразговляется, что уж ему ничего не втолкуешь, то нужно деликатно потрясти его за плечо и вдумчиво сказать:

— П'шел вон!

Это действует.

Потом соберите лучшие украшения вашего пасхального стола, как-то: бумажные цветы, миндаль с кулича, изюм с пасхи и укроп с барана и бережно спрячьте эти продукты до будущего года.

Ибо бережливость есть родственница благосостоятельности.

Неудачник

Было уже пять часов утра, когда Александр Иванович Фокин, судебный следователь города Несладска, прибежал из клуба домой и как был, не снимая пальто, калош и шапки, влетел в спальню жены.

Жена Фокина не спала, держала газету вверх ногами, щурилась на мигающую свечку, и в глазах ее было что-то вдохновенное: она придумывала, как именно изругать мужа, когда тот вернется.

Вариантов приходило в голову несколько. Можно было бы начать так:

— Свинья ты, свинья! Ну, скажи хоть раз в жизни откровенно и честно, разве ты не свинья?

Но недурно и так:

— Посмотри, сделай милость, в зеркало на свою рожу.
Ну, на кого ты похож?

Потом подождать реплики.

Он, конечно, ответит:

— Ни на кого я не похож, и оставь меня в покое.

Тогда можно будет сказать:

— Ага! Теперь покоя захотел! А отчего ты не хотел покоя, когда тебя в клуб понесло?

Лиха беда начало, а там уж все пойдет гладко. Только как бы так получше начать?

Когда муки ее творчества неожиданно были прерваны вторжением мужа, она совсем растерялась. Вот уже три года, т. е. с тех пор, как он поклялся своей головой, счастьем жены и будущностью детей, что нога его не будет в клубе, он возвращался оттуда всегда тихонько, по черному ходу и пробирался на цыпочках к себе в кабинет.

— Что с тобой? — вскрикнула она, глядя на его веселое, оживленное, почти восторженное лицо.

И в душе ее вспыхнули тревожно и радостно разом две мысли. Одна: «Неужели сорок тысяч выиграл?» И другая: «Все равно завтра все продует!»

Но муж ничего не ответил, сел рядом на кровать и заговорил медленно и торжественно:

— Слушай внимательно! Начну все по порядку. Сегодня вечером ты сказала: «Что это калитка как хлопает? Верно, забыли запереть». А я ответил, что запру сам. Ну-с, вышел я на улицу, запер калитку и совершенно неожиданно пошел в клуб.

— Какое свинство! — всколыхнулась жена.

Но он остановил ее:

— Постой, постой! Я знаю, что я подлец и все такое, но сейчас не в этом дело. Слушай дальше: есть у нас в городе некий акцизный Гугенберг, изящный брюнет.

— Ах ты Господи! Ну что, я не знаю его, что ли? Пять лет знакомы. Говори скорее, — что за манера тянуть!

Но Фокину так вкусно было рассказывать, что хотелось потянуть дольше.

— Ну-с, так вот этот самый Гугенберг играл в карты. Играл и, надо тебе заметить, весь вечер выигрывал. Вдруг лесничий Пазухин встает, вынимает бумажник и говорит:

— Вам, Илья Лукич, плачу, и вам, Семен Иваныч, плачу, и Федору Павлычу плачу, а этому господину я не плачу потому, что он пе-ре-дер-гивает. А? Каково? Это про Гутенберга.

— Да что ты!

— Понимаешь? — торжествовал следовательно. — Пе-ре-дер-гивает! Ну, Гутенберг, конечно, вскочил, конечно, весь бледный, все, конечно, «ах», «ах». Но, однако, Гутенберг нашелся и говорит:

— Милостивый государь, если бы вы носили мундир, я бы сорвал с вас эполеты, а так что я с вами могу поделаться?

— А как же это так передергивают? — спросила жена, пожимаясь от радостного волнения.

— Это, видишь ли, собственно говоря, очень просто. Гм... Вот он, например, сдает, да возьмет и подсмолит. То есть нет, не так. Постой, не сбивай. Вот как он делает: он тасует карты и старается, чтобы положить туза так, чтобы при сдаче он к нему попал. Поняла?

— Да как же это он может так рассчитать?

— Ну, милая моя, на то он и шулер! Впрочем, это очень просто, не знаю, чего ты тут не понимаешь. Нет ли у нас карт?

— У няньки есть колода.

— Ну, пойдй тащи скорее сюда, я тебе покажу.

Жена принесла пухлую, грязную колоду карт, с серыми обмякшими углами.

— Какая гадость!

— Ничего не гадость, это Ленька обсосал.

— Ну-с, я начинаю. Вот, смотри: сдаю тебе, себе и еще двоим. Теперь предположим, что мне нужен туз червей. Я смотрю свои карты, — туза нет. Смотрю твои — тоже нет. Остались только эти два партнера. Тогда я рассуждаю логически: туз червей должен быть у одного из них. По теории вероятности, он сидит именно вот тут, направо. Смотрю. К черту теорию вероятности, — туза нет. Следовательно, туз вот в этой последней кучке. Видишь, как просто!

— Может быть, это и просто, — отвечала жена, недоверчиво покачивая головой, — да как-то ни на что не похоже. Ну, кто же тебе позволит свои карты смотреть?

— Гм... пожалуй, что ты и права. Ну, в таком случае это еще проще. Я прямо, когда тасую, вынимаю всех козырей и кладу себе.

— А почему же ты знаешь, какие козыри будут?

- Гм... н-да...
 - Ложись-ка лучше спать, завтра надо встать пораньше.
 - Да, да. Я хочу с утра съездить к Бубкевичам рассказать все, как было.
 - А я поеду к Хромовым.
 - Нет, уж поедем вместе. Ты ведь не присутствовала, а я сам все расскажу!
 - Тогда уж и к докторше съездим.
 - Ну, конечно! Закажем извозчика и айда!
- Оба засмеялись от удовольствия и даже, неожиданно для самих себя, поцеловались.
- Нет, право, еще не так плохо жить на свете!
-

На другое утро Фокина застала мужа уже в столовой. Он сидел весь какой-то серый, лохматый, растерянный, шлепал по столу картами и говорил:

— Ну-с, это вам-с, это вам-с, а теперь я пере-дер-гиваю, и ваш туз у меня! А, черт, опять не то!

На жену он взглянул рассеянno и тупо.

— А, это ты, Манечка? Я, знаешь ли, совсем не ложился. Не стоит. Подожди, не мешай. Вот я сдаю снова: это вам-с, это вам-с...

У Бубкевичей он рассказывал о клубном скандале и вновь оживился, захлебывался и весь горел. Жена сидела рядом, подсказывала забытое слово или жест и тоже горела. Потом он попросил карты и стал показывать, как Гугенберг передернул.

— Это вам-с, это вам-с... Это вам-с, а короля тоже себе... В сущности, очень просто... А, черт! Ни туза, ни короля! Ну, начнем сначала.

Потом поехали к Хромовым. Опять рассказывали и горели, так что даже кофейник опрокинули. Потом Фокин снова попросил карты и стал показывать, как передергивают. Пошло опять:

— Это вам-с, это вам-с...

Барышня Хромова вдруг рассмеялась и сказала:

— Ну, Александр Иванович, видно, вам никогда шулером не бывать!

Фокин вспыхнул, язвительно улыбнулся и тотчас распрощался.

У докторши уже всю историю знали, и знали даже, что у Фокина передергиванье не удастся. Поэтому сразу стали хохотать.

— Ну, как же вы мошенничаете? Ну-ка, покажите! Ха-ха-ха!

Фокин совсем разозлился. Решил больше не ездить, отправился домой и заперся в кабинете.

— Ну-с, это вам-с... — доносился оттуда его усталый голос.

Часов в двенадцать ночи он позвал жену:

— Ну, Маня, что теперь скажешь. Смотри: вот я сдаю, Ну-ка, скажи, где козырная коронка?

— Не знаю.

— Вот она где! Ах! Черт! Ошибся. Значит, здесь. Что это? Король один...

Он весь осел и выпучил глаза. Жена посмотрела на него и вдруг взвизгнула от смеха.

— Ох, не могу! Ой, какой ты смешной! Не бывать тебе, видно, шулером никогда! Придется тебе на этой карьере крест поставить. Уж поверь...

Она вдруг осеклась, потому что Фокин вскочил с места весь бледный, затряс кулаками и завопил:

— Молчи, дура! Пошла вон из моей комнаты! Подлая!

Она выбежала в ужасе, но ему все еще было мало. Он распахнул двери и крикнул ей вдогонку три раза:

— Мещанка! Мещанка! Мещанка!

А на рассвете пришел к ней тихий и жалкий, сел на краешек кровати, сложил руки:

— Прости меня, Манечка! Но мне так тяжело, так тяжело, что я неудачник! Хоть ты пожа-лей. Неу-дач-ник я!

Дон Жуан

В пятницу, 14 января, ровно в восемь часов вечера гимназист восьмого класса Володя Базырев сделался Дон Жуаном.

Произошло это совершенно просто и вполне неожиданно, как и многие великие события.

А именно так: стоял Володя перед зеркалом и маслил височные хохлы ирисовой помадой. Он собирался к Чепцовым. Колька Маслов, товарищ и единомышленник, сидел тут же и курил папиросу, пока что навыворот — не в себя, а из себя; но в сущности — не все ли равно, кто кем затягивается — папироса курильщиком или курильщик папиросой, лишь бы было взаимное общение.

Намаслив хохлы по всем требованиям современной эстетики, Володя спросил у Кольки:

— Не правда ли, у меня сегодня довольно загадочные глаза?

И, прищурившись, прибавил:

— Я ведь, в сущности, Дон Жуан.

Никто не пророк в своем отечестве, и, несмотря на всю очевидность Володиного признания, Колька фыркнул и спросил презрительно:

— Это ты-то?

— Ну да, я.

— Это почему же?

— Очень просто. Потому что я, в сущности, не люблю ни одной женщины, я увлекаю их, а сам ищу только свое «я». Впрочем, ты этого все равно не поймешь.

— А Катенька Чепцова?

Володя Базырев покраснел. Но взглянул в зеркало и нашел свое «я»:

— Катенька Чепцова такая же для меня игрушка, как и все другие женщины.

Колька отвернулся и сделал вид, что ему все это совершенно безразлично, но словно маленькая пчелка кольнула его в сердце. Он завидовал карьере приятеля.

У Чепцовых было много народа, молодого и трагического, потому что никто так не боится уронить свое достоинство, как гимназист и гимназистка последних классов. Володя направился было к Катеньке, но вовремя вспомнил, что он — Дон Жуан, и сел в стороне. Поблизости оказалась хозяйская тетка и бутерброды с ветчиной. Тетка была молчалива, но ветчина, первая и вечная Володина любовь, звала его к себе, манила и тянула. Он уже наметил кусок поаппетитнее, но вспомнил, что он Дон Жуан, и, горько усмехнувшись, опустил руку.

«Дон Жуан, улетающий бутерброды с ветчиной! Разве я могу хотеть ветчины? Разве я хочу ее!»

Нет, он совсем не хотел. Он пил чай с лимоном, что не могло бы унижить самого Дон Жуана де Маранья.

Катенька подошла к нему, но он еле ответил ей. Должна же она понять, что женщины ему надоели.

После чая играли в фанты. Но уж, конечно, не он. Он стоял у дверей и загадочно улыбался, глядя на портьеру.

Катенька подошла к нему снова.

— Отчего вы не были у нас во вторник?

— Я не могу вам этого сказать, — отвечал он надменно. — Не могу потому, что у меня было свидание с двумя женщинами. Если хотите, даже с тремя.

— Нет, я не хочу... — пробормотала Катенька.

Она, кажется, начинала понимать, с кем имеет дело.

Позвали ужинать. Запахло рябчиками, и кто-то сказал про мороженое. Но все это было не для Володи.

Дон Жуаны не ужинают, им некогда, они по ночам губят женщин.

— Володя! — умоляюще сказала Катенька. — Приходите завтра в три часа на каток.

— Завтра? — весь вспыхнул он, но тут же надменно прищурился. — Завтра, как раз в три, у меня будет одна... графиня.

Катенька взглянула на него испуганно и преданно, и вся душа его зажглась восторгом. Но он был Дон Жуан, он поклонился и вышел, забыв калоши.

На другой день Колька Маслов застал Володю в постели.

— Что ты валяешься, уж половина третьего. Вставай!

Но Володя даже не повернулся и прикрыл голову одеялом.

— Да ты никак ревешь?

Володя вдруг вскочил. Хохлатый, красный, весь запухший и мокрый от слез.

— Я не могу пойти на каток! Я не могу-у-у!

— Чего ты? — испугался приятель. — Кто же тебя гонит?

— Катенька просила, а я не могу. Пусть мучается. Я должен ее губить!

Он всхлипывал и вытирал нос байковым одеялом.

— Теперь уже все кончено. Я вчера и не ужинал... и... и теперь уже все кончено. Я ищу свое... «я».

Колька не утешал. Тяжело, но что же делать? Раз человек нашел свое призвание, пусть жертвует для него житейскими мелочами.

— Терпи!

Трагедия счастья

(Осенний рассказ)

I

Сатирик и поэт Валерий Кандалин сидел, уткнувшись носом в угол, и подбирал девятнадцатую рифму своего нового стихотворения.

Утро было урожайное: дождь, барабанивший в окошко, темная, пыльная комнатуха, сдававшаяся посуточно «с небелью», запах горелого лука из кухни — все это злило, раздражало и возмущало тонкую душу поэта. И он, горько усмехаясь, бичевал в рифмах весь наш жалкий мир, с его губернаторами, луною, чрезвычайными охранами, мелким сахаром, домовладельцами и «матчишем».

Чем гуще несло горелым луком, тем острее отгачивалось жало поэта Кандалина, а когда он вдруг вспомнил, что вот-вот прибежит домой жена, разыскивающая на зиму квартиру, и, пока она будет греться и отдыхать, ему придется самому бегать со списком адресов по мокрым улицам, — сатирический талант его вспыхнул так ярко, что девятнадцатая рифма выскочила как пуля, да еще не одна, а со своим близнецом.

Урожайное было утро.

Но вот ровно в полдень, в самый разгар работы, распахнулась дверь, и влетела жена.

Не вошла, как вчера и третьего дня, и в пятницу, и в четверг, усталая, надутая, неприятная, вдохновляющая на прекрасную рифмованную ненависть ко всему миру. Нет, она влетела как-то боком, вся красная, растрепанная, запыхавшаяся. Она махала руками и кричала громко и радостно, но что именно, — Кандалин никак не мог понять. Уловил только несколько раз повторенное выражение:

— Нужно быть идиотом! Нужно быть идиотом!

— Зачем ты мне советуешь быть идиотом? — печально удивился поэт. — Ведь это же было бы глупо.

— Нужно быть идиотом! — кричала жена. — Нужно быть круглым идиотом, чтобы не взять такую дивную квартирку. Пятьдесят рублей с дровами! Парадный ход прямо на солнце!

Кандалин был поэт, а поэтому перспектива иметь ход прямо на солнце сразу зажгла его.

— Что ты говоришь? Где это?

— Где? Есть тут время толковать — где! Беги скорее, тащи задаток, а то перехватят из-под носа! Нужно быть идиотом!..

И она выбежала из комнаты так быстро, что поэт успел догнать ее только на улице.

II

В печке уютно потрескивали дрова.

Поэт-сатирик Валерий Кандалин сидел в кресле, вытянув к огню ноги, и благодумствовал.

Лицо у него стало спокойное, круглое, трагическая складка между бровями и ироническая морщина около губ исчезли так основательно, что нельзя было даже припомнить, которая где находилась.

Первый раз в жизни устроился Кандалин с таким комфортом. Первый раз в жизни была у него отдельная комната далеко от детской, и никто не шумел и не мешал ему. Как хорошо можно здесь думать и работать!

Он теперь не несчастный, затурканный, озлобленный писака, приютившийся со своей тетрадкой между швейной машинкой жены и манной кашей ревущего младенца. Он сидит, как настоящий европейский поэт!

И он с гордостью и умилением оглядывался кругом.

— Ну, разве я не счастлив!

Вот на столе разложена стопками бумага, большая чернильница полна чернил, на блюдечке лежат чистые перья.

И темы есть очень хорошие: «Юго-Северный Вестник» просит облить ядом двух земских начальников.

А «Голос Солнца» слезно молит уничтожить пером директрису Солянского института для благородных девиц.

Кроме заказных тем, шевелились в голове еще свои собственные, очередные, осенние. Например, так: пошлый господин едет на пошлом извозчике в театр смотреть разные пошлости. А страдающая лошадь везет всю эту команду... гм... везет и думает. Что, бишь, она думает?..

Огонек в печке потрескивает, приятно согревая кандалинские подошвы, и Кандалин положительно не знает, о чем лошадь думает.

— Черт ее знает, о чем она думает! — лениво шепчет он. — И о чем ей думать? Сыта, одета, обута... Ну, да, конечно, тяжело возить... А ничего не поделаешь, матушка: все люди работают...

Глаза слипаются. Выскочил уголек из печки, щелкнул по медной бляшке, разбудил поэта.

— О чем это я думал? Да, лошадь. Глупая тема. Лучше уж обдумывать заказные. Во всяком случае, практичнее.

Дверь приотворилась, выглянуло лицо жены. Брови ее приподнялись тревожно.

— Опять благодумствуешь? Очень мило! А между прочим, старший дворник два раза за деньгами приходил.

Но поэт только блаженно улыбался:

— За деньгами? Ты шутишь! Ну, попроси его подождать. Он, наверное, сердечный малый. У него, кажется, такое открытое лицо; впрочем, я не видел.

— Что с тобой случилось — понять не могу! Ведь ты когда последний раз писал? Когда мы на квартиру переезжали. Я по теткам поехала детей собирать, а ты должен был вещи перевезти.

— Да, да. Я еще картонку потерял.

— Вот то-то и есть. Тогда из-за картонки и написал. А с тех пор ни строчки. Ведь нас с квартиры выгонят!

— Уж сейчас и выгонят! Какая ты, право, хе-хе-хе!

Через неделю, когда поэт Валерий Кандалин, весело и фальшиво мурлыкая вальс из «Фауста», рассматривал свою физиономию в карманное зеркальце, в комнату вошла жена, мрачная, с заплаканными глазами.

— Дождались! Гонят с квартиры.

— Мм? — равнодушно переспросил поэт, разглядывая свою верхнюю губу.

— С квартиры гонят, вот что. Ну, как нам теперь быть, прямо голову теряю! Ну, напиши хоть одно стихотворение!

— Мм? — снова переспросил поэт и затем прибавил деловито:

— А ведь я говорил, что мне усы не идут. Нет, спорит!

— Совсем одурел! Совсем одурел! — простонала жена.

Поэту стало совестно.

— Ты говоришь насчет стихов? Я, видишь ли, отнес вчера два стихотворения, да редактор не принял. Мы, — говорит, — просили сатиры, а вы притащили какие-то гимны весне. Это, — говорит, — не ваша специальность, а потому слабо. Ну, чем же я виноват, когда у них в голове только земские начальники, а у меня в душе весна цветет. Знаешь, даже в тебе сквозит что-то веснее! Какая-то такая дымка, только внутри, а не снаружи.

Жена всхлипнула.

— Первый раз в жизни уютно устроились, а он тут-то и спятил. Ну, опомнись! Возьми себя в руки! Ведь у нас дети!

— Дети — это цветы человечества! — восторженно воскликнул поэт. — Разве мы не счастливы, что они зацвели благодаря нам! Ха-ха-ха!

— Да ведь нас с квартиры гонят! — снова всхлипнула жена, вытирая круглый красный нос и запухшие глаза скрученным в комочек платком.

Но он только хохотал в ответ:

— Эх ты, пессимистка! Красавица, но пессимистка. Бери с меня пример и верь, что жизнь прекрасна!

Через три дня их и выгнали.

Чертов рублик

Генерал Бузакин как раз перед праздниками продулся в карты. Сидел он у себя в кабинете злой-презлой и даже седые баки его замшились, как у цепного пса на морозе.

Генеральский черт, тоже старый и седой, приставленный к генералу еще в самом начале его карьеры, сидел тут же на письменном столе и уныло болтал хвостом в чернильнице.

Место у него при генерале было ничего себе, спокойное, дела почти никакого — генерал сам со всем управлялся — но зато и движения по службе тоже никакого, и считался черт, дослужив до седой шерсти, в своей сатанинской канцелярии всего-навсего каким-то старшим мешалой (по-нашему, помощником) младшего подчерта. Обидно!

Вот и теперь другой на его месте давно нашептал бы генералу в левое ухо какой-нибудь пакостный совет, а у этого и рога опустились. Станет генерал Бузакин его, чертову, ерунду слушать. Он, который всю жизнь своим умом жил.

Вдруг генерал зашевелил бровями и потянулся к телефону. Черт так и замер.

— Начинается!

— Иван Терентьич, вы? — загудел генерал в трубку. — Объявите сегодня же квартирантам в моем доме, что я им набавляю. Что-о? А нет, так всех по шеям! У меня ведь без контракта — на-лево кругом марш. И чтобы сегодня вечером деньги были у меня в столе. Слышите? Ну, то-то!

Черт от радости хрюкнул, прыгнул, пощекотал генерала хвостом за ухом и побежал взглянуть: хорошо ли Иван Терентьич с жильцами управился.

Черт был старый, кривой, хромал на все четыре лапы и пока доплелся до генеральского дома, там уже стоял дым коромыслом. Дом был большой и весь набит мелкими людишками, которые от себя сдавали комнаты еще более мелким, а те, в свою очередь, сдавали углы уже самой последней мелкоте. Генеральский приказ о надбавке платы ударил квартирантов, как поленом по темени. Исход был один, к которому они сейчас же и прибегли — набавить комнатным жильцам. Те всполошились и набавили угловым. Угловым содрать было не с кого — поэтому они сначала просили, потом ругались, потом подняли такой плач и вой, что подоспевший черт, забыв усталость, проплясал па-д'эспань на трех копытах, не хуже любой Петипа.

Громче всех голосила угловая прачка Потаповна, которой набавили целый рубль, а у нее всего-то состояния было ровно рубль с четвертаком. Четвертак она тут же с горя про-

пила, рубль отдала хозяйке для Ивана Терентьича и, так как денежные ее обороты на этом и кончались, она, ничем не отвлекаясь, предалась самому бурному отчаянию и, причитая во весь голос, била себя по голове всеми орудиями своего производства по очереди: то вальком, то скалкой, то утюгом, то коробкой из-под крахмала.

Все это черту так понравилось, что он на этом бабьем рубле оттиснул копытцем пометинку.

— Это хороший рублик. Последим, как он дальше покажется.

А рублик вкатился в карман к Ивану Терентьичу и вместе с другими деньгами крупного и мелкого достоинства вручен был в тот же вечер генералу Бузакину. Генерал долго деньги пересчитывал, потом взял рубль с чертовой пометинкой и долго ругал за что-то Ивана Терентьича и тыкал ему рублем под нос.

— И чего это он? — удивлялся сонный черт. — Неужто мою пометинку увидел? Ну, и генерал у меня! Мол-лод-чина генерал! За таким не пропадешь!

На другое утро, как раз в Рождественский сочельник, раздавал генерал подчиненным своим награды. Наменял рублей, пятаков, трешников и перед всеми извинялся, что приходится выдавать такой мелочью.

— Так уже подобралось!

Но при этом каждому недодавал — кому рубль, кому полтинник, кому гривенник. Одному только Ивану Терентьичу выдал всю сумму сполна, чем немало разогорчил собственного черта.

— Эх ты, старая ворона! Расслюнявился хрыч под Христов праздник, уж ему и собственного прохвоста надуть лень.

Но при этом заметил черт, что и его рублик попал к Ивану Терентьичу. Пришлось тащиться, подсматривать, что дальше будет.

Вышел Иван Терентьич за дверь, стал деньги пересчитывать. Дошел до чертова рублика, пригляделся, сплюнул.

— Чтоб тебе черти на том свете так выплачивали!

Черт от удовольствия облизнулся, но тут же и затревожился, потому что Иван Терентьич вдруг сунул этот рублик горничной:

— Вот вам, Глашенька, на праздничек. Как я вам по сю пору никогда ничего не давал, так вот получайте сразу целковый. Вы человек трудящийся, и это очень надо ценить.

Черта даже затосило. Думал ли он, что его рублик заставит вдруг такого обиралу и живоглота акафисты петь? Кабы знал, пометинки бы не клал, копыта бы не марал.

Стал караулить, авось либо Глашка на этот самый рубль кому-нибудь пакость сделает.

Вот побежала она на улицу, а черт ждет. Бегала долго, вернулась, чего-то сердится, а рубль нетронутый в платке принесла. Всплакнула злыми слезами (черт каждую слезинку пересчитал и в трубе зубом записал) и вдруг схватилась, побежала к генеральше.

А генеральша была важная и занималась благотворительностью. Черт к ней не заглядывал, потому что у нее своих двое на побегушках состояли, молодых, юрких, на дамский вкус.

Дела у генеральши было по горло. Сидела сам-четверть с секретарем и чертями, какие-то ярлыки наклеивали — благотворительный базар с лотереей устраивали.

Подошла Глашка к генеральше, забегала глазами.

— Я, говорит, барыня, человек небогатый, но очень хочу помочь тому, кто беднее меня. Примите от меня христараднику двадцать копеек. Вот тут у меня рубль, так вы, будьте добры, дайте мне восемь гривен сдачи.

Сунула рубль в кружку, генеральша дала ей сдачу и еще сказала секретарю «се тушан!»¹.

А черт кубарем вылетел из комнаты. Осрамила дурища его рубль, на богоугодное дело из него двутривенный вылушила. Одурели они все, живьем в рай лезут.

И так его всего от конфуза разломило, что забился он в угол под книжную полку, взбил комок пыли себе под голову и завалился спать.

Проснулся черт только через два дня. Прислушался — на генеральшиной половине деньгами звякают.

Крякнул, пошел помогать.

Там генеральша с секретарем благотворительную выручку считала и расходы расписывала. Считали, писали, писали, считали и подвели прибыль — ровно один рубль.

¹ Это трогательно (*фр.*).

И начали спорить. Секретарь говорил, что не стоит из-за одного рубля огород городить, бумаги писать, ведомость пачкать. Не получили, мол, прибыли, да и баста. А генеральша чего-то заупрямилась. Вертит рубль в пальцах:

— Нет, говорит, с какой же стати! Вот тут какая-то бедная прачка Потаповна нашему обществу прошение подавала. Выдадим ей этот рубль. Нам это ничего не стоит, а ей, может быть, жизнь спасет. Я знаю, что и наши труды должны быть вознаграждены, но будем великодушны пур ле повр¹!

Она подняла глаза к небу и была так чиста и величественна, что секретарь молча склонился и поцеловал по очереди обе ее руки, причем в одной из них черт увидел свой меченый рублик. Тут с ним сделались корчи.

— Как! Тот самый рубль, который мы с генералом от Потаповны отняли, к ней же и возвращается, да еще накрутил столько добрых дел по дороге! После этого — нет больше неправды на свете и незачем мне жить!

Плюнул черт в благотворительную генеральшину кружку и пошел вешаться. Влез в платяной шкаф, разыскал генеральский мундир с орденами и прямо на Анненской ленте и повесился.

Туда ему и дорога!

На что такой черт годеи? Стар, слеп, дальше своего носа не видит и при этом, между нами будь сказано, круглый дурень. Потому что не будь он дурнем, так и не глядя догадался бы, что Потаповнин рублик был фальшивый!

¹ К беднякам (*фр.*).

пѣе

Фабрика красоты

Культура шагает вперед огромными шагами. Мы, вчера еще ползавшие по земле, сегодня вознеслись, как мошкара, в небо и можем плюнуть на шляпу врага с высоты пятисот метров.

Пока что воздух, кажется, заполнил все головы и вытеснил из них другие мысли. Даже самые кокетливые женщины между двумя примерками и тремя портнихами толкуют о том, что «воздушные шары летят оттого, что в них электричество», и что «Ефимов может легко подняться на десять миллиграммов, если захочет», и прочие учености.

Не сегодня-завтра преодолеем тяготение и вылетим из атмосферы, за планеты и солнца, прямо туда, где, по свидетельству народной мудрости, находятся чертовы кулички.

Но культура, двинув нас на воздух, не оставила без внимания и наших мелких домашних делишек.

Она давно унесла на чердак толстые, сборчатые драпировки, в которых мухам было так уютно воспитывать свое молодое поколение, выбросила бархатные скатерти, мягкие кресла и толстые, наглухо прибитые ковры. Потом все вымела и вымыла и поставила в гостиную такую мебель, на которой не засидишься: прямо, жестко и неудобно. Вместо прежнего развалистого, мягкого кресла с подушками по бокам, под спиной и под головой выдумала сквозной деревянный стулик, такой гладкий, такой лакированный, что посмотришь — и, кажется, будто от него дует.

Во всем гигиена. Во всем забота о нашем здоровье.

Но и красота не в загоне. В этом я имела случай убедиться.

Во всех больших городах учреждены теперь «институты красоты», которые и рассылают по всему земному шару свои воззвания.

Составлены эти воззвания ярко, убедительно, с полным пониманием эстетических требований каждого.

«Самая совершенная красота невозможна, если при неправильных чертах лица кожа ваша шероховата и покрыта веснушками, угрями и красными пятнами».

И разве это неправда? Возьмите хоть Венеру Милоскую, сделайте ей неправильные черты лица и покройте ее кожу пятнами — много останется от ее хваленой красоты?

Воззвание оканчивается добрым советом и утешением:

«Для устранения всех этих недостатков, составляющих бич вашей жизни, вы должны немедленно выписать наш крем «Красотин» (банка — пять рублей, две банки — десять), и уже после двухдневного употребления такового ваша красота достигнет такого развития, что многие даже удивятся.

Рекомендуем также нашу пудру «Красотин» (коробка — рубль, две коробки — два рубля), которая придаст вашим чертам немедленную интеллигентность».

Далее следуют благодарственные отзывы от герцогини Подваршавской, княгини Шпукферботен, графини Афанасьевой и баронессы Иванюковой, в которых эти почтенные дамы свидетельствуют о полном своем возрождении.

«Теперь для меня жизнь стала чашей наслаждений, с тех пор как лицо приобрело притягательную силу после четырех банок вашего уважаемого крема. Пришлите мне еще четыре уважаемые банки и три коробки вашей почтенной пудры».

Иногда вместо воззвания фабрики красоты высылают целые каталоги, которые в два дня не просмотрить.

Чего там только нет! С интуицией существа сверхъестественного составители этого каталога угадали все самые неожиданные, самые едва уловимые, неприятности, которые могли бы повредить вашей красоте. Есть вещи удивительные и для простых душ непонятные.

Например, следующий предмет, по-видимому, очень полезный, потому что стоит он шестнадцать рублей, а в футля-

ре из красной шагрени — на пять рублей дороже: «аппарат для утомления носа».

Я совсем не понимаю, что это значит! Разве у красавиц нос непременно должен иметь утомленный вид?

Я даже спрашивала объяснения у знакомых дам.

Одна, очень умная и деловитая, ответила, что раз есть такой аппарат, значит, это нужно. А другая стала спорить, что это опечатка, и что нужно читать: «утоление носа».

Я сказала: «Ага! Так вот оно что!» Но, по правде говоря, растерялась еще больше. Еще утомить нос, если уж так захочу блистать красотой, я бы еще, куда ни шло, могла, но утолить — что же это такое? И разве есть у носа какие-либо высшие потребности?

Чувствую, что зерно каталога упало на каменистую почву. Француженка — та бы живо поняла. А уж где нам, лентяйкам, нос утомлять!

Затем нашла я в каталоге «палочку для вынимания соринки из глаза. Тринадцать рублей, в футляре из красной шагрени — восемнадцать».

Какая предусмотрительность! Речь ведь идет не об евангельском бревне, а о крошечной соринке, — и какая заботливость! Я решила непременно купить палочку и даже в шагреновом футляре. По крайней мере, хоть относительно соринки в глазу буду вполне обеспечена и спокойна.

За соринкой следовала мазь для «омолаживания век». Причем обещалось, что «после двухдневного пользования этой мазью веки у вас столь омолодятся, что даже знакомые первое время не будут узнавать вас».

И представляется мне, что иду я после «двухдневного пользования» по улице. Знакомые в ужасе шарахаются в сторону, не отвечая на мои приветствия, а прохожие говорят друг другу:

— Посмотрите, ради Бога! Какие молодые веки на этой старой харе! Черт знает что такое!

Еще много чудесного заключает в себе каталог фабрики красоты. Чудесного и соблазнительного, против чего вряд ли устоит даже самая благоразумная женщина.

Например, «васильковая вода, придающая глазам выражение». Найдется ли на свете человек, который откажется от этой васильковой воды? Хотелось бы только знать, какое

именно выражение придает она глазам? Человеческие глаза — машина хитрая и могут выразить такую штуку, за которую вы васильковую воду, пожалуй, не поблагодарите.

Есть еще резиновый намордник, который нужно надевать на ночь, и вы достигнете необычайной грациозности не только в лице, но и во всей фигуре. Один намордник — сорок пять рублей, пара — девяносто рублей. Шагреневые футляры на пару намордников сразу — восемнадцать рублей.

Есть еще аппарат для достижения эластичности уха.

Этим последним аппаратом в совершенстве владеют сапожные мастера, у которых много учеников.

Стоит он недорого — по восемь рублей на каждое ухо. Шагреневый футляр на оба сразу — четыре рубля. Дешевле пареной репы! Зато какая отрада иметь уши, которые вы можете по мере надобности растягивать, как резинку.

Культура требует жертв. Если вы не хотите быть отсталой и выброшенной за борт, ассигнуйте тысячи полторы и купите все в шагреневых футлярах, и пусть после двухдневного пользования вас не узнает никто из знакомых, ни один порядочный человек не подаст вам руки и собственный швейцар спросит:

— Вы, сударыня, собственно, к кому пришли?

Тогда садитесь и пишите благодарственное письмо на фабрику красоты от герцогини Севрюгиной:

«Благодарю за помощь! Мой муж, граф Севрюгин, и дочь, баронесса Севрюгина, тоже благодарят, потому что не узнают меня уже две недели. Пользуюсь всем счастьем, которое может дать потрясающая красота. Пришлите еще семьдесят пять банок для умирения тройного подбородка с двумя футлярами шагреневой кожи»...

Знакомые

Говорят, что природа так искусна в своем разнообразии, что не найти в целом свете двух вполне одинаковых физиономий.

Вот именно с этим я никогда не могла согласиться. Для человека немножко близорукого, немножко рассеянного, немножко усталого не только легко спутать людей между собою, но порою трудно бывает отличить иного человека от черныльницы.

Конечно, оправдывать этих рассеянных зевак не следует, но, тем не менее, во мне они вызывают самое теплое сочувствие, потому что несчастье всей моей жизни заключается в том, что я сама именно такая и есть.

Для меня все лица так похожи одно на другое, что различаю я их только по шляпам и по разговорам. Но и то очень трудно. Шляпы меняются каждый сезон, разговоры — и того чаще. Кроме того, у мужчин есть борода, которою они пользуются, чтобы сбивать с толку знакомых. Только вы привыкнете к физиономии Петра Ивановича, а он возьмет да и побреется. И после этого на вас же еще будет в претензии, что вы не отвечаете на поклон!

А какой ужас, когда к вам подходит совершенно незнакомый человек и, называя вас по имени, начинает разговаривать как с самым близким существом, и вы убеждаетесь с ужасом, что ему известна вся ваша подноготная, тогда как вы не знаете даже, как его зовут.

Он знает, где вы жили на даче, на ком женат ваш брат, сколько платит ваша тетка за квартиру, знает, что прошлогоднюю вашу кухарку надул жених и что ваша крестная мать не любила собак.

Вы слушаете, растерянная, беззащитная, потому что не знаете, что можно ему сказать, чем порадовать и как уколоть.

Но это еще с полбеды.

Хуже всего, если вы вдруг догадаетесь, кто с вами говорит, а впоследствии окажется, что вы ошиблись.

Люди, сами того не подозревая, имеют для каждого человека особый тон, особую манеру слушать и говорить. Здесь дело даже не в симпатии или антипатии, не в уважении или презрении, а в чем-то специфическом, нужном именно для общения с данным человеком.

Представьте себе, что у вас есть двое знакомых. Оба — студенты третьего курса, оба из Волынской губернии, оба скучны и некрасивы, и оба вам не нужны. Но если вы с од-

ним из них, с Павлом Ивановичем, станете разговаривать, принимая его за другого, за Ивана Павловича, то вы и ему, и всем окружающим покажетесь странным, почти сумасшедшим.

Если же вы еще вдобавок знаете немножко тех, кого перепутали, то ваше дело совсем дрянь.

Если вы спросите у человека, будет ли он «опять» жить летом в Клину, когда он живет всегда в Луге, то он не простит вам этого никогда и ни за что, потому что ничто так не обижает людей, как эта путаница.

Каждому хочется быть оригинальным и существовать непременно только в одном экземпляре.

— Ах, я вас спутала с Ильей Ивановичем.

— Меня? с Ильей Ивановичем?! Помилуйте, да что же вы нашли между нами общего? Он длинный, носатый, он наконец, заикается!

Приходится молчать и сконфуженно улыбаться.

Ведь не скажешь же ему, что он тоже длинный, и носатый, и заикается.

А может быть, он даже и небольшого роста. Но это никогда еще в деле распознавания людей не помогало. Разве вы не замечали, что тот же самый человек иногда кажется большим, иногда средним, а иногда и совсем маленьким? Иногда он толстый, иногда худее. Иногда умный, иногда совсем дурак, прежде чем он успеет сказать хоть одно слово. Войдет в комнату, и сразу вы понимаете, что вошел дурак.

Можно было бы подумать, что люди, действительно, и худеют, и глупеют по дням, в силу особой жизненной изменчивости своего организма, но есть у меня игрушечный плюшевый медвежонок, который часто худеет, и круглые черные пуговицы, посаженные по бокам его носа, делаются тусклыми и смотрят умоляюще.

Игрушечный медвежонок хоть притворяться не умеет, а иной ловкий человек в две минуты сумеет так перекроить свою физиономию, что вчуже страшно.

Посмотрите на лицо господина, едущего с дамой на извозчике и изредка делающего этому извозчику надлежащее наставление. Физиономия его все время, точно на резинке, растягивается в разные стороны. В сторону дамы глаза у него маленькие, рот узенький, нос, как пишут

в паспортах, обыкновенный. В сторону извозчика глаза выпученные, рот распяленный, ноздри раздутые. Если бы он случайно перепутал, кому какое лицо нужно сделать, то оба его собеседника, и дама, и извозчик, перепутались бы насмерть.

Многие смеются надо мной, что я никогда никого не узнаю на улице. Многие обижаются.

Однажды, сидя в трамвае и размышляя об этом моем неприятном недостатке, я думала:

«Вот здесь сидят рядом со мною восемнадцать человек. Почем я знаю, вдруг это все мои добрые знакомые, а я никого не узнала. Может быть, они мне даже кланялись, а я, по рассеянности своей, поклона не заметила и всех обидела».

Предаваясь этим благочестивым мыслям, вдруг заметила я в углу у дверей пожилую даму и мгновенно ее узнала.

Это была Анна Петровна Жукова, подруга моей матери, старинная знакомая всей нашей семьи.

Я вскочила с места и, наступая по очереди на двадцать четыре ноги, двинулась к ней здороваться.

«Вот, — думала я, радостно улыбаясь. — А еще говорят, что я никого не узнаю! Вот ведь, узнала же Анну Петровну, хотя три года ее не видела».

Я подошла к ней, приветливо протянула руку и вдруг вспомнила! Ведь эта самая Анна Петровна умерла год назад, и я сама же была на ее похоронах.

Объяснить все это удивленной старухе было неловко, так как никто не любит узнавать, что умер уже год тому назад, и я, глупо извинившись «за хлопоты» (другого я ничего придумать не могла), вылезла из трамвая.

Но тут же на тротуаре меня уже поджидало новое несчастье.

Какая-то худенькая дама и старый генерал кинулись ко мне, называя меня моим уменьшительным именем.

— Чего ты такая бледная? — спрашивала дама.

— Так... ничего... многое пришлось пережить, — отвечала я, подразумевая только что происшедшую встречу с покойницей.

— Отчего же вы к нам никогда не заглянете? — ласково журил генерал.

«Милые вы мои! — думала я. — Если бы я только знала, кто вы такие, может быть, я бы и заглянула».

Они расспрашивали меня обо всех родных и знакомых, а я даже спросить ни о ком не могла, потому что никого не знала. Наконец надумала:

— Ну, а как все ваши поживают?

— Васька хворает, — отвечали они.

«Значит, у них есть Васька», — подумала я. Но мне от этого было не легче.

— Бедный Вася. А что же с ним?

— Да пока еще не определили. По-видимому, что-то затяжное.

«Раз они его зовут Васькой, значит, он не старик», — подумала я и сказала:

— Ну, рано он начал хворать. Пожурите его от меня хорошенько.

— Да, жаль животное! — вздохнул генерал.

Это было довольно грубо, и я дала это понять:

— Все-таки следовало пригласить доктора.

— Ветеринар его смотрел.

Я вся похолодела. Ясно, что Вася был просто кот Васька.

— Жалко животное, — пролепетала я. — Он ведь такой пушистый, ласковый.

— Кто пушистый? — удивилась дама.

— Да Васька. И знаете, я вам посоветую — это все знают — его нужно кормить мышами, тогда он поправится.

Я врала вдохновенно и горячо, только чтобы они не догадались, что я Ваську считала человеком.

— Что-о? — удивился генерал. — Лошадь мышами? Первый раз слышу.

Я вдруг страшно заторопилась и убежала. А они кричали мне вслед:

— Заходите же! Мы все на старой квартире.

Они, изволите ли видеть, на старой квартире!

Я до сих пор не знаю, кто они такие. Может быть, я была для них тоже знакомой покойницей. Но как же они могли знать моих родственников? Совпадение?

Ничего не понимаю!

Экзамены

Май месяц — самый разгар экзаменов.

По улицам ходят бледные гимназисты, с ошалевшими глазами, и испуганные, насмерть зазубрившиеся гимназистки.

Институтки на улицу не показываются, но всем и так известно, что именно в эти дни они пьют чернила и глотают апельсиновые косточки, за неимением под рукою более сильных ядов.

Каждое утро несколько тысяч молодых сердец посылают к небу самые горячие мольбы, чтобы гимназия провалилась сквозь землю.

— Ведь бывают же на свете землетрясения! Почему же именно мы такие несчастные, что у нас земля не трясется...

Одна девочка даже придумала способ, как искусственно вызвать землетрясение.

— Очень просто! — говорила она. — Нужно только условиться и людям, и лошадям, чтобы все в один и тот же час, в одну и ту же минуту подпрыгнули. Земля тогда и встряхнется.

Великая идея не нашла последователей, гимназия не провалилась, провалилась только сама девочка на экзамене по Закону Божию.

Спросили у нее, кто был евангелист Марк?

Она вся затряслась от ужаса и ответила:

— Лука!

И батюшка, и ассистенты долго просили ее одуматься, но она решила твердо стоять на своем и не дала себя сбить с толку. Когда ее отправили на место, она, делая установленный законами реверанс, сказала в последний раз тихо, но ясно:

— Евангелист Марк был Лука.

Но тяжелее всего приходится на экзамене по русской словесности, когда нужно писать сочинение.

Для выпускных экзаменов присылаются темы из министерства в конвертах. В младших классах учитель придумывает их сам, и темы часто конкурируют с исполнением по части глубокомысленности.

Один учитель, — его, правда, скоро выгнали, — задал тему следующую: «Что бы ответил Евгений Онегин на письмо Татьяны, если бы Татьяна была мужчиной».

В классе было тридцать восемь девочек, и каждая из них написала сочинение на трех страничках тетради — меньше не допускалось.

Ах, я думаю, дорого бы дала Академия Наук, чтобы прочесть хоть одно из этих сочинений. Но судьба ее не балует, нашу Академию Наук.

Но бывают темы и еще интереснее. Недавно у одних знакомых видела я девочку лет двенадцати, с туго заплетенной косичкой и веснушками на круглом носу.

Косичка прыгала у нее за плечами, потому что девочка была очень довольна: она только что получила двенадцать за трудное сочинение.

— А какую же вам дали тему? — спросила я.

— Очень трудную: «О страстях человеческих».

Родители девочки испуганно переглянулись.

— Что ты сказала?

— «О страстях человеческих», — невозмутимо повторила девочка. — На основании Хлестакова и Антигоны.

— И... и что же ты написала? — задрожал отец.

— Написала, что у Хлестакова была страсть лгать, а у Антигоны была страсть хоронить своего брата.

Мы успокоились.

Больше всего волнуются выпускные институтки. У них, кроме экзаменов, столько чисто институтских обычаев и обрядов, которые все надо выполнить с надлежащим усердием.

Теперешняя институтка отличается от прежних в самом основном своем мирозерцании.

Так, например, прежние убеждения, что коровка дает молочко, а телятки — сливки, и что на лугу пасется говядина, — разделяются далеко не всеми институтками.

Многие, не убоившись прозы жизни, окончив институт, собираются на медицинские курсы, тогда как в былые времена каждая уважающая себя девица должна была «вы-

езжать» и искать жениха, а не уважающая шла в гувернантки — воспитывать помещичьих детей.

— Милые детки! — говорила такая гувернантка, гуляя с воспитанниками по деревне. — Посмотрите, как бедные мужички безвкусно одеваются. Посмотрите, как неизящны мужицкие дамы.

Подготавливая девочек к вступлению в институт, они внушали им самые строгие правила религии, а также и самые строгие правила приличия. Эти два принципа до того тесно перепутывались в старых институтских головах, что бедные обладательницы сих последних никак не могли уяснить себе, что из чего вытекает и что чем обуславливается.

— Ma chère, — говорили они. — Снимите локти со стола! Разве можно держать локти на столе? Разве вы видели, чтобы кого-нибудь из святых изображали с локтем на столе? Локти на стол из всех апостолов клал только один Иуда!

И строго внушали детям считать апостолов образцом бонтонных манер.

Остатки этой славной гвардии старого закала встречаются еще до сих пор в институтах и доживают свой долгий век законсервированные в классных дамах и инспектрисах...

Одна из них очень гордится, что ей удалось лично побеседовать с Александром II.

Государь, осматривая институт, увидел на стене портрет Петра Великого, и, обернувшись, спросил у классной дамы:

— Это кто?

Та, вся затрепетав от ужаса и счастья, перепутала все и пролепетала:

— Государь! Это ваш потомок.

Государь очень удивился, посмотрел на нее пристально и спросил:

— Сколько же вам лет?

Ей было тридцать, но язык ее согласился выговорить все, что угодно, кроме этой цифры, и, щелкая зубами, она пробормотала:

— Тринадцать! — и заплакала.

Государь прекратил расспросы.

Но это — лучшее и самое гордое воспоминание в ее жизни.

Недавно в подведомственном ей классе решили исключить одну воспитанницу-хохлушку Мазько за недостаток математического воображения. Никак не могла понять, что между двумя точками можно провести только одну прямую линию.

Нарисует на доске две точки, каждую с добрый кулак величиной, начертит между ними пять-шесть линий и торжествует:

— Га! Чи-ж невозможно?

Вот за все это, а отчасти и за «га!», от которого никак не могли ее отучить, решили ее отправить домой.

За девочкой приехал отец, здоровенный степной помещик, и стал упрашивать классную даму, чтоб она оставила его дочь еще хоть на годок.

Та отказала.

— Я здесь ни при чем, раз сама тамап (так называют начальницу) решила, что вашу дочь нужно удалить.

Помещик вдруг вспыхнул и, топнув ногой, выпалил:

— Я прекрасно знаю, что моя Наталка дюже способная. И для меня ровно ничего не значит ауто-да-фе вашей начальницы!

Помещик хотел сказать «авторитет», да слово это, очевидно, в его обиходе было довольно редкое, а тут еще разгорячился, вот и вышло «ауто-да-фе».

Классная дама, однако, ничуть не удивилась. С «ауто-да-фе» она была знакома еще по Иловайскому. Она только очень обиделась и, придя в класс, немедленно вызвала к доске обреченную на изгнание воспитанницу.

— Мазько! — сказала она тоном упрека. — Ваш отец очень дурно воспитан. Он сказал, что для него ничего не значит... (всхлипывание)... ничего не значит ауто-да-фе нашей доброй тамап!

Память об экзаменах сохраняется долго, у многих на всю жизнь.

Один старый генерал как-то жаловался:

— Каждую весну мука! Как лягу спать, так непременно во сне экзамены держу. Чушь! Ерунда! Будто я в корпусе, и меня вызывают: «Ваше превосходительство! Пожалуйста к доске!» Выхожу, и можете себе представить — ни в зуб! Спрашивают о каком-то Петре Амьенском. Молчу и чувствую, что провалился. Начинаю оправдываться... Я, — говорю, — не мог подготовиться. Я уже сорок два года в корпусе не был. Я полком командовал. «Это, — отвечают, — не резон. Покажите записку от родителей!» Ну, и провалили.

И генерал злился, распекал прислугу, укорял жену и обещал сыну, что отдаст его свиной пасти.

Пусть тот, кто никогда не проваливался во сне на экзамене, первый бросит в него камень.

Пусть!

Осенние дразги

Каждый год в начале осени появляются на улицах бледные, растерянные люди с газетными вырезками или записными книжками в руках.

Это совсем особенные люди, и вы их сразу отличите в обычной уличной толпе.

У них шалые глаза, полураскрытый рот, шляпа, съехавшая на затылок. Они часто останавливаются среди улицы, бормочут что-то себе под нос, жестикулируют, рассеянно кивают головой наезжающему на них мотору и, зацепившись за собственную ногу, вежливо говорят сами себе «pardon».

Они могут столкнуть вас с тротуара, выколоть вам глаз зонтиком, но не сердитесь на них. Они не виноваты. Они хорошие. Они просто ищут квартиру на зиму.

Каждый год в начале осени появляются на дверях и воротах городских домов алые знаки, напоминающие кровь агнцев в дни исхода евреев из Египта.

И идут агнцы, и смотрят на алые знаки отупевшими, бараньими глазами.

Открываются двери и ворота, и свершается жертва.

С утра приносят ворох газет.

Берутся длинные ножницы, и девица, специально приглашенная за свой кроткий нрав, начинает чтение:

— Квартира шесть к., др., пар., шв., тел.

— Что-о? — в ужасе переспрашивают неопытные слушатели. — Они себе, однако, очень много позволяют.

Неопытным всегда кажется, что «пар. шв. тел.» значит «паршивый телефон». Только с годами начинают понимать, что «пар. шв.» значит: «парадная, швейцар», что, впрочем, не всегда исключает и паршивый телефон.

«Сдается угол для дамы. Здесь же стойло на одну лошадь».

Жутко!

Рисуются странные картины.

Дама в шляпке, в коричневой маленькой шляпке с мохнатым перышком. Сидит в углу на чемодане. А тут же в стойле большая лошадь жует и фыркает на даму. Гордая. За стойло плачено тридцать рублей, за угол — девять.

«Квартира 2 комнаты, на Фонтанке».

— Отчего же так дорого?

— Рази можно дешевле? — отвечает опрошенный дворник. — Эндака квартера, на судоходной реке, помилуйте!

Если вам удалось нанять подходящую квартиру — молчите. Не говорите никому ни единого слова, а то сами не рады будете.

Если вам удалось найти дивную квартиру за двести рублей, и вы об этом расскажете вашим друзьям, те немедля осмеют вас и скажут, что «один их знакомый» взял точно такую же за восемьдесят.

Если вы прихвастнете и уменьшите облыжным образом цену вдвое, втрое, вчетверо, специально для того, чтобы возбудить в ближних своих чувство приятной вам зависти, то окажется, что «один знакомый» живет в квартире в сто раз лучше вашей и получает за это еще и дрова, и ничего не платит. Почему? А просто потому, что уж очень он хороший жилец.

Что, взяли?

Алые знаки — квартирные билетики — по большей части сухи и официальные.

Зеленые, объявляющие о сдаче комнаты, заключают в себе иногда целую поэму.

«В тихой, скромной и интеллигентной семье желают отдать комнату одинокому».

Словно Эолова арфа зазвучала в вашей душе. Не правда ли?

Вы одиноки, они — тихи, интеллигентны, скромны. Хотя как-то неловко, что сие последнее качество ими же и выставляется на вывеску и этим как бы само себя уничтожает. Но до психологии ли тут, когда нужна квартира?

Вы поднимаетесь, звоните, входите.

Первую минуту вам кажется, что вы не туда попали. За правой дверью чьи-то руки, которые, по-видимому, ничем не брезгают, давят, рвут и колотят Шопена. За левой дверью более благозвучно, но не менее громко стучит швейная машинка. А прямо, за стеной, неистовый детский рев. И все эти звуки веселья, труда и страдания, сливаясь вместе, кружатся, кидаются, отражаются от потолка, от стен, с грохотом падают вам на голову и снова отскакивают.

Горничная, отворившая двери, таращит глаза на вашу гудящую голову и молчит. Она, по-видимому, уже давно одурела.

— Комната... Комнату... — лепечете вы.

Но она ничего не может расслышать, и вы, застенчиво улыбаясь, уходите.

«Роскошная комната, без стола и с».

Какое смелое сокращение!

— У вас сдается роскошная комната?

— У нас. Вам без стола или с?

— С.

— Пожалуйте. Ход через ванну, но это вас стеснить не может, — я очень редко моюсь (здесь голос хозяйки звучит гордо). А в случае чего, можете отвернуться либо завесить чем.

«Комната с роскошным комфортом».

— Позвольте, да ведь она совсем пустая, эта клетушка!

— Как пустая? — негодует хозяйка. — А комод? Комод у вас ни во что?

— Да, разумеется, комод... это — великолепная вещь, комод, — лепечете вы. — Но ведь вы о комфорте...

— Не понимаю, чего вам еще нужно! Конечно, здесь еще не все в порядке. На комод постелется вязаная салфетка, и комната совершенно изменит вид.

— Да, но комфорт...

— А комод?

— Так ведь комфорт...

— Так ведь комод!

«Комната с садом».

— Вот так чудеса! В Петербурге — и вдруг собственный сад! Покажите, где же у вас этот сад?

Хозяйка молча указывает в окно.

— Да ведь это же Таврический сад!

— А почему бы ему и не быть Таврическим?

— Да ведь Таврический сад не вам же принадлежит!

— Разумеется, не мне. Какие от нынешних жильцов странные претензии пошли!

«Уютная комната у одинокой».

— У вас, стало быть, других жильцов нет?

— Боже упаси! — восклицает одинокая почти в ужасе. — Никого! Одна как перст.

Вы смотрите на ее корявый указательный палец, поднятый как олицетворение одиночества, и решаете снять комнату.

На другой же день, с трех часов дня, за стеной начинают раздаваться тихие вздохи, которые вскоре переходят в храп, продолжающийся часов до десяти вечера. Сначала вы стараетесь не обращать на него внимания и заниматься своим делом, но за что бы вы ни принялись, этот мерный аккомпанемент налагает на все свой отпечаток. Книга не захватывает, перо не слушается, и как бы вы ни напрягали свое воображение, оно нет-нет да и представит вам уютную,

мягкую подушку и теплое одеяло, в которое если завернуться как следует, так все на свете покажется пустяками.

Затем, привыкнув немножко, а может быть, и попросту выпавшись, вы начинаете прислушиваться к храпу и изучать его.

И вы открываете, что он бывает разнообразен до бесконечности. Главные же формы его следующие: густой, грозный, так называемый генеральский. Затем храп игривый, с присвистом. Затем с отдуванием, как будто спящий сдувает муху, севшую ему на верхнюю губу. Затем храп с переливами, напоминающий полоскание горла, храп меланхолический, тягучий, бархатный, зловещий.

— Кто же это у вас храпит, голубушка? — спрашиваете вы наконец у хозяйки. — Ведь вы уверяли, что у вас других жильцов нет.

— Ах, не обращайте внимания! Это так, старичок блаженный. Откушает в два часа, а потом до вечера спит.

Вы смиряетесь. Вечером, когда к вам приходят гости и вы начинаете им декламировать душистые стихи Бальмонта, блаженного старичка начинают мучить кошмары, и он раздражает вам душу и пугает друзей ваших неистовыми воплями:

— Ой! Ай, Господи! Душу на покаяние! У! у-у!

— Чего вы пустяков пугаетесь? — удивляется одинокая хозяйка. — Это он всегда так, когда за обедом тяжелого покусает.

В коридоре вы вечно наталкиваетесь на какую-то темную личность, которая прячется от вас за шкаф или быстро шмыгает в соседнюю комнату, где запирается. Очевидно, он там и ютится.

— Это кто же такой? — недоумеваете вы.

— Ах, пустяки! Это так себе, блаженный...

— Ах, тоже блаженный?

— Да уж такие все подобались.

В следующую вашу встречу вы всматриваетесь в темную личность и узнаете, что это просто ражий детина без малейших следов блаженства.

— Это, верно, ваш жилец, зачем вы скрывали? — упрекаете вы.

— Что за вздор, — какой там жилец. Разве можно его жильцом назвать, когда он никогда вовремя денег не платит? Как срок приходит, так мне от него огорчение и позор. Ни разу без мирового не обошлась. Разве это жилец?!

Остров мертвых

Вчера мне повезло. Вчера я была счастлива.

Я сидела в гостиной, в которой ни на одной стене не висела гравюра с картины Бёклина «Остров мертвых»!

Конечно, поверить этому трудно, но, уверяю вас, я не хвастаю.

В продолжение приблизительно десяти лет, куда бы я ни пошла, всюду встречал меня этот «Остров мертвых».

Я видела его в гостиных, в примерочной у портнихи, в деловых кабинетах, в номере гостиницы, в окнах табачных и эстампных магазинов, в приемной дантиста, в зале ресторана, в фойе театра...

Я так привыкла к этому, что часто, входя в какой-нибудь новый дом, инстинктивно искала его глазами и, только найдя, успокаивалась.

«Ага! Вот он! — думала я. — Ну, значит, все в порядке».

Если случайно где-нибудь «Острова мертвых» не оказывалось, то это было признаком очень серьезным. Это значило, что жизнь в этом доме течет не обычным, а каким-то неестественным, болезненным порядком. В лучшем случае это означало, что люди только что переехали и еще не успели устроиться или собираются переезжать, и «Остров мертвых» уже упакован.

Но чаще отсутствие этой картины знаменует какую-нибудь тяжелую семейную драму или полный крах, когда люди уже ни на что не обращают внимания и о чужом мнении не заботятся.

Одна моя приятельница, которую я давно не видала, встретила меня приветливо, весело, оживленно щебетала и

в продолжение получаса обманывала меня так ловко, что я все время думала:

«Вот ведь кому хорошо живется!»

Но вдруг я скользнула глазами по стене и тихо ахнула: на стене не было «Острова мертвых».

— Надя! — сказала я, взяв ее за руку. — Скажи мне сейчас же, но только всю правду, отчего у тебя нет «Острова мертвых»?

Глаза у нее забегали, она, видимо, смутилась, но старалась казаться веселой.

— «Остров мертвых»? Ах, что за пустяки! Неужели это так важно?

— Надя! — повторила я строго. — Не лги! Где «Остров мертвых»?

Она вдруг заплакала и сказала покорно и искренно:

— Мне Сережа изменяет!

— Ага!

— Только я не хочу, чтоб об этом знали! Я стараюсь скрыть, я смеюсь и болтаю...

— Стараешься скрыть, а забываешь повесить «Остров мертвых». Ты наивна или других считаешь таковыми. Сейчас же повесь и не пускай никого, пока не повесишь.

Она горячо поблагодарила меня и тут же послала прислугу в мелочную лавку взять пока что хоть пару открыток с «Островом мертвых».

— Я думаю, если пару повесить, то это совсем отвлечет подозрения. А у нас в мелочной очень недурные, потому что большой спрос. Да и удобно: нам отпустят на книжку.

Вспоминаю, как я увидела «Остров мертвых» в первый раз.

Это было давно, в те блаженные времена, когда стены украшались приложением «Нивы»: «Король-жених» или «Дорогой гость».

«Король-жених», как картина содержания салонного, вешалась больше в гостиную. «Дорогой гость» был хорош и в столовой, потому что изображенная на нем чара вина возбуждала соответствующие обеду мысли.

Оба эти произведения искусства ни к чему не обязывали, на воображение не посягали и на настроение не метили. Они просто висели — и ладно.

В хозяйстве это было даже подспорье. Увидит хозяйка масляное пятно на обоях или заметит, что крюк какой-нибудь из стены торчит без смысла и цели — возьмет «Жениха» либо «Дорогого гостя» и повесит. И вся семья потом радуется:

— Вот как удачно вышло!

— Как раз пятно закрыто! Чудная картина!

И вот в один прекрасный день увидела я вместо «Дорогого гостя» большую гравюру, тихую, жуткую.

— Что это?

Это был «Остров мертвых».

Я долго смотрела на него, как смотришь в первый раз на загадочную красавицу незнакомку, смотришь и не знаешь, что будет она твоей женой, народит золотушных идиотов и будет визжать на кухарку, тряся кулаками:

— Если вы чашку разбиваете, вы обязаны откупить! Я не обязана вам чашку прощать! Вы обязаны беречь барское добро, а я вас, дармоедку, держать у себя не обязана.

Я смотрела на «Остров мертвых», а хозяин дома, беспартийно-декадентствующий молодой человек, говорил, выкатив на картину сизые глаза:

— Дэ! Это хорошо! Дэ! Это важно! Дэ! Это нужно!

С тех пор я точно переменила место жительства. Я не узнавала привычной обстановки. Точно заклял меня кто и отгородил от прежней жизни этими мертвыми скалами. Сначала было интересно, приятно. Картина нравилась и была хороша. Потом с ней начали ассоциироваться слышанные сплетни, виденные рожи, промученные скукой часы. Чем дальше, тем хуже. Мало-помалу проявлялось к картине странное отношение. Она становилась противной, как невинный и бессловесный идиот, который хоть и ни в чем не виноват, но раздражает до бешенства, потому что торчит перед носом, когда его совершенно не требуется, потому что бестактно напоминает о чем не следует, и тем противнее, чем невиннее.

И кажется, что она подурнела за эти годы. Кипарисы облезли, горы расселись, лодка скособочилась, и у плывущих на ней покойников спины стали какие-то подозрительные.

И я решила, что с меня довольно. Или я, или она.

И действовать нужно хитро. Для многих «Остров мертвых» имеет такое же серьезное значение, как университетский значок на груди спившегося чиновника.

— Мы, мол, тоже не лыком шиты. Мы, мол, сами с усами, знаем, что такое стиль-нуво, и имеем высшие запросы относительно искусства. А без значка кто нам поверит?

И я схитрила.

Пришла к знакомым, оглядела стены гостиной, удивленно подняла брови:

— Послушайте, что же это такое? Где же у вас приложение к «Ниве», знаменитая картина «Король-жених»?

Все растерялись. Сначала усмехнулись, потом притихли.

— Н-не знаем... Кажется, на чердаке где-то есть. А что?

— Как что? Разве вы еще не знаете, что теперь нельзя вешать «Остров мертвых»? Это старо! Это показывает, что вы разучились молиться и претворять обыденно-повседневное в мистически единственное через экстаз личного творчества. Повесьте сейчас же на место этой пошлости «Короля-жениха». В этом радость!

Они повесили. А я выкатила глаза, совсем как беспартийно-декадентствующий молодой человек, и сказала внушительно:

— Дэ! Это важно! Дэ! Это нужно!

Сокровище земли

Люди очень гордятся, что в их обиходе существует ложь. Ее черное могущество прославляют поэты и драматурги.

«Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман», — думает коммивояжер, выдавая себя за атташе при французском посольстве.

Но, в сущности, ложь, как бы ни была она велика, или тонка, или умна — она никогда не выйдет из рамок самых обыденных человеческих поступков, потому что, как и все таковые, она происходит от причины и ведет к цели. Что же тут необычайного?

Гораздо интереснее та удивительная психологическая загадка, которая зовется враньем.

Вранье отличается от лжи, с которой многие профаны во вральном деле его смешивают, тем, что, нося в себе ни причины, ни цели, в большинстве случаев приносит изобретателю своему только огорчение и позор — словом, чистый убыток.

Отцом лжи считается дьявол. Какого происхождения вранье и кто его батька, — никому не известно.

Настоящее, типическое вранье ведется так бестолково, что, сколько ни изучай его, никогда не будешь знать основательно, как и кем именно оно производится.

Врут самые маленькие девочки, лет пяти, врут двенадцатилетние кадеты, врут пожилые дамы, врут статские советники, и все одинаково беспричинно, бесцельно и бессмысленно. Но как бы неудачно ни было их вранье, можно всегда констатировать необычайно приподнятое и как бы вдохновенное выражение их лиц во время вразного процесса.

Вранье всегда интересовало меня как нечто загадочное и недостижимое для меня; практически я только раз познала его, причем потерпела полное фиаско.

Было мне тогда лет одиннадцать, и училась я в одном из младших классов гимназии. И вот однажды учитель русской словесности, желая, вероятно, узнать, насколько связано могут его ученицы излагать свои мысли в повествовательной форме, спросил:

— Кто из вас может рассказать какое-нибудь приключение из времен своего раннего детства?

Никто не решался.

Тогда учитель вызвал первую ученицу, и после долгих усовещаний она со слезами на глазах пробормотала, что у нее в детстве было только одно приключение: она съела краски, принадлежащие старшему брату.

Учитель был недоволен.

— Ну, что это за приключение! И главное — что за рассказ! Разве так надо рассказывать? И неужели же никто из целого класса не может припомнить и изложить никакого происшествия из своего детства?

Вот тут-то на меня и накатил великий дух вранья.

Прежде чем я сообразила, что со мной делается, я уже стояла перед учителем и, глядя ему прямо в лицо честными глазами, говорила:

— Я могу рассказать.

Учитель обрадовался, долго хвалил меня и ставил всем в пример.

— Ну, а теперь послушаем.

И я начала свой рассказ.

Насколько я припоминаю, он был таков:

— Мне было всего два года, когда однажды ночью, проснувшись, я увидела страшное зарево. Наскоро одевшись...

— Да ведь вам всего два года было, как же вы сами оделись? — удивился учитель ловкости гениального ребенка.

— Я всегда спала полуодетая, — любезно пояснила я и продолжала: — Наскоро одевшись, я выбежала во двор. Гю-рели соседние дома, горящие бревна летали по воздуху...

— Ну-с? — сказал учитель.

Я почувствовала, что с него все еще мало.

—... летали по воздуху. Вдруг я увидела на земле среди груды обломков лежащего мужика. Он лежал и горел со всех сторон. Тогда я приподняла его за плечи и оттащила в соседний лес; там мужик погасился, а я пошла опять на пожар.

— Ну? — опять сказал учитель.

— Пошла опять, и там огромное бревно упало мне на голову, а я упала в обморок. Вот и все. Больше ничего не помню.

Рассказывая свою повесть, я вся так горела душой в никогда еще не испытанном экстазе, что долго не могла вернуться к прерванной жизни там, на второй скамейке у окна.

Все кругом были очень сконфужены. Учитель тоже. Он был хороший человек, и поэтому ему было так совестно, что он даже уличить меня не мог. Он низко нагнулся над классным журналом и, вздыхая, стал задавать уже заданный урок к следующему разу.

Чувствовала себя недурно только я одна. Мне было весело, как-то тепло, и, главное, чувствовалось, что я одна права во всей этой скверной истории.

Только на другой день, когда по отношению подруг я поняла, что дело мое не выгорело, я приуныла, потускнела, и прекрасное вральное вдохновение покинуло меня навсегда.

Как часто, разговаривая с незнакомыми людьми на пароходах, на железной дороге, за табльдотом, думаешь: вот бы теперь приврать чего-нибудь повкуснее. Нет! Подрезаны мои крылышки. Слушаю, как врут другие, любуюсь, завидую горько, а сама не могу. Вот как отравляет душу первое разочарование!

Хорошо врут маленькие девчонки.

Одна пятилеточка рассказывала мне, что она знала собачку, «такую бедную, несчастную», — все четыре ножки были у нее оторваны.

И каждый раз, как собачка пробегала, девочка от жалости плакала. Такая бедная была собачка!

— Да как же она бегала, когда у нее ни одной ноги не было? — удивилась я.

Девочка не задумалась ни на минуту.

— А на палочках.

И глаза ее смотрели честно и прямо, и уголки рта чуть-чуть дрожали от жалости к собачке.

Глубокую зависть возбуждала во мне одна добрая провинциальная дама. Врала она бескорыстно, самоотверженно, с неистовством истинного вдохновения, и, вероятно, наслаждалась безгранично.

— У меня в гостиной, когда я жила в Харькове, были огромные зеркала. Гораздо выше потолка! — рассказывала она и вдруг спрашивала:

— Как вы думаете, сколько стоит вот эта мебель, что у меня в будуаре?

— Рублей двести... Не знаю.

— Пятнадцать рублей! — отчеканивает она.

— Быть не может! Два дивана, четыре кресла, три стула!

— Пятнадцать рублей!

Глаза ее горят, и все лицо выражает восторг, доходящий до боли.

— Пятнадцать рублей. Но зато вот этот стул, — она указывает на один из трех, — стоит тридцать пять.

— Но почему же? Ведь он, кажется, такой же, как и другие?

— Да вот, подите! На вид такой же, а стоит тридцать пять. Там у него, внутри сиденья, положена пружина из чистого мельхиора. Они очень неудобны, эти пружины, на них ведь совсем и сидеть нельзя. Чуть сядешь — адская боль.

— Так на что же они тогда, да еще такие дорогие?

— А вот, подите!

Она даже вспотела и тяжело дышала, а я думала:

«Ну, к чему она так усердствует? Чего добивается? Если она хотела прихвастнуть дорогим стулом, чтобы я позавидовала: вот, мол, какая она богатая, — тогда зачем же было сочинять, что вся мебель стоит пятнадцать рублей? Здесь, очевидно, не преследовалась цель самовозвеличения или самовосхваления. Откуда же это все? Из какого ключа бьет этот живой источник?»

Встречала я и вранье совсем другого качества, — вранье унылое, подавленное. Производил его, и вдобавок в большом количестве, один очень степенный господин, полковник в отставке.

Лицо у него, как у всех вралей-специалистов, носило отпечаток исключительной искренности.

«Это какой-то фанатик правды!» — думалось, глядя на его выпученные глаза и раздутые ноздри.

Врал он так:

— Если яйцо очень долго растирать с сахаром, то оно делается свершенно кислым, оттого, что в нем вырабатывается лимонная кислота. Это испробовал один мой товарищ в 1886 году.

Или так:

— В стерлядях масса икры. Бывало, на Волге в 1891 году поймашь крошечную фунтовую стерлядку, вспорешь ее ножом, а в ней фунтов десять свежей икры! Шутка сказать!

Или так:

— Я этого Зелим-хана еще ребенком знал. Придет, бывало, к нам, весь дом разграбит — мальчишка шести лет. Уж я его столько раз стыдил в 1875 году. «Ну, что из тебя, — говорю, — выйдет!» Нет, ни за что не слушался.

Все это рассказывалось так безнадежно-уныло, и чувствовалось, что рассказчик до полного отчаяния не верит

ни одному своему слову, но перестать не может. Точно он необдуманно подписал с каким-то чертом контракт и вот теперь, выбываясь из сил, выполняет договор.

Если оборвать этого несчастного — он покраснеет, замолчит, и только посмотрит с укором: «За что мучаешь? За что обижаешь? Разве я виноват?»

И стыдно станет.

Ему я никогда не завидовала. Его работа тяжела и неувлечательна. Но опять-таки откуда она? Зачем? Кто ее заказал?

И делается досадно, что вся эта энергия, для чего-то с такой силой вырабатываемая, пропадает даром.

Но верю, что это недолго протянется. Верю, что придет гений, изучит эту энергию, поставит, где нужно, надлежащие приборы и станет эксплуатировать великую вральную силу на пользу и славу человечеству.

Почтенный полковник получит штатное место, и, может быть, энергией его вранья будут вращаться десятки жерновов, водяных турбин и ветряных мельниц.

И дама с мебелью, и девочка с собачкой, и гимназист, уверявший, что в их классе Петров 4-й такой легкий, что может два часа продержаться на воздухе, и еще сотня безвестных тружеников найдут применение распирающей их силе.

И как знать: еще десять — двадцать лет — и, может быть, бросив ненужное и дорогое электричество, мы будем освещаться, отапливаться и передвигаться при помощи простой вральной энергии, — этого таинственного сокровища земли.

Ах, сколько еще богатств у нас под руками, и мы не умеем овладеть ими!

Остряки

На свете много благотворителей.

Одни жертвуют тайно, другие жертвуют открыто. Одни отдают деньги, другие отдают свою деятельность.

Но есть еще один вид благотворителей, — тихих, незаметных, непризнанных, в большинстве случаев даже гонимых. Они служат человечеству самоотверженно и безвозмездно и так самозабвенно предаются этому служению, что ни удары судьбы, ни удары озверевшего человека не могут сбить их с раз избранного пути.

Я говорю об остряках.

Кому не случалось встретить в обществе человека, все время напряженно старающегося сострить. Раз не удалось — не беда. Он только слегка покраснеет, но не отступится. Придумает новую остроу, или с тем же самоотвержением повторит второй раз ту же самую. Результаты последуют такие же, как и в первый раз, но он не упадет духом и, отдохнув немножко, снова примется за то же со странным усердием, точно ему за это платят.

Окружающие относятся к остряку худо. Если знакомы с ним мало, то на его счет только переглядываются. Если он свой человек, то говорят ему прямо и жестоко:

— Ну, это вы, знаете ли, слабо!

Или примутся притворно стонать:

— Ох, убил! Убил!

— Ох, надо же было предупредить! Нельзя же так сразу!

— В другой раз осторожнее, молодой человек, вы этак людей искалечить можете!

Издаются над ним долго, кто во что горазд, а он молчит, смущенно опускает глаза и только криво улыбается улыбкой нищего, которого попрекнули его рубищем.

И никто не понимает, что перед ними сидит и криво улыбается представитель самого самоотверженного и бескорыстного служения человечеству.

Посмотрите на такого остряка в тот момент, когда какая-нибудь неприхотливая душа усмехнулась на его шутку.

Он весь покраснеет, задрожит, заикается, и лоб у него вспотеет, и он несколько раз подряд повторит свою шутку, ожидая, что, мол, может быть, и еще раз вызовет она тот же эффект.

Корыстной подкладки здесь нисколько нет. Вы сами понимаете, что этими редкими, кислыми улыбками на щеках слушателей он семьи своей не прокормит. Да ему ничего и

не нужно. Он живет для того, чтобы радовать окружающих. А разве это не высокая цель?

Остряки бывают нескольких категорий.

Одна — и это самая низкая, потому что элемент личного творчества отсутствует в ней совершенно — питается готовыми анекдотами.

Остряк такой категории остановит вас вдруг посреди серьезного разговора и деловито осведомится:

— Слышали вы новый анекдот про оконную раму?

— Я и старых-то про оконную раму не знаю!

— Ну, как же вы так? Вот слушайте.

И пойдет.

Если заметит, что анекдот не понравился, расскажет второй. А если заметит, что понравился, то, повторив его два раза, расскажет десять других, а остановить его сможет разве только вторжение какой-нибудь чрезвычайной силы, если на него, например, наедет мотор в сорок лошадиных сил.

Большинство остряков рассказывают анекдоты очень плохо. Вяло, длинно — не поймешь, кончил он или еще тянет.

Или, напротив того, в самом начале принимается сам хохотать и подготавливает слушателя к чему-то необычайно смешному, так что тот непременно, узнав конец, разочаруется.

— Только-то и всего?

— Как только-то и всего? Да вы, верно, не поняли?

И он опять начинает.

Некоторые добросовестные остряки, принимаясь за анекдот, сначала расскажут конец его и подробно объяснят, в чем дело, а потом уже отпрыгнут к началу и дадут вам вещь всю целиком.

Подготовленный таким образом, слушатель может засмеяться, только если он очень добрый человек, чувствующий благодарность за то, что его избавили от тяжелой работы самому разбираться в пластах анекдотической соли.

Остряки второй, более высокой категории придумывают остроты сами. Многие из них, положим, втайне принад-

лежат к первой категории, но тщательно это скрывают. Они питаются теми же общеизвестными готовыми анекдотами, только всегда уверяют, что приключилось это все с ними или с одним их товарищем.

Остряки второй категории любят советовать:

— А вы бы ему ответили: было светло потому, что ваша глупость сияла...

— А вы бы ему сказали...

— А вы бы ему отрезали...

Учат, учат от всей души, пыжятся, стараются... Неблагодарный труд!

Есть остряки до такой степени заковыристые, что ни один человек никогда не доберется до смысла их выдумки. Они это и сами знают и, сострив, всегда делают паузу, выжидая объяснений.

— На этого господина совершенно не довольно простоты! — говорит такой остряк и лукаво щурит глаза, чтобы показать, что он сострил, а не просто ляпнул сам не знает что.

— Что такое? — недоумевают слушатели, строят догадки, разводят руками и, в конце концов, смиренно просят объяснения.

— Это значит, — торжествует остряк, — что «на всякого мудреца довольно простоты», а на дурака, значит, не довольно.

И все жалеют, зачем расспрашивали.

— У этого человека никогда не будет грибоедовского произведения!

Снова все теряются.

— Очень просто! — потюпав их, как следует, объясняет остряк. — У него никогда не будет «Горя от ума», потому что у него нет ума, ха-ха! Неужели трудно было догадаться?

Эти остряки неприятны, потому что, беседуя с ними, кажется, будто долго и мучительно, со страшным напряжением раскупориваешь бутылку.

Последний, самый скверный, но и самый распространенный, вид остряков, это — остряки словами. Это те самые, которые, предлагая горчицу, говорят:

— Не желаете ли огорчиться?

Вместо «я напился чаю» — «я уже отчаялся».

Или так:

— Если ты-Соня, так отчего же ты не идешь спать?

— Ваш брат разве очень колется?

— Что такое, ничего не понимаю!

— Ну, да ведь вы же сами назвали его «Коля».

— Вас зовут Маня, наверно, потому, что вы так всех к себе маните.

— Вас зовут Вера, а вы меня надули!

Этих остряков часто бьют, невзирая на самые чистые и святые их намерения служить ближнему своему.

Встречаются остряки такие несчастные, такие забытые и разочарованные в своих способностях и, вместе с тем, с упорством поистине самоотверженной души не желающие сворачивать со своего тернистого пути, что не злобу и досаду должны они вызывать в собеседниках, а тихое умиление и восторг перед своим подвигом.

Я часто видела таких остряков.

Помню, как один из них, большой, толстый человек, входя в комнату, робко озирался, отыскивал кого-нибудь попроще, одетого похуже, с лицом подороже, подсаживался к нему и без всяких предисловий говорил:

— У одного господина спросили: любит ли он детей... и т. д.

Окончив с этим анекдотом, принимался без всякой паузы за другой.

Он не ждал ни смеха, ни одобрения, говорил вполголоса, почти шепотом, чтобы его не слышали другие, злые и гордые, и не поколотили бы.

Бедный, кроткий, безымянный благотворитель. Я говорю «безымянный» потому, что даже хозяйка дома не помнила его имени, так как много лет подряд называла его просто «этот толстый дурак с анекдотами».

Теперь, когда я обдумала все, я даю торжественное обещание смеяться на все шутки, остроты и анекдоты, хотя бы это стоило мне здоровья и даже жизни.

И если разрешит начальство, осную общество покровительства неудачливым острякам, где будут выдавать пособия и страховать на случай переутомления и увечья этих великих духом и бескорыстных благотворителей.

Дураки

На первый взгляд кажется, будто все понимают, что такое дурак и почему дурак чем дурее, тем крутлее.

Однако если прислушаешься и приглядишься — поймешь, как часто люди ошибаются, принимая за дурака самого обыкновенного глупого или бестолкового человека.

— Вот дурак, — говорят люди. — Вечно у него пустяки в голове!

Они думают, что у дурака бывают когда-нибудь пустяки в голове!

В том-то и дело, что настоящий круглый дурак распознается, прежде всего, по своей величайшей и непоколебимейшей серьезности. Самый умный человек может быть ветреным и поступать необдуманно, — дурак постоянно все обсуждает; обсудив, поступает соответственно и, поступив, знает, почему он сделал именно так, а не иначе.

Если вы сочтете дураком человека, поступающего безрассудно, вы сделаете такую ошибку, за которую вам потом всю жизнь будет совестно.

Дурак всегда рассуждает.

Простой человек, умный или глупый — безразлично, скажет:

— Погода сегодня скверная, — ну, да все равно, пойду погуляю.

А дурак рассудит:

— Погода скверная, но я пойду погулять. А почему я пойду? А потому, что дома сидеть весь день вредно. А почему вредно? А просто потому, что вредно.

Дурак не выносит никаких шероховатостей мысли, никаких невыясненных вопросов, никаких нерешенных проблем. Он давно уже все решил, понял и все знает. Он — человек рассудительный и в каждом вопросе сведет концы с концами и каждую мысль закрутит.

При встрече с настоящим дураком человека охватывает какое-то мистическое отчаяние. Потому что дурак — это зародыш конца мира. Человечество ищет, ставит вопросы, идет вперед, и это во всем: и в науке, и в искусстве, и в жизни, а дурак и вопроса-то никакого не видит.

— Что такое? Какие там вопросы?

Сам он давно уже на все ответил и закруглился.

В рассуждениях и закруглениях дураку служат опорой три аксиомы и один постулат.

Аксиомы:

1) Здоровье дороже всего.

2) Были бы деньги.

3) С какой стати.

Постулат:

Так уж надо.

Где не помогают первые, там всегда вывезет последний.

Дураки обыкновенно хорошо устраиваются в жизни. От постоянного рассуждения лицо у них приобретает с годами глубокое и вдумчивое выражение. Они любят отпускать большую бороду, работают усердно, пишут красивым почерком.

— Солидный человек. Не вертопрах, — говорят о дураке. — Только что-то в нем такое... Слишком серьезен, что ли?

Убедясь на практике, что вся мудрость земли им постигнута, дурак принимает на себя хлопотливую и неблагодарную обязанность — учить других. Никто так много и усердно не советует, как дурак. И это от всей души, потому что, приходя в соприкосновение с людьми, он все время находится в состоянии тяжелого недоумения.

— Чего они все путают, мечутся, суетятся, когда все так ясно и круто? Видно, не понимают; нужно им объяснить.

— Что такое? О чем вы горюете? Жена застрелилась? Ну, так это же очень глупо с ее стороны. Если бы пуля, не дай Бог, попала ей в глаз, она бы могла повредить себе зрение. Боже упаси! Здоровье дороже всего!

— Ваш брат помешался от несчастной любви? Он меня прямо удивляет. Я бы ни за что не помешался. С какой стати? Были бы деньги!

Один лично мне знакомый дурак, самой совершенной, будто по циркулю выведенной, круглой формы, специализировался исключительно в вопросах семейной жизни.

— Каждый человек должен жениться. А почему? А потому, что нужно оставить после себя потомство. А почему

нужно потомство? А так уж нужно. И все должны жениться на немках.

— Почему же на немках? — спрашивали у него.

— Да так уж нужно.

— Да ведь этак, пожалуй, и немок на всех не хватит.

Тогда дурак обижался:

— Конечно, все можно обратить в смешную сторону.

Дурак этот жил постоянно в Петербурге, и жена его решила отдать своих дочек в один из петербургских институтов.

Дурак воспротивился:

— Гораздо лучше отдать их в Москву. А почему? А потому, что их там очень удобно будет навещать. Сел вечером в вагон, поехал, утром приехал и навестил. А в Петербурге когда еще соберешься!

В обществе дураки — народ удобный. Они знают, что барышням нужно делать комплименты, хозяйке нужно сказать: «а вы все хлопчете», и, кроме того, никаких неожиданностей дурак вам не преподнесет.

— Я люблю Шалыпина, — ведет дурак светский разговор. — А почему? А потому, что он хорошо поет. А почему хорошо поет? Потому, что у него талант. А почему у него талант? Просто потому, что он талантлив.

Все так кругло, хорошо, удобно. Ни сучка, ни задоринки. Подхлестнешь, и покатится.

Дураки часто делают карьеру, и врагов у них нет. Они признаются всеми за дельных и серьезных людей.

Иногда дурак и веселится. Но, конечно, в положенное время и в надлежащем месте. Где-нибудь на именинах.

Веселье его заключается в том, что он деловито расскажет какой-нибудь анекдот и тут же объяснит, почему это смешно.

Но он не любит веселиться. Это его роняет в собственных глазах.

Все поведение дурака, как и его наружность, так степенно, серьезно и представительно, что его всюду принимают с почетом. Его охотно выбирают в председатели разных обществ, в представители каких-нибудь интересов. Потому, что дурак приличен. Вся душа дурака словно облизана широким коровьим языком. Кругло, гладко. Нигде не зацепит.

Дурак глубоко презирает то, чего не знает. Искренне презирает.

— Это чьи стихи сейчас читали?

— Бальмонта.

— Бальмонта? Не знаю. Не слышал такого. Вот Лермонтова читал. А Бальмонта никакого не знаю.

Чувствуется, что виноват Бальмонт, что дурак его не знает.

— Ницше? Не знаю. Я Ницше не читал!

И опять таким тоном, что делается стыдно за Ницше.

Большинство дураков читают мало. Но есть особая разновидность, которая всю жизнь учится. Это — дураки набитые.

Название это, впрочем, очень неправильное, потому что в дураке, сколько он себя ни набивает, мало что удерживается. Все, что он всасывает глазами, вываливается у него из затылка.

Дураки любят считать себя большими оригиналами и говорят:

— По-моему, музыка иногда очень приятна. Я, вообще, большой чужак!

Чем культурнее страна, чем спокойнее и обеспеченнее жизнь нации, тем круглее и совершеннее форма ее дураков.

И часто надолго остается нерушим круг, сомкнутый дураком в философии или в математике, или в политике, или в искусстве. Пока не почувствует кто-нибудь:

— О, как жутко! О, как кругла стала жизнь!

И прорвет круг.

Лень

Как-то мелькнуло в газетах известие, что кто-то открыл микроб лени, и что будто даже собираются строить специальный санаторий для лентяев, где их будут лечить прививками, инъекциями, а в трудных случаях — удалением какой-то железы, которая развивается у лентяя внутри, под самым носом.

Если все это верно, то это ужасно!

Это будет последняя несправедливость, выказанная человеком по отношению к лени.

Человек в ослеплении своем оклеветал это лучшее свое природное качество, отнес его к разряду своих недостатков и клеймит матерью пороков.

Когда Господь проклял Адама, Он сказал, что тот будет трудиться в поте лица.

Если бы Адам был человеком прилежным, он только усмехнулся бы:

— Трудиться в поте лица? Да что же можно иметь против такого приятного занятия? Это вполне соответствует моей натуре, и без всякого проклятия я предпочел бы это времяпрепровождение всякому другому!

Но не усмехнулся Адам и не обрадовался, а упал духом, и проклятие Господне было действительно наказанием, потому что поразило его в самые глубокие основы его существования — в его лень.

Не будь человек лентяем, на этом бы все и кончилось. Ковырял бы землю ногтями и получал бы от нее тернии и волчцы.

Но вот уже в пятом поколении родился первый лентяй Фовел, который сказал:

— Не хочу рыть землю руками. Мне лень. Нужно что-нибудь придумать, чтобы меньше трудиться и больше получать.

И выковал первую лопату.

Следующему лентяю показалось, что и лопата отнимает слишком много силы.

— Лень!

И припряг на помощь лошадь.

Когда был придуман паровой двигатель — это был светлый праздник для лентяев всех стран.

— Ну, теперь кончено! — ликовали они. — Довольно мы потрудились. Пусть теперь машина за нас поработает. А мы пока что отдохнем да покурим.

И затрещали машины, загудели паровики по всему миру.

Каждый лентяй взваливал на машину отрасль своего труда, придумывал, прилаживал, хитрил.

— Как бы так устроить, чтоб самому только пальцем шевельнуть, а все за тебя будет сделано!

Потому что истинный, глубокий и сущий лентяй ленив не только за себя, но и за других.

Если ему будет предоставлена возможность завалиться набок, а другие будут на него работать, он истомится и зачахнет от лени за других.

Кто испытывал когда-нибудь сознательно это могучее чувство, тот понимает, что именно оно движет человечество по пути прогресса.

Смотрит лентяй на улицу, видит: человек бредет усталый, прошел, по-видимому, много и еще, верно, должен далеко идти.

— Как ему не лень! Придумать бы такую машину, чтоб возила людей, и чтоб было скоро и недорого.

И вот трамвай, в сущности, уже заказан и ждет только человека, одаренного более острой и интенсивной ленью, который не только будет мечтать, но и, в порыве отчаяния, изобретет и выполнит этот заказ.

Когда изобрели электрические двигатели, лентяи устроили вокруг них целую вакханалию. Электричество должно их освещать, согревать, передвигать, увеселять, качать воду и разговаривать.

Лень овладела всем земным шаром. Затянула землю рельсами (лень ходить), телеграфными проволоками (лень писать), наставила антенны для беспроволочного телеграфа (лень проволоку тянуть), и все ей мало, все ищет она нового и все идет дальше.

Современный мир представляет картину полного расцвета самой кипучей деятельности. Дымят фабричные трубы, стучат моторы, гудят паровики, свистят ремни.

Что такое? Откуда такая неистовая энергия?

Нам лень — вот откуда.

Если присмотреться внимательно — мы окружены продуктами самой бешеной лени.

Вот ткацкая фабрика. Она возникла оттого, что бабам было лень ткать. Вот бумагопрядильная — оттого, что лень было прясть.

— Скажете: потребности росли?

У прилежного человека, соответственно с потребностями, растет только усердие, а разные хитрости, как бы поменьше трудиться да при этом еще получше результаты получить, — это уж лень, мать всех пороков.

Вот пришли вы к себе домой. Поднимает вас лифт, изобретенный человеком, которому не стыдно было сознаться, что шагать по лестнице лень. Отпираете дверь французским ключом, придуманным потому, что лень было за прислугу, поворачиваете электрический выключатель, придуманный феноменальным лентяем, которому тошно было даже за керсином послать.

В былые времена детей за леность секли. Но это, слава Богу, мало помогало. И, может быть, один из тех, которых за недосутом забыли вовремя высечь, и изобрел какое-нибудь усовершенствование, облегчающее его былой детский нудный труд.

Но если примутся радикально вылечивать лень, тогда все пропало. Тогда все остановится или пойдет назад.

— А мне не лень, — скажет купец, — из Новгорода в Москву на лошадках съездить. Время терпит.

— А мне не лень платье руками шить, — скажет портной. — К чему тут машинка?

— И на шестой этаж подняться не лень, и полотно ткать не лень: если поусердствовать, да приналечь, так почище фабричного будет.

И приналягут.

Лечиться, наверное, захотят многие, потому что лень доставляет большие страдания.

Стоит, например, у меня в комнате кресло, на котором разорвалась обивка. Но я тщательно скрываю ото всех это обстоятельство, прикрываю пледом, а людей, особенно зорких, прямо усаживаю на рваное место. Потому что, если увидят, посоветуют переменить обивку. Чего бы, казалось, проще? Но человек, одаренный истинной ленью, знает, что достаточно сказать необдуманное слово, как поднимется такая трескотня, что жизни не рад будешь.

Хорошо. Я перемену обивку, я пойду на это. Но знаете, что тогда будет? Вот что. Я скажу прислуге:

— Позовите ко мне обойщика, который живет тут на углу.

Прислуга пойдет, вернется, скажет, что обойщика не застала, и что нужно сходить утром. Пойдет утром, приведет обойщика. Тот спросит, какой кожей обить кресло, и предложит принести образцы.

— Не надо образцов. Делайте, как вам удобнее, — скажу я и подумаю, как он опять пойдет и опять придет.

— Нам все удобно, мы ведь кожу не с себя сдираем, — ответит он и пойдет за образцами.

Потом опять придет, опять уйдет и будет отпаривать старую обивку, из-под которой пойдет пыль и вылезет волос. А гвоздей в обивке много, и он будет их вытаскивать, а какой-нибудь мальчишка будет помогать, а обойщикова жена будет подметать сор; потом станут кроить кожу, прилаживать, потом пойдут, придут, уйдут... И все это из-за моего желания иметь целое кресло, и желания-то такого неострого, неважного, нерадостного. Ну, разве не лень?

Нет, не могу. Чувствую, что легче было бы изобрести какую-нибудь такую машину, благодаря которой кресла сами собой бегали бы обиваться на какую-нибудь специальную фабрику.

Не надо санаториев, не надо губить лень. Пусть она развивается, крепнет и гонит скорее человечество к той прекрасной цели, к которой оно идет уже столько веков: ничего не делать и все иметь.

И последнее, что сделает человек, будет гигантский обелиск, а наверху сложенные руки и надпись:

«Лень — мать всей культуры».

Часы

Какое множество на белом свете всяких часов: и карманных, и стенных, и башенных, и стоячих, и висячих, и лежащих.

На каждой улице живет часовщик. Каждая городская колокольня отзванивает каждые полчаса. У каждого человека в жилетном кармане тикает.

Точность времени играет такую важную роль в жизни современного человека, что если ваши часы отстают или

торопятся на четверть часа, вы немедленно несете их в починку. Вы не можете потерпеть такой разницы между вашим существованием и существованием всего остального человечества.

Культурный человек всегда немножко беспокоится за свои часы. Проедет мимо вокзала, взглянет — десять часов. Сейчас вынет часы, покачает головой, если они не совсем точны — переставит. Проедет через полчаса мимо колокольни, взглянет, а на ней без пяти десять. Опять покачает головой, опять переставит. Доедет до Гостиного двора, взглянет, а там без шести десять. Вздохнет, переставит. Встретит знакомого, а у того шесть часов не то утра, не то вечера. Тогда культурный человек должен, не откладывая ни минуты, нести свои часы к часовщику.

А вы знаете, что такое часовщик? Это существо совсем особенное. Живет он, окруженный десятками стенных часов, которые болтают длинными языками в разные стороны и тычут свои стрелки в какую угодно цифру, не стесняясь априорным понятием времени. На одном циферблате три часа, на другом — пять, на третьем — два с минутами.

Окруженный этим сплошным враньем, часовщик, естественно, начинает врать и сам. С волками жить — по-волчьи выть.

Он впялит себе в глаз лупу и посмотрит этим глазом на вас, а простым — на ваши часы, потом попросит придти через недельку.

А через недельку скажет, что раньше месяца не управится, потому что в ваши часы нужно вставить какой-то «шпунт».

— Да Бог с ним, со шпунтом, — умоляете вы. — Не нужно мне его. Я ведь не претендую. Жил до сих пор без шпунта, авось и дальше проживу.

Но он опять впялит в глаз лупу, достанет ваши часы, начнет давить корявым пальцем колесики и говорить про важность шпунта в человеческой жизни.

А длинные языки будут врать со всех стен.

— Тик-так! Тики-так!

И вы на все согласитесь. Лишь бы скорее. Потому что не может культурный человек жить без карманных часов.

Это, положим, не значит, что культурный человек определил заранее каждую свою минуту на какое-нибудь дело и только ждет, чтобы стрелка встала на свое место. Дело не в том.

Часы просто должны идти правильно сами по себе, а жизнь идет правильно или неправильно, но сама по себе.

Боже вас упаси жить по часам. Вы наделаете столько бестактностей, что потом самому будет неловко.

Если вас пригласят на чашку чая к восьми часам, и вы, действительно, разлетитесь ровно в восемь, то вас или совсем не впустят, или продержат часа полтора одного в гостиной, сконфуженного и растерянного.

Если вы приедете на деловое свидание в семь часов, когда оно в семь и было назначено, то вы будете присутствовать при поучительном зрелище подметанья полов и расставливания стульев, а сторожа будут в соседней комнате громко издеваться над вами.

— Микита, видел чучелу?

— Не-е.

— Так смотри, гы-ы!

Если вы приедете на вокзал встречать знакомых к десятичасовому поезду, то напрасно станете совать ваши часы под нос начальнику станции. Десятичасовой поезд придет не раньше четверти одиннадцатого, когда уже успеют составить два протокола о вашем буйстве, и сами вы успеете от нервного расстройства броситься под колеса подоспевшего девятичасового.

Часы культурному человеку служат, собственно говоря, только для того, чтобы он мог приблизительно определить, насколько он куда-либо опоздал.

— Вы меня простите, мне пора ехать. Я ровно в два должен быть в одном месте по важному делу, а теперь уже без десяти три.

— Посидите еще немножко! Поспеете еще! Не так ведь поздно.

— К сожалению, туда около часа езды.

— Ну, так посидите еще четверть часика, как раз и поспеете.

И если гость все-таки уедет, то, значит, он закоренелый педант, сушка, немец, выжига, у которого только расчет на уме да узкая выгода, — неприятный и опасный человек.

Я себе представляю, что было бы, если бы в общество действительно пунктуальных людей затесался один разгильдяй. Он бы в первую же четверть часа разорил и обездолил всех, потому что в расписании делового дня пунктуальных людей все должно быть сделано точно в определенное время, и так подогнано, что одно из другого вытекает и обусловливает третье.

Пунктуальный А. должен ровно в девять часов утра получить нужные документы, чтобы ровно в половину десятого (время на переезд рассчитано строго) передать документы пунктуальному Б., который, подписав их, в свою очередь, ровно в десять должен доставить пунктуальному В. на вокзал. Там, куда едет В., его ждут тоже пунктуальные люди, у которых все сроки высчитаны и намечены по часам.

И вот в эту комбинацию стоит вместо любой буквы — А., или Б., или В. подставить разгильдяя, опоздавшего на четверть часа, — и все пропало. Все расчеты как помелом сметет. Взвоют пунктуальные люди.

— Эх, дал я маху! Нужно было загодя приехать. Лучше подождать, чем опоздать.

И вот они уже деморализованы. Они всюду будут торопиться без толку, всюду терять часы на бесполезное ожидание, на каждое дело тратить времени вдвое больше потребного, потеряют доверие и уважение и пропадут ни за грош.

Но, к счастью, у человека есть способность приспособляться, и вот, в ограждение себя от опасности, угрожающей вторжением разгильдяя, люди стали считаться со временем только приблизительно.

А. вместо того чтобы сказать: «Приеду ровно в половине десятого», говорит: «Ждите меня около десяти». А так как слово «около» имеет протяженность в обе стороны и притом ограниченную только личным времячувствованием, то Б. может спокойно и не ропща на судьбу прождать с девяти до трех.

И не будет волноваться, что не успеет к В. на вокзал, потому что знает, что В. все равно на поезд опоздает, да и там, куда В. едет, подождут. Над ними не каплет.

Таким образом, из минуты составляются часы, из часов — дни, из дней — годы. Вся жизнь тормозится, может

быть, всего где-нибудь в одном месте, в одной точке. Может быть, в целом мире за все существование земли и был всего один разгильдай, да еще, пожалуй, во времена какой-нибудь Римской империи, — а все пошло прахом. Потому что на нашу гибель сцеплены мы все проклятой цепью в веках и пространствах, и не вырвать из нее ни одного звена никому и никогда.

Не к чему и стараться.

А часы в починку отдать, это — дело другое. Это — дело культурное, часы должны быть в порядке.

Вы слышите их во время паузы серьезного разговора, слышите, замерев от счастья на груди любимого существа, и слышите в последний момент земного своего существования, когда доктор, взяв вашу руку, старается уловить угасающий пульс.

Часами отмечаются ваше рождение и ваша смерть. Поэтому держите их в порядке. Но если спросят вас, когда хотите вы быть в назначенном месте точно и определенно, отвечайте, не смущаясь, как ответил бы ваш предок-троглодит:

— Да как-нибудь этак, вечером, когда станет смеркаться.

По крайней мере, никого не подведете и не нарушите мировой бестолочи.

Светская колея

Продолжительное летнее общение с природой вредно действует на светские таланты человека.

Кто весной считался душой общества, т. е. весело поворачивался во все стороны и, не умолкая, отвечал и спрашивал, тот частенько осенью сидит в углу и мычит.

Природа приучает к молчанию и мычанию. Но, главное, отучает от легкомысленного отношения к окружающему.

В общении с природой все должно быть серьезно и правильно.

Лезете вы, например, на гору, вы сначала потыкаете уступ палкой, потом нащупаете его ногой — прочный ли,

потом осторожно подтянете другую ногу, потом посмотрите вниз и прищелкнете языком. Потом потыкаете палкой следующий уступ, и если соседний камень сорвется и поскачет, подпрыгивая, вниз, вы можете опять прищелкнуть языком и даже сказать «эге».

Все осмысленно, все правильно, все серьезно.

Поэтому, когда вы вернетесь к прежней городской жизни, то первая же услышанная вами ерунда может вас привести в самое невылазное недоумение.

— Ну, что, как вы... вообще? — спросят у вас.

— То есть что именно? — бестактно допытывается вы.

— Ах, да все вообще... — объясняют вам и, видимо, жалуют, что связались.

А вы молчите и напряженно улыбаетесь, точно вас уличили в краже чужого чемодана, и приходится делать *bonne mine au mauvais jeu*¹.

А случись услышать такой же вопрос хотя бы прошлой весной, когда вы уже раскатились за зиму по привычным рельсам, вы бы ни на минуту не задумались. Вы бы прямо ответили, что вы «вообще ничего». Все бы сделали вид, что очень хорошо вас поняли, и все бы пошло как по маслу.

«И, собственно говоря, что тут особенного, что она так спросила? — думаете вы весной. — Почему она непременно должна предлагать осмысленные вопросы? Ведь поет же соловей, сам не зная зачем и почему, и благоухает цветок, совершенно не уясняя себе цели этого занятия. Спросите у бабочки, для чего она летает, — много, подумаешь, услышите умного от нее в ответ. Так почему же дама не может разговаривать так глупо, как ей хочется?»

Но осенью бывает тяжело.

Стараетесь сесть где-нибудь около портьеры, чтобы хоть с одной стороны спрятаться от тех, что собираются спросить, «как вы вообще».

— Какая вы стали молчаливая, — язвит хозяйка. — Вы все где-то витеаете, парите...

— Мм... — отвечаю я.

— Ну, расскажите нам что-нибудь.

¹ Хорошую мину при плохой игре (*фр*).

Это предложение способно заткнуть рот самой болтливой сороке в мире. Не знаю, нашелся ли хоть раз с тех пор, как затвердела земная кора, человек, который бы ответил:

— А, вот что я вам расскажу.

И пошел бы плавно рассказывать интересную историю. Обыкновенный же человек отвечает просто:

— Я ничего не знаю.

Или:

— Я ничего не умею.

На первое ему говорят:

— Ну, наверное, что-нибудь да знаете!

А на второе кричат:

— Ну, как так не уметь. Вы, верно, просто не хотите.

— Да, нет, я хочу, да только не могу...

Диалог этот может продолжаться до бесконечности, или пока вы не догадаетесь (на что способны только весною) воскликнуть:

— Э, да лучше вы сами что-нибудь расскажите.

Тяжело бывает осенью.

Тяжелее всего сознание полной безвыходности своего положения.

Если совершенно запереться от людей, то люди сами придут к вам и спросят:

— Как вы вообще?

Недавно видела я человека — душу общества. Он громко расспрашивал о вещах, до которых ни ему, ни кому-либо на свете не могло быть никакого дела, бодро и весело отвечал на вопросы, смеялся, так аппетитно потряхивая плечами, что казалось, будто на них эполеты.

Я следила за ним, замерев от восхищения.

— Ну, как вы вообще? — спрашивают его.

— Я-то? Да, как вам сказать, — помаленечку, как говорится — потихоньку, полегоньку. Вот теперь осень вступила в свои права, пошли дожди, станет сыро, — не правда ли? Ха-ха-ха!

Все соглашались, что он прав безусловно, а я думала:

«Вот бы мне так поговорить! Вот бы мне так!»

— Осень, вообще, всегда дождлива, — сверкал он новыми блестками. — Как осень, так и дождь, ха-ха-ха, так и дождь!

И опять никто не противоречил, и беседа текла мирно и сладко, как молоко в медовых берегах.

«Вот бы мне так! Вот бы мне так!»

И, увлеченная этим светлым образом, я решила взять себя в руки и твердой ногой ступить на путь светского общения.

Для начала выбрала я тихую, скромную семью, состоящую из чьего-то дедушки и чьих-то племянниц. Люди были добрые и не взыскали бы строго, если бы я оплошала на первый раз.

Пришла я к ним, когда все были в сборе, — за чаем после завтрака.

Племянницы хозяйничали около стола. Дедушка — старик серьезный, бровастый и глуховатый — всецело поглощен был личными делами: мял в чашке набухший от чая хлеб, подливал в него молока, подмешивал варенья и сверху еще подмасливал маслом.

Я, решив быть светской, с уважением смотрела на его хлопоты. Но он, кажется, не замечал этого. А, может быть, притворялся.

Наконец дедушка деловито зачерпнул, попробовал и сердито оттолкнул чашку:

— Свины!

«Про кого бы это он?» — подумала я и решила, что так как стряпал пойло он сам, то и сказал «свины» про себя, но, из уважения к собственной старости, выразился во множественном числе.

Как тут быть? Душа общества, наверное, нашелся бы. Он бы как-нибудь захохотал, вернул бы что-нибудь меткое про осень, и всем бы стало приятно.

И я, стараясь не слишком волноваться, прокашлялась и громко сказала старику от всей души:

— Осенью часто идет дождь, ха-ха!

И я засмеялась светло и приветливо.

Старик зашевелил на меня бровями.

— Что-с?

— Осенью часто идет дождь! — повторила я громче, но уже не могла засмеяться светло и приветливо.

— Что-о?

Старик отогнул ухо ладонью.

— Что вы говорите? Я не слышу!
— Осенью идет дождь! — крикнула я дрожащим голосом.
Он сердито двинул стулом.
— Что? Кто такой?
— Дождь осенью... осенью! — надрывалась я, чуть не плача.

— О чем она тут толкует? Ничего не понимаю! — повернулся старик к племянницам.

Племянницы испуганно метнулись к нему.

— Она говорит, что осенью дождь идет. Ах ты господи, — дождь идет! Ну! Говорит, что идет дождь! — кричали они ему в каждое ухо по очереди.

— До-ождь? — удивился старик, повернув голову к окну, посмотрел и вдруг разозлился.

— Чего она врет! Никакого дождя нет!

Он сердито фыркнул, двинул креслом и вышел, хлопнув дверью.

Племянницы, смущенные и растерянные, предлагали мне чаю, лепетали о дедушкиной нервности и старости, видимо, мучились за меня и не знали, как быть.

Я ушла очень грустная.

Вот тебе и почтила старичка любезным разговором. И за что он на меня вскинулся? Конечно, сезон еще только начинается, я еще не вошла в колею, но должен же он был понять мои светские намерения.

И я решила загладить неприятное впечатление: как можно скорее забежать к старичку и спросить его мило и просто: как он вообще?

Литература в жизни

Мы dokonчили сборник наших беллетристов, закрыли книгу и долго молча конфузились.

Наконец, один из нас, самый решительный, прервал молчание.

— Интересно, как отражается вся эта литература на жизни нашей молодежи, — сказал он. — Нельзя же пред-

положить, что вся эта груда книг ускользнет от нее совершенно. Я не говорю о студентах и курсистках. Я говорю о тех пятнадцати-шестнадцатилетних мальчишках и девочках, которые так жадно читают, особенно то, что им не рекомендуется.

Наше поколение было воспитано, собственно говоря, на Тургеневе. Тургеневские типы всасывались в кровь и на целые годы овладевали нашим воображением.

Помню я одну девочку, лет шестнадцати. Она чувствовала себя несколькими героинями сразу и, сообразно с обстоятельствами, разыгрывала роль одной из них.

Она сама признавалась, что, гуляя, всегда была «Асей». Бегала, прыгала, наивничала. Когда приходил влюбленный в нее лицеистик, она делалась Зинаидой из «Первой любви». Загадочно вздрагивала, пила холодную воду, смеялась нервным смехом.

Лицеист тоже был из «тургеньцев» и прекрасно понимал свою роль. Все шло великолепно.

Но вот случился большой скандал. Гуляли вместе, разговаривали загадочными фразами; лицеистик вертел в руках хлыст, которым, как подобает герою романа, «нервно сбивал головки цветов». И вот, в самый разгар тургеньщины, он вдруг ударил себя хлыстом по руке.

На мгновенье оба растерялись. По роману следовало (героиня была в эту минуту Зинаидой и, вообще, все велось, как в «Первой любви»), чтоб он ее ударил, а не себя. А она должна была поцеловать след от его хлыста на своей руке. «Медленно подняла руку» и т. д.

Теперь как же быть?

Лицеистик до того смутился, что чмокнул сам себе руку!

Это уж была узурпация. Он залез в чужую роль и нагло исполнил ее на глазах у главной артистки.

Артистка вспыхнула.

— Вы, кажется, вообразили себя Зинаидой из «Первой любви»? Ха-ха! Поздравляю! Очень эффектно!

И убежала, как «Ася».

А он, как герой «Аси», бегал два дня по полям и горам (дело было на даче, и улиц не было) и кричал:

— Я люблю тебя, Ася! Я люблю тебя.

Только через неделю решился он зайти в дом героини.

Он ожидал найти дом с заколоченными наглухо ставнями и старого преданного слугу (а может быть, и служанку, или соседку, велика важность!), который передаст ему запечатанный конверт.

Он нервно разорвет конверт и глазами, полными слез, прочтет следующие строки:

«Прощайте! Я уезжаю. Не старайтесь разыскать меня. Я вас люблю. Все кончено. Твоя навеки!»

Но увы! Сладкая надежда на безнадежное отчаяние не оправдалась.

Все оказались дома и ели на террасе землянику со сливками.

А Зинаида-Ася, что с нею случилось!

Она была «Кармен»!

Рядом с ней сидел бессовестный гимназист, тоже из «Кармен». Не то тореадор, не то «Хозе», а вернее, что на все руки.

Изменница извивалась вокруг него и, за неимением кастаньет, щелкала языком и пальцами.

— Тра-ля-ля-ля-ля!

Лицеист ушел, долго бегал по горам и полям и, в конце концов, сам написал:

«Прощайте! Я уезжаю. Не старайтесь... и т. д.»

Но и здесь постигла его неудача.

Доверить кому-нибудь такое интимное послание было опасно.

Осенью ему предстояла переэкзаменовка, и родители (отец — тип из «Накануне», мать — прямо из «Первой любви», а впрочем, отчасти и из «Дыма»: отовсюду понемножку худого) строго следили, чтобы он занимался науками, а не «белендрями».

Пришлось самому выполнить роль верного слуги (или служанки, или соседки).

Пошел. Мрачно поздоровался. Передал письмо. Холодно поклонился и хотел уйти. Но тут как на грех подвернулась мать героини (вульгарная барыня из «Дворянского гнезда»), и, зазвав его на веранду, напоила чаем. А к чаю была дыня и... уйти было неловко.

Но вот послышались шаги.

Он смущенно поднял глаза и остоленел от восторга.

Это была «она»! Не Кармен — нет!

С этим, очевидно, было покончено.

Одной рукой она сжимала письмо, другой судорожно цеплялась за стулья, как бы боясь «упасть во весь рост на ковер».

Это была страдающая героиня всех романов — и Ася, и Ирина, и Елена, и Зинаида, и Лиза.

— Что с тобой? — спросила мать. — Держи себя прилично.

Она горько улыбнулась.

— Скажите! Есть ли здесь поблизости обитель?

Сердце лицеистика сладостно екнуло.

«Обитель? — смущенно думал он. — Что такое? Почему? Уж не Вера ли это из «Обрыва»? Но та, кажется, не собиралась...»

— Я пойду в монастырь, — сказала героиня.

— Лиза! — чуть не крикнул он.

— Полно дуру валять, — сказала барыня из «Дворянского гнезда». — Ешь вот лучше дыню. Нынче ананасная.

Героиня задумалась.

«Лиза» не уйдет, а дыня-то ведь не каждый день...

Грустно усмехнулась, села и стала есть.

И он простил ей это. «Колибри» тоже что-то ела, а уж она-то не была пошлая!

— Что же вы не кушаете? — сказала героиня уплетавшему лицеисту. — По-моему, лучше есть дыню, чем лгать о любви на страницах письма.

И тут же прибавила в пояснение:

— У меня «озлобленный ум» из «Дыма».

Лицеист втягивал щеки, как будто страшно худеет и тает на глазах.

И оба были счастливы.

Лекарство и сустав

У одного из петербургских мировых судей разбиралось дело: какой-то мещанин обвинял степенного бородача-кучера, что тот его неправильно лечил.

Выяснилось дело так:

Кучер пользовался славой прекрасного, знающего и добросовестного доктора. Лечил он от всех болезней составом (как называли свидетели, «суставом») собственного изобретения. Состоял «сустав» из ртути и какой-нибудь кислоты — карболовой, серной, азотной — какой Бог пошлет.

— Кто ее знает, какая она. К ней тоже в нутро не влезешь, да и нутра у ей нету. Известно, кислота, и ладно.

Пациентов своих кучер принимал, обыкновенно, сидя на козлах, и долго не задерживал.

Оскультацией, диагнозами и прогнозами заниматься ему было недосуг.

— Ты чаво? Хворает, что ли?

— Хвораю, батюшка! Не оставь, отец!

— Стало быть, хворый? — устанавливает кучер.

— Да уж так. Выходит, что хворый! — вздыхает пациент.

— У меня, знаешь, денежки-то вперед. Пять рублей.

— Знаю. Говорили. Делать нечего — бери.

Степенный кучер брал деньги и вечером на досуге у себя в кучерской готовил ртуть на кислоте, подбавляя либо водки, либо водицы из-под крана, по усмотрению.

От ревматизма лучше, кажется, действовала вода, а для борьбы с туберкулезом требовалась водка.

Кучер тонко знал свое дело, и слава его росла.

Но вот один мещанин остался неудовлетворенным. Испробовав кучеровой бурды, нашел, что она слабовата. Попросил у кучера того же снадобья, да покрепче.

— Ладно, — отвечал кучер. — Волоки пять рублей, будет тебе покрепче.

На этот раз лекарство, действительно, оказалось крепким. После второго приема у мещанина вывалились все зубы и вылезли волосы. И он же еще остался недоволен.

И в результате степенному кучеру запрещена практика.

Воображаю, как негодуют остальные его пациенты. Ведь им, чего доброго, придется, в конце концов, обратиться к доктору и, вместо таинственного «сустава с кислотой покрепче», принимать оскверненные наукой йод, хинин да салициловый натр.

Русский человек этого не любит. К науке он относится очень подозрительно.

— Учится! — говорит он. — Учится, учится, да и заучится. Дело известное.

А уж раз человек заучился, — хорошего от него ждать нечего.

Позовете доктора, а как разобрать сразу: учился он как следует, понемножку, или заучился.

Дело серьезное, спуская рукава к нему относиться нельзя.

Позовите любую старуху — няньку, кухарку, ключницу, коровницу, — каждая сумеет вам порассказать такие ужасы про докторов и такие чудеса из собственной практики, что вы только руками разведете.

Способы лечить у них самые различные, но каждая старуха лечит непременно по-своему, а методу соседней бабы строго осуждает и осмеивает.

Я знавала одну старуху белошвейку. Та ото всех болезней с большим успехом пользовалась свежим творогом и капустным листом. Творогом потрет, листом обернет — как рукой снимет.

Кухарка издевалась над этой системой со всей едкостью холодного ума и все — даже рак желудка и вывихнутый палец — лечила хреном снаружи и редькой «в нутро».

Знакомая мне старая нянька прибегала к более утонченному и сложному приему: от каждой болезни ей нужно было что-нибудь пожевать и приложить.

От всякой опухоли нянька жевала мак с медом и прикладывала. От зубной боли жевала хлеб с керосином. От ревматизма — укроп с льняным семенем. От золотухи — морковную траву с ячменным тестом. Всего не перечтешь.

Очень хорошо помогало. А если не помогало — значит, сглазили. Тогда уже совсем простое дело — нужно только спрыснуть с уголька.

Для этого берут три уголька и загадывают на серый глаз, на черный глаз и на голубой. Потом брызнут на угольки водой и смотрят: какой уголек зашипит — такой глаз, значит, и сглазил. Уголек этот поливают водой, а потом этой самой воды наберут в рот и прыснут прямо в лицо болящему. Сделать это нужно неожиданно, чтобы болящий перепугался, и если он малолетний, то разревелся бы благим матом, а если взрослый — выругался бы и послал бы вас ко всем чертям.

Об этой няньке я вспомнила недавно, и вот при каких обстоятельствах.

Я простудилась, слегла и на другой день позвала доктора.

Пришел худой, меланхолический человек, с распухшей щекой, и упрекнул меня, зачем я не пригласила его тотчас же, как почувствовала себя больной.

— Может быть, вы уже приняли какое-нибудь лекарство?

— Нет, — отвечала я. — Выпила только малины.

— Стыдно, стыдно! — упрекнул он меня снова. — Заниматься каким-то знахарством, когда к вашим услугам врачи и медикаменты. Что же тогда говорить про людей неинтеллигентных!

Я молчала и опустила голову, делая вид, что подавлена стыдом. Не могла же я ему объяснять, какая, в сущности, неприятная штука звать доктора.

Во-первых, нужно все убрать в комнате, иначе он рассядется на вашу шляпу и на вас же рассердится.

Во-вторых, нужно приготовить бумагу для рецепта, которую он сам же будто нечаянно смахнет под стол и потом будет преобидно удивляться, что в интеллигентном семействе нет листка бумаги.

Потом нужно выдумать, какая у вас вообще всегда бывает температура по утрам, днем и по вечерам. Каждый доктор в глубине души уверен, что для человека нет лучшего развлечения, как мерить свою температуру. Подите-ка разуверьте его в этом.

Но самое главное, что вы должны сделать, это приготовить деньги, непременно бумажные, и держать их так, чтобы доктор отнюдь не мог их заметить. Самое лучшее держать их в левой руке, в кулаке, а потом, когда почувствуете, что доктор скоро уйдет, потихоньку переложить их в правую.

Если вы приготовили деньги звонкой монетой — я вам не завидую. Они выскочат из вашего кулака как раз в тот самый момент, когда вы будете пожимать докторскую руку нежно и значительно. Доктор увидит ваши деньги — и все лечение насмарку. Если же вы хотите, чтобы лечение пошло вам на пользу, то вы должны играть в такую игру, как будто доктор очень добрый и лечит вас даром.

Так как всего этого я рассказать не могла, то и сделала вид, что сконфузилась. Он тоже замолчал и задумался, потирая свою распухшую щеку.

— У вас зубы болят? — спросила я.

— Да, не знаю сам, что такое. Должно быть, простудился.

— А вы бы к дантисту.

— Не хочется. Боюсь, что только даром разбередит.

— Гм! Надуло, верно?

— Должно быть.

— А вы бы припарку положили согревающую.

— Вы думаете, поможет? — оживился он вдруг.

— Не знаю. А вот есть еще одно народное средство. Мне нянька говорила, опытная старуха. Нужно, знаете ли, хлеб с керосином пожевать и привязать к щеке.

— С керосином? Это интересно. Только зачем же жевать?.. Может быть, можно просто размешать?

— Не знаю. Она говорила, что жевать.

Он радостно вскочил со стула и пожал мне руку.

— Знаете, это идея. Очень вам благодарен. Это, конечно, вздор, но тем не менее... И много нужно керосина?

Он так загорелся нянькиной терапевтикой, что даже забыл прописать мне рецепт.

Трудно русскому человеку лекарство принимать.

Конечно, наука, в нее не верить нельзя. Ну, а «сустав» — тот как-то уютнее, душевнее.

Жаль, что степенному кучеру запрещена практика. Я бы послала к нему моего доктора.

Свои и чужие

Всех людей, по отношению к нам, мы разделяем на «своих» и «чужих».

Свои — это те, о которых мы знаем наверное, сколько им лет и сколько у них денег.

Лета и деньги чужих скрыты от нас вполне и навеки, и если почему-нибудь тайна эта откроется нам, — чужие

мгновенно превратятся в своих, а это последнее обстоятельство крайне для нас невыгодно, и вот почему: свои считают своей обязанностью непременно резать вам в глаза правду-матку, тогда как чужие должны деликатно привирать.

Чем больше у человека своих, тем больше знает он о себе горьких истин, и тем тяжелее ему живется на свете.

Встретите вы, например, на улице чужого человека. Он улыбнется вам приветливо и скажет:

— Какая вы сегодня свеженькая!

А через три минуты (что за такой срок может в вас измениться?) подойдет свой, он посмотрит на вас презрительно и скажет:

— А у тебя, голубушка, что-то нос вспух. Насморк, что ли?

Если вы больны, от чужих вам только радость и удовольствие: соболезнующие письма, цветы, конфеты.

Свой — первым долгом начнет допытываться, где и когда могли вы простудиться, точно это самое главное. Когда, наконец, по его мнению, место и время установлены, он начнет вас укорять, зачем вы простудились, именно там и тогда.

— Ну, как это можно было идти без калош к тете Маше! Это прямо возмутительно — такая беспечность в твои лета!

Кроме того, чужие всегда делают вид, что страшно испуганы вашей болезнью и что придают ей серьезное значение.

— Боже мой, да вы, кажется, кашляете! Это ужасно! У вас, наверное, воспаление легких! Ради Бога, сзовите консилиум. Этим шутить нельзя. Я, наверное, сегодня всю ночь не засну от беспокойства.

Все это для вас приятно, и, кроме того, больному всегда лестно, когда его ерундовую инфлуэнцу, ценою в 37 градусов и одна десятая, величают воспалением легких.

Свои ведут себя совсем иначе.

— Скажите, пожалуйста! Уж он и в постель завалился! Ну, как не стыдно из-за такой ерунды! Возмутительная мнительность... Ну, возьми себя в руки! Подбодрись — стыдно так раскисать!

— Хороша ерунда, когда у меня температура тридцать восемь, — пищите вы, привирая на целый градус.

— Велика важность! — издевается свой. — Люди тиф на ногах переносят, а он из-за тридцати восьми градусов умирать собирается. Возмутительно!

И он будет долго издеваться над вами, припоминая разные забавные истории, когда вы так же томно закатывали глаза и стонали, а через два часа уплетали жареную индейку.

Рассказы эти доведут вас до бешенства и, действительно, поднимут вашу температуру на тот градус, на который вы ее приврали.

На языке своих это называется «подбодрить больного родственника».

Водить знакомство со своими очень грустно и раздражительно.

Чужие принимают вас весело, делают вид, что рады вашему приходу до экстаза.

Так как вы не должны знать, сколько им лет, то лица у всех у них будут припудрены и моложавы, разговоры веселые, движения живые и бодрые.

А так как вы не должны знать, сколько у них денег, то, чтобы ввести вас в обман, вас будут кормить дорогими и вкусными вещами. По той же причине вас посадят в лучшую комнату, с самой красивой мебелью, на какую только способны, а спальни с драными занавесками и табуреткой вместо умывальника вам даже и не покажут, как вы ни просите.

Чашки для вас поставят новые, и чайник не с отбитым носом, и салфетку дадут чистую, и разговор заведут для вас приятный — о каком-нибудь вашем таланте, а если его нет, так о вашей новой шляпе, а если и ее нет, так о вашем хорошем характере.

У своих ничего подобного вы не встретите.

Так как все лета и возрасты известны, то все вылезают хмурые и унылые.

— Э-эх, старость не радость. Третий день голова болит.

А потом вспоминают, сколько лет прошло с тех пор, как вы кончили гимназию.

— Ах, время-то как летит! Давно ли, кажется, а уж никак тридцать лет прошло.

Потом, так как вам известно, сколько у них денег, и все равно вас в этом отношении уж не надуешь, то подадут вам чай с вчерашними сухарями и заговорят о цене на говядину и о старшем дворнике, и о том, что в старой квартире

дуло с пола, а в новой дует с потолка, но зато она дороже на десять рублей в месяц.

Чужие по отношению к вам полны самых светлых прогнозов. Все дела и предприятия вам, наверное, великолепно удадутся. Еще бы! С вашим-то умом, да с вашей выдержкой, да с вашей обаятельностью!

Свои, наоборот, заранее оплакивают вас, недоверчиво качают головой и каркают.

У них какие-то тяжелые предчувствия на ваш счет. И, кроме того, зная вашу беспечность, безалаберность, рассеянность и неумение ладить с людьми, они могут вам доказать, как дважды два — четыре, что вас ждут большие неприятности и очень печальные последствия, если вы вовремя не одумаетесь и не выкинете из головы дурацкой затеи.

Сознание, насколько чужие приятнее своих, мало-помалу проникает в массы, и я уже два раза имела случай убедиться в этом.

Однажды — это было в вагоне — какой-то желчный господин закричал на своего соседа:

— Чего вы развалились-то? Нужно же соображать, что другому тоже место нужно. Если вы невоспитанный человек, так вы должны ездить в собачьем вагоне, а не в пассажирском. Имейте это в виду!

А сосед ответил ему на это:

— Удивительное дело! Видите меня первый раз в жизни, а кричите на меня, точно я вам родной брат! Черт знает что такое!

Второй раз я слышала, как одна молодая дама хвалила своего мужа и говорила:

— Вот мы женаты уже четыре года, а он всегда милый, вежливый, внимательный, точно чужой!

И слушатели не удивлялись странной похвале.

Не удивлюсь и я.

Как я писала роман

Для этого я выбрала первую неделю Великого поста. Время тихое, покаянное и, главное, свободное, так как, кроме

четырех капустников у четырех актрис, ничего обязательного не предвиделось.

Мысль писать роман появилась у меня давно, лет пять тому назад. Да, собственно говоря, и не у меня, а у одной визитистствующей дамы.

Она долго сидела у меня, долго говорила неприятные вещи на самые разнообразные темы и когда иссякла, ушла и, уходя, спросила:

— Очего вы не пишете романа?

Я ничего не ответила, но в тот же вечер села за работу и написала:

«Вера сидела у окна».

Лиха беда начало. Потом, с чувством исполненного долга, я разделась и легла спать.

С тех пор прошло пять лет, во время которых мне было некогда. И вот, наконец, теперь, на первой неделе Великого поста, я решила приняться за дело.

Начало моего романа мне положительно не понравилось.

За эти пять лет я стала опытнее в литературном отношении и сразу поняла, что сажать Веру у окна мне окончательно невыгодно.

Раз Вера сидит у окна — это значит, изволь описывать либо сельский пейзаж, либо «петербургское небо, серое, как солдатское сукно». Без этого не обойдется, потому что как ни верти, а ведь смотрит же она на что-нибудь!

Опыт мой подсказал мне, что гораздо спокойнее будет, если я пересажу Веру куда-нибудь подальше от окна — и пейзажа не надо, и в спину ей не надует.

Хорошо. Теперь куда ее посадить?

На диван? Но ведь я еще не знаю, богатая она женщина или бедная, есть у нее кой-какая мебелишка, или она живет в мансарде и служит моделью влюбленному в нее художнику.

Тот, кто ни разу не писал романа, наверное, хорошо меня понимает.

Рассказик дело другое. Нет на свете человека, который не сумел бы написать рассказика. Там все просто, ясно и коротко.

Например, если вы хотите в рассказике сказать, что человек испугался, вы прямо и пишете:

«Петр Иваныч испугался».

Или, если рассказик ведется в очень легких тонах, то:

«Петр Иваныч перетрусил».

Если же рассказик юмористический, то можете даже написать:

«Петр Иваныч чувствовал, как душа его медленно, но верно опускается в пятки. Сначала в правую, потом в левую. Опустилась и засела там прочно».

В романе этого нельзя. В романе должен быть размах, мазок, амплитуда в восемьдесят градусов. Страх в романе нужно изобразить тонко, всесторонне, разобрать его психологически, физиологически, с историческим отбегом, не говоря уже о стилистических деталях, характеризующих именно эту функцию души, а не какую-либо другую.

Уфф!

Теперь еще очень важная подробность. Нужно твердо знать, какой именно роман вы пишете: бульварный (печатается в маленькой газетке, по пятаку строка), или бытовой в старых тонах (печатается в журналах, по восемь копеек, а если очень попросить, то и по гривеннику строка), или же, наконец, вы хотите, чтобы ваш роман был написан в прошлогоднем стиль-нуво (печатается даром или за небольшую приплату со стороны автора).

Если вам нужно в бульварном романе сказать, что Петр Иваныч испугался, то изображаете вы это в следующих словах:

«Граф Пьетро остолбенел от ужаса. Его роскошные волосы встали дыбом, и бархатный плащ, сорвавшись с плеч, упал к его трепещущим ногам, описывая в воздухе роковые зигзаги. Но графы Щукедилья никогда не терялись в минуты смертельной опасности, и Пьетро, вспомнив галерею своих предков, овладел собой, и презрительная усмешка искривила его гордый рот и подбородок»...

Бытовик должен рассказать о Петре Иваныче и его испуге иначе:

«— Ну, брат, стало быть, теперича тебе крышка! — подумал Петруха, и разом весь вспотел. В одну минуту пролетела в его мозгах вся прошедшая жизнь. Вспомнилось, как старый Вавилыч дал ему здорового тычка за то, что слямзил

он у Микешки портянку, вспомнилось еще, как он с тем же Микешкой намял Пахомычу загривок.

— Ах чтоб те! — неожиданно для себя самого вскрикнул Петруха и затих».

Стиль-нуво требует совсем другого приема и других слов.

Боже упаси перепутать!

«Это было, конечно, в конце восемнадцатого столетия... Пьер вдруг почувствовал, как странно и скользко запахло миндалем у него под ложечкой и томно засосало в затылке, как будто нежная рука преждевремененно состарившейся женщины размывно перебирала ему волосы, и от этого хотелось есть и петь, одной и той же нотой и одним и тем же словом, старинный романс:

Придет пора, твой май отзеленеет,
Угаснет блеск агатовых очей.

А на левой ноге чувствовался не сапог, а пуговица, одна и голубая.

И это был страх».

Видите, как все это сложно!

Но вернемся к Вере.

Может быть, можно посадить ее просто на стул?

«Вера сидела на стуле».

Как-то глупо выходит. Да, в сущности, и не все ли равно, на чем она сидела? Главное в том, что она сидела, а как именно — это, по-моему, уж дело ее совести.

Ну-с, итак, значит, Вера сидит.

А дальше что?

Я, собственно говоря, придумала, что в первой главе должна приехать к Вере в гости бывшая институтская подруга, в которую потом влюбится Верин муж, молодой помещик, и так далее, вроде «Снега» Пшибышевского.

Хорошо было бы приступить к роману с философским разгоном.

Вера сидит, а подруга едет.

Ты мол, расселась, а беда не сидит, а едет.

Что-нибудь в этом роде, чтобы чувствовались ужас и безвыходность положения.

Но, с другой стороны, невыгодно сразу открывать читателю все карты. Догадается, в чем дело — еще и читать не станет.

Теперь как же быть?

Опять все-таки, в рассказике все это совсем просто. А в романе, раз вы написали, что Вера сидит, то уж одним этим вы влезли в довольно скверную историю. В особенности, если вы собрались писать роман натуралистический.

Вы немедленно должны обосновать исторически, вернее — генеалогически. Должны написать, что еще прадед ее, старый Аникита Ильич Густомыслов, любил посиживать, и что ту же черту унаследовал и дед ее Иван Аникитич.

А если стиль-нуво, тогда еще хуже. Тогда нужно написать так:

«Вера сидела, и от этого ей казалось, что она едет по сизому бурелому, и вдали узывно вабит свирелью, и от этого хотелось есть ежевику и говорить по-французски с легким норвежским акцентом»...

Когда прошла первая неделя Великого поста, я просмотрела свою рукопись.

На чистом листе бумаги большого формата было написано:

«Вера сидела».

За пять лет я подвинулась на одно слово назад!

Если так пойдет, то через десять лет от моего романа, пожалуй, ровно ничего не останется!

Пока что — положу его в стол. Пусть хорошенько вылежится.

Это, говорят, помогает.

Эх, Вера, Вера! И зачем ты села?

На серьезную тему

Мне сказали:

— Нехорошо все «хи-хи», да «ха-ха». Напишите серьезную деловую вещь.

Наставление это как раз совпало с моим намерением, потому что я сегодня все утро думала на самую серьезную тему. Я думала о лошадях.

Знаете ли вы, сколько в большом городе лошадей? В Петербурге, кажется, что-то около пятнадцати тысяч, а то и того больше.

Пятнадцать тысяч!

Если бы все эти пятнадцать тысяч сговорились и построили свой собственный город, то город этот вышел бы не меньше любого губернского.

Лошадям, в среднем, живется не особенно худо. Конечно, они много работают, но не все. Избранные стоят в дорогих конюшнях и заботятся только о своем потомстве.

Словом, *tout comme chez nous*¹.

Пусть работают — не это плохо. Плохо то, что у них, несмотря на тяжелый вечный труд, нет никогда гроша медного за душой.

Лошадь служит словно курсистка, окончившая два факультета, не стесняющаяся расстоянием и готовая в отъезд за стол и квартиру.

Это неприлично и недопустимо.

Каждый лошадиный хозяин мог бы назначить своей лошади соответственное жалованье. Сколько может. Ну, хоть копеек тридцать в день.

Деньги эти должны быть положены на лошадиное имя в банк или сберегательную кассу.

Изредка, раз в месяц, каждая лошадь должна иметь свой выходной день. И вот тут-то ей деньги и понадобятся.

Конечно, нельзя отпускать лошадь одну. С ней должен идти какой-нибудь провожатый, который за этот труд получит вознаграждение из лошадиной кассы. На шею лошади нужно повесить кошелек с ее карманными деньгами.

Таким образом, лошадь может гулять и веселиться по своему усмотрению. За все она отвечает своими честно заработанными деньгами.

Представьте себе, что лошадь, проходя мимо зеленой лавки, соблазнилась и вытащила из корзины морковку. Сей-

¹ Все, как у нас (*фр*).

час же провожатый вынимает из ее кошелька причитающуюся за эту закуску сумму и платит хозяину-зеленщику.

Если, не дай Бог, лошадь свалит кого-нибудь с ног на улице — можно сейчас же из ее сумм удовлетворить претензию пострадавшего.

На лошадиные развлечения тоже следовало бы обратить внимание. Собственно говоря, этого не делалось до сих пор только потому, что хозяева не желали лишних расходов. Я уверена, что если у лошади будут свои средства — развлечения явятся сами собой.

Например, цирк. Неужели вы думаете, что цирк не был бы занятен для молодой лошади? Ей было бы очень интересно следить за упражнениями своих товарищей, а над клоунскими остротами она ржала бы так же усердно, как галерка.

Недавно в цирке я слышала такой юмористический диалог.

Клоун спрашивает у лакея:

— Ты женат?

— Нет.

— Ну, так вот тебе за это!

Клоун размахнулся и дал лакею пощечину. Вот и все.

Ну, разве это не лошадиное остроумие?

Я заметила, как дрессированная лошадка отвернулась и громко фыркнула.

Кроме цирка, для лошадей были бы очень заняты некоторые пьесы наших частных театров.

Впрочем, почему это я, так болея о судьбе лошадей, ни минуты не подумала о коровах? Конечно, корова не работает, а только дает молоко. А наши мамки разве работают? Недавно на моих глазах произошла следующая история. Знакомая дама сказала мамке своего ребенка:

— Акулинушка, пришей мне, пожалуйста, к лифчику пуговку.

А Акулинушка в ответ:

— Я к вам рядилась дитю питать, а не шитье шить. Вы меня этим словом так расстроили, что у меня вся душа пере-кисла.

Пришлось дать ей на оздоровление души полтинник.

Вот видите, если мамка, кормящая одного ребенка, не желает сделать такого пустяка, то как же можем мы требовать этого от коровы? Корова кормит своим молоком ежедневно человек 10–12 и уж имеет полное моральное право не пришивать пуговиц к лифчикам. Не правда ли?

Но главное вот что.

Самая заваливающая мамка получает хорошее жалованье. А корова?

Видали ли вы хоть одну корову, скопившую под старость денегу на теплый хлеб?

Бутылка молока стоит 10 копеек. Пусть 8 из них идут на барыш и на возмещение расходов, но 2 копейки — это уж коровья доля. Как хотите!

Итак — корове тоже небольшое жалованье и выходной день. Если кого забодает, — лечить или хоронить на свой счет. Все свои прихоти оплачивает сама.

Если же корова растрянжирила все свое состояние — записать ее в общество взаимного животного кредита. Это приучит ее к экономии и осторожности.

Знаю, что все это и полезно, и даже необходимо, и вовсе уж не так трудно исполнимо, но чувствую, что никто не отзовется всей душой на предложенную мною реформу, над которой я так долго (целое утро) работала.

Такова судьба всех великих идей.

Двойники

Не случилось ли с вами, что вдруг совершенно незнакомый человек поклонится вам на улице? Или даже заговорит, называя вас дорогим Николаем Ивановичем, когда вы всю жизнь для всех были Петром Николаевичем?

И не случилось ли с вами, что кто-нибудь вдруг скажет: «А я вас вчера видел в цирке», тогда как вы самым честным образом были на вечернем заседании?

Все это кажется удивительным только на первый взгляд. На самом же деле это объясняется очень просто.

Вся суть в том, что у каждого человека есть свой двойник.

Увидеть этого двойника вам никогда не удастся. Лучше и не старайтесь. Но слышать о нем приходится слишком часто и, к сожалению, почти всегда вещи, не делающие ему чести. Мне, по крайней мере, никогда еще не приходилось слышать лестных отзывов о чьем-нибудь двойнике.

У одного почтенного доктора двойник — известный одесский шулер.

Двойник Толстого — какой-то скверный мужичонка, спекулирующий этим своим сходством.

Почти у каждой знаменитости двойник ведет себя очень скверно, подводит своего принцепала и ставит его часто в самое незавидное положение.

Сколько драм, сколько семейных несчастий произошло из-за недобросовестного двойника! Подумать страшно!

Говорю обо всем этом смело и открыто, потому что в настоящее время считаю себя в безопасности: мой собственный двойник, после какой-то скверной истории, уехал навсегда в Америку.

Двойник этот мучил меня несколько лет подряд, не оставляя ни на минуту в покое. Я мстила ему как могла и умела, но не знаю, достигла ли цели.

Теперь, когда все кончено, приятно вспомнить былые беды, зная, что они не повторятся.

Первый раз, когда я узнала о существовании у меня двойника, я отнеслась к этому очень весело и легкомысленно.

Мне сказали:

— Понравилось вам вчера в цирке?

— В цирке? Да я вчера просидела весь вечер дома! Почему вы думаете, что я была в цирке?

Спросивший немножко смутился и сказал:

— Да? Ну, простите, я, значит, спутал. Переменим разговор.

Все посмотрели на меня подозрительно, а спросивший, уходя, шепнул мне:

— Не сердитесь! Дело в том, что я видел вас собственными глазами.

Несколько дней мы смеялись над этой историей и рассказывали ее всюду.

Недели через две трое знакомых видели меня в каком-то скверном маскараде, и хотя я очень скоро доказала им их ошибку, это уже не рассмешило меня, а скорее раздосадовало.

Я многих просила:

— Да покажите же мне, наконец, моего двойника!

Двойник оставался неуловимым и вел себя очень некрасиво. Затем притих, и одна знакомая дама удивленно расспрашивала меня, что это мне пришло в голову сняться в подвенечном платье с каким-то офицером. Она собственными глазами видела мою карточку в какой-то маленькой фотографии, в какой — не помнит.

Я поняла, что мой двойник вышел замуж. Это меня порадовало. Может быть, немножко остепенится.

Мои надежды не оправдались. Не прошло и двух месяцев, как меня уже стали встречать выходящей из отдельных кабинетов, играющей на скачках, на бегах. Мало того — почти каждую ночь видели меня в каком-то клубе, где я дулась до утра в карты и в лото.

Положение мое было отчаянное!

Почти каждый новый знакомый начинал со мной разговор словами:

— А я уже имел удовольствие видеть вас...

Одно время я даже думала постричься в монастырь. Но потом решила, что никто этой вести не поверит, и мой двойник развернется вовсю.

Раз судьба улыбнулась мне в образе старухи, вылезающей из трамвая. Я ответила судьбе тоже улыбкой и приостановилась, выжидая, что будет.

Старуха с любопытством вглядывалась в меня и жала мне руку.

— Скажите, милая, — спросила она, — правда, что он вас выгнал?

Я сразу поняла, что она принимает меня за моего двойника, и решила не упускать случая отомстить своему врагу.

— Ну, разумеется, выгнал, — отвечала я самым наглым голосом, какой только могла придумать. — Выгнал! Как это вам нравится? А?

— Ну, вы же, милая, сами виноваты! Как же можно так?

— А вот еще, очень нужно. Скажите, пожалуйста.

— Но ведь он все-таки муж!

Дело прояснялось.

— Э! Какой там муж. Все это вранье. Никогда мы и венчаны не были, если хотите знать правду.

— Милая! — завопила старуха... — Да что вы говорите! А как же Сережа у вас шафером был? Господи!

— Что же тут непонятного? Расстрига венчал. Дали сто рублей в зубы — и делу конец. Нам венчаться — так обоим на каторгу идти, а я и так трехлетний срок в тюрьме отсидела, довольно.

— Вы? В тюрьму... Да что вы говорите? Да за что же?

— Как за что? За двоемужество да еще за разные мелкие штучки. Ну, а теперь мне пора.

Но старухе не хотелось со мной расставаться. Она вцепилась мне в рукав.

— Милочка вы моя! А Сергей Иванович и не знал?

— Где ему, такой вороне! Ну-с, мне пора.

Я еле вырвалась.

— Только смотрите, никому не говорите! — раззадоривала я старуху. — Все это в целом мире только вы одна и знаете!

Месяца через два, на вокзале, где я провожала знакомых, остановился передо мной какой-то удивленный господин, развел руками:

— Дунечка! Как вы сюда попали?!

«Ага! — подумала я. — Сейчас узнаем, куда Дунечка делась».

— А где же я, по-вашему, должна быть? А?

— Как где? Да ведь вы же после той истории с полковником уехали в Америку! Когда же вернулись?

— Вернулась вчера. Меня, понимаете, оттуда тоже выгнали. Только, пожалуйста, никому не говорите! В целом мире об этом известно только вам.

Он прижал руку к сердцу и раскланялся.

Через четверть часа я видела его в толпе. Он показывал на меня какому-то господину и что-то рассказывал и шептал на ухо. А тот смотрел на меня с любопытством и ужасом.

Бедная Дунечка! Я за себя отомстила.

А ля Сарданапал

Каждый год перед Рождеством улицы принимают особый предрождественский вид. Мясные и зеленные лавки превращаются в дремучие словесные леса, населенные, вместо диких зверей, голыми свиными тушами, раскинувшимися там и тут в самых непринужденных позах. На дверях болтаются вздернутые за задние лапки зайчики и прячут окровавленные мордочки в серые бумажные фунтики. Труп огромной коровы распялил ноги, словно приглашая взглянуть, как хорошо выпотрошен его живот.

Вечером, когда всходит луна и озаряет темные уголки этих дохлых лесов, у прохожих делается очень скверно и на душе и под ложечкой.

Вообще, у нас умеют делать вывески и выставки с тем расчетом, чтобы отвадить покупателя на возможно долгий срок от покупки самых необходимых продуктов.

Обратили ли вы когда-нибудь внимание на вывески мясных лавок? Это целая идиллия!

На фоне лазурного неба и изумрудной зелени изображается обыкновенно великолепный бык. Он поднял хвост и любит окружающую природу и благословляет судьбу, вздымая вверх небывало голубые глаза.

Вокруг пасутся прелестные невинные барашки, резвятся, брыкаются, бодаются.

Рядом изображается птичья идиллия: очаровательные утята учатся плавать; с берега родители — две утки, с чрезвычайно выразительными лицами, — любят на свое потомство и возлагают на него горячие надежды.

Подальше — курица, сидящая на яйцах, и петух, поощряющий ее в этом занятии.

Каждый нормальный человек, проходя мимо, конечно, не замедлит умилиться душой над всей этой трогательной красотой.

Но, очевидно, лавочники, сфантазировавшие и заказавшие эти вывески, рассчитывают совсем на другое. По их мнению, обыватель, увидев, как резвятся кроткие барашки, сразу должен озвереть:

— Ага! Резвитесь? Скажите, пожалуйста, невинность какая! А вот мы эту невинность да на шашлык.

При виде плавающих утят вся кровь должна броситься ему в голову:

— Боже мой, какая нежность трогательная! И курочка, и цыпляточки! Ой, жарьте их скорее, а не то я с ума сойду!

Посмотрит на благодушествующего быка:

— Ишь, мерзавец! Отрежьте-ка от него пять фунтов ссеку!

Над дверями одной колбасной я видела большую свиную голову. Это ничего, это часто бывает, но весь ужас в том, что у головы этой были большие сентиментальные глаза, украшенные длинными ресницами. Этих ресниц нельзя было вынести. Никакая проповедь самого красноречивого вегетарианца не могла так перевернуть душу, как эти ресницы. Впрочем, фантазия художника сделала свое дело: колбасная очень скоро закрылась.

Но одни ли лавочники наслаждаются живодерством? Разве не принято украшать стены столовой изображениями дохлых птиц, рыб и зайцев? Считается, что это хорошо действует на аппетит.

Стены немецкого вагона-столовой, в котором мне нынешним летом пришлось завтракать на пути из Мюнхена в Берлин, были украшены картинами, изображавшими последние минуты какого-то кабана. На первой картине он удирал что есть сил от своры собак. Он задыхался, и пар валил у него изо рта. Художник не пожалел своего таланта и излил все свое вдохновение, чтобы поярче передать кабаньи муки.

На второй картине — собаки уже окружили его. На третьей — повалили. На четвертой — грызут. Кровь льется рекой. А вдали — фигура охотника, бегущего отбивать у собак добычу.

Я видела, что многих тошнило. Впрочем, может быть, просто от качки, как всегда в немецких децугах.

Но, очевидно, художник рассчитывал, что у обедающих при взгляде на эти картинки прямо слюнки потекут. Иначе зачем бы он это нарисовал?

Он — немец. Значит, понимал, что от него требуют.

Вот повара — те относятся к своей задаче иначе. Их принцип — чтоб каждая вещь, во что бы то ни стало, не было сама на себя похожа.

Хороший повар подаст рыбу непременно в виде корзины с цветами, котлеты — в виде рыб, пирожное — в виде котлет. На утку наденет такие кокетливые панталончики, что вы ее скорее примете за кафешантанную диву, чем за жареную птицу.

В названии блюд тоже видно стремление сбить человека с толку.

Так, например, самый дерзкий мечтатель никогда не додумался бы, что «бомб а ля Сарданапал» — не что иное, как обыкновенный картофель.

По поводу поварских названий я знаю очень печальную историю.

Одна милая провинциалочка вышла замуж и приехала с мужем повеселиться в Петербург. В программу удовольствий входило, прежде всего, завтракать каждый день в новом ресторане. Это было очень весело.

В первый раз, выбирая себе блюдо на завтрак, она остановилась на самом звонком и замысловатом названии. Ей подали телячью почку. Она не особенно любила это кушанье, но не хотела признаться перед мужем, что не понимала, что заказывала.

На другой день она выбрала что-то еще более звонкое и многообещающее. Ей опять подали телячью почку.

На третий день, наученная горьким опытом, она уже не гналась за пышностью названия. Заказала что-то простое, из двух слов. Ей снова подали телячью почку.

Молодой муж удивился:

— Какой у тебя странный вкус, милочка! Неужели же тебе не надоело каждый день есть одно и то же?

Она вспыхнула и отвечала дрожащим голосом:

— Нет, я уже привыкла к этому блюду, а менять привычки, говорят, вредно.

На четвертый день муж уже сам заказал ей телячью почку, а на пятый она вдруг горько заплакала и на расспросы мужа отвечала, что ей Петербург надоел и она хочет сегодня же уехать домой.

Муж согласился, но раз навсегда решил, что у жены его скверный и тяжелый характер. Так думает он и до сих пор.

Вот теперь и решайте, что лучше: «тьма низких истин» — дохлые утки на стенах столовой, или «нас возвышающий обман» — величественное «бомб а ля Сарданапал», вместо пошлого, но честного картофеля?

В магазинах

Когда дама уезжает на лето, пусть даже в Париж, она непременно должна запастись всякой дрянью на всякий случай жизни.

А каких только случаев не бывает! Например, прогулка на лодке с мужем и детьми требует серенького платья и высоких башмаков.

Та же прогулка, но без мужа и детей, требует уже белого платья с открытой шеей и ажурных чулок.

Все нужно взвесить, все обдумать, все разыскать и купить.

А то подумайте, какой ужас: вдруг летом приедет к вам в гости Иван Степанович, тот самый Иван Степанович, который недавно сказал вам: «Я люблю голубой цвет — в нем есть что-то небесное», а вы как на грех ничего с собой голубого не взяли! Ну, подумайте только: в хорошеньком вы окажетесь положеньице?

Поэтому удивительно ли, что все гостиные дворы и торговые ряды всего мира гудят в начале лета как улей, готовящийся строиться? С утра до ночи, то замирая, то снова ожесточаясь, жужжат по магазинам отъезжающие дамы.

Дамы бывают разные: дамы покупающие, дамы изнывающие, дамы просто созерцающие. Дамы с картонками, дамы с детьми, дамы со свертками, дамы с мужьями...

— Анна Николаевна! Вы куда бежите?

— Простите, дорогая, не узнала вас. Я так измучена... Шестой час, а я с утра здесь. Нужно было пол-аршина ленточки... Зонтик потеряла, не знаю, где... И кошелек, оказывается, дома забыла!

В магазинах давка и теснота. Покупательницы толкаются, наступают друг другу на шлейфы, и раздающееся при этом томное «pardon» звучит как самое грубое русское «о, чтоб тебе!»

Измученные приказчики к трем часам дня уже теряют всякую логику.

— Возьмите этот помпадур-с, — говорят они, развертывая материю. — Ново! Оригинально! Ни у кого еще нет — для вас начинаем. Будете довольны. Все хвалят. Вчера шестьдесят кусков продали этой самой материи, да сегодня восемьдесят, ей-богу-с!

— Послушайте, я просила синюю, а вы мне показываете зеленую!

— Совершенно наоборот, — это зеленая-с.

— Да что я, не вижу, что ли? И вообще она мне не нравится.

— Совершенно наоборот, — очень нравится-с.

— Сударыня! — раздается сладостный голос. — Пожалте наверх. Получите разнообразие.

— Мальчик! Проводи мадам!

Несчастнее всех чувствуют себя в этой сутолоке мужья, сопровождающие своих жен. Сначала они еще пробуют острить и подшучивать над дамскими страстями.

— Бабы!.. Тряпки!.. Отчего нам не придет никогда в голову заниматься подобной ерундой?

Но они скоро теряют последнюю бодрость духа, смолкают, бледнеют, и глаза их приобретают невинно-фанатическое выражение прерафаэлистских девственниц.

— Мишель! Которая материя тебе больше нравится — вот эта голубая или сиреневая?

— Го-голубая... — раздается тихий стон.

— Ну, так отрежьте десять аршин сиреневой, — обращается дама к приказчику. — А ты, Мишель, не должен обижаться. Ты ведь сам знаешь, что у тебя нет вкуса!

И он не обижается! После четырехчасовой беготни по магазинам утрачиваются многие тонкости человеческой психики.

— Сколько стоит эта пряжка?

— Шесть рублей.

— Отчего же так дорого?

— Помилуйте, сударыня, — отвечает продавщица тоном оскорбленного достоинства, — ведь это — настоящая медь! Чего же вы хотите?

— А камни плохие!

— Настоящее шлифованное стекло!

— Гм... Так нет ли у вас чего-нибудь попроще?

— Вот могу вам предложить.

И продавщица с торжествующим видом вынимает из ящика нечто вроде печной заслонки.

— Без всякого лишнего изыска — красиво, прочно, элегантно и дешево!

Но самый центр, самый пульс жизни представляют шляпные магазины. Перья, птицы, цветы, ленты и еще многое, «чему названья нет», вертится, поднимается, опускается, примеряется...

Странные шляпки бывают на белом свете! Иная, посмотришь, шляпа как шляпа, а взглядишь в нее — целая трагедия: на отогнутых полях, конвульсивно поджав лапы, беспомощно раскрыв клюв, умирает какая-нибудь белая или желтая птица, а тут же рядом, «сияя наглой красотой», расцветает букет гвоздики.

Прямо — гражданский мотив!

Или представьте себе совершенно невинную шляпку с ленточками, цветочками, и вдруг вы видите, что из этих ленточек торчит маленькая золоченая лапка. Вдумайтесь в эту лапку! И вам покажется, будто туда, в самые недра шляпы, провалилась несчастная птица; ее уже не видно, только простертая вверх лапа отчаянно зовет о помощи.

Жутко!

Но на психологию шляпок мало обращают внимания.

— Послушайте, отчего это здесь какой-то неподрубленный лоскут болтается?

— Это самая последняя французская неглижа! — отвечает приказчик.

А как прельщают покупателей продавщицы хороших магазинов. Они поют, как сирены, и как соловьи, сами закрывают глаза, заслушавшись своего пения.

Они заставят вас купить, вместо намеченной вами хорошенькой розовой шляпки, какой-нибудь коричневый ужас, и вы даже не заметите этого!

Им ничего не стоит водрузить над бледным, измученным лицом пожилой женщины яркий зеленый колпак с угрожающими перьями, и потом замереть в экстазе, словно они очарованы представшей пред ними красотой.

И несчастная, загипнотизированная женщина покупает колпак и делается на весь сезон предметом издевательств уличной толпы, злорадства знакомых и стыда своих родственников.

И, натешившись вдоволь над одной жертвой, сирены принимают за другую.

— Да, но се тре-шер, слишком дорого, — слабо обороняется жертва.

— Вы, вероятно, хотите сказать: слишком дешево, — издевается сирена. — Взгляните! Ведь это натуральное воронье перо! Эта шляпка ничего не боится. Вы можете надевать ее и под дождь, и в концерт, и везде она будет одинаково хороша! Мы только потому и уступаем ее так дешево, что она приготовлена в нашей мастерской.

Через пять минут другая сирена поет над той же самой шляпкой, но уже перед другой покупательницей:

— Взгляните, какая работа! Здесь все подклеено, ничего нет натурального. Это наша мадам привозит из Парижа.

Поет, а воронье перо трепещет в ее руках, — трепещет и не знает, что ему думать о своем происхождении: подклеено ли оно в Париже или произошло натуральным путем в России?

А дама смотрит на него в тоскливом недоумении: когда оно должно стоять дороже — когда натуральное и ровно ничего не боится, или когда подклеено со всей искусственностью, на какую способен Париж?..

Дама просит пока что отложить для нее эту шляпку, потому что ей надо посоветоваться с мужем, подругой, теткой, женой брата и двумя сестрами. Потом она выходит на улицу, долго моргает, приложив палец к виску, и не может понять — кто она, зачем сюда попала, что нужно еще купить и, главное, где она живет.

— Извозчик! Алло! 127-51, тридцать копеек... Ну, чего смотришь? Не хочешь — не надо. Другого возьму.

1-е апреля

1-е апреля — единственный день в году, когда обманы не только разрешаются, но даже поощряются. И — странное дело — мы, которые в течение трехсот шестидесяти пяти, а в високосный год трехсот шестидесяти шести дней так великолепно надуваем друг друга, в этот единственный день — первого апреля — окончательно теряемся.

В продолжение двух-трех дней, а некоторые так и с самого Благовещения ломают себе голову, придумывая самые замысловатые штуки.

Покупаются специальные первоапрельские открытки, составленные тонко, остроумно и язвительно. На одной, например, изображен осел, а под ним подписано:

«Вот твой портрет».

Или, еще удачнее: на голубой траве пасется розовая свинья, и подпись:

«Ваша личность».

Все это изящно и ядовито, но, к сожалению, очень избито. Поэтому многие предпочитают иллюстрировать свои первоапрельские шутки сами.

Для этого берется четвертушка почтового листа, на ней крупно, печатными буквами, выписывается слово «дурак» или «дура», в зависимости от пола адресата.

Буквы можно, для изящества, раскрасить синими и красными карандашами, окружить завитушками и сиянием, а под ними приписать уже мелким почерком:

«Первое апреля».

И поставить три восклицательных знака.

Этот способ интриги очень забавен, и, наверное, получивший такое письмо долго будет ломать себе голову и перебирать в памяти всех знакомых, стараясь угадать остряка.

Многие изобретательные люди посылают своим знакомым дохлого таракана в спичечной коробке. Но это тоже хорошо изредка, а если каждый год посылать всем тараканов, то очень скоро можно притупить в них радостное недоумение, вызываемое этой тонкой штучкой.

Люди привыкнут и будут относиться равнодушно:

— А, опять этот идиот с тараканами! Ну, бросьте же их поскорее куда-нибудь подальше.

Разные веселые шуточки, вроде анонимных писем:

«Сегодня ночью тебя ограбят» — мало кому нравятся.

В настоящее время в первоапрельском обмане большую роль играет телефон.

Выберут по телефонной книжке две фамилии поглупее и звонят к одной.

— Барин дома?

— Да я сам и есть барин.

— Ну, так вас господин (имярек второго) немедленно просит приехать к нему по такому-то адресу. Все ваши родственники уже там и просят поторопиться.

Затем трубку вешают, и остальное предоставляется судьбе.

Но лучше всего, конечно, обманы устные.

Хорошо подойти на улице к незнакомой даме и вежливо сказать:

— Сударыня! Вы обронили свой башмак.

Дама сначала засуетится, потом сообразит, в чем дело. Но вам незачем дожидаться ее благодарности за вашу милую шутку. Лучше уходите скорее.

Очень недурно и почти всегда удачно выходит следующая интрига: разговаривая с кем-нибудь, неожиданно воскликните:

— Ай! У вас пушинка на рукаве!

Конечно, найдутся такие, которые равнодушно скажут:

— Пушинка? Ну и пусть себе. Она мне не мешает.

Но из восьмидесяти один, наверное, поднимет локоть, чтобы снять выдуманную пушинку.

Тут вы можете, торжествуя, скакать вокруг него, приплясывая, и припевать:

— Первое апреля! Первое апреля! Первое апреля!

С людьми, плохо поддающимися обману, надо действовать нахрапом.

Скажите, например, так:

— Эй! Вы! Послушайте! У вас пуговица на боку!

И прежде чем он успеет выразить свое равнодушие к пуговице или догадку об обмане, орите ему прямо в лицо:

— Первое апреля! Первое апреля! Первое апреля!

Тогда всегда выйдет, как будто бы вам удалось его надуть — по крайней мере, для окружающих, которые будут видеть его растерянное лицо и услышат, как вы торжествуете.

Обманывают своих жен первого апреля разве уж только чрезмерные остроумцы. Обыкновенный человек довольствуется на сей предмет всеми тремястами шестьюдесятью пятью днями, не претендуя на этот единственный день, освященный обычаем.

Для людей, которым противны обычные пошлые приемы обмана, но которые все-таки хотят быть внимательными к своим знакомым и надуть их первого апреля, я рекомендую следующий способ.

Нужно влететь в комнату озабоченным, запыхавшимся, выпучить глаза и закричать:

— Чего же вы тут сидите, я не понимаю! Вас там, на лестнице, Тургенев спрашивает! Идите же скорее!

Приятель ваш, испуганный и польщенный визитом столь знаменитого писателя, конечно, ринется на лестницу, а вы бегите за ним и там уже, на площадке, начните перед ним приплясывать:

— Первое апреля! Первое апреля! Первое апреля!

Визитерка

Отдали ли вы все визиты, которые должны были отдать?

Получили ли все визиты, которые должны были получить?

Подумайте! Припомните! Ведь еще можно, вероятно, поправить все упущения.

Я знаю, что такое визиты. Я знаю, как возникают визитные отношения, против воли и желания визитирующих сторон, знаю, как долго томят и терзают они своих беззащитных жертв и, вдруг оборвавшись, оставляют их в тягостном и горьком недоумении.

Визиты — это нечто метафизическое.

Вот я вам расскажу маленькую визитную историю, приключившуюся недавно со мною, по виду такую простую

и обычную, но всю от первого до последнего слова проникнутую тихим ужасом.

Дело было вот как.

В одном знакомом доме встретила я с очень милой дамой — Анной Петровной Козиной.

Она была очень любезна и приветлива, поговорила со мной немножко и, уходя, сказала:

— Какая вы чудная! Как бы я хотела познакомиться с вами поближе!

На это я ответила:

— Ах, да что вы! Напротив того, вы чудная, а вовсе не я, и я буду страшно рада, если вы когда-нибудь заглянете ко мне.

Она ласково улыбалась, и обе мы понимали, что она не придет.

Но вот недели через две встречаю ее на улице. Боясь, что она спросит меня, «как я поживаю», чего я смертельно боюсь, так как ни разу в жизни не сумела на этот вопрос ничего ответить, кроме «мерси», что довольно глупо — я сама первая затараторила:

— А! Анна Петровна! Ай-ай-ай! Как не стыдно? Вот вы и не зашли ко мне! А я вам поверила и ждала вас. И так мне хотелось, чтобы вы пришли! Разве вы этого не чувствовали?

Вероятно, я перехватила немножко, потому что она как будто удивилась и тотчас деловито спросила, когда меня удобнее застать.

Я назвала день и час, когда бываю дома, и мы расстались, обе какие-то подавленные.

Она пришла ко мне. Посидела несколько минут и ушла, и я видела, как она была рада, что, наконец, отделалась от моего назойливого зазыванья.

Прошло несколько дней, и обязанность отдать Анне Петровне ее «милый визит» стала ощущаться мною все с большей остротой. Прошла неделя. Две. Началась третья.

Откладывать дольше было нельзя. За что обижать милую, кроткую женщину?

Я отдала визит и, уходя, умоляла ее не забывать меня и заходить запросто.

Потом были мои именины, и она должна была прийти поздравить меня. Пришла не вовремя, помешала интерес-

ному разговору, который потом так никогда и не наладился, позвала к себе вечером.

Пришлось пойти. Тоска у нее была такая, что я в первый раз пожалела, что нет у нас порядочного клуба самоубийц.

— Мерси, Анна Петровна! — целовала я ее на прощанье. — Как вы умеете все мило устроить. Да, я страшно веселилась.

Я говорила, а душа моя билась в конвульсиях и громко была:

«Подлая! За что ты загрызла меня!»

Так как я была у нее вечером, то пришлось и ее позвать вечером. Как аукнется, так и откликнется.

Она пришла! Ну, что я могла сделать! Не убить же ее, в самом деле! Ведь она пришла, чтобы не обидеть меня!

Потом были ее именины. Потом, конечно, я опять «откликнулась».

Как-то утром она позвонила ко мне по телефону и сказала, что, вероятно, не сможет прийти вечером, так как кашляет.

Я, забыв всякий стыд и совесть, вопила в трубку:

— Поберегите себя! Не выходите из дому! Сегодня страшный холод. Ну, к чему рисковать? Я прямо рассержусь, если вы придете! Не смейте выходить.

Она не пришла. Я была рада, но, вместе с тем, боялась, не вышло ли неловко, что я так умоляла ее не приходить. Пришлось, во всяком случае, навестить больную.

Она оказалась здоровой, как бык, и даже притвориться не сумела, что кашляет.

— Милая, — говорила она. — Вы такая чуждая! Вы навестили меня на одре болезни. Я не забуду этого.

Вдруг отчаянная решимость зажгла ее глаза, и с выражением лица укротителя, всовывающего голову в львиную пасть, она прибавила:

— Знаете что? Я завтра же приду к вам пообедать...

Мы обе испугались и некоторое время молча смотрели друг на друга.

Наконец, я захлебнулась от восторга:

— Какая вы славная!

Я чувствовала, что на глазах у меня слезы, но я была в таком отчаянии, что даже и скрывать их не хотела. Пусть думает, что я зевнула.

Все утро следующего дня я была сама не своя. Я твердо решила вывести наше темное дело на чистую воду. Вот придет Анна Петровна, а я возьму ее за руку и скажу, глядя ей прямо в глаза:

— Милая! Разве вы не понимаете, что судьба издевается над нами? Разве вы не чувствуете, что черт продернул в наши носы по веревочке и тянет нас друг к другу с визитами себе на потеху, нам на гибель? За что? Что мы сделали худого? Зачем я должна по четвергам бросать нужное и интересное дело и тащиться к вам на Захарьевскую, и мучить вас, отрывая от друзей и близких в продолжение двадцати минут?

Скажем друг другу «довольно» и будем свободны и счастливы.

Но я не решилась! Когда я увидела ее, я сказала:

— Славная!

Да она и действительно очень хорошая женщина.

И вот в следующий четверг еду к ней.

Как быть?

Содержание

Надежда Александровна Тэффи

5

Н. Суражский. Красные каблучки Тэффи

10

Юмористические рассказы

Выслужился

17

Проворство рук

22

Покаянное

26

Свой человек

29

В стерео-фото-кине-мато-скопо-
био-фоно и проч.-графе

31

Курорт

34

Взамен политики

37

Новый циркуляр

40

Модный адвокат

45

Веселая вечеринка

49

Игра

56

Семейный аккорд

59

Даровой конь	61
Переоценка ценностей	65
Политика воспитывает	68
Семья разговляется	71
Нянькина сказка про кобылью голову	75
Страшный ужас (<i>Рождественский рассказ</i>)	79
За стеной	83
Политика и наука	92
Утешитель	95
Корсиканец	98
Морские сигналы	100
Страшный прыжок	103
Патриот	108
Из весеннего дневника	112
Дача	115
Забытый путь	120
Жизнь и воротник	129
Сезон бледнолицых	133
Карьера Сципиона Африканского	135
Изящная светопись	139

Они поют...	144
Анафемы	147
К теории флирта	149
Человекообразные. <i>Предисловие</i>	152
Экзамен	157
Святой стыд	162
Факир	166
Концерт	171
Тонкая психология	177
Кулич	182
Брошечка	186
Седая быль	191
«Де»	195
Антей	199
Предсказатель прошлого	203
Два Вилли. <i>Американский рассказ</i>	206
Светлый праздник	211
Горы. <i>Путевые заметки</i>	215
«Предпраздничное»	233
Дачный разъезд	239

«Tanglefoot»	243
Ревность	245
Арабские сказки	250
Переводчица	254
Песье время	257
Письма издавека	261
Маски	273
Разговоры	276
Французский роман	280
Рекламы	284
Аэродром	288
Причины и следствия	291
С незапамятных времен	296
Прачечная	298
Неделикатности	303
Завоевание воздуха	305
Когда рак свистнул. <i>Рождественский ужас</i>	308
Путешественник	313

И стало Так...

Репетитор	319
Публика	323
Бабья книга	328
Катенька	331
Страх	335
Легенда и жизнь	340
Юбилей	344
Талант	349
Великопостное	353
Страшная сказка	356
Новогодние поздравления	360
Пуговица	363
Пасхальные советы молодым хозяйкам	369
Неудачник	372
Дон Жуан	376
Трагедия счастья (<i>Осенний рассказ</i>)	379
Чертов рублик	382

прочее

Фабрика красоты	389
Знакомые	392
Экзамены	397
Осенние дразги	401
Остров мертвых	406
Сокровище земли	409
Остряки	414
Дураки	419
Лень	422
Часы	426
Светская колея	430
Литература в жизни	434
Лекарство и сустав	437
Свои и чужие	441
Как я писала роман	444
На серьезную тему	448
Двойники	451

А ля Сарданапал
455

В магазинах
458

1-е апреля
462

Визитерка
464

Надежда Александровна Тэффи

Собрание сочинений в пяти томах

Том I

Редактор

В. Алексина

Художественный редактор

О. Скочко

Технический редактор

О. Стоскова

Корректор

Ю. Баклакова

Компьютерная верстка

А. Деева

Подписано в печать 15 09 10 г

Формат 84×108¹/₃₂

Бумага офсетная

Гарнитура «Garamond»

Печать офсетная

Усл печ л 25,2

Уч -изд л 25,27

Книжный Клуб Книговек

127206, Москва, Чуксин тупик, 9

Отпечатано ООО «Балто принт»

Logotipas Company

www.baltoprint.ru

Литературное
приложение

ОГОНЁК

ISBN 978-5-4224-0255-7



9 785422 402557

www.terra.su

www.soyuzkniga.ru